

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1965

7



1965

ИЗВЕСТИЯ МИРА

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания ХLI

№ 7

Июль, 1965 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Грузинская зима, стихи	3
С. СЛАВИЧ — Из жизни Парфентия Пятакова	9
ВИКТОР ЛИХОНОСОВ — Что-то будет, рассказ	31
АДА РЫБАЧУК — На острове Колгуеве. Из записок художницы	43
ФРАНТИШЕК ГРУБИН — Из стихов военных лет. Перевел с чешского Юлий Даниэль	98
И. КОНЕВ — Сорок пятый год. Страницы воспоминаний. Окончание	100

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВАЛЕНТИН БЕРЕЖКОВ — На рубеже мира и войны. С дипломатической миссией в Берлине (1940—1941)	143
Академик И. М. МАЙСКИЙ — Борьба за второй фронт. Из записок посла. Продолжение	185

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ТВАРДОВСКИЙ — О Бунине	211
И. ВИНОГРАДОВ — По страницам «Деревенского дневника» Ефима Дороша	234

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	254
Ю. Айхенвальд. Стихи Михаила Светлова последних лет.— А. Турков. Драма Тыну Приллупа.— А. Берзер. Когда черное — бело.— Б. Яранцев. На царской каторге.— Н. Баранова, В. Баранов. Писатель и живопись.	
<i>Политика и наука</i>	269
А. Калачников. Живее всех живых.— Л. Клецкий. От отсталости к прогрессу.— А. Губер. Репортаж с переднего края.— С. Езерский. Важные вопросы педагогики.	
КОРОТКО О КНИГАХ	279
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

МИХАИЛ ЛУКОНИН

★

ГРУЗИНСКАЯ ЗИМА

КРЕПОСТЬ

Головы запрокинув,
 снизу смотрим не дыша,
Снизу вверх — и то от страха
 обрывается душа.
На скале, на самой пике,
 крепость древняя, строга,
Угрожающе нависла
Над дорогами врага.
Здесь, внизу, Кура струится.
 По ущелью гул идет.
Крепость на вершине дикой
 никого уже не ждет.

До чего стоит красиво
 и сама-то, как скала!
Вот гадай — какая сила
 эти камни подняла.
Да, титаны, а не люди.
 Удивляемся — смотри!
Да, титаны, а не люди,
 витязи,
 богатыри!..

А у них, титанов древних,
 а у тех богатырей
Густо руки багровели
 от кровавых волдырей.
Зажигала грудь чахотка,
 сухожилия рвались,
Мерли, отступали,
 снова
 поднимали камни ввысь.
Кожа лопалась на спинах.
 Торопились,
 шли и шли.
В ожидании набегов
Эту крепость возвели.

Запирали все ущелье,
 умирали, как орлы.
 Сами на врагов бросались,
 как снаряды,
 со скалы.
 Не хотели, чтоб томились
 черноокие в плену,
 Так любили
 Землю эту,
 Землю милую одну.

Этим башням на вершине —
 поклонись им вновь и вновь.
 Их не сила возводила,
 Возносила их любовь.

Наши предки утвердили будущее
 и тогда
 Для удобства
 на равнинах стали ставить города.
 Век за веком. Непокойны.
 Да и наш еще во мгле.
 Стороной обходят войны
 эту крепость на скале.

Голову запрокинув,
 вы глядите на нее.
 Эта крепость,
 Эта крепость
 людям отдала свое.
 Крепость эта в нас с тобою
 так живет,
 как и жила,—

Как характер воплотилась
 в наши души и тела.
 В крепость долга,
 в крепость дружбы,
 В крепость песен и детей,
 В то, как землю любят люди —
 Крепости
 Из крепостей.

ДВЕ НИНЫ

Дом друга моего — он над Курой.
 В нем две хозяйки властвуют —
 две Нины.

Одна мне мать —
 Вздыхает, как о сыне.
 Другую Нину я зову сестрой.
 Две женщины грузинские в дому —
 Мать и жена грузинского поэта.
 Поэзия!..
 Да я и не про это.
 Я говорю о них не потому.

Все в хлопотах,
 В трудах своих старинных.
 Я не скажу, пожалуй, ничего
 О ежедневном подвиге незримом,
 Лишь женщины способны на него.
 Я не об этом.

Одарят добром
 Улыбок и приветствий —
 хорошо нам.

Положено быть радостными женам,
 Все остальное — на себя берем.
 Да, на себя берем,
 Я не об этом,
 Берем, бывает, лишнее подчас.
 Как бескорыстно светят нашим светом! —
 Без зависти
 Их радости за нас.

Две женщины, две Нины,
 здесь, в дому.
 Мы славим сень спокойного уюта.
 А Нины улыбаются чему-то
 Великому,
 Чему-то своему.
 Мы умные, оглохшие от гула.
 Талантливые —

ходим не спеша.
 Нам невдомек,
 Что силу в нас вдохнула
 Таинственная женская душа.
 И если нам задуматься придется,
 Увидим вдруг,
 что звуки и слова,
 Все, что потом поэзией зовется,
 Все
 в их сердцах
 рождается сперва.

ЗИМА

Падает снег, плещется,
 Вьется у самой форточки.
 В белой крупе мерещатся —
 Точки,
 Кружочки,
 Черточки.

Падают вниз на деревья,
 На травы, еще шумящие,
 Снежинки!
 Сперва не верится.
 Как будто не настоящие.
 Теряется лето — где ж оно?
 Наново все побелено.

Солнечно
и заснеженно —

Сразу
Бело
И зелено.

А там — за Тбилиси —
вьюжится

Над эвкалиптами зяблыми.
Ловят белые кружевца,
Развеселившись, яблони.
Лежит белизна рассветная.
Под снегом теплеют озими.
Дышит земля, согретая
Виноградными лозами.
Снежинки лежат неслышные.
В ущелье Боржоми — замаяти,
Бакуриани лыжные
Рады зиме без памяти.

Хожу по горе-лестнице
Впервые зимой в Грузии.
Летние дни и месяцы
Мне горизонт узили.
Впервые — тепло зимнее,
Впервые зима южная.
Небо почти синее,
Солнце совсем вьюжное.

Эта зима та самая,
Как прежде, до боли близкая,
Конькобежная, санная,
Родная моя, российская.
Это я сам навстречу весне
Слетаю лыжнею волглой,
Это я сам,
Будто во сне,
Стою
Над родимой Волгой.

НА ПЕРЕВАЛЕ

На перевале
тут не до шуток,
Вы там бывали?
Как жуток этот
промежуток
На перевале!
На самом гребне седой вершины
Торчишь нелепо.
И одинаково
недостижимы
Земля
И небо.

Не знаешь —
Смелость тебя вздымает
Иль гонит робость.
Взлететь ли,
или —
и так бывает —

Пропáсть,
Как в пропáсть?
Не знаешь —
смертен ты
или вечен,

Лжец или правый,
Развенчан ты или увенчан
Хулой
Иль славой.
То все умею и все могу,
То нет — не смею,
То сразу снова у всех в долгу,
То все имею.
Как обозначить свое звучанье —
Слезами? Смехом?
Чем отзовется земля —
молчаньем

Иль горным эхом?
То хочется вселенной крикнуть:
— Эгей! —
с разбега;

То боязно:
Вот оборвутся
Завалы снега...

Все это поднялось помимо
меня,
со мною.

Должно быть, это
вон та равнина
Всему виною.
На перевале земля видна,
как отдаленность.

На перевале
Людам нужна
Определенность.
— Да? —
я спрашивал там, внизу,
тогда.
вначале.

— Нет? — вопросом на мой вопрос
Мне отвечали.
На перевале, на гребне лет,
Не пряча взгляда —
Да или нет?
Да или нет? —
Ответить надо...

О, испытание на вершине,
Ты просто мука.

С. СЛАВИЧ

★

ИЗ ЖИЗНИ ПАРФЕНТИЯ ПЯТАКОВА

1. За тех, кого нет

О том, что завтра «делов не будет», стало ясно задолго до наступления вечера, когда на мачте в конце мола повесили два «око-рока». «Окорока», а попросту говоря, два черных железных треугольника, еще называют их «колдунами», сделаны так, что, как их ветер ни вертит, все равно со всех сторон видны треугольники. А ветер их вертит — дай боже.

Раньше «окорока» вешали, как только над Яйлой появлялись плотные, будто спрессованные, облака. Для связанного с морем человека эти неподвижные, зацепившиеся за Яйлу облака были угрозой: того и гляди с гор сорвется дурной ветер и начнет раскачивать море, как колокол, так, что загудят берега и причалы.

Но это было раньше. А теперь «окорока» вешают заранее. Расположенные где-то, близко и далеко, метеостанции передали свои сообщения — хитрый набор не понятных простому смертному цифр, эти цифры дали электронной счетно-решающей машине, она, даже не мигнув своими лампами, проглотила все это и — будьте любезны: «Передаем прогноз погоды по северо-западному району Черного моря...»

А может, это и не совсем так делается. Может, все обходится без электронных машин — просто вертит кто-то ручку арифмометра или слюнявит химический карандаш и перемножает пятизначные цифры. Тогда нужно сказать, что арифмометр и карандаш тоже вполне надежные инструменты, потому что «колдуны» редко обманывают.

— Делов не будет, — повторил кто-то.

Но можно было и не повторять: все видели, что это так. Маленький буксир хлопотливо затаскивал в гавань под прикрытие волноломов громадный плавучий кран, юркали в порт белые прогулочные катера, только громада «Украина» как ни в чем не бывало пятилась кормой вперед вдоль причала, чтобы потом, хитро развернувшись, взять курс на Кавказ. Но и ее потреплет за те сутки, пока будет добираться до Сочи. Покачает голубушку, потому что, как она ни велика, а для моря что она, что ореховая скорлупка.

— Чудно, братцы, — сказал Парфентий Пятаков. — Я же видел, как горела «Украина», не эта, конечно, другая. Неделю целую горела, а потом пошла на дно.

Он говорил это удивленно и с явной готовностью рассказать всю историю. Его поняли.

Занятие на сегодняшний вечер было найдено.

— А может, смажем сначала?

— Освежиться можно.

- Кислячком?
- На базаре есть молодой.
- У меня от него живот болит.
- Выпей портвейна.
- Вот в Болгарии нас коньяком угощали...

...А почему бы и не выпить по-доброму, по-хорошему, если надвигается шторм и в море завтра выйти будет нельзя? Почему бы не чокнуться гранеными стаканами из толстого мутного стекла? Почему бы не спеть после этого (как мы спели):

На тім світі не дадуть горілки,
А ні пива, меду, ні вина...

Лишь бы все было по-хорошему, по-доброму, как у нас было. Лишь бы жены не ругали, соседи искоса не поглядывали да назавтра не болела голова. А так почему бы нам не посидеть, не вспомнить прошлое? Ведь вспомнить есть что. Собрались уже немолодые люди. Самый младший, кажется, я, а мне скоро стукнет сорок...

— Петя, ты тоже с Украины?

Это они Парфентия называют Петей.

— Эге ж. По документам зовусь Пятаковым, а дома, на Сумщине, нас звали Пятаками...

Мы сидим на плоской крыше дома. Сзади, источая едкий запах, сохнут на ветру рыбацкие брезентовые робы, впереди — в полгоризонта море. А сколько раз мы его видели во весь горизонт?

Здесь Кузьма Стаценко, Роман Сыч, Парфентий Пятаков, еще один рыбак, имени которого я не знаю. Когда-то были они курскими, сумскими, полтавскими, родились и выросли возле речек или ставков, где воробью по колено, а сейчас давно уже — крымчаки, черноморцы, и это о них говорят: весь зад в ракушках. Говорят шутя, но и с уважением.

— Ну, родненькие,— сказал самый мудрый из всей компании — Парфентий,— давайте за тех, кого с нами нет и уже никогда не будет. За светлую память Ивана Пантелеевича Притулы.

Мы отхлебнули, и Парфентий Пятаков стал рассказывать.

Каждый из нас слышал, наверно, тысячу рассказов о первом дне войны. Из них можно было бы составить поучительную книгу. Это только на первый взгляд кажется, что она была бы несколько однообразной. Конечно, конец каждой истории известен. Как говорится в песенке:

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.

Однако каждый подошел к этому концу по-разному.

— У тебя сын или дочка? — спросил Парфентий.

— Сын.

— Когда родился?

— В пятьдесят пятом году. Четырнадцатого мая.

— Какой день недели был?

Я растерянно пожал плечами. Не помню. О рождении сына мне сообщили по радио. Был я в это время в экспедиции у Анатолийского побережья. Штормило. Рыбы не было. В море остались только мы да новороссийцы — остальные убежали в Потти и Батуми. Это помню, а какой был день недели — просто не подумал тогда и сейчас не помню.

— Точно! — сказал Парфентий, будто я подтвердил какую-то его давнюю мысль. — Есть только один день, о котором все помнят, что тогда было воскресенье, — двадцать второе июня одна тысяча девятьсот

сорок первого года... А в пятницу мы пошли в море на трех катерах с девятью баркасами на буксире... Эх, и здорово же мы тогда выходили в море! Такого бригадира, как Ваня Притула, на всем Черном море никогда больше не было. Богатырь, красавец... А песни пел, а на баяне играл!.. Даже в море всегда с собой баян брал. А чего ж не петь, не играть: без улова никогда не возвращались. Случалось, конечно, и всякое там плохое, только оно от нас, как вода от солярки, отскакивало...

— Так уж и отскакивало? — усомнился я.

— Это ты о Ване? — сказал Парфентий. — Верно, обидели его. Както награждали наших рыбаков орденами. Ваню не наградить было нельзя. Представили его к ордену и раззвонили об этом по всему городу. Чуть не каждый говорил: с тебя, мол, Ваня, причитається. А потом ордена-то и не дали. Кто-то накапал, что недостойн, мол, он высокой награды, что никакой Ваня не знатный рыбак, а просто сын раскулаченного. Мы начали было перья поднимать, а он говорит: «Не надо. Мы еще посмотрим, кто чего стоит...» И глянул на нас так, будто ему не тридцать с хвостиком, а лет сто пятьдесят. «Мы, — говорит, — еще столько получим этих орденов, что вешать будет некуда...»

— В каком же году это было? — спросил я.

— Не помню. Год-то был самый обыкновенный. В том году Алексей Орешник, наш рыбак, как раз изобрел свой аламан и взял несчетное множество кефали... А так ничего больше не было. Да! Вспомнил! Тридцать восьмой год тогда шел... Так вот, вышли мы в пятницу двадцатого июня одна тысяча девятьсот сорок первого года за дельфином. Поначалу не везло. Держались миль за семьдесят от берега. Продолжали искать. Не такой человек был Ваня Притула, чтоб возвращаться с бугаем. Нашли наконец стадо. Дельфин «работал» на хамсе, кормился. Взяли голов шестьсот. Не ахти как, конечно, но дома показаться уже не стыдно. Легли на обратный курс к Ялте.

Я все прикидывал: вышли в пятницу, вернемся в воскресенье. Хорошо работать рядом с домом. Случалось это, правда, редко. Но сегодняшнее воскресенье, думаю, мое. Как придем — минуты лишней не задержусь на катере. А то что получается? Приходим в порт, и ребята сразу разбежались по «точкам» — на каждом углу, смотришь, пьют пиво или вино. А ты, механик, ковыряйся в моторе. Приходишь на судно первым, уходишь последним. От этих мыслей даже горько стало, и разобиделся я на свою судьбу. Нет, думаю, сегодня уйду вместе со всеми.

Доченьке моей Клаве шел в то время седьмой год, и любил я с нею возиться. Сдадим, думаю, добычу и пойдем всей семьей на пляж — вода теплая, лето в разгаре. А потом посидим возле дома под шелковицей. Рядом с домом, где я комнатенку у греков снимал, громадная шелковица росла... Одним словом, завидовал я самому себе.

Обогнули мол, зашли в порт — все о своем думаю. А когда начали швартоваться, подошли к стенке причала, слышим, кричат с берега: «Ребята! Война! Немцы бомбили Севастополь!» И сразу жизнь дала трещину, раскололась надвое. Все, что было до сих пор, стало «до войны», а что будет дальше... Кто ж из нас знал в то время, что будет дальше?..

А на берегу собирали митинг. Э тот митинг был нужен. Беда свалилась на всех. Нужно было собраться вместе. Не для того, чтоб, как всегда, кто-то выступил по бумажке от рыбаков, от женщин или от членов Оссоавиахима, а потом чтобы все проголосовали и «взяли повышенные обязательства». Это тоже было. Выступали, голосовали. Но главное было в другом: мы стояли рядом и все были молодые, здоровые, крепкие. Клялись защищать родину. Я тоже выступал и тоже клялся защищать ее до последнего дыхания. Говорил правду. Но никто из нас тогда

не думал, что так и придется воевать — до последнего дыхания. Недолго после этого ловили дельфинов. В начале августа наши катера объявили вспомогательными военными судами и передали Черноморскому флоту.

Быстро, говоришь, понадобились? Ха! Немец пёр еще быстрее. Фронт был под Одессой и останавливаться, похоже, не собирался. По радио уже не передавали: «И со скорою победой возвращайся ты домой». На скорую рассчитывать не приходилось.

В двадцать четыре ноль-ноль снялись с якорей и взяли курс на Севастополь. Прощаний и проводов не было. Просто утром матери и жены пришли на причал, а там никого нет. Перед тем, как спуститься в машинное отделение, я еще раз глянул на Ялту: на себя не похожа — ни огонька, ни звука... Про дорогу говорить не буду — любой может расписать на словах все мысы от Ай-Тодора до самого Херсонеса и маяки, что стоят на мысах. На дороге той всегда полно и белых пассажирских теплоходов, и разных грузовых корыт. Бойкая дорога. Но во время войны маяки были погашены, и мы тоже шли без огней. Осторожно, как через кладбище. На рассвете без всяких приключений ошвартовались в Южной бухте. День прошел спокойно, а ночью...

— Не надо, — попросил Кузьма Парфентия.

— Это правильно, — согласился тот. — На словах про бомбежку все равно не расскажешь. Кто попробовал, сам все поймет, а кто не знает, пусть лучше с тем и остается... На третий день устроили нам смотр. Собралась целая флотилия — рыбаки из Феодосии, Керчи, Ялты, Евпатории. Похоже было, что пошлют нас под Одессу — там шли самые серьезные бои. Кой-кому это не понравилось, стали волынить: моторы, мол, изношены. А дело было не в моторах, а в совести. Моторы у всех были одинаковые. Две наши ялтинские команды тоже смылись домой «ремонтировать моторы». Только мы их и видели. Встретились уже после войны. Поначалу они вроде бы смущались, а потом — будто ничего и не случилось. Чудно!

А мы готовились идти на Одессу. Как готовились! Набрали тряпок да настрогали колышков, чтобы пробойны затыкать. Мне все не верилось: неужто понадобятся эти колышки? Еще как понадобились! Оружия у нас не было, одежда рыбацкая, своя, катера разнотипные, с облезшей краской... «Цыганский табор», — сказал начальник, который проводил смотр. Командирами к нам назначили кадровых военных, так они вроде бы даже стыдились, что приходится командовать такими лаптями, как наши корабли. Да и мы хороши: в струнку не тянулись, по боцманской дудке из кубриков пуль не вылетывали — сказано: рыбаки.

Как-то вечером приняли груз, ночью подняли якоря и взяли курс на Одессу. Немцы к тому времени боговали в воздухе, как хотели. Налетели они на нас во время перехода среди бела дня и начали развлекаться. То на бреющем полете поливают из пушек и пулеметов, то начинают пикировать и бросать бомбы. Старший лейтенант — командир нашего катера — даже позеленел от злости: «Как на учениях. Тема занятий: поражение с воздуха движущейся цели...»

А нам даже отмахнуться нечем, разве что пистолетом ТТ старшего лейтенанта.

На катерах вспыхнули пожары, кое-кто тут же пошел на дно. Нам повезло — прорвались, уцелели, но деревянный корпус стал похож на сито. Тут-то игодились колышки да тряпки. Что говорить, голь на выдумки хитра. Я только успевал вертеться. За машиной глаз нужен, и пробойны то в одном, то в другом месте фонтанчиками брызжут.

Про Одессу говорить не буду. Картину мы там застали жуткую. Город был в огне. Особенно доставалось от обстрелов и бомбежек порту.

Разгрузились, тут же приняли на борт раненых и ночью снялись. До чего же обидно было так вот ночью, на цыпочках пробираться по родному морю! Дожили... Когда наступало утро, ему были не рады. Вот какая жизнь пошла.

Днем на траверзе Тендры нас снова перехватили самолеты. Мы сразу, как тараканы, расползлись по морю, но все равно досталось. Нам плохо, а еще хуже раненым, которых взяли в Одессе. Это ж только представить нужно: у того руки нег, у того ноги, у того грудь прострелена, а этот без глаз. И все вместе заперты в трюме. А вокруг рвутся бомбы, палубу и надстройки прошивают пулеметные очереди. Волны кидают катер, как хотят. А тут дымом запахло — на корабле начался пожар. В трюме — стон и крики. Кто-то хватается за ступеньки трапа, пробует выбраться наверх... Представляете? Только его, слепого или безногого, на палубе не хватает... Старший лейтенант спустился в трюм, сказал: «Лежите смирно. Что бы с катером ни случилось, мы вас не бросим. Спасаться или тонуть будем вместе». На этот раз мы выжили, доползли до Южной бухты. А старшего лейтенанта пришлось сдать в госпиталь: уже на подходе к Севастополю он был тяжело ранен.

Два дня заделывали дырки в корпусе, а после этого — второй рейс в Одессу. Последний. В середине октября город сдали. Каждому было ясно, что теперь немцы навалятся на Севастополь. Так и получилось...

— Ты за Пригулу хотел рассказать... — напомнил Парфентию кто-то.

— А я за кого? — сказал Пятаков. — За себя, что ли? Так за себя мне нечего рассказывать. Мое дело — хоть кровь из носа, а обеспечить работу мотора. Мы в то время были вроде ломовых извозчиков. Харчи, снаряды, мины, патроны развозили на батарее и в разные бухты. Куда большой транспорт не пройдет — шлют нас. Спать приходилось по полтора-два часа в сутки. И у Вани было то же самое. Только я на «Прибое» служил, а он на «Чкалове». Жизнь была одинаковая.

Как-то «Прибою» приказали следовать в Ак-Мечеть и обратно в Севастополь с заходом в Евпаторию. Ак-мечетские бухточки — одно заглядение. На самом берегу — шашлычная, волны прямо о буфетную стойку разбиваются. Приходится стаканы ладошкой прикрывать, чтоб морские брызги в водку не попали — и так отрава горькая. Но тогда было не до шашлыков. Прибыли на рассвете и сразу стали под погрузку. Вечером взяли на борт несколько бойцов и снова вышли в море. Когда обогнули Тарханкут, далеко впереди увидели зарево. Горела Евпатория. Под утро отдали якорь на рейде. С моря хорошо было видно, как взрывались баки с горючим и дым заволакивал город. А потом налетели «юнкеры».

Мористее нас стоял большой транспорт «Ураллес». На нем было полно раненых. Может, поэтому он и не открыл огонь по немцам? Как же: госпитальное судно, красный крест, международные конвенции... А те, на «юнкерсах», напали на транспорт, как бешеные собаки. За три минуты зажгли, разбили и отправили на дно. Это потом, в сорок пятом, они завыли. А тогда, в Евпатории, был сорок первый и немцам казалось, что само Черное море им по колено.

На нашем катере тоже троих подранило. Не успели обрадоваться, что легко отделались, без убитых, как обнаружилась сильная течь. Пробойна оказалась подводной. Вода быстро прибывала. Хорошо, рейд в Евпатории такой, что если и захочешь утонуть, то не везде утонешь. «Прибой» сел на дно так, что палуба оказалась на поверхности. Но, в общем, погиб катер. На берегу нашлись люди, которые прислали нам шляпку.

А в городе после бомбежки валяются убитые, ковыляют раненые. Тушить пожары некому, да и зачем тушить, когда вот-вот придут немцы. Тут еще кто-то сказал, что Симферополь сдан, а оттуда немцам до нас на танках да мотоциклах часа два хода. Видно, в пути где-то замешкались.

Тошно мне стало, как никогда еще не было... Сели мы на берегу и стали думать. На всю жизнь я запомнил этот военный совет. «Выше пупа не прынешь»,— говорит один. А другой — раненый, из тех, что мы взяли в Ак-Мечети,— добавляет: «Надоело. Драпаем без передышки от самой старой границы».

«Еще бы не надоесть»,— думаю я себе. Вдруг кто-то запел:

И на вражьей земле мы врага разобьем
Малой кровью, могучим ударом...

Противным таким голосом запел. А морячок из кадровых, что прибулдился к нашей компании, затянул свое:

Кони сытые бьют копытами —
Встретим мы по-сталински врага...

Он откусывал хлеб прямо от буханки, и «копыта» у него были не меньше сорок четвертого размера — здоровые парни служили на флоте. А тут еще мужичок из наших рыбаков, который говорил, что выше пупа не прыгнешь, осторожненько сказал: «Кончайте, хлопцы, концерт художественной самодеятельности. Погуляли, попели — теперь пора и по домам». — «Ах ты сука,— говорю ему. — Значит, штыки в землю и пошли по домам?..» А он спокойно так: «Штыки пусть втыкают те, у кого они есть. А ты, если такой умный и больше всех тебе нужно, можешь свой нос в известное место воткнуть...» Поднялся и пошел. И нечего мне ему ни сказать, ни сделать. Даже личного оружия нам до сих пор не выдали. Появись немец — стрелять в него не из чего.

И все-таки выпутались мы из этого пикового положения. Я, нужно сказать, больше всего не люблю сам командовать и когда мною командуют. Ну, просто не выношу, когда на меня кричат, хоть и понимаю, что на войне без этого нельзя. Начальство, между прочим, меня всегда понимало. Может, потому, что и я его понимал? Нужно, чтоб мотор работал, как часы? Пожалуйста: работает. Вот и все мои отношения с начальством. А в тот раз, как я ни вертелся, пришлось самому стать начальником.

Катер наш был затоплен, но на рейде болталось много других катеров. Некоторые держались на плаву, а команды разбежались. Вот я и решил их обследовать. Нашел шлюпку и взялся за дело. Поначалу не везло. На какой катер ни поднимался — все не то. Наконец нашел что-то подходящее. В моторе не хватало форсунки и еще чего-то. Но мне механика не искать — сам механик. Как пела моя дочка: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем и живем». Подремонтируем. Хоть на соплях, а доплывем до Севастополя. Не сдаваться же в плен!

Помощников искать не пришлось. Тут же оказались двое из нашей команды, подошел лейтенант с эсминца, потопленного под Тендрой. Я, правда, этого лейтенанта не знал, да и был он заросший, в грязной фуфайке — совсем не похож на лейтенанта, но я поверил ему, когда он рассказал обо всем. Это ж на наших глазах, когда возвращались с Одессы, потопили тот эсминец. Огня было — жуткое дело!

Подобрались шесть человек. Одни заделывали бак, другие доставали горючее, третьи откачивали воду из трюма, а сам я взялся за мотор. Спешили. Немцы-то только задерживались, а прийти должны были обя-

зательно. Это я теперь знал точно, в чудеса, которых все мы ждали сначала, уже не верил.

Наконец запустили мотор. Настроение сразу поднялось, но нас тут же обстреляли с берега. Чудно... Ладно. Заглушил мотор и решил сниматься, когда стемнеет. А то и правда — днем одинокий катер в море, как блоха на лысой голове: отовсюду его видно.

А пока суд да дело, решил попрощаться со своим старым катером. Море его еще глубже засосало, на палубе гуляли волны, и уже нельзя было различить на носу надпись, которую я сам подновлял белилами во время весеннего (еще в мирное время) ремонта: «Прибой». Хороший был катер. Немало пришлось помотаться на нем по Черному морю за косяками дельфинов. Знал я его от клотика до киля. Сам скоблил рашкеткой «бороду» на его обросшем ракушками и водорослями брюхе, грунтовал суриком и покрывал белилами надстройки. Мотор мог разобрать и собрать с закрытыми глазами. Да что говорить — любой моряк поймет, что я тогда чувствовал.

Ушли мы. Да не одни — человек шестьдесят солдат и матросов взяли на борт. Для нас это было много: погода стала портиться, свежел встречный ветер. У меня в машине и в трюме прибывала вода. Помпа забарахлила — пришлось вычерпывать ведрами, котелками, чуть ли не фуражками.

Ночь темная. Шли без огней. Зато Севастополь увидели издалека — в полгоризонта пожары...

С катера, что пригнали мы из Евпатории, перевели меня на одесский «Тайфун» — тоже рыбацкое судно. Поработали мы на нем в Севастополе, а потом команда: «Прорываться!» Рыбаков свели в особый отряд, которым командовал капитан-лейтенант Корнеев. Были там и «Тайфун», и «Чкалов», на котором служил Ваня Притула, и другие суда. Для маскировки катера обвешали рыбацкими сетями. Вышли ночью. Курить запрещено. Иллюминаторы машинного отделения закрыли светонепроницаемой бумагой. Всю ночь и до двух часов следующего дня шли в открытое море. Хотели затеряться.

Поначалу все было вроде хорошо. На море, правда, к тому времени творилось черт те что. Как на танцах в поселковом клубе: толкают со всех сторон и не поймешь за что. Совестно даже говорить — не шторм, а настоящая буря. Команда идти кильватерным строем, а какой тут строй, когда катера раскидало, как щепки. Мы держались было «Чкалова», а потом потеряли.

Конечно, с другой стороны, это хорошо, потому видимости никакой, а самолетов мы боялись больше, чем погоды. Но опять-таки крен не раз доходил до критического. Того и гляди положит на борт, накроет сверху, и поплывем мы дальше на обломках, как те чудаки на картине художника Айвазовского, которую я видел до войны в Феодосии, в галерее.

Потом видимость улучшилась, но нам от этого не полегчало: появились самолеты. «Эх, мама! Сейчас начнется», — подумал я. И точно — началось. Не буду говорить про наш катер. Мне ребята с «Чкалова» рассказывали, как их угощали, а с нами было то же самое.

Началась бомбежка. Потом самолеты снизились и принялись расстреливать катера из пушек и пулеметов. После первого захода на «Чкалове» был тяжело ранен Александр Суховеев. Его отнесли в кубрик. Потом тяжело ранило Ваню Притулу. Пуля попала ему в глаз и на выходе разворотила шею. Не знаю, где у него взялись силы, только Ваня спустился в кубрик сам. Весь трап залил кровью. Обмотал голову полотенцем — не помогает. Тогда он взял простыню — и она вся намокла от крови. Пока были силы. Ваня держался на ногах, от боли не мог ни лежать, ни сидеть на месте. Мотался по кубрику, вспоминал жену и

дочь, видно, понимал, что смерть приходит. Это уже потом мне Сашка Суховеев рассказывал. Были и еще раненые, но полегче. Те остались на местах.

Немцы пошли третьим заходом. Решили во что бы то ни стало уничтожить катер, перебить команду. А нам, между прочим, с самого начала приказали огня по самолетам не открывать. Начальство думало, авось за гурецких рыбаков нас примут. Не прошел номер. Тут мичман, старшина «Чкалова», видит, что спасения нет, что раненых уже половина команды. И приказал открыть огонь. А оружие — винтовки и один пулемет... Радиста-пулеметчика сразу убило. Старшина стал вместо него и приказал зажечь в трюме мазут. Мазут наливали в противни, в ведра, во что только можно и тут же зажигали. Повалил черный дым и окутал катер. А тут и вечер настал.

Самолеты улетели. На «Чкалове» потушили огонь и пошли на Батуми. Начали оказывать помощь раненым. Суховеев лежал на койке и сильно стонал. У Вани Притулы вся голова была обмотана окровавленными тряпками. Он никого не узнавал, но еще держался на ногах. Потом свалился, сказал тихим голосом: «Прощайте, товарищи» — и скончался.

Похоронили Ваню Притулу по морскому обычаю. Завернули в брезент, привязали к ногам груз и опустили на дно морское.

Только узнал я об этом после. А в ту ночь мы хоронили своих убитых и перевязывали своих раненых. Под утро казалось, что пришел конец «Тайфуну», а вместе с ним и нам. Вода в трюм прибывает, пробоины в темноте обнаружить не можем, помощи ждать неоткуда, шторм не утихает. Кругом одно море, и просто не верится, что на всем свете есть еще что-нибудь, кроме нашего катера, который вот-вот пойдет на дно.

Продержались все-таки до рассвета. А там обнаружили и заделали пробоины, а потом море начало успокаиваться, а в полдень открылся берег.

Вечером отдали якорь, и старшина разрешил команде по очереди отдыхать. Не спал только мой помощник Вася. Он заменял кока. Хороший был парень и жизнь понимал правильно. Это когда смерть рядом, людям не до еды, а отдохнут, отоспятся, выйдут на палубу и потребуют первое, второе и компот на третье. Так оно и получилось...

В стаканы разлили остатки, и Парфентий сказал:

— За светлую память Ивана Пантелеевича Притулы. Хороший был человек.

А когда выпили, добавил:

— Очень я интересуюсь все-таки тем человеком, который Ване тогда ордена не дал. Только разве его, паразита, найдешь, узнаешь?..

2. Столичный город Керчь

Как по-разному складываются судьбы городов! Об одних пишут, говорят, поют песни и даже сочиняют вальсы. Они всегда на виду. А другие живут себе потихоньку, вкальвают без громких юбилеев и чествований. Есть такие города-работяги. Один из них — Керчь.

Удивительна история этого города. Некогда на его месте стояла знаменитая в древности Пантикапея — столица Боспорского царства. Она простиралась на двадцать стадий, имела прекрасный порт и верфи. Ее называли «матерью милезийских городов». Было дело. Сейчас об этом напоминает только название горы — Митридат.

Потом на этом месте был древнерусский Корчев, упоминаемый еще в надписи на Тмутараканском камне. Был, да сплыл.

Когда-то в самом узком месте пролива (в древности он назывался Боспор Киммерийский) стояла первоклассная крепость. Кое-что от нее сохранилось и в наши дни.

Крым повезло и в истории новейшего времени. Когда вспоминают о гражданской войне, всегда говорят о Перекопе, заходит разговор об Отечественной — сразу на ум приходит Севастополь. Но рядом с ними должна стоять Керчь: здесь пролито крови не меньше.

Так думаем не только мы с Парфентием Пятаковым. Спросите любого из тех, кто участвовал здесь в морских десантах, разузнайте о жестоких подземных боях гарнизона Аджи-Мушкайских каменоломен (почти никого из участников этих боев не осталось в живых), побывайте в голых степных селах, где кладбищ больше, чем колодцев, и вы согласитесь с этим.

Если хотите, Керчь была передовым оборонительным рубежом Севастополя. Пала Керчь — пришлось оставить и Севастополь.

О том, к а к пала Керчь, в свое время вообще не вспоминали. А почему? Разве солдаты и матросы не проявили здесь храбрости? Разве не готовы они были стоять до конца?

Но для того, чтобы сдать полуостров, его нужно было сначала захватить...

— Что я тебе скажу о десанте?.. Хуже этого приключений не бывает. Никому не пожелаю. Они на берегу. Под ними земля. Спрятались в дотах, дзотах, окопах. У них пушки, пулеметы, прожектора. Бросили в небо ракету — спешит помощь. А нам откуда придет помощь?..

(Все, что когда-либо происходило с ним, Парфентий называет приключениями. Поначалу это слово звучало неожиданно и странно, а потом я и к нему привык. Приключения так приключения.)

...Суди сам. Строители и сейчас не хотят брать песок на берегу в местах, где высаживались десанты. Почти в каждом ковше экскаватора — человеческие кости.

Долго еще море выкидало на берег ребят. Черная шинель — моряк, серая — пехота...

А ты думал как? Вода ледяная, прибой мотает тебя из стороны в сторону. Берег крутой, бьют с него так, что в глазах красно. Даже если легко ранят — не выберешься. Ни залечь, ни укрыться, ни отползти — весь на виду...

(К середине ноября сорок первого года немцы захватили весь Крым, кроме Севастополя. Но на море мы были все-таки сильнее, а раз так — значит, снова можно попробовать высадиться на полуострове.)

Захватить Крым, деблокировать Севастополь, а там, если удастся, нанести удар в направлении Южной Украины... — наверное, так представлялся кому-то ход этой операции.

Не будем почти четверть века спустя стучать кружками по столу и размазывать пальцами лужицы по клеенке, показывая направление возможных танковых ударов, но, ей-же-богу, замысел был смелым и осуществимым.

Силенок у нас, правда, было маловато. В пролив, к Таманскому полуострову, который стоит нос к носу с Керченским, стягивались суда. Пожаловал на своем «Тайфуне» и Парфентий из Новороссийска. Судов не хватало. Из рыбаков создали отряд сейнеров.)

...Да, весь на виду. Кидает тебя, как поплавок от удочки-закидушки. Погода доходила до восьми баллов. В такой шторм сидеть бы на берегу, а мы днем и ночью — к Камыш-Буруну, Эльтыгену, Старому Карантину.

К берегу не подойдешь — разобьет о камни, — и ребята прыгали прямо в воду. А какой она была в декабре сорок первого, кое-кто еще, наверное, помнит.

Катеров было много, а убитых и раненых еще больше. О прикрытии с воздуха говорить не приходится: сорок первый год!.. Зато немцы снарядов и бомб не жалели. Прямо на наших глазах потопили буксир, который тащил большую баржу, а потом в упор расстреляли и саму баржу. На ней было не меньше двух тысяч бойцов.

А сколько раз приходилось захватывать одни и те же плацдармы! Высадим ребят, они сразу — кто жив остался — уходят вперед. Приходим следующим рейсом, а на берегу опять немцы...

По-настоящему дрогнули они под самый Новый год, когда флот высадил десант в Феодосии. Вот это сделали красиво. В прикрытии пошли крейсера и эсминцы.

Думаешь, я не понимаю, что все эти наши «отряды сейнеров» были не от веселой жизни? Конечно, рубля без копейки не бывает, мы тоже кое-что можем, но не сравниться же с настоящими военными кораблями...

В Феодосии корабли прорвались прямо в гавань. Морская пехота высадилась на пирсы и захватила порт. После этого начали выгружаться армейские части...

(Мне хочется перебить Парфентия: а знает ли он, что творилось в то время у немцев в тылу? Нужно будет когда-нибудь свести его с Северским — есть такой отличный человек, бывший командующий партизанским соединением, — он ему расскажет, как удирали немцы в одном нижнем белье в ту новогоднюю ночь, как по тревоге был прерван бал в офицерском клубе в Симферополе, как всю ночь шоферы прогревали моторы генеральских лимузинов.)

...Поначалу все получилось красиво, только надолго пороха не хватило. Не пойму даже, как это случилось. Видно, не привыкли мы в то время наступать. Тут уверенность нужна, даже нахальство, а мы дали немцам очухаться, собраться с силами. Пришлось оставить Феодосию. Отошли к Дальним Камышам.

А все-таки Крымский фронт стал большой силой. До Севастополя, казалось, рукой подать.

Катер наш был к тому времени так измордован, что живого места не оставалось. Еле-еле доползли до Новороссийска и стали на ремонт. Спешили с ремонтом страшно, я из машины не вылезал — как же, идут бои за Крым!

Вернулись наконец в Керчь. Работа нам досталась прежняя, севастопольская: перевозить боеприпасы, продовольствие, раненых. Несли дозорную службу.

Помню, идем как-то из Камыш-Буруна в Дальние Камыши. Ветер от норда, палуба, надстройки, снасти обледенели. Люки и двери закрыть нельзя — потом не откроешь, сразу замерзнет палец на четыре льда.

Еще в проливе навстречу попался катер «Дельфин». Там служили много моих товарищей и хороший друг Петя Зязев, с которым до войны работали в одной бригаде. Я попросил старшину остановиться: когда еще, мол, увидимся. А не виделись мы давно. Старшина побурчал: можно, дескать, подождать до возвращения из рейса, но остановился. «Дельфин» подошел к нам и тоже застопорил мотор.

Поговорили несколько минут, порасспросили, какие с кем были приключения, обнялись с Петей и пошли каждый своим курсом.

«Дельфин» шел из дозора на отдых. Но это только считалось — на отдых. В дозоре было лучше. Самолеты налетают редко, все время, правда, бьют по проливу из орудий, но бьют по-дурному, неприцельно,

и мы к этому привыкли. А вот когда попадешь на отдых в Керчь, то переживешь за сутки не меньше двадцати бомбежек. Нет, уж лучше все время быть в море.

Так вот, «Дельфин» шел из дозора. Не успели мы отойти друг от друга и на полмили, как раздался сильный взрыв и поднялся огромный столб воды. «Дельфин» подорвался на mine.

Мы развернулись и побежали обратно, но спасать было некого. Мина эта рвет броню крейсера, а тут какой-то деревянный катер... На поверхности плавали шепки да спасательные круги. Так погиб мой друг Петя Зязев и с ним вся команда «Дельфина».

Вернулись мы в Керчь, стали под погрузку. На бомбежку старались не обращать внимания. Не у всех это, правда, получалось, некоторые и с ума сходили, а большинство думало: двум смертям не бывать, а одной все равно не миновать. О себе не побоюсь сказать, что смотрел смерти в глаза прямо. Не потому, что от рождения такой уж смелый, а просто понимал свой долг, привык уважать людей и видеть к себе уважение. А это на войне добывается известно чем.

Погрузились мы первыми, и старшина пошел попросить начальство, чтобы разрешили погонять вшей — заедали, твари. Нам дали два часа. Разделись — кто скинул тельняшку, а кто и кальсоны. Ребята устроились в кубриках, а я пошел на палубу: день выдался теплый, солнышко пригревало.

Только принялись за работу — начался новый налет. Самолеты стали делать заход. Один чуть откололся в сторону. Глянул я на него и подумал, что вроде бы наш катер ему особенно не понравился. Точно. Пикирует прямо на нас. Я прыжком — в машинное отделение. Слышу — воет. Потом как рванет, и весь катер со страшной силой затрясло.

На «Тайфуне» начисто снесло надстройку, а несколько катеров рядом тут же пошли на дно. Трюм заливало. Мы бросились заделывать пробоины, да куда там: минут через десять катер затонул. Можешь себе представить, как мы в одних подштанниках дрожали на причале. Зато живые.

Куда деваться? Двоих из нашей команды отправили в Новороссийск, остальных рассовали по частям и кораблям. Я получил назначение на другой катер и в ту же ночь отправился в дозор. Было это, как сейчас помню, в апреле тысяча девятьсот сорок второго года. Как я оказался снова на берегу — ей-богу, не знаю. Рвануло наш катер на mine. Уже потом узнал, что из всей команды уцелело два человека. Кто нас подобрал, когда, как — тоже не знаю. Очнулся я в госпитале.

Оглох, из носа текла кровь, голова тряслась, но жаловаться не приходилось: ясно было, что мне еще повезло. Я ж говорил: после таких взрывов от наших катеров оставалось только пятно мазута — остальное забирало море, оно ничем не брезговало.

Хотели меня отправить в тыл, да я стал проситься, чтобы оставили. Какой тыл, когда в наших руках половина Крыма и идут разговоры о высадке десанта в Ялте, а там моя семья!..

Через неделю я сбежал из госпиталя и получил назначение на катер, где не хватало команды. Катер был побитый, мотор — ни к черту, о десанте нечего и мечтать. Я очень переживал из-за этого.

Только и разговоров было вокруг что о наступлении. Ждали его с нетерпением. И вдруг что-то будто лопнуло. Числа десятого я узнал, что немцы еще восьмого мая потеснили нас кое-где и продолжают наступать. Я не особенно поверил: не хотелось верить. А четырнадцатого мая они подошли к Камыш-Буруну и начали обстреливать из орудий и минометов пролив. Тут уж если и не хочешь, то поверишь — мины рвутся рядом.

Понять ничего было невозможно. Только что собирались наступать — и вдруг драпаем. Фронт трещит, связи нет... Ничего я не видел страшнее. На пятачке сбились три армии, позади море, все рвутся на ту сторону пролива, а он хоть и узкий, да широкий — несколько километров. Не всякий переплывет. К тому же зима была суровой, и вода в начале мая была ледяная. А немцы молотят и молотят...

В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое мая в сильный туман мы перевезли штаб через пролив, в Тамань. Шестнадцатого начали эвакуацию раненых. Немцы к тому времени подошли к Камыш-Буруну и заняли высоты, откуда весь пролив как на ладони. Бьют по нам из пушек с Митридата...

В крепости и особенно в Еникале — многие тысячи людей. Все хотели на ту сторону, спешили на переправу, а ее ж фактически не было.

Ну что мы могли сделать на своих катерах! Только кое-кого выхватили из огня и переправили на косу Чушку или в Тамань. Сначала брали раненых, а потом раненые уже не могли добраться.

Кто-то свалился в воду и не может вылезти, кто-то просит добить его, а кто-то уже сам застрелился.

Самолеты висели над проливом черной тучей.

Не успеет катер носом приткнуться к берегу, как на него будто лавина обрушивается. Подходя, мы отдавали якорь с кормы подальше, а то и катер перевернут.

Плывут на досках, ящиках, бочках, автомобильных камерах. Гибнут на наших глазах, а помогать одиночкам не имеем права: нельзя терять ни секунды. Только один раз сделали исключение. Было это так.

Загрузились в Еникале под самую завязку. Взяли человек семьдесят. Идем на Чушку. И самое страшное: ветер с Азовского моря гонит прямо к Камыш-Буруну, где немцы уже поставили на берегу и пулеметы и минометы — развлекаются. И вот видим: впереди по курсу плывет на плотике человек. Он звал на помощь страшным голосом, а когда увидел, что мы собираемся пройти мимо, достал из кобуры пистолет и приставил к виску. Я понял: застрелится, как только мы пройдем.

Не выдержал я — попросил нашего старшину подобрать его. А это строго запрещено. Да оно и понятно. Чтоб подойти к нему и поднять на борт, нужно несколько минут. А таких сотни. А на берегу ждут многие тысячи. А катер может сделать за день не больше десяти рейсов. А катера все мелкие, рыбацкие, крупных судов нет. И с каждым часом катеров этих становится все меньше.

Уговорил я старшину. «На твою ответственность», — говорит. Я понимал, что говорит он для отмазки, но понимал и другое: за невыполнение приказа могут и шлепнуть.

Все дело заняло минуты две. Это оказался старший лейтенант. Раньше чем подняться на катер, он бросил нам три тяжелых мешка. Уже на берегу мы узнали, что в них были деньги. Сколько миллионов — не знаю. Жалование для целой армии. Старшина выругался: лучше бы вместо этих мешков еще одного человека взяли.

Так продолжалось пять дней. Мы не ели, не спали, никто нас не подгонял, не давал ценных и особо ценных указаний. Обходились как-то без них. Нам говорили: «Родненькие, спасайте, кого можете. Родина вас не забудет».

А нам и этого говорить не нужно было. Сердце обливалось кровью, стоило глянуть, что творится на керченском берегу.

Двадцатого мая все было кончено. Наш берег молчал, а на том праздновали победу. В листовках немцы писали о тысячах пленных и богатых трофеях, рисовали на карте Крыма наш фронт, перечеркнутый жирным крестом, хвалились, что и с Севастополем сделают то же.

На душе было паскудно. Ясно, что теперь они попрут еще дальше. Так и получилось. Только не знали они, что в конце этого же года в глубине матушки России их ждут Сталинград и очень невеселая жизнь на Северном Кавказе. Однако не знали этого и мы, когда подошли в Тамани к разрушенной пристани, отдали с кормы якорь и бросили конец прямо на берег.

Первый раз за эти дни вышли на берег. Смотреть друг на друга было страшно. На бушлатах корка крови: раненых нам самим приходилось выносить с катера на причал. И своей крови на бушлатах хватало.

Прибежал посыльный: вызывают в штаб. Думали, за чем серьезным: отругать или что-нибудь посоветовать. Нет, объявляют благодарность: «За самоотверженность и стойкость, проявленные в эти трудные дни, вы представлены к правительственным наградам...»

Вроде бы мы никого за язык не тянули, сами ничего не просили и не требовали, но, раз было обещано, скажи мне: где они, эти награды? Потом, за другие дела, получили мы и ордена и медали, а этих так и не увидели.

...Про катер нам сказали: «Чем рисковать из-за такого корыта, лучше разгоните его и — носом в берег...» Оно и правда, вырваться через пролив в Черное море было теперь трудновато. Но за катер я обиделся: так сразу, за пять минут, он уже и корытом стал... А мы на нем спасли не меньше трех тысяч своих товарищей. Может, он и в будущем пригодится. Или больше десантов не будет? Или мы не собираемся Крым назад отвоевывать?

Не стали мы гробить катер, прорвались через пролив. О главном фарватере нечего было и думать — его немцы закрыли для нас. Оставался единственный выход через промоину, что отделяет косу Тузлу от материка. Она тоже обстреливалась, но рискнуть можно было.

Начали приводить катер в порядок. Знаешь, как в старину солдаты перед боем передевались во все чистое?.. Так и мы. Выдраили палубу, смыли с нее кровь и грязь, я провел ревизию мотора. Оставалось ждать ночи потемней.

Часов в одиннадцать снялись с якоря. То ли выдал стук мотора, то ли немцы держались настороже, только на подходе к промоине поймали нас прожектора. «Ну, думаю, теперь начнется гавкотня...» Точно! Лупили они по нам из пушек, как хотели, а прямого попадания — ни одного. Спасение было в скорости и маневре. Спасибо мотор не подвел, отблагодарил, умница, за все заботы.

Опомнились мы, только когда катер запрыгал на свежей черноморской волне. Крымский берег было видно по заревам: в Керчи горело что-то. Наверное, каждый в ту минуту подумал: когда-то мы вернемся сюда?

...Вот ты говоришь: «Пантикапея, Тмутаракань...» А для нас Керчь всегда столицей оставалась. Главный рыбацкий город на Черном море. Я сам начинал здесь. Да что вспоминать — давай лучше перекурим это дело...

Я достал сигареты, но Парфентий пренебрежительно отмахнулся от них. Он курит папиросы «прибой»: и название как-никак морское, и крепче, и стоят дешевле...

3. Не «что», а «кто»...

— Он что — Герой Советского Союза? Адмирал? Закрыв грудью амбразуру дота? Бросался под танк?

«Не «что», а «кто», — подумал я.

Меня даже не разозлили эти вопросы: спрашивал человек, который

родился-то перед самой войной. Просто он многого не понимает. Я повторил:

— Ты угощайся рыбой.

Этих лобанов принес накануне Парфентий. Чтобы предупредить возражения, он с порога сказал:

— Сыну юшку сварить. Он как — здоров уже?

Юшка из лобанов получается — высший класс, и я не стал артачиться. А теперь вот угощаю другого:

— Ты пробуй. Вкуснее кефали рыбы нет.

Машет рукой: не видел, мол, я твоей кефали...

А в самом деле — что я скажу ему о Парфентии? Никем он не стал. Начал матросом, закончил матросом. Просто провоевал всю войну. Почти от звонка до звонка. Остался жив: повезло.

Внешность самая обыкновенная. Грубые кирзовые сапоги с отворотами. Черные хлопчатые штаны, с напуском заправленные в эти сапоги. Стеганая, забрызганная рыбьей чешуей и машинным маслом телогрейка. Чуть сдвинутая набекрень шапка. Лицо худое, со складками на впалых щеках. Выцветшие на солнце, ставшие голубоватыми глаза. Щупловат. Невысок. Неожиданными кажутся большие, сплошь покрытые коркой мозолей ладони с толстыми пальцами. Солярка навечно въелась в поры и трещины на них.

А почему, собственно, я должен рассказывать этому парню о Парфентии — будто оправдывать в чем-то самого Парфентия и себя? Его — в том, что не стал Героем и адмиралом. Себя — в том, что пишу о такой обыкновенной личности...

— Ты лучше кефаль пробуй. Видишь, как мясо само отделяется от костей. А потом заьем.

Не хочет. Ну, и шут с ним.

Можно бы и так сказать: ты бы посмотрел на него... Но у Парфентия внешность самая обыкновенная. Да и жизнь тоже. Так по крайней мере считает сам Парфентий, а ему-то виднее.

И все-таки хочется, чтобы этот парень понял, почему я подружился с Парфентием, почему люблю посидеть с ним, покалякать, раздуть бутылку вина.

Помню, он рассказывал, как его принимали в партию. Было это в конце сорок второго года в Геленджике. Время самое страшное. Немцы подошли к Сталинграду, а на Кавказе — к Грозному. Видно, из последних сил они поднялись на перевалы и нависли над побережьем. Захватили Туапсе — многое было бы решено и потеряно, а для этого альпийским стрелкам оставалось продвинуться еще на каких-нибудь двадцать километров.

В это время к Парфентию и подошел политрук Самарский.

— Что вы думаете, товарищ Пятаков, о вступлении в партию?

— Ничего не думаю, — ответил Пятаков.

По-видимому, политрук был обескуражен, потому что начал что-то объяснять и доказывать. А Парфентия агитировать за советскую власть не нужно было — он «не думал» совсем по другой причине.

— Я малограмотный — это раз, речей говорить не умею — два...

С его точки зрения это были веские причины, а он — человек гордый и не хочет быть балластом.

Разговор был долгим, и только когда Парфентий Пятаков понял, что в нем нуждаются, что дело сейчас не в способности произносить речи, а в умении стоять перед немцами насмерть и не пустить их дальше, он сказал: «Согласен». В нем нуждались, и он пришел.

...Его протесты против того, что кажется несправедливым, иногда наивны, но он мне мил и этим.

— В самый неподходящий момент, когда вытаскивали под обстрелом суда из Новороссийской гавани, ранило меня осколком в левую ногу ниже колена. Только завели буксирный конец на баржу — разорвался снаряд. Конец пополам, и меня в ногу. Нужно задний ход давать, конец снова заводить, а тут кровяшка хлещет. Справился с собой, полсуток еще терпел: а что сделаешь, если на катере не обойтись без механика? Потом, когда отнесли в госпиталь, все просил врачей не отрезать ногу. После операции очнулся в каком-то помещении. Рядом тазы стоят с отрезанными руками и ногами. Проверил: моя левая на месте. Легче стало. Больше месяца был я в госпитале в Геленджике. Отлежался, стоспался, заковылял на костылях. Уход за ранеными у нас был хороший, помещения чистые, палата на четверых. «Здорово», — подумал я. А потом из морского госпиталя забрел в бараки, где лежала пехота. Бараки большие, раненые лежат покато — теснота, грязь... Вот ты скажи — тогда я не мог этого понять и сейчас не понимаю: почему окопы для всех одинаковые, а госпиталя разные, почему пули для всех опять-таки одинаковые, а курево разное. Почему?.. Посмотрел я на эти бараки — и совестно мне стало оставаться в своем хорошем морском госпитале. Хоть рана и не совсем еще зажила, выписывайте, говорю. Выписали.

...О некоторых людях говорят: «Прирожденный боец». Говорится это с похвалой, звучит как комплимент. О Парфентии так не скажешь. Он прирожденный трудяга, не любит драк и потрясений. Он из тех токарей, пекарей, бухгалтеров, трактористов, каменщиков, что становятся бойцами лишь по необходимости. Ловил рыбу, потребовалось — пошел на войну. Сейчас снова ловит рыбу.

Военная и морская романтика прошли как-то мимо него. И то и другое обернулось всего лишь работой, опасной и тяжелой. Вот и сейчас. Поскущел город без рыбаков. Одни «уродуются» где-то на тюльке. Мы даже точно не знаем, где они: в Керчи, в проливе или пробиваются вслед за ледоколом в Азовское море?

Фелюга Парфентия осталась дома. И здесь не мед. Каждую ночь выходят с обкидными сетями на кефаль. Вода ледяная, погода неважнецкая, неводовыборочной машины на фелюге нет — сеть приходится по старинке выбирать руками. А в ней, капроновой этой сетке, без малого полкилометра.

Нет, никакой он не «прирожденный боец» — просто рабочий человек.

— Вот и говорят нам: «Плывите прямо к черту в зубы». Приказ начальника — закон для подчиненного. Отвечай: «Есть», через левое плечо кругом и топай выполнять... Такая жалость была смотреть на этот лидер «Ташкент»! Красавец корабль. Долго немцы охотились за ним, пока не накрыли. Потопить не смогли, а покалечили здорово. На буксире приволокли его в Новороссийск и поставили под элеватором. Там ему и конец пришел — добили. Когда мы уходили из Новороссийска, «Ташкент» лежал у стенки элеватора полузатопленный. Народу погибло на нем — страшное дело. И вот месяца через два команда: снять оттуда какие-то секретные и особо ценные приборы. Вспомнили! Объяснили, где эти приборы находятся и как их снимать, но главное-то другое: как пробраться на корабль? Находится он в глубине гавани, которая захвачена немцами... Вот и получили мы задание Вернуться обратно, по правде говоря, не очень надеялись, но раз нужно — никуда не денешься.

Жались к берегу, шли самым малым. Мотор работал, как часы. Ей-богу, не громче. Мотор, если с ним по-хорошему, все начинает понимать... Дошли до мола, проползли вдоль него и чуть ли не на цыпочках шмыгнули в гавань. Ну, думаем, теперь самое время немцам ударить по нам. Молчат. Вот и хорошо. Опять самым малым, самым неслышным проползли

вдоль причала с внутренней стороны по направлению к цементным заводам. Поворот налево, к элеватору. «Ташкент» скорее угадали, чем увидели.

Старшина приказал мотор не глушить. Я остался один. Остальные перешли на палубу лидера и пропали.

Ночь была очень темной. Где-то далеко в небо шли очереди трассирующих. Звуки выстрелов долетали не сразу. Захотелось курить, хоть помирай. Нельзя.

Шумит море. Моего мотора не слышно. На лидере тоже ни звука. Как в воду канули ребята.

Так прошло часа два. Вернулись наши тоже бесшумно. Переташили груз и тут же снялись. Темпо, как у кита в брюхе. Ползем обратно.

Мы были уже почти у выхода из гавани, когда немцы включили прожектор и стали шарить по воде. Прижались к молу и заглушили мотор. На наше счастье, внутреннюю акваторию порта они освещать не стали. Прожектор погас, и мы шмыгнули за мол. До самой Кабардинки старались не дышать, а там воткнули полный вперед. Когда выскочили за мыс, от радости плясали: унесли ноги.

Вот так и работали, только не было на этой работе профсоюза, который следит за техникой безопасности...

Парфентий делается сентиментальным, когда речь заходит о детях и друзьях. Наверное, каждый из нас встречал в жизни не меньше хороших людей, чем он, но не всякий так запомнил их и с такой охотой говорит о них доброе. Он щедр на самые хорошие слова, когда вспоминает полюбившихся ему людей. Какое значение имеют, скажем, маленькие недостатки Кузьмы Стаценко, если он — катерник, прекрасный человек, знакомый еще с тысяча девятьсот сорок второго года?! А что касается других, то Ваня Притула — лучший бригадир на Черном море, старшина катера Иван Иванович Калинин — преданнейший человек, командир «Ташкента» Ярошенко — справедливейший командир, майор Цезарь Куников — храбрейший из храбрых... Между прочим, так оно и есть на самом деле.

— ...Жорка Притула был ростом поменьше Вани, но тоже богатырь, красавец. На флоте служил. Одним из последних уходил из Керчи: нужно же было кому-то прикрывать отступление... Ночью в ледяной воде переплывал с косы на косу, пробирался на кавказский берег. А встретились мы с ним в Геленджике. Тогда от него смертью пахло. Только что морская пехота — а Жорка был в ней — сшибла немцев с перевалов, сняла с нас петлю. Там дело решала не техника. Солдаты сошлись грудь с грудью, дрались на лесных тропинках, в ущельях. Без конца шли дожди, есть нечего, собирали лесные яблоки, груши-гнилушки, желуди. Единственный транспорт — ишаки. В конце концов и этих ишаков съели. Но немцев отогнали от Туапсе.

Морскую пехоту отвели на отдых. Жорка был бородатый, грязный, опухший, большой. Меня он нашел случайно. Увидел — знакомый катер чешет бока о причал. На носу написано: «БК-6». Только знакомого человека этим не обманешь. На заборе можно писать, что хочешь, — я-то знаю, что это забор. Называй моего друга, как хочешь, — я-то знаю, кто он такой.

Катер был для Жорки знакомый — небольшой, но прогонистый, длинный, в воде сидел глубоко. Какой там БК-6, когда это «10-й съезд ВЛКСМ» из братухиной бригады! Не может быть, чтобы на нем не осталось земляков... И точно — я к тому времени уже служил на этом БК-6. Так мы и встретились.

«А где Ваня?» — спрашивает. Сжалось у меня сердце. Увел его в

кубрик, накормил, напоил: вижу — голодный парень. Потом рассказал все, что знал о Ване.

Месяц был Жорка Притула в Геленджике. Между рейсами виделись. Я чем мог подкармливал его, потом проводил на Малую землю, куда сам ходил почти каждый день. Там его ранило в грудь навывлет. Попал в тот же госпиталь, где раньше лежал я. Выздоровел как раз ко времени штурма Новороссийска.

Было это в сентябре сорок третьего. Мы получили по сто пятьдесят на брата (я пить не стал) и начали грузить пехоту на катера. Часов в одиннадцать ночи запустили моторы.

Было тихо, как никогда. И вдруг все это лопнуло: наша артиллерия открыла ураганный огонь по Новороссийску. Немцы ответили — отвечать им было чем, город и порт они укрепили невероятно. Час продолжалась артподготовка. А потом в глубину бухты ринулись торпедные катера. Своим залпом они должны были расчистить путь для наших десантных судов. От взрывов торпед дрожала вся бухта, взлетали в воздух целые участки мола. И тут пошли мы с морской пехотой на борту.

Уже потом я где-то читал, что по десантным судам било сто немецких орудий. Не обошлось без давки. От ракет, разрывов, пожаров стало светло. Только как нам ни трудно, десантникам еще трудней. Бои шли на улицах города горячие. В одном из них Жорка Притула кинулся с гранатами под немецкий танк — другого выхода не было. Вот какой человек был. Видел бы ты его — богатырь, красавец... А в мирной жизни мухи не обидит. Они, Притулы, все были рассудительные, спокойные... Какие ребята в войну пропали!.. Какие ребята...

— А кефаль и верно — высший класс. Ради такой рыбки и я согласен сеть тянуть...

Я промолчал. Не начинать же новый рассказ о том, что в жизни приходится тянуть сеть не только ради такой рыбки...

4. Серые перышки на палубе

Хорошо быть королем: он может предложить полцарства за коня. Рядовым кавалеристам в таких случаях приходится просто идти в пехоту. Но в пехоту идут не только кавалеристы, оставшиеся без коней. В минувшую войну пехотинцами становились моряки с потопленных кораблей, танкисты и летчики, у которых были подбиты танки и самолеты. В том случае, конечно, если сами они оставались живы. Чувство горькой потери при этом, видимо, неизбежно. Никому не хочется в пехоту, хоть она и царица полей. И дело не только в том, что первым делом в пехоте приходится осваивать сложное искусство пеленать свои ноги трехметровым голенищем — обмоткой. Почему-то все считают себя выше пехоты...

Я распространяюсь на эту тему с легкой душой, потому что никогда не испытывал этого чувства потери: с самого начала был в пехоте. И «комплекса неполноценности» из-за этого я тоже не испытывал, хотя и щеголял в голубых обмотках.

Парфентий — один из немногих представителей других родов войск, которые к пехоте относятся без пренебрежения, и за это я тоже люблю его. А он имел немало шансов угодить в число моих братьев: безлошадным оставался шесть раз и запасной половины царства у него не было. Добрая половина Европейской России была под немцем. Это уже без шуток.

Да, мы как-то подсчитали: за время войны он служил на шести катерах. Из них один подорвался на mine, два погибли от бомбежек. Самым счастливым из катеров был гот самый БК-6, на котором Парфен-

тия нашел Жорка Притула. Я не удивляюсь тому, что экипаж БК-6 числился среди лучших экипажей: Парфентий и сейчас работает в бригаде, которая считается передовой.

Мы подсчитали так же, что только на Малую землю этот катер совершил сто семнадцать боевых рейсов. Собственно, подсчет был произведен раньше: после каждого рейса Парфентий ставил палочку на переборке у себя в машинном отделении. Первую он поставил в ночь на 4 февраля 1943 года, когда высаживал у Станички десант под командованием Цезаря Куникова, а последнюю поставил в сентябре после взятия Новороссийска. Сейчас мы только вспомнили об этом.

В зависимости от характера можно сожалеть или радоваться тому, что не попал в опасное дело. Но так или иначе куниковский десант — одна из самых героических и в то же время одна из самых кровавых страниц в истории минувшей великой войны. Здесь были совершены удивительные подвиги, лишь немногие из тех, кто высаживался той февральской ночью вместе с Куниковым на западный берег Цемесской бухты, остались живы. Сам Куников получил звание Героя Советского Союза посмертно.

А все началось, вспоминает Парфентий, с того, что почти каждый день на Тонком мысе можно было наблюдать не совсем обычные учения. Бойцы прыгали со шлюпок, а иногда просто с берега в море, преодолевали прибой, и все это в полной боевой выкладке. Было тепло, и со стороны это выглядело смешно. Но начались холода, а тренировки продолжались. Каждому было ясно, что затевается что-то серьезное, по-видимому десант. И то, думали, пора.

Однажды вечером началась погрузка. Старшина катера, несколько раз погибавший и неизменно воскресавший кубанец Иван Иванович Калининченко, сказал:

— Проверьте, товарищ Пятаков, свой мотор, чтобы сн нас в трудную минуту не подвел.

Сама эта просьба свидетельствовала о многом. Никогда раньше ничего похожего старшина не говорил: порядок на катере царил железный, обязанности свои все знали отлично.

Пятаков ответил, что мотор проверил и надеется, что все будет в порядке.

— А если что не так,— добавил он,— то прошу вас застрелить меня как предателя родины и не жалеть для меня патрона.

Старшина обнял и расцеловал его.

Именно в таких эпических тонах прошел этот разговор.

Об операции было известно немного, однако же оба знали, что предполагается высадить десант юго-западнее Новороссийска. Основные силы направлялись к Озерейке, вспомогательные должны были захватить Станичку. Но об этом разделении по степени важности узнали уже потом, а тогда видели только, что на Озерейку выделяют большие силы — морскую пехоту должны были поддерживать переброшенные на баржах танки. Калининченко и Пятаков были огорчены тем, что не попали в эту группу: БК-6 шел на Станичку.

Об отвлекающих ударах, ложных десантах можно было бы сказать немало горького. Они неизбежны в войне и стоят подчас столько же, сколько настоящие. Я знаю историю одного поэта, газетчика, который волею случая попал в такой десант, ничего не зная о его назначении. Он был смелый парень и поднял матросов в атаку, чтобы расширить плацдарм. А здесь это делать совсем не нужно было: настоящий десант высаживался в другом месте и там нужно было расширять плацдарм, готовясь к приему подкреплений. Здесь же следовало только отвлечь, сбить с толку противника. Жаль, что погиб человек, но, мне кажется, сожа-

ление было бы все-таки меньшим, если бы это случилось в том, другом десанте...

И еще одно обстоятельство приходилось иметь в виду: десант на Озерейку должен был идти к месту высадки в обход, морем, а группе, в которую входил БК-6, предстояло штурмовать западный берег Цемесской бухты в лобовую.

С пригородом Новороссийска Станичкой, которую нужно было сегодня ночью отбить у немцев, у Парфентия было связано неприятное воспоминание. Почти год назад, на следующий день после прорыва из Азовского моря он пришел сюда в надежде встретить кого-нибудь из знакомых рыбаков. И действительно, почти сразу же встретил парня с прежнего своего катера «Тайфун», потопленного в Керчи. Обрадовался.

— Ты где сейчас?

— Здесь,— отвечает парень.— Пошли ко мне — посмотришь. Пошли.

Дом. Палисадник. Цветет сирень. Кудахчут куры. Какая-то молодуха вокруг порхает. Ни дать ни взять — дома парень. А дом-то у него в Одессе. И чувствует себя, видно, тот парняга, как удачливый рыбак в период между путинами, когда можно дурака повалить. Будто и войны никакой нет.

Парфентий рассказал о последнем отступлении из Крыма. Вспомнили знакомых: гот погиб, этот ранен, еще кто-то пропал без вести.

Настал вечер. Морская пехота разместилась в кубриках (катерники уступили свои места), на палубах, в трюмах барж. На судах эти люди чувствовали себя, как дома, да и не удивительно: почти все они были «безлошадными», списанными с затопленных кораблей, с флотских экипажей. Здесь гордились, даже шеголяли морской спайкой и храбростью.

В отряде Куникова было восемьсот бойцов — и ни одного случайного человека. Майор брал к себе добровольцев и то не всех. А его самого хорошо знали. Я прочел немало воспоминаний о Куникове, но, моему, лучше всех о нем сказал Парфентий:

— Он не просто командовал «вперед», а сам поднимался первым. И потом он всегда знал, что делать дальше, а это не каждому дано.

Катера шли строем, не обгоняя друг друга. Было очень холодно, позимнему, по-новороссийски штормило. Накат не меньше семи баллов.

Вышли на рубеж атаки. Куников еще раз проверил готовность и дал команду к штурму. Взревели моторы — от них потребовалась вся мощь, вся скорость. Хотелось одним прыжком перемахнуть темную Цемесскую бухту. Сейчас она расцветится невеселыми огнями, пойдут на дно первые катера, погибнут первые десантники. Сейчас здесь станет жарко.

Катерники старались подойти как можно ближе к берегу, но мешал прибой. Первым бросился в воду Куников. За ним с катеров посыпались остальные ребята.

Мотал прибой, стлыло тело, одежда тут же покрывалась коркой льда. Немцы открыли зоть и беспорядочный, но сильный огонь. Десантники пробивались сквозь него на берег. Завязался жестокий бой за Станичку.

Катера отошли, и куниковцы остались на берегу одни.

Немцы включили прожектора и начали бить по катерам из орудий: боялись второй волны десанта. Но второй волны не оказалось. Ответили наши батареи с восточного берега бухты.

До утра немцы должны были разгромить, сбросить назад, в море, десант. Куниковцы же до наступления утра должны были не просто выстоять, но продвинуться вперед и, не теряя связи с морем, закрепить: они понимали, что немцы, опомнившись, днем поведут с ними настоящий разговор.

А дальше все пошло совсем не так, как предполагалось. Основные силы, высаживавшиеся у Озерейки, попали под губительный огонь. Немцы расстреливали катера и баржи термитными снарядами. Многие суда были тут же потоплены. Только штурмовые отряды первого эшелона попали на берег — тысячи полторы бойцов и несколько танков. Однако плацдарм они удержать не смогли. Потом, вспоминает Парфентий, шел разговор, будто из всего этого десанта после разгрома лишь восемь человек сумели пробиться к куниковцам.

Само по себе это было несчастьем. Случись такое в сорок первом или сорок втором году — на операции можно было бы ставить крест. Не то теперь. Были изменены планы. Вспомогательный десант Куникова стал главным. Его успех начали развивать.

...— Ты уж извини, только каждый из ста семнадцати рейсов я не помню...

— Ладно. А что было на следующий день?

— На другой день погода малость упала, хоть и оставалась самой новороссийской: сигарку из зубов вырывало ветром. Правда, на палубе и не курил никто. Целый день мучились: как там дела у Куникова? Каждый понимал, что этот рейс будет трудней вчерашнего. Немцы не дураки — знают, что придет подмога десанту, и, будь уверен, приготовятся к встрече. Понимать это мы понимали, а все равно с нетерпением смотрели на небо: темнело, казалось, слишком медленно.

Начальству, конечно, все было известно лучше, но и мы по кутерьме на том берегу видели: ребята вроде бы держатся. Большой половины, наверное, уже нет, раненых девать некуда, боеприпасы кончаются, нужны еда и медикаменты... Одним словом, хоть кровь из носа, а подкрепление везти надо.

Днем мы им сочувствовали, а ночью они посочувствовали нам. Немцы-таки приготовились к встрече. С самого вечера они освещали бухту, а когда мы бросились на штурм, повесили ракеты на парашютиках (стало светло, как днем), добавили прожекторов и открыли ураганный огонь из всех калибров.

Куниковцы говорили потом, что были моменты, когда они думали, что сейчас катера повернут назад — разве можно выдержать такой огонь?!

Никогда бухта не казалась мне такой широкой. Ей вроде бы и конца не было.

Шли враспынную. Взрывались катера, гибли люди, а мы даже на помощь не могли прийти.

Наши батареи старались погасить прожектора.

Мешал прибор — многим бойцам, как в прошлый раз, пришлось прыгать в воду. Слышалось наше: «Полундра!»

Что я тебе скажу — хорошо, что мы все-таки прорвались, потому что пятого февраля с утра там началось такое, чего еще свет не видел. Немцы бросили на плацдарм всю свою авиацию. Несколько часов бомбили, а потом пошла пехота. Наши ребята сдули с нее пыль, но обошлось это недешево.

Закрутилась карусель на несколько месяцев. Погрузка, прорыв через бухту, выгрузка-высадка, «полундра!», обратный прорыв... И так каждый день. Разгружали катер сами — по пояс, по грудь, по горло в воде. Пока работаешь под обстрелом — не чувствуешь ничего, а на обратном пути зуб на зуб не попадает. По очереди спускались в машинное отделение, раздевались догола, наскоро выкручивали одежду и бежали на мороз, на вахту.

Людей и катеров пропала уйма. Считай, каждую ночь сотни, а то и тысячи человек отправлялись на Малую землю, и любая половина из

них гибла. Плацдарм этот немцы перемесили бомбами и снарядами вдоль и поперек, с моря глаз не спускали — обстреливали, бомбили, минировали. Малая земля была для них, как нож в спину.

Жизнь и без того невеселая, а тут еще прикрепили к нашему БК-6 баржонку тонн на пятьдесят. Начали таскать ее. Ход сразу уменьшился, маневренности никакой, а немцы стреляют по-прежнему.

Старшина Иван Иванович Калиниченко и то сказал:

— Лошади хвост нужен мух отгонять. А нам он зачем? Одна забота: как бы не прищемил кто...

Прищемляли.

Как-то попали под бомбежку. Катер Иван Иванович вывернул, а баржонку (буксир длинный) не успел. Корпус посекло осколками бомб, пошла вода, а на барже полно раненых с Малой земли. Хорошо, за старшего там был находчивый парень, матрос. Начали затыкать дырки шинелями, фуфайками и даже собственными задами. Заставляли тот матрос раненых садиться на пробоины.

Недавно мы вспоминали эту историю с Алексеем Орешником. Тогда он был на берегу, видел, как нас немцы клевали. Знаешь его? Из нашей бригады. На одной фелюге сейчас рыбу ловим...

Я знаю Орешника, и Сергея Гладченко, и Александра Суховева (он умер недавно), раненного вместе с Иваном Притулой, и еще много других. Я знаю, о чем будет говорить Парфентий дальше — снова о штурме Новороссийска, о десантах в Анапу и Эльтиген, об операции у Соленого озера, о возвращении домой весной сорок шестого, когда родная дочь не признала отца в дядьке, одетом в черную флотскую шинель, а потом взяла его за руку и до самого прихода мамы не отпускала...

Может, хватит о войне?..

Нет, пусть расскажет еще о разведке боем. Как это на суше выглядело, я знаю. Впрочем, и на море, наверное, так же.

— Приказали пробиваться на Малую землю среди бела дня. Будто назло и погода стояла хорошая. Тут бы туман, шторм, так нет — ясное солнышко...

И сейчас Парфентий вспоминает об этой погоде с досадой. Милый ты мой! Так ведь вся суть была в этом ясном солнышке. Нужно было, чтоб немцы вас видели со всех сторон, лупили по вам изо всех орудий. Нужно было выяснить, сколько этих орудий и где они стоят.

Иван Иванович Калиниченко тогда сказал:

— Если я выйду из строя, меня заменит товарищ Пятаков, если убьют его, принимайте команду следующий. И так до конца. Пока хоть один останется живой — пробивайтесь на Станичку. Главное — не теряться. А теперь — по местам и полный вперед.

Ох, и мужик был этот Иван Иванович... Недаром о себе сказал так осторожно: «Если выйду из строя...» Его просто невозможно было убить. Сколько раз убивали, а в последний момент оказывалось — живой.

Что творилось вокруг катера, нельзя, я это понимаю, вообразить, как нельзя себе представить, глядя на сегодняшнее море, что когда-то здесь была война... Спустия несколько недель по десантным судам, штурмовавшим Новороссийск, било сто орудий. А в тот день они набросились на один-единственный катер.

Но еще невероятней то, что этот катер уцелел. на полном ходу совершая невероятные повороты и броски из стороны в сторону, пересек бухту и выскочил носом прямо на берег.

Между тем наблюдатели на нашей — восточной — стороне бухты доложили: «Потоплены». Поэтому, когда БК-6 ночью вернулся в Геленджик, его команду встречали, будто с того света. Капитан 1-го ранга Басистый обнял каждого и сказал:

— Долго жить будете: смерть обманули,— и неожиданно предложил: — После войны напишите мне...

Парфентий выполнил эту просьбу: в 1947 году написал вице-адмиралу Басистому коротенькое письмо и получил от него несколько дружеских слов в ответ...

А теперь мне следует спросить, какой из рейсов запомнился Парфентию больше всего. Я понимаю, их было много, только на Малую землю, к куниковцам, сто семнадцать... Разве не естественно то, что я хочу, как и подобает, закончить этот рассказ описанием еще одного подвига? Ведь вся война вылилась для Парфентия Пятакова в эти бесконечные, часто однообразные и всегда опасные рейсы...

— Не знаю... Не знаю... Все они были разные, не похожие. Помню, как-то весной сорок второго, еще Керченский фронт стоял, были мы в дозоре. Всегда держались берега, а тут туман, ветер — отнесло нас на несколько миль в море. Перед самым вечером солнце проглянуло. И вдруг чудо: на катер свалилась целая стая птиц. Потом мы сообразили: весна — самое время перелетов, перепелки спешили домой из-за моря. На встречном ветру да в тумане выбились из сил, а тут катер. Попáдали на палубу, как мертвые, даже глаза позакрывали — делай с ними, что хочешь.

Кто-то сказал: «Будет жаркое на ужин...» Но на него так цыкнули, что и думать забыл о еде. Убрали мы птах с проходов, чтобы не раздавить какую случайно, положили с подветренной стороны, собрали на камбузе хлебных крошек. Сначала лежали они неподвижно, а потом стали шевелиться и даже интересоваться нашим угощением. А еще через какое-то время всей стаей, будто по команде, взмыли и рванулись к берегу. «Там же немцы!» — крикнул кто-то, а потом рассмеялся и махнул рукой. Я даже опомниться не успел, как они с глаз пропали. Только несколько серых перышек на палубе осталось...

— И этот рейс запомнился тебе больше всего? — спросил я.

— Не то чтобы очень запомнился,— ответил Парфентий,— а просто подумал я тогда, в сорок втором году, что если безмозглые птахи так домой рвутся, то мы кровь из носа, а должны обязательно вернуться...

Вернулись.

...Как и четверть века назад, он поднимается на рассвете. Ополаскивая лицо, смотрит на море — какое оно? Смотрит внимательно, хозяйски, как смотрят на дом, на сад — на что-то лично тебе принадлежащее. Потом берет узелок с едой и отправляется на берег. Каменные плиты Массандровской слободки, где испокон живут рыбаки, звенят под сапогами.

— Здоров, дед! — окликают его по дороге.

Да, он уже дед. И не только потому, что дочь вышла замуж (тоже за моряка) и родила внуков. На каждом рыбацком судне есть свой «дед».

Иногда он с печалью думает о том, что Ване Притуле, Пете Зязеву и многим другим не довелось стать дедами. Иногда ему кажется, что он стал дедом за себя и за них. И поседел за себя и за них.

О седине он думает без горечи, хоть ее и не сдует ветром, как те оставленные на палубе перепелками серые перышки.

Он приходит на берег первым: механик отвечает за мотор, ему нужно быть на судне раньше всей команды.



ВИКТОР ЛИХОНОСОВ

★

ЧТО-ТО БУДЕТ

Рассказ

I

Весь день обмазывали стены внутри нового дома, возили, месили и подтаскивали на носилках глину. Из недостроенных комнат с пустыми прорезями окон слышались шлепки и женские голоса. Молодая семья доканчивала постройку нового дома, пригласила в помощники соседей.

Не заметили, как солнце понизилось и засветило через широкую ложину с пологой горы. Не заметили, как и устали. Уже к шести часам хозяйка Валя бросила работу, растопила во дворе времянку, села чистить на ужин картошку.

В восемь кончили обмазку и остальные. Мужчины задымили, а женщины пошли умываться.

— Можно считать, кончили,— сказала слегка раскосая Зина, подруга хозяйки.— Валь, а ну слей на меня из ведерка.— Она смело стянула с себя старую мужскую рубашку.

— Ты хоть за сарай зайди,— постыдила ее Валя,— кругом мужики.

— То ли они смотрят. Они вон курят себе.

— Ну все-таки. Ты теперь не очень.

— Боюсь я кого! — сказала Зина и отошла за сарай в огород.— Я сама себе хозяйка.

— Ты, я вижу, веселая сегодня.

— А что мне — плакать? Помаленьку лей.

Она умылась, Валя ей вынесла чистое, спросила:

— Сегодня будет картина?

— Ездил, говорят, механик. Как будто привез.

— Комедию бы он привез, а то крутят одно и то же. Механик у нас какой-то. Губошлеп. Помнишь, Василий был?

— Помню,— сказала Зина.

— В городе теперь. Наверно, женился.

— Наверно.

— С таким можно жить. Спокойный.

Вскоре подоспел ужин. Зина села с краю, и Валин муж, здоровый и заросший, тотчас подвинулся к ней:

— Я уж поближе к молоденьким.

— Она у нас молодец,— похвалил кто-то.— По нынешним временам таких мало.

— Ты что ж нам ложки не подала? — вскрикнул на Валью муж.

— Ой, я замоталась и забыла.

— Да по стаканчику бы поднесла.

— Завтра,— пообещала Валя.— Потерпите. Завтра уж кончим — тогда все вам будет.

Ужинали медленно, обсуждали работу, шутили. Час спустя, когда соседки, жалуясь на брошенное дома хозяйство, засуетились вставать, Зину окрикнул с улицы детский голосок. Она вышла и с кем-то пошептала. Потом вдруг громко, раздраженно ответила:

— Нету, скажи. ее! Ушла куда-то!

— Кто там? — спросила Валя.

Зина недовольно махнула рукой.

— Да! Делать нечего.

Стемнело, по улице уже не носились дети и невдалеке покрикивала на корову женщина. Начиналась осенняя кубанская ночь. Малое время спустя парнишка прискакал второй раз.

— Зин! Иди, что ли, тебя там ждут. Что я, нанялся бегать за тобой?

— Нету ее, скажи! — прогнала Зина парнишку.— Нету, и не приставай.

— Что, уже поругались? — тихо спросила Валя.

— Тебе обязательно знать?

Зина нервно дернулась с лавки и пропала в огороде.

— Пора и нам,— грузно отлегая от стола, сказала соседка.— Спасибо.

— Вам спасибо. За помощь.

— Ой, и мне надо однако...— сказала другая.— Я как побросала, так, видно, и лежит. Известное дело, без бабы.

— Ну, пошли, живы будем — завтра докончим.

Валя проводила их, вернулась и вспомнила о подруге. Зина была в конце огорода.

— А я ее ишу! — весело воскликнула Валя.— Ты что это?

Ей почудилось, что подруга чуть ли не плачет.

— Что с тобой?

Зина согнула голову и молчала.

— Ну, скажи, от кого ты таишься-то?

— Это я так... Ох, подружка!

— Тю-ю, дурочка. Сама не знаешь, чего тебе хочется.

— Пошли,— сказала Зина, выгирая глаза.— Уже все. Проводи меня.

Валя вывела ее за ограду.

— Посидела бы еще.

— Завтра мазать, устала.

— Ну, смотри. А то ночуй у нас.

— Ладно, пойду.

Над хутором близко сверкали звезды. Если б кто знал, как неохота возвращаться к себе. Отомкнешь — и никто тебе не откликнется, только шелкают часы на столе. С каких-то пор невзлюбила она вечера и ночи, не знала, кого пригласить из подруг, чтоб время бежало быстрее. А последние две недели куда ни пойдешь, всякий тебя допрашивает: «Ты чего одна? Поругались?»

Правая сторона улицы была выше, уютные окна желтели над головой. За первым рядом домов чернел в отдаленности деревянный клуб, из отворенной двери доносился стрекот аппарата. Запоздавшая парочка спешила на сеанс. У Зины забилось сердце. Еще немного ей лет, но с каждой осенью все ближе ее судьба, ее черта, за которой все в жизни сложнее, и когда она встречает кого-то вдвоем, горше думается о себе, о том, что пора и ей о ком-то заботиться, вскакивать и собирать на ра-

боту. И хвалиться соседям: «А мой вчера дочке подарок купил». — «Да сколько ей?» — «Четвертый год». — «Подумай, как скоро. Кажется, недавно сошлись, вы в тот год у Вали дом мазали». — «Недавно, а вот и второй скоро будет».

У самого края, где за кустами понижается дорожка в поле, стояла ее белая хата. У двери кто-то сидел и курил. Зина догадалась.

— Кого это ты караулишь? — строго сказала она.

Парень с грубым скуластым лицом, в солдатских брюках и расстегнутой рубашке привстал и пьяно загородил ей вход.

— Чего это ты? — вспылила Зина. — Вот еще новости.

Он небрежно повалился к ней, протягивая руки.

— Не лезь. Даже и не думай.

— А что я?

— То ты не знаешь. Прикидываешься дурачком. Ты прикидывайся знаешь перед кем?

— Перед кем?

— У-у, еще и смеешься. Так бы и заехала.

— Заедь.

— Ладно уж. Нарвешься — пусть другая заедет.

Он бесцеремонно зажал ее руками. Вырываясь, ударяя его кулаком в грудь, Зина крикнула:

— Пусти! Тебе только это и нужно. Пусти, закричу.

— Кричи. Себя же опозоришь. Ну, кричи!

— Бе-ессовестный, — только и сказала она, и он отпустил ее.

Она прошла в комнату и засветила лампу. Парень обнял ее сзади.

— Колька! Даже и не думай, — сказала она твердо. — Даже и не пытайся. Я тебе все уже сказала, и торчать здесь да пацанов за мной слать нечего.

— Забудем это.

— Эх ты, — вздохнула она. — Если ты с этих пор так повел себя, что ж с тебя дальше-то будет?

— А что особенного?

— Не хочется, я б тебе сказала.

— Что?

— Все.

— А-а, все.

— Да, все! Уходи! Уходи и уходи! Не трогай меня! Выпил — так стой хоть хорошо.

— Стою, — тупо сказал он.

Когда он посылал парнишку, а потом сидел здесь под дверью, он был уверен: сейчас она придет, поломается, может, и переплачет, он прижмет ее — и она сдаться. Теперь он даже растерялся.

— Я тебя столько ждала, — заговорила Зина. — Ты что мне писал из армии? Забыл? А, скоро оно у вас забывается.

— Заладила.

— Когда тебя провожали, вспомни, как ты божился мне: «Зиночка, миленькая, приду из армии — распишемся, не вздумай выходить». Ладно, что ж, и без уговоров ясно. Какой парень набивался, а я все, дура, — голос ее стал высок, она заплакала, — все, дура, ждала. Думаешь, не обидно? Если б я знала, что так получится...

Она горько пожалела о времени, о парне, который переглядывался с ней и не смел подойти. Ждала, писала, и что же теперь?

Николай пробовал бурчать что-то ласковое, стесняясь своих слов, но она сказала:

— Иди, иди. Пойми, это уже не жизнь будет. Если человек замышляет что-то серьезное, а не так чтобы — переспал и дальше,— он себя так не ведет. Не трагай меня, иди куда надумал.

Николай больше не цеплялся к ней и не успокаивал. Ничего он к ней не испытывал, было лишь неприятно, что его прогоняют. Они стояли, и каждый думал о своем. Зина вспоминала прошлые дни, первое знакомство, вечера, надежды, три года одиночества; как звали ее девчата в станичный клуб погулять с морячками и она отказывалась, как всюду и везде — в дожди и весной, в клубе и в компании — она была одна, ждала его писем, а парень-киномеханик нравился ей все больше и больше, и она временами думала, что, если бы не Николай, она бы дала себе волю. А Николай? Он опускал ей письмо и шел в увольнение на танцы, выбирал девчонку попроще.

— Давай я тебя провожу,— сказала она.— И больше ко мне не приходи.

Они подошли к полю и стали на ветерке.

— Хочешь, завтра распишемся? — сказал Николай, пытаюсь вернуть ее в дом.

— Нет уж, спасибо.

— Одна будешь жить?

— Поживу одна. А попадется человек — хороший, конечно,— что ж... не хуже других, выйду. Теперь уж дурой не буду.

Была полночь, хоть бы кто-нибудь стукнул, вскрикнул или вздохнул — нет, все счастливо спали, и Зина с обидой подумала: «Приду, завалюсь на постель, наревуся, и никто даже не узнает».

— Пошла я. Там свет горит, все пораскрыто.

Она ушла. Николай потоптался, пошарил в кармане — папиросы все кончились, и он выругался.

«Подумаешь! С этих пор да расстраиваться. Почешу-ка я на ферму».

И, забываясь, вообразил, как он минует сейчас темное поле, взбежится на гору и через каких-то полчаса окажется на травяном склоне со стойлами, телегами и выгоном возле леса, возле домика, где уже крепко спят доярки. Он подкрадется, влезет в крайнее окно, на цыпочках пробредет к Нюське, тронет за теплое плечо: она вздрогнет и охнет со сна и не узнает сперва, потом подвинется, пустит к себе. И рано-рано, когда еще холодно и росно, она разбудит его, чтоб не увидали подруги, и выводит на горизонт, ежась от тумана и мокрой травы, приятно ворча, что опять недоспала из-за него...

«Оно так правильной будет,— обрадовался Николай.— Сразу надо было. А вообще разбаловался я. На одну посмотришь, а всех жалко».

Хутор был все так же темен, и все так же серой полоской мерцало от звезд по горизонту. А впереди, на дороге из станицы, медленно передвигался во тьме огонек. Кто-то курил.

II

В эту теплую и темную ночь в хутор шел Василий Козырев. Вышел он из станицы с первыми сумерками. Торопиться ему не хотелось, хотя до хутора было не так уж мало. Дорога жалась к подножью холмов, то припадала, то лезла ввѣрх, и с возвышений, как ни было темно и далеко, различались на левой стороне скупые очертания дубов на горе, и за ними, где обычно висела ранняя луна, скрывался на поляне хутор, в котором Василий жил два года назад всего одну зиму.

Он работал в клубе киномехаником, ездил по этой дороге в станицу за пленками, в дожди же ходил пешком, проклиная погоду, местное на-

чальство и все на свете. Плохо ли, хорошо, но в этих местах была у него какая-то жизнь, и совсем не лишне было повидаться с людьми, передохнуть после городской суеты: ведь была осень, а осенью там все рыжело, осыпалось, становилось прохладней, свежей даже днем, а уж о вечерах и говорить нечего — вечера переворачивали душу...

В станице Василий пробыл два дня. До обеда устраивал свои командировочные дела на почте, болтал с телефонисткой, а потом шел в столовую и был свободен до вечера. Все было ему так знакомо в этой станице, все как бы повторялось и в эту осень. Так же свозили на телегах арбузы, повсюду катили велосипеды, в киоске выгорали и пылились нераспроданные журналы, в магазинах было пусто, и продавщицы закрывали и открывали, когда им вздумается. Он побрился в парикмахерской все с тем же щербатым порогом и железной скобкой для ног, с тем же мастером в углу, брившим тупой бритвой и неприятно касавшимся лица потными пальцами. В буфете около хозяйственного магазина перемывала посуду та же миловидная черноглазая женщина и, отпуская пиво и воду, поглядывала на дорогу, где ругались два пьяных станичника. Все те же белые-белые хатки с садами, сумеречно-голубая дымка далеких горных холмов, пыль, сорные от листьев двory, и сразу же за последним огородом — ровная тишина и ветерок в поле. Все так знакомо. Не верилось Василию, что он здесь ходил, ждал автобуса или попутку и от привычки многое не замечал.

Командировочное ему заверили с запасом на один день. Он вышел к вечеру за станицу, увидел пыль за последней машиной на хутор, подумал-подумал и решил идти в хутор пешком.

Стемнялось очень быстро. На половине пути круто на запад поворачивала тропа к ферме, белела и обрывалась на высоком горизонте. Василий бросил папиросу.

— Э-э, подожди! — послышалось ему с поля, слева, с той дорожки, которая бежала наискосок к хутору, поднималась вверх между дубами и через кусты выбиралась в переулок. Этим путем было ближе, но в такой темноте легко сбиться, попасть в заросли, испараться. Василий стоял и все еще не видел кричавшего. Наконец из темноты возник высокий парень, подошел, близко подsunул лицо, угадывая, кто это. Запахло водкой.

— Что-то лицо незнакомое, — сказал парень. — Напугал, наверно? Извини. Ты к нам идешь? Извини меня, конечно, но ты не дашь закурить? Сунулся — кончилось. От бабы иду. Извини, конечно.

— Ничего, бывает. — Василий достал пачку, вытряхнул папиросу и дал спички. При свете он увидел сытое лицо парня и хмельные навывкате глаза.

— Тебя как зовут?

— Василий.

— Николай! — Он сам нащупал руку Василия и крепко дернул в пожатии. — Ты на меня не обижаешься? Если обиделся, скажи. Я тебя задерживаю, ты, наверно, по бабам отправился?

— Да нет.

— Брось скрывать! — Парень запросто стукнул его по плечу. — От кого скрываешь, я думаю, не такой? Все мы такие. Пошли со мной? На ферму к дояркам, а?

Он показал рукой вверх, где белела и обрывалась на горизонте тропа. Горизонт был близок и высок, чисто сверкали звезды у самой кромки, и Василий припомнил широкий травяной склон, телеги, выгон возле леса, возле дома, где бродят в полночь лошади, и девчат-доярок, которые уже спят или громко смеются в постели.

— Знаешь, какие доярки! — снова заговорил парень. — У-ух, ты меня извини! Извини — подвинься. Нет, в натуре! Молоденькие, горячие, им так и хочется, чтоб пощипали. Ну? Никто и знать не будет.

— Пойду я.

— Сиди! Ты меня извини, конечно. Я выпил. А то бы пошли, правда, а? Побазарили. Я люблю базарить. У меня в армии любимая песня была: «Люблю, друзья, три слова я: «отбой», «кино», «столовая». Люблю я в увольнение ходить и где-нибудь украдкою, с притиркою, с оглядкою грамм двести или триста заложить». Нравится? А девок любишь? Я живу, ты скромнучий парень. Книжек, наверно, много читал? Я за всю жизнь две книжки прочел: «Родную речь» и рассказы Мопассана. И ничего, живу. Даже выпиваю. И вспомнить есть что. А что вспомнит тот, кто ничего не видел в молодости, кроме книг? Абсолютно ничего! Ноль! Так что я советую тебе не теряться. Ты надолго?

Бывают же люди, которые думают, что ты дурнее их. Начинают учить тебя жизни. Василий ушел бы, да не хотелось подниматься: было тепло и темно, и он подумал, что ему уже немало лет (двадцать пять), а никого у него нет, и вот так, чтобы ехать куда или идти и знать, что тебя где-то ждут,— этого тоже нет, всегда один, всегда был вял и равнодушен к девочкам, к вечеринкам и танцам, надеялся на какое-то позднее время, когда ему найдется простая хорошая девушка, созданная исключительно для него.

— Так идем? — предложил опять парень. — Я тебя познакомлю, правда, там есть такне... строят из себя,— он обозвал их плохим словом,— но я знаю из личного опыта: когда раскусишь девчонку, она в душе еще нахальнее мужчины. Точно ведь?

— Не знаю.

— Только она умеет сдерживать себя. Вот заметь: бабы, допустим, живут между собой, как кошки с собакой, готовы друг дружке глаза повыцарапать, а спросишь у нее: «Люсь, ну как с Веркой, можно?» — «Хорошая девочка, честная». Какая бы ни была — все равно честная. Потому что они скрытные. И моя баба — я ее бросил! — думаешь, не такая? Да к ней завтра приходи кто-нибудь, хоть ты, например, и она даст обжиматься. Я изучил их психологию. Мне двадцать четвертый год, и заметь: чем лучше к ней относишься, тем с ней чежельше. Ну что далеко ходить: я про себя могу. Я некрасивый, сам видишь. Не безобразный, но и не красивый. Средний! Но-о у меня были девчонки. Я в армии с одной гулял, так я такую политику повел: она никак не поймет — люблю я ее или нет. Э, в том-то все и дело! А если ее на руках носить: мурочка, конфеточка — она тебе на шею сядет. Или с другим пойдет. Я вот свою бросил, она поспихует и сама прибежит. А я теперь могу водку пить, баб водить — все простит. Понял? Дай закурить.

— Мне пора идти.

— Ты идешь со мной.

— Нет, мне в хутор.

— Накормит, напоит, еще, может, и пол-литру поставит. А? Ты на меня не обиделся? Честно?

— Иди, иди...

— Ну, тогда дай мне на дорожку парочку. Не обижайся. Запоминай мои слова, еще поблагодаришь и пол-литру поставишь, если встретимся. Тебя как зовут?

— Ладно, слушай, отстань. Надо меру знать,— сказал Василий, еле сдерживаясь.

«Неохота руки марать,— подумал он.— Дал бы я тебе. Куда б ты летел от меня». Он сплюнул и пошел прочь.

В конце пути, где приходилось сворачивать влево и идти через лощину на гору, начинался другой хутор, всегда темный и рано засыпающий. Василий вспомнил, перебираясь по шаткому мостику над сухим руслом, как часто он спускался сюда за молоком; подолгу стоял перед закатом напротив низенького побеленного клуба и шел к себе.

Хозяйка, у которой он тогда снимал комнату, уже легла спать. Он постучался, она ему обрадовалась. Сели, поужинали, расспросили друг про друга и заснули уже в третьем часу ночи. Она снова ушла рано, просила Василия закрыть дверь и занести ключ, когда будет идти мимо.

До обеда он плутал по лесу. В лесу поспевал кизил, среди опавших листьев валялись жердели, сухо шуршало под ногами. С высоты широко открывалась в просветах лощина, похожая на неглубокое ровное дно реки. По дороге, на которой он вчера разговаривал с парнем, изредка пробегали в станицу машины.

Походив, повидав знакомых, Василий надумал уезжать.

Хозяйка мазала у кого-то поблизости дом. К дому подвозили на подводе глину, в комнатах мелькали женские руки, платки. Он через изгородь поздоровался с Валецкой.

— Ой, божже, какими путями? — чуть не запричитала Валя и выбежала навстречу. — Опять работать?

Подошли еще несколько человек, обступили, стали расспрашивать.

— Как?

— Да ничего. А вы как?

— Да слава богу. Где работаешь? Не женился еще? Ну и правильно, еще успеешь. И уже идешь, так скоро, на какой же ты автобус, на шестичасовой?

Из глубины комнаты сквозь пустые окна смотрела на него Зина, была и удивлена и смущена, вся переменялась, а Василий тотчас потерял интерес к разговору и поспешил закурить. Зина вышла, вяло толкнула дверцу калитки, подала ему испачканную руку. Она была такая же: чуть косящие глаза, сухие твердые губы, худая и на этот раз какая-то жалкая.

— Как это вы к нам... — сказала она тихо, растерянно пряча глаза.

Василий тоже не мог долго смотреть на нее, как будто все что-то знали о них, как будто он приехал специально к ней и теперь вызвал на людях. «Что-то было у нас», — подумал он, соображая, как бы отозвать ее в сторону, боясь, что сейчас она уйдет и окликнуть ее будет трудно. Когда она вслед за другими стала медленно отворачиваться, потихоньку от всех кидая взгляды на Василия, как бы говоря: «Ну ладно, что ж... что ж сделаешь, раз помешали нам люди», он позвал ее глазами. Она подошла и стыдливо, опять с каким-то намеком на воспоминание, с ожиданием, заранее ей известным, глянула на него.

— Что? — спросила она шепотом, таясь и близко подаваясь к нему.

Василий сказал еще тише:

— Скоро закончишь?

— Да часикам к восьми должна. Уже четыре.

— Бросай. Приходи сейчас.

— Хорошо, — пообещала она шепотом. — Куда?

— Через огород. Спустись в поле. Я буду ждать у кустов.

— Ладно, я сейчас dokonчу и приду.

— Смотри, я жду. Бросай, и быстрей!

Он пожал ее руку и, отойдя, крикнул, как бы уже прощаясь совсем и чтобы слышали во дворе:

— Привет там передавай.

Она оглянулась, и он ласково ответил ей улыбкой.

«Значит, что-то было между нами тогда,— опять подумалось ему и вспомнились разные дни и вечера, как переглядывались и не смели.— Значит, и тогда у нее было что-то неладно. Замужем она или нет? Ах, скорей бы пришла! И о чем же я тогда думал, все ходил и ходил мимо. Сам был виноват. Женщина первой не подойдет, я должен был начать. А сегодня встретил, и один взгляд ее чего стоит, и придет, ах, скорей бы уж!»

Солнце стояло еще высоко.

Василий томился. Он сидел в траве у кустов и думал о ней. Как она выйдет с огорода и появится между тополями у кромки поля. Как незаметно или в открытую будет переходить поле. Он привстанет и позовет ее рукой. Она осмелеет, заспешит к нему и притихнет наедине, стыдясь своего быстрого согласия на это свидание. Он сожмет ее руку, спрячет за кусты и поцелует, и она ни слова не скажет против, потому что знала и раньше, зачем шла. Вверху на улице будут подвозить, ссыпать и месить глину, шлепать раствором по стенам, разговаривать, а Зина утаится с ним здесь, и не скоро ее хватятся. Всякую минуту любой платок он принимал за ее платок, и сердце билось. «Я ее люблю,— думал он,— точно, это я влюбился, увидел и влюбился. Может быть, я ее и раньше любил, только почему-то не вспоминал в городе, да, да, в городе как-то забыл о ней и вообще ни о ком не думал, ни с кем не ходил, все намечались дела: то экзамены в техникум, то с работой, то с квартирой. А теперь увидел ее и...»

Прошел час. Солнце уже прилегало к горе. Ее все не было и не было. Что же она там делает? Она должна уже вымыть руки и переодеться. Василий впервые почувствовал, что такое ждать женщину, встречу. Он нетерпеливо вставал, курил, вглядывался через поле и, как только между деревьями мелькало по тропе что-то женское, весь застывал: это уже она, ее походка, ее платок. Но женщина шла с ведрами, что-то выливала и уходила. Василий снова присаживался, закуривал и с еще большим волнением воображал, как она теперь идет к нему через поле, все ближе и ближе, все откровенней в движениях, торопясь, а потом с виноватостью встречаясь глазами, как бы говоря: «Ну что? Пришла я... что теперь делать будем?» — и в то же время все, все понимая, поддаваясь его взгляду. И пусть пропадает еще один день, он не уедет и завтра, зато вечер они посидят в тишине, вдаль от хутора, и он скажет ей такие слова, каких никогда никому не говорил, и она будет благодарна, радостна и счастлива с ним. В полночь она проводит его по глухой дороге к автобусу, они пойдут по рассвету в обнимку, пропустят утренний автобус, поскитаются за переправой и перед его отъездом что-нибудь придумают.

Прошел еще час. Ее все не было.

«Бойтся, что заметят. Да и неудобно бросать работу при всех».

И еще час прошел.

Солнце чуть брезжило из-за горы, когда он поднялся и пошел через поле к дому, где она мазала. Она по-прежнему работала, шлепала ладонкой по стенке и кого-то добродушно ругала. Он подошел ближе. Она заметила. Как только из комнаты кто-то вышел во двор, прыгнула из окна в огород к нему, и они укрылись в тени за деревьями.

— Ну что? — сказал Василий недовольно.

— Что, что! Видишь, еще не управились. Никак нельзя уйти. Еще часок подожди.

— Бросай, бросай все! — повторял Василий, злясь, что получается не по его и эти разговоры, лишние ожидания перебьют то неожиданно тайное, о чем он думал недавно внизу. — Что они, без тебя не справятся?! Бросай, слышь?

— Сейчас.

— Не забыла, куда приходиться?

— А куда?

— Прямо вниз, я тебя позову. С огорода и прямо вниз. Через поле.

— Ну иди, а то заметиат.

И еще прошел час.

Стало совсем темно, над хутором мягко светлела полоска звезд. Василий го бродил от куста к кусту, то выходил на середину поля и жег спички, чтобы Зина издали заметила место и не повернула назад. Пока он ходил по полю, ему показалось, что она уже там и ждет его, вдруг да и прошла стороной! Сердце его стучало, он так ждал ее, такая была темная и теплая ночь, и оставаться в ней одному было обидно. «Она меня не найдет! — испугался Василий. — Не найдет, ляжет спать, и я так и не увижусь с ней. А домой к ней стучаться неудобно, да и вдруг она уже замужем, чего бы иначе таиться?»

Он загрустил, потом всколыхнулся, побежал наверх в хутор, надеясь отыскать ее. На улице играли ребятишки. Василий не знал, где она сейчас живет.

— Мальчик! — окликнул Василий. — Иди сюда. Где тетя Зина живет?

— Какая?

— Тетя Зина, не знаешь? Она дом купила.

— А-а! В конце. Спуститесь вдоль горки — и крайний дом ее, пониже.

Окна ее дома были завешены тряпицами, на дверях чернел замок.

«Значит, она все еще там или уже пришла, ждет в поле».

Он снова побежал в поле, царапаясь о ветки и чуть не падая от путавшейся в ногах ботвы. Нигде ее не было. Он хотел крикнуть и не крикнул: «Зинка, милая... где же ты?»

— Мальчик! — снова обратился он в хуторе. — Ты не видел, тетя Зина не проходила?

— Она мажет.

— Позови ее, будь добр.

— Ой, замучился я с вами. Вчера позови, сегодня позови.

«Бегаю, как дурак, а у нее, наверно, кто-то есть. Что ж, так и ждала, что ли... подумаешь, переглядывались... больше ничего такого и не было».

Мальчишка убежал вверх по улице. Василий прислонился к ограде под ветвями и ждал его вместе с ней.

— Нету ее! — прибежал мальчишка.

— Где же? Ты спросил, где она?

— Ушла.

— А не врешь?

— Хм... — засмеялся мальчишка. — Надо мне врать еще.

«Нету... — отчаянно и как-то слабо подумал Василий. — Где же она? А вдруг в поле? А вдруг она обманула, прсмеялась надо мной? — И вспомнил ее заговорчивые глаза и шепот у дома. — Неужели у нее кто-то есть? Ничего не пойму. Как она смотрела, а! И что-то пережила она за это время. Что ж ты не пришла, а? Ну где ты сейчас? В поле, в поле!»

Впотьмах, не разбирая дороги, запинаясь, он перебежал огород, зажег папиросу, ходил по полю и кричал несколько раз:

— Зи-инаа!

Как хотелось найти ее!

— Зи-инааа!

Нет. Не слышит. Хоть бы шорох. Хоть бы смутная тень.

Нет. Никого. Крикнуть еще? Бесполезно.

— Зи-инааа!

Нет. Никого. Только поле во тьме, высокие горки и хутор, реденький отблеск отней по низкому небу.

Он ещё несколько раз был у ее дома, сидел под яблоней во дворе, все крепче тосковал по ней и, устав, разозлившись, пошел ночевать к хозяйке, выдумывая по пути причину задержки. Хозяйка еще не вернулась, а ключ он отдал ей в обед, пришлось ждать на порожке. Наконец она пришла, удивилась, накормила его.

— Не проспай бы на автобус,— сказал Василий.

Она разбудила его ровно в три. За пятнадцать минут он оделся, выпил чаю и распрощался. Ночь была темная, как зимой в дожди. На душе было досадно от вчерашнего. Все прошло, успокоилось и была только досада. «Зачем я бегал? Почему-то прятался. Бегал, кричал, а она. может быть, принимала другого. Теперь спит»,— подумал он равнодушно. Значит, ничего у них не было.

На бугре он остановился, посмотрел на белые стены ее хаты, представил ее спящей и разволновался.

«Как же я уеду? — подумал он и подошел к низким окошкам.— Разбужу ее, теперь уж нам никто не помешает».

Откликнулась она не сразу и недовольно.

— Кто еще там?

— Я.

— А кто это?

— Да я, я!

— Подожди, оденусь.

«Наверное, мы вчера разминулись»,— подумал Василий и решил, что сегодня, пожалуй, он не поедет. Ему показалось, что она ему рада, и стало жалко за вчерашнее, за пропавший вечер.

Она скинула крючок, раскрыла и молча ступила на порог. Когда она впускала его, касаясь грудью, у него захватило дыхание. Он тихонько обнял ее левой рукой и придержал. Она как бы нечаянно оторвалась и проскочила вперед, сказала:

— Темно... ничего не найдешь... Что-то второй день света не дают.

— Где ты? Я тут разобью что-нибудь... в потемках.

— Вот я...— Она протянула теплую руку.

Он приблизил ее к себе, она отодвинулась.

— Подожди...— сказала осторожно,— я лампу зажгу.

— Постойм так.

— Ну-у...— сказала она, чиркая спичками. Прижгла фитиль, поднесла стекло, но Василий успел сдуть пламя.

— Не балуйся,— сказала она мирно. Василий держал ее за плечи. Она снова зажгла, вправила стекло, села на стул и задумалась.

— Идешь на автобус?

— На автобус.

Зина глянула на будильник.

«Жалеет»,— подумал он.

— Не опоздаешь?

— Успею.

Она провела ладонями по лицу и зевнула.

— Ой. так спать хочу. Сон мне весь перебил.

— Надо раньше ложиться. Загуляла где-то вчера. Почему ты не пришла?

— Так.

— Все-таки?

— Тебе интересно?

— Да.

— Опоздала.

- А домой когда пришла?
- В час, кажется.
- «В половине первого я еще сидел в ее дворе. Не дождался!»
- Кончили — Валька на стол собрала, выпили, засиделись.
- Тебя вызывал мальчишка?
- Вызывал. Я хотела прийти, но... подумала, подумала...
- Что?
- Темно... да и уходить неудобно,— сказала она, и Василий ей не поверил.— Поздно уже...
- «Как будто ничего и не было. А я-то думал... носился вчера, с ума сходил. Зашел. Сидит, зеваает, а как смотрела вчера у дома!»
- Как ты поживаешь?
- Потихоньку.
- Одна?
- Как видишь. А ты как сюда попал?
- В командировку. Заехал. На тебя посмотреть,— добавил он нарочно и обнял ее за талию.
- Она отвела руку и усмехнулась.
- Чтоб потом в поле позвать? — И зевнула, укрылась ладошкой.— Ой, спать хочу.
- Хату давно купила?
- Перед весной. Ой, что это я раззевалась?
- Они помолчали. Василий не ожидал такой встречи. Как будто ничего и не было между ними. Как будто не было вчерашнего шепота у дома, тайных взглядов и стыдливого обещания. Он хотел и не мог обнять ее.
- Ты уже пойдешь? Тебе на автобус.
- Сейчас. Сейчас пойду.
- Давай я тебя провожу-у,— сказала Зина и встала.
- Они вышли. Василий никак не мог прижечь папиросу.
- Ты еще не женился? — спросила Зина, взяла его под руку.
- Нет.
- Пора бы уже.
- Торопиться некуда.
- Тоже правда. Чего доброго, а с этим успеешь. Это нам плохо засиживаться.
- Вышли книзу, пусто чернело поле, надо было что-то говорить на прощанье. Он приостановил ее, без прежней стеснительности притянул ее к себе. Сначала робко, но потом все сильнее и ближе она прикинула к нему и положила ему руки на плечи.
- Ты не подумай только...
- А вдруг я уже подумал?
- Ой, не знаю. Ничего пока не знаю.
- Василий держал ее за талию, она, отогнувшись назад, колыхалась, касаясь его коленками. Так они простояли долго. Временами глаза ее оплывали, и она не стирала слез, они высыхали сами.
- Все-таки скажи мне, почему ты не пришла?
- А зачем? Все равно ты уедешь.
- Ты бываешь в городе?
- Вот свеклу выберем — поеду.
- Заходи. Я дам тебе адрес. Зайдешь?
- Ты с матерью живешь?
- На квартире. Таманская, 61. Заходи, в музкомедию ходим.
- Попробую.
- На высоте, в просвете между акациями, желтело ее окошко.
- Забыла погусить,— сказала Зина.— Иди, опоздаешь.
- Проводи меня еще.

— Нет, я там побросала все раскрытым. Лампа горит.

— Сходим потушим?

— Ишь ты.. чего захотел.

— И сразу вернемся, проводишь меня.

— Светло уже.

Поцеловала она его коротко, три раза, словно благословляя.

— Написать тебе?

— Не знаю.

— А ты ответишь?

Она пожала плечами.

Пока она удалялась вверх, поднимаясь головой к первой полоске света над черными изгибами горок, он стоял, ожидая, когда она скроется. «Что ж это со мной? — волновался Василий.— Жил, не вспоминал, случайно заехал, увидел, и всё...»

Снизу ему было видно, как Зина вошла в комнату, напилась, подседа к столу и задумалась.

Потом дунула на лампу.

Краснодар.



АДА РЫБАЧУК

★

НА ОСТРОВЕ КОЛГУЕВЕ

Из записок художницы

Стало слышно, как заработала лебедка. Нехотя, лязгая каждым звеном, поползла якорная цепь. Стремительно пролетел якорь, ударился об воду — лязг слился в сплошной грохот; через секунду цепь, укладываясь на дно, поползла медленно, снова громыхая раздельно и четко. Замерла. Еще разок громыхнула; остановилась. Натянулась.

Приплыли?

Вода — морская и пресная — заливает палубу. Из мутно-зеленого моря выступает небольшое сероватое пятно.

За дождем и гуманом не разглядеть. Только иногда между слоями тумана донесется запах, резко отличный от горького запаха воды и запаха мокрого корабля, — теплый запах земли и чуть-чуть — цветущих трав.

Ветер немного разгоняет плотные клочья тумана — сероватое пятно увеличивается. Темно-лиловые его контуры круто обрываются в море.

Какая она, эта земля? Та ли это земля?

По веревочному трапу перебираемся на подошедший, прижавшийся к черному мокрому борту «Юшара» бот «Колгуевец». Кричат чайки.

С корабля что-то выгружают на бот — мешки (наверное, мука и соль), ящики, бочки. С острова приехали ненцы, часть занята выгрузкой. Работают молча. Красивая, только мекрая, одежда из шкур. Яркие орнаменты.

Очень холодно. Кто-то из приехавших на пароход женщин протягивает мне свои рукавицы.

Пароход дает гудок. Это значит, что островитяне должны покинуть корабль — он уходит.

Бот идет к острову, пароход опускается за линию горизонта.

Для того, чтобы попасть на остров, с бота нужно пересечь на моторную лодку — дорку; когда станет мелко и для нее, перебраться в гребную, но в отлив и она не может подойти к берегу. К берегу бредут по воде, пешком; переносят детей, грузы, почту.

Над серым морем — ослепительно желтое и холдное небо.

Два часа ночи.

Когда выгрузку закончили, к нам подходит человек.

— Ну, пошли чай пить.

Он даже не знает, как нас зовут.

Этот домик ближе остальных к причалу — наверное, потому нас сюда и позвали.

Островитяне все очень гостеприимны, мы потом в этом много раз убеждались, но к метеостанции у нас все равно останутся особенно добрые чувства.

Узнав, что мы собираемся завтра же уехать в глубь острова, собравшиеся работники метеостанции разом смотрят на наши ноги и на наши вещи.

У меня — добротные для наших мест богинки, у Володи — полубо-тинки с дырочками.

Хмыкнув, Виктор Иванович, пригласивший нас пить чай, приносит пару резиновых сапог, ватник, свитер, куртку с капюшоном и две пары рукавиц.

— Как-нибудь разберетесь что кому.

Два месяца назад, после окончания четвертого курса Киевского художественного института, мы должны были выбрать место, где хотели бы провести летнюю практику, на этот раз — самостоятельно. До этого была практика в Каневе — семь часов пароходом вниз по Днепру — и еще в Вилкове, на границе с Румынией.

Опрашивали по очереди в кабинете директора.

— Вы?

— Я хочу к морю...

Директор института морщится. Он недолюбливает пейзажистов, маринистов — особенно.

— К морю ездят купаться и загорать. Удовольствия ради.

— В этом море вряд ли купаются. Я хочу в Архангельск.

Оказывается, нам даются командировки только в пределах Украины. До Архангельска слишком далеко.

— А если все-таки использовать эту командировку для поездки в Архангельск?..

— Как хотите. С вами еще кто-нибудь едет?

— Нет...

— Да...— Это говорит Володя Мельниченко.

...А это было давно — учитель географии рассказывал классу о городе под серым, часто дождливым небом, у реки, забитой плотами. В ту осень я писала этюды на реке, этюды с пароходами и плотами на вечерней воде.

Но плотов было мало — приходилось ловить время, когда они плыли вниз по реке, у причалов речного вокзала стояли небольшие пароходики... Хотелось, чтобы вся река была запружена лесом и были корабли, которые этот лес заберут, увезут в разные страны, уплывут за моря.

Учитель показывает кружочек, точку в том месте, где большая река впадает в Белое море, он назвал даже город, откуда уходят корабли...

...Очень широкая река, плоты, плоты, плоты. Запах трески, рыбных бочек, лесобирж, запах гари от труб больших пароходов и бесчисленных маленьких работяг — буксиров; запах речной воды. Пронзительный запах морского ветра и моря.

Причалы по всей длине города. Корабли всех стран. Громады ледоколов с устрашающими вмятинами и царапинами на толстенной сварной обшивке.

Сизо-черные, огромные, как горы, кучи угля. Молча трудятся длинношеие краны. Ночное солнце.

Архангельск.

Порт.

По надписям на носу и рисункам на трубах судов угадываем, откуда они пришли.

Хочется успеть на всех сразу — на каждом из этих кораблей.

А у нас всего два месяца практики. И еще два — каникул.

Володя соображает, в какое учреждение нам нужно пойти — он всегда каким-то образом догадывается об этом. Мы подготовили командировочные удостоверения и вот уже объясняем кому-то, кто мы такие и что именно нам нужно. Куда именно нам нужно, мы сами толком еще не знаем.

Нас слушают доброжелательно и внимательно — почти всегда в Архангельске мы встречали именно такой прием. Но вся беда в том, что мы не можем воспользоваться таким обычным и распространенным на Севере видом транспорта, как самолет, — для этого у нас не хватит стипендии, даже если мы возьмем ее вперед за все время практики. А навигация на востоке Белого и в Баренцевом море еще не началась — это в конце июня!

Есть только один выход — ждать навигации.

В Архангельске говорят: «Север есть север», считая, что этим все сказано. Потом, прожив несколько лет на острове и берегах северных морей, мы поняли все значение этих слов и научились более терпимо относиться к необходимости ждать, к «опозданию» какого-либо транспорта месяца на два, к тому, что самолет, вылетев, возвращается на тот же аэродром и почта не приходит, даже когда небо над зимовкой усыпано огромными звездами — только бы и лететь самолету; поняли суть поморской пословицы «выходишь в море на день, бери хлеба на неделю, выходишь на неделю — бери на полгода», поняли, что действительно «север есть север».

Из Архангельска к восточному берегу Белого моря отправляется за рыбой шхуна «Чибис». На «Чибисе» доезжаем до деревни Козлы — отсюда шхуна возвратится в Архангельск, — и наша летняя практика, два месяца, проходит в этой поморской деревне.

До начала занятий в институте остается еще два месяца — каникулы.

Вернувшись в Архангельск, мы снова расспрашиваем людей — в порту, в столовой, даже прохожих на улице — о том, где они сами бывали, что видели, и не знают ли они случайно, не помогут ли нам найти то место, куда мы хотим попасть.

Узнав, что в Архангельск прилетел секретарь ненецкого окружкома партии Гударев, Володя пошел к нему в гостиницу. Гударев посоветовал нам проехать из Архангельска в Нарьян-Мар, столицу Ненецкого национального округа, — навигация здесь уже открылась — и оттуда попытаться отправиться в тундру, в стойбища.

Совет Гударева нам понравился.

Сделанные работы — летнюю практику — оставляем у Александра Косцова, бригадира плотовщиков-аварийщиков, с которым мы познакомимся в Козлах. Покупаем палубные билеты на пароход «Юшар».

Наконец Нарьян-Мар — Красный город. Город за Полярным кругом.

Деревянные дома, даже трехэтажные; деревянные тротуары; деревянные мостовые. Железные краны в порту — из любой точки в городе видны эти краны. Горы угля.

Печора — широкая и даже на вид глубоководная. Как Двина у Архангельска — полна судов. Океанские, зашли за углем. Рыбачьи и транспортные шхуны, моторно-парусные боты. К мачтам привязаны огромные красные куски мяса — еда команде. Сохраняется на ветру.

На палубе свалена меховая одежда, привязаны собаки, группами — по пять-шесть, в разных углах: шхуны развозят рыбаков на участки, на зимовки.

Сидим в кабинете у какого-то начальника.

Огромная карта, очень интересная: на ней нарисованы в голубых местах разные рыбы, в зеленых — звери, которые водятся в этих голубых и зеленых местах. В окно видна река с судами.

В кабинет, прихрамывая, входит незнакомый человек.

— А-а, его снова нет... А вы кто?

Называемся.

— Редактор газеты «Нарьяна-Вындер» Левчаткин, Валентин Сергеевич. А ну-ка, пошли ко мне.

Уже у себя в кабинете, чертя макет полосы и читая какие-то отписки, он говорит:

— Есть у нас интересные места, да сейчас туда действительно не добраться. А одежда у вас есть?

Говорим, что нет, но что это неважно. Нам все равно очень надо! Очень-очень.

— М-да...

И вдруг — но это действительно вдруг, это почти чудо, — вдруг открывается дверь: «Можно?» — и входит капитан «Юшара» Жуков, на которого мы с восхищением взирали с палубы. Капитан средних лет, с косыми черными баками, вблизи такой же великолепный, такой же «морской волк», каким казался там, на корабле. Мы совершенно потрясены.

Редактор улыбается удивительно приятной улыбкой, от которой глаза его делаются светлыми. А сейчас еще и хитрыми.

— Входи, входи, Дима, тебя-то мне и надо.

(«Дима!»)

— Чем могу?..

И редактор объясняет «Диме», что ребят надо взять («понимаешь, взять») до острова. До Колгуева.

Так просто все и решается.

Утром осматриваемся — куда же мы приехали?

Холодно. Ветер пахнет соленой водой и водорослями, которые море вырывает в глубинах, вышвыривает на берег. И еще какой-то резкий, знакомый запах — от бочек на причале и вешалов у причального склада. В бочках и на вешалах куски ворвани — жира морского зверя. Чайки кружат над ними, воровато опускаются.

Возле причала болтаются на якорях несколько моторных шлюпок; маленькие гребные лодочки стоят на песке почти вертикально, прислоненные к высокому обрывистому берегу, чтобы их не достал прилив. Дальше — пустынный берег, мысками уходящий в море, камни, мокрый, почти черный песок.

А наверху, на высоком берегу — болото: чуть подтаяла вечная мерзлота.

Поселок — обычное хозяйство селения Крайнего Севера: склады, пекарня, дом фабрики, метеостанция, баня. На всех бревнах красные цифры А-1, А-2... А-13; несколько чумов. Разрыв — тундра — и пять «немецких» домиков, тоже из пронумерованных бревен. Снова разрыв — и довольно большое строение островного клуба, он же Нарьяна-мя, что значит Красный чум: школа-интернат, и за ручьем больница — дом, держащийся в удивительной чистоте. Последний дом в поселке, окру-

женной тишиной. За больницей — кладбище. Несколько крестов торчит над морем.

Вдали — сопки.

Потом мы подолгу жили у их подножья и на самих сопках. Охотились на озерах, которые эти сопки окружают. Писали эти сопки. И все равно их силуэты из поселка у моря всегда остаются такими же манящими, так же хочется немедленно, сейчас же ехать, а если не на чем ехать, так пешком идти в их сторону.

На фактории нас встречают хорошо, но почему-то жалеют.

— И зачем же вас сюда-то послали?

Рассматривают наши студенческие книжки, даже зачетные. Приглашают в гости, пить чай. Под «чаем» подразумевается все, чем угощают, даже водка. Очень рады каждому новому, с Большой земли, человеку. Расспрашивают о новостях. И опять почему-то очень удивляются, когда мы говорим, что завтра или послезавтра уедем в тундру: Уэско, старик с девочкой, с которым нам удалось познакомиться еще в море, на пароходе, придет за нами оленей.

Под конец всех бесед заведующий факторией идет с нами на склад и среди пушистого богатства выбирает две зимние, невыделанные оленьи шкуры-постели и один огромный совик-парку.

Дома в поселке — в одну линию, окнами на море: всегда видно и слышно, как оно шумит и вздыхает.

Два крыльца: две семьи. Перед крыльцом небольшой дощатый настил; узкие, в две доски, кладки-дорожки — от крыльца к крыльцу.

Мужчины заняты у лодок, на самом краю обрывистого берега, женщины — ближе к крыльцу, выделывают шкуры. Сидят на солнышке смуглые, с темным румянцем ребятишки. Из-под меховых капюшонов — сине-черные челки. Играют с ребятами и друг с другом веселые разномастные щенки.

Близится полдень — перед домами потрескивают костры. На треногах — закопченные чайники. Чайники стоят на краснеющих углях, позванивают крышками.

Превозмогая смущение — ну как подойдешь к незнакомым людям, войдешь в чужой дом, — подходим, пытаемся поговорить, познакомиться.

На наши вопросы — ответ один:

— Иерам.

Иерам — значит: не знаю. Иногда нам сразу и переводят:

— Иерам. Не знаю.

Володя считает, что необходимо представиться президенту острова. В тридцатых годах, когда народы Крайнего Севера только начали вступать в семью других народов, в тех самых славных тридцатых годах, на которые приходится наряду с другими завоеваниями и начало освоения Северного морского пути, первый председатель Совета депутатов трудящихся острова Новая Земля, охотник и талантливый художник-самоучка Тыко Вылка поехал в Москву — посмотреть, как люди живут, повидаться с Михаилом Ивановичем Калининым, чтобы решить некоторые государственные вопросы.

В конце серьезного разговора — о школе, о школьном меню, о больнице, пекарне и магазине, о промысле и деньгах («мы денег и в глаза не видали») — Тыко Вылка, стремясь выразить свое удовлетворение беседой, равно как и свои дружеские чувства, хлопнул Михаила Ивановича по плечу и воскликнул:

— Ты президент — я президент. Ты — президент Большой земли, я — президент Новой Земли!..

С тех пор председателем островного Совета Новой Земли, а вслед за ним и острова Колгуева именуют президентами.

Резиденция президента находится в помещении колгуевского клуба — две небольшие комнатки с окнами, выходящими на поселок и на море, отдельный туалет и отдельное крыльцо — на тундру.

В первой, проходной, комнате прямо против входа за столом, покрытым красным ситцем, сидит президент.

Ответив на наше приветствие и пригласив жестом пройти к секретарю, президент продолжал сидеть, полуобернувшись к окну, которое находилось у него за спиной, и внимательно, не отрываясь, смотрел на море, на берег, который постепенно скрывала большая вода прилива, на тундру.

Во второй комнате пребывает секретарь президента, он же хранитель президентской печати.

Все островные организации — фактория, метеостанция, школа, больница и клуб — имеют свое ведомственное начальство в Архангельске или Нарьян-Маре.

Президент раз в полугодие на сессии островного Совета заслушивает отчеты о работе школы, больницы и клуба, ставит при случае свою подпись на справках при выезде островитян на Большую землю в гости, в отпуск или в дом отдыха и, открывая большую толстую книгу, регистрирует, когда представится случай, пополнение или убыль в островных дворах-хозяйствах. Иногда по делам острова выезжает в Нарьян-Мар или в Архангельск.

К вечеру президент Виктор Варницын заметно оживляется. Он учился в городе «на моториста» и по вечерам заменяет в клубе кино-механика.

Позднее мы узнали, что островитяне не задерживаются на посту председателя Совета более одного созыва и без сожаления возвращаются к своим обычным занятиям — промыслу морского зверя, охоте, рыбной ловле или уезжают пастухами в стада: «Ведь как же — по очереди надо жить на государственной зарплате».

Ныне на острове здравствуют восемь экс-президентов, успешно занимаясь своими обычными делами.

Через несколько лет, снова приехав на остров Колгуев, мы встретили в знакомом доме и знакомой комнате все то же стол, красный ситец, те же портреты — Ленина и Горького, написанные масляными красками. Только теперь Виктор Варницын, познав от своего секретаря все секретарские премудрости, занял его место. И, кажется, работа секретаря более по душе бывшему президенту.

Старик сдержал свое слово.

На пароходе он очень недоверчиво относился к нашему желанию пожить у него в чуме.

— Сколько?

— Не знаем. Недели три. Месяц.

Переспрашивает:

— В чюме, да?

И вот у домика метеостанции стоят олени, серо-коричневые, и рога у них вовсе не грязно-белые, костяные, какие кучами валяются у складов фактории и у домов, а большие ветвистые рога, покрытые пушистой темно-коричневой шерсткой.

Четыре упряжки, четверо саней.

Володя складывает на нарты холсты и этюдники.

Сын старика и племянник, приехавшие за нами, задают все время один вопрос: «Мокнуть можно?» — и перекладывают все по-своему, укрывают оленьими шкурами и, как мне кажется, зачем-то слишком туго привязывают нерпичьими ремнями и какими-то особо сплетенными веревками, цепляя их за копылья санок.

Юноши неразговорчивы, все время прячут глаза. Прямые складки их одежд, меховая обувь, высокие плоские шапки — все лоснится влагой. Переставляя вязнущие в растаявшей почве олени ноги, поправляют упряжь.

— Это будут твои олени, твои санки...

Сколько времени я ждала этого? Десять лет? Двенадцать?

Полозья скользят по мокрой траве, мокрому мху, по илистому дну бесконечных речек и ручьев озерного края, по мокрым склонам сопок.

Особым движением олени расставляют роговые наросты — делают копыто шире, чтоб меньше вязнуть в болоте, в снегу. Олени увязают в болоте по брюхо, с чавканьем выдирая копыта — звук напоминает выстрел; из-под копыт летят комья грязи, ржавые клочья гнилого мха.

Сразу за поселком — большая болотистая равнина, поросшая пучками желто-зеленой травы; в болоте живут странные птицы с высокими разноцветными хохолками на маленькой голове — ларцэу.

Голубые сопки повисли прямо над болотом.

Высоким берегом реки по руслу ручья спускаемся к воде, переправляемся на другой берег.

Снова равнина — высоко над морем. Густые заросли жестких листьев морозики, ягод почему-то нет; темно-зеленый мох, неожиданно — песчаная лысина, на ней валун, россыпь мелких камней, морских ракушек. Черный мох. Несколько длинных сухих стеблей какой-то травы качается на ветру.

...Берега ручья сужаются. Лучи низкого солнца не проникают сюда: белый олень одной из упряжек становится голубым.

На более сухих местах кое-где видны следы полозьев, ямки, заполненные вдой, — оленья дорога в тундре.

Снова речка, снова озеро.

Короткая остановка посреди ручья — олени пьют, а потом стоят, тяжело отдуваясь, с их губ в ручей падают большие прозрачные капли.

Проплывают мимо пять больших сопок, неожиданно возвышающихся на равнине, как пять громадных камней, — Пять Братьев — это мы узнали позже.

Запах сырости, прелого мха, мокрой оленьей шерсти.

Солнце касается горизонта — уже август.

Четко вырисовываются темно-коричневые, покрытые мягкой, пушистой шерсткой рога.

Юноши почти не разговаривают, погоня оленей странным звуком — кс-кс-кс-кшш-ш, а иногда резкими криками.

Прямо из-под оленьих копыт взлетают потревоженные птицы, пугая оленей хлопаньем крыльев.

Еще несколько ручьев, и на сопке — вон, на следующей — коричневый остроконечный треугольничек. Чум. Над ним почти вертикально лиловет дымок.

Около часа ночи.

Разминаем непослушные ноги. Старика не видно. Около чума маленькая женщина — по лицу не поймешь, сколько ей лет: у глаз, узких, прищуренных от ветра, — морщины, а кожа нежная, свежего, золотисто-розового цвета. Обращается к нам по-ненецки. Догадываемся, что

предлагает войти в чум. Сгибаясь, входит первая, откинув кусок шкуры,— иначе мы не нашли бы вход.

Юноши выпрягают оленей.

На четвереньках пробираемся внутрь жилища.

Полутемно, запах оленьих шкур. В центре краснеют угольки догорающего костра. Пытаемся сесть «в углу», чтоб не мешать,— что-то мягкое, возня, писк. Так и есть — чуть не сели на щенков, прикрытых для тепла шкурой.

Верхнее освещение вырисовывает начищенные крышки чайников, медную утварь, низенький деревянный столик сбоку, на нем белые чашки.

Юноши, сменив мокрые малицы, садятся, скрестив ноги, вокруг столика.

Какой крепкий чай. Как тепло от него становится...

Утром мы просыпаемся от странного и незнакомого звука — не то потрескивания, не то пощелкивания,— который, кажется, идет отовсюду. В чуме все поспешно встают, на ходу надевают малицы, выходят наружу. Мы тоже.

Вокруг чума — олени: пощелкивают на сухой сопке копытами. Старик ночью охранял непойное стадо — ездовых быков, они пасутся обычно в нескольких километрах от чума. Теперь он подогнал оленей к чуму.

Кроме непойного стада, есть основное большое стадо, с важенками, с телятами. Пасутся эти стада отдельно. Большое стадо, в котором может быть несколько тысяч оленей, иногда уходит за десятки километров от стойбища. Олени в нем почти дикие.

Человек, охраняя стадо, ездит вокруг места, где оно пасется, большими, многокилометровыми кругами, не слишком приближаясь к оленям.

В санках несколько ружей — на случай, если придут волки; волки приходят часто.

Близко к себе олени не подпускают; фыркнет важенька, вскинет рогатую голову самец-вожак — большой хор, — все стадо, пощелкивая копытами, устремляется в тундру.

Если надо поймать оленя, его догоняют и набрасывают аркан — тынзей. Это крепкая, особо сплетенная веревка из шкуры морского зверя с кусочком отшлифованного оленьего рога на конце. В нем просверлено отверстие, по которому скользит веревка, затягивая петлю.

Олень всячески старается освободиться от веревки, пахнувшей человеком, он даже готов вместе с ней сбросить рога и часто обламывает их.

Но бывает такое время — по-ненецки оно называется Месяц, Когда Падают У Оленей Рога, — веревке не за что зацепиться, и ее надо набросить на сравнительно маленькую голову оленя; иногда, стремясь освободиться от веревки, олень проскакивает в нее и передними ногами — тогда петлю затягивают у него на брюхе.

Веревка натянута; пастух, бросавший тынзей, быстро делает несколько поворотов, чтобы веревка обернулась вокруг его тела. Теперь — кто кого? Олень бьется, стараясь вырваться, скошен блестящий синевой глаз, вывернуты от напряжения розовые ноздри, оскалены зубы; когда человек близко, метрах в пяти-шести, — олень бежит.

Тут обоим нужны все силы — далеко не всегда человеку удастся удержаться на ногах, олень тащит его по болоту, по кочкам, по лужам, по колючему снегу.

Если близко есть еще люди — бегут на помощь; если нет — надо ждать, пока олень устанет. Но и устав, он не так-то просто дает связать себя.

Олени не выносят запаха человека. Они очень любят грибы, но даже ездовые олени — обученные быки — не едят грибы, собранные человеком. Не едят хлеба. Понюхав хлеб или грибы, брезгливо фыркают, мотают головой, чихают. Еду из рук человека берут только олени, которые почему-либо выросли в чуме.

Нельзя подойти даже к важенке с теленком; совсем еще слабая, только что подарившая хмурой тундре темно-коричневый теплый комочек жизни, учуяв приближение человека, она поднимается и отходит. Важенка обнюхивает теленка, пахнувшего человеком, иногда бьет рогами, иногда совсем бросает его — ненавистный запах угрожает свободе.

В тундре все делается на холмах.

На холме, близко от чума, полукругом стоят нарты, поднятые передками на задок предыдущих. От крайних саней тянутся длинные веревки. Ездовых быков гонят к этому полукругу; женщины и дети поддерживают веревки и, натягивая концы их, замыкают этот полукруг — олени окружены.

Мужчины идут внутрь круга и отбирают своих оленей и вожака упряжки — каждый обучает оленей по своей «методке»; олени шарахаются и фыркают.

Перепрыгнувших за юрок и убежавших оленей ловят арканами и привязывают к санкам юрка — для воспитания; собаки все время следят за действиями мужчин и без приказаний, по движениям и жестам хозяев понимают, что им нужно делать.

Так происходит дважды в сутки, утром и вечером, и только в особых случаях днем.

Мужчины запрягают оленей, чтобы ехать на дежурство к стаду, ехать на охоту, к озеру ловить рыбу или к морскому берегу — за дровами. В тундре часто нет даже кустика, который можно было бы использовать как топливо; леса полярной березы, покрывающие иногда большие пространства, ниже травы, как в сказке; переплетаясь корнями и ветвями-веточками, прижимаясь к земле, деревья эти, толщиной со стбель травы и листьями размером в ноготь мизинца, никак не годятся на топливо.

Женщины, как всегда, шьют — одежду, чум, люльки; пришивают новые подошвы к обуви; выделывают шкуры, просушивают обувь, снятую вечером. Трудно вывернуть тобоки из жесткой шкуры нерпы, еще труднее — крошечные детские. Их выворачивают, подталкивая палочкой, цепляясь зубами.

Одиноко стоит чум между сопками и озерами, далеко тянутся снега. Весь день женщина одна в чуме, отлучается из чума редко: к ближайшему озеру, шагах в сорока, к речке или ручью — за водой; в тундру — за созревающей морошкой, оранжево-красными ягодами, вобравшими тепло, солнечный свет и влагу полярного лета. Вернется в чум и опять шьет — подошвы, рукавицы, орнаменты.

А если у собак, дремлющих в чуме в дождь и греющихся возле чума на солнышке, уши вдруг становятся жесткими и острыми и они, заливаясь лаем, устремляются на ближний бугор, женщины не идут за ними на сопку смотреть, кто едет, — женщины принимаются готовить чай. Подкладывают в костер по одному коротенькому поленцу — ни одно поленце длиной в карандаш не должно сгореть зря.

Кто бы он ни был, путник, приближающийся к чуму, они знают — человек в пути промок, человек в пути замерз и устал.

Его согреет горячий чай и вид красных угольков костра, на которых стоят закопченные чайники, позванивающие начищенными крышками,

обрадует вид костра, сложенного для него из поленьев длиною в карандаш.

Пока он молча будет пить чай и ставить чашку — будут наполнять ее, не задавая ни одного вопроса; когда он положит чашку в блюдечке набок, значит — больше не нужно наливать дымящийся, крепко и свежо заваренный чай.

И теперь не станут задавать вопросов. Человеку дали тепло. В благодарность в ответ он должен ответить теплом — подарить рассказ о себе, подарить новости.

У него не спросят, сколько времени он будет жить в чуме, но если увидят, что он собирается снова в путь, ему опять на дорогу подарят тепло — краснеющие угольки костра и чай: когда еще он сделает остановку — встретит другой чум или разложит костер сам...

Близится время обеда.

Все продукты, которые взяли с собой, мы сразу отдали хозяйке.

Она удивленно смотрит на старика — правильно ли она поняла? Он кивает. Ему мы уже втолковали, что будем жить, как они.

Оказывается, жить, «как они», — это не сразу дается.

На низеньком столике появляется миска с кровью — в ней светлые и темные слои, какие-то сгустки; рядом с миской — кусок оленьего бока, ребра.

Гораздо позже мы узнаём, что это лакомый кусок, это любимым гостям дадут — сырые оленьи ребра.

Все, вооружаясь длинными и острыми ножами с рукоятками из отполированного оленьего рога или моржового клыка, захватывают губами кусочек мяса, но не откусывают, а подрезают ножом — снизу вверх, — у самых губ. Потом мне не раз говорили с шутливой серьезностью:

— Смотри, отрежешь нос.

Но пока... пока мы только пьем чай.

Как-то не по себе от губ и рук, перепачканных кровью, — в миску с подсоленной кровью макают кусочки мяса.

Старик говорит: «Может, жарить будешь?» — и протягивает сковородку. Пока жареное лучше.

Потом мы привыкли, сперва понуждаемые голодом, а потом и соображением, что это великолепное средство от цинги — сырое мясо и кровь оленя, нерпы, зайца-ушкана: ненцы никогда не болеют цингой.

Забирая детей из школы на каникулы, родители стараются побольше кормить их сырым мясом и кровью.

— Дети были бледные, стали мерзнуть, — говорят ненцы, — теперь опять станут румяными и не будут бояться холода.

Раньше в школах не давали детям сырого мяса, и они через некоторое время совсем переставали есть непривычную «луца-еду». Бывали случаи, когда родители увозили детей из школы.

Потом в школах стали давать сырое мясо два раза в неделю, но детям этого недостаточно; к тому же приезжие воспитатели делают это часто с нескрываемой брезгливостью, производящей дурное впечатление на детей.

Сырое оленье мясо — убивают чаще всего теленка или жирную важенку — очень нежное, мягкое и вкусное: когда мы наконец решились попробовать, оно оказалось гораздо вкуснее жареного или вареного; так же дело обстоит и с рыбой: омуль, сиг, чир и особенно красные рыбы — голец и семга в сыром виде гораздо нежнее и вкуснее, чем в любом другом.

Все это мы узнали гораздо позже, но «вкусить» мясо сырой рыбы нам пришлось буквально через несколько дней.

Видя, что мы «едим» только чай, старик послал старшего сына и племянника ловить рыбу в Кривом озере, и на следующий день к обеду появилось ведро с посоленной водой, в которой плавали куски сига.

Мы все еще колеблемся, но старик, кажется, будет огорчен.

Кроме того, он выставляет последний, убеждающий нас довод:

— Соленую рыбу ес? Тоже сырая, только не свежая. Не сохраняли — посолили.

Володя первый мужественно опускает руку в ведро и, ухватив скользкий кусок, так же мужественно кусает его.

— Ешь, вкусно...

Действительно вкусно.

Только что тундра сверкала синей рябью бесконечных своих озер — и вот осталась только одна круглая сопка, на которой стоит чум. Еще по плеску угадывается ручей, проложивший свое русло вокруг этой сопки, а дальше весь мир состоит из плотной мокрой ваты тумана; ветер выжимает из тумана мелкий дождь.

Намокает все — шкуры чума, шкуры-одежды, шкуры-постели. Капли тумана — на пушистых оленьих рогах, на редких травинках лысых кочек; по наклонным шестам чума стекают круглые холодные капли, капают на шею, в чашки с чаем.

Отсыревшие карандаши. Мокрая бумага.

И только старик говорит:

— Ницега-о. Солнце всяко выйдет, всяко все высусят...

Уэско делает копылья для новых санок. Все работы выполняются ножом, очень аккуратно — в нартах нет ни одного гвоздя. Уэско просверливает отверстия странным инструментом, состоящим из металлического стержня и двух нерпичьих шнурков, за которые он очень быстро дергает. Окончательная форма придается отверстиям опять-таки ножом. Сидит на земле, вытянув ноги.

Начинается дождь. Уэско даже не поднимает голову. Высокая плоская шапка на склоненной голове оставляет открытым сухой затылок; капли дождя затекают внутрь малицы. Рядом сын Иона пишет чернильным карандашом какую-то сводку о поголовье оленей в стаде. Темно-малиновая маличная рубаха совсем мокрая.

Но:

— Всяко солнце выйдет...

А мы?

Здесь не годятся привычные способы работы — по сто часов здесь никто позировать не станет. Но дело не только в этом. Ненцы просто органически не могут позировать.

Они выросли в тундре, жизнь их полна опасностей, они считают, что это и есть нормальная жизнь, а как жить иначе? Они охотники и великолепные стрелки. В поселке они разгружают пароход — мешки с мукой, бочки с дробью и порохом, ящики с ламповыми стеклами, выкатывают на высокий обрывистый берег выловленные в море бревна и неизменно говорят нам:

— Сидегь, это так тяжело...

Мы еще не можем отрешиться от институтских привычек — у нас нет охотничьей мгновенной реакции на движение и мы еще пишем натуре по несколько сеансов, ожидая той же погоды, которая и месяц может не повториться.

Ненцы очень ловки. И пластичны. Особенно когда не позируют. И мы хотим добиться, чтобы они не замечали нашего «рисующего» присутствия.

Неожиданно оказывается, что мы взяли мало холстов — они уже все записаны. Холсты можно снять с подрамников и, выпросив в чуме мешки из-под продуктов, натянуть новые.

Но у нас нет клея, чтобы приготовить грунт.

Мы делимся своими горестями с ребятами в чуме.

На вершине соседнего холма сидит Иона и что-то делает. Мы идем к нему и садимся рядом. Мы делаем с него рисунки.

Иона стоит на коленях, в темно-малиновой рубахе на малице. Вокруг него белеют костяные — без шерсти уже — олени рога. Целая куча. День пасмурный, сопка темная-темная; молодое, крепкое, туго обтянутое кожей темное лицо с очень узкими глазами. Легкий блеск поперек век. И на скулах. Молчит.

Бог какой-то.

Сидит и рубит зачем-то твердые беловатые олени рога на кусочки. Лиловеют дальние сопки.

Потом с холма, на котором сидит Иона, поднимается дым, и все совсем становится похожим на какой-то обряд. Жертвоприношение.

Оказалось, что Иона в старом котле варил для нас из оленьих рогов клей. Клей вышел не очень густой — дров мало, а варить надо долго, — но холсты мы загрунтовали.

— Завтра будем ямдать.

Не понимаем...

— Аргиш делать будем.

Мы очень бестолковые.

Старик, как всегда, выходит утром из чума и, вытянув худую тонкую шею, медленно повсрачивая голову, внимательно разглядывает дальние сопки, озера, ручей, небо. Узкие глаза ощупывают каждый камень на сопках, каждую впадину земли, каждое темное пятно на поверхности озера.

Это повторяется каждое утро; старик строг и внимателен, на его лице живут только щели глаз. Стоит, немного сторбившись, носками внутрь, малица подвязана низко, на бедрах; руки спокойно опущены. Он знает в этой озерной стране все. Он осматривает тундру и небо так же, как свое стадо, где он не знает точного количества оленей, но помнит каждого теленка «в лицо».

Все, как всегда, неторопливо пьют чай, глядя на дымящиеся чашки, вспыхивающие угли, согреваясь чаем и видом костра. Женщины едят особенно медленно, по-своему изящно и, как всегда, следят, чтоб чашки не пустовали. Обычный завтрак.

Потом происходит что-то непонятное. Иона — днем! — пригоняет ездовых оленей, их привязывают почти всех, осматривают, ощупывают копыта. Юноши и старик впрягают их во все сани, хозяйка с дочкой тем временем выносят из чума связанные шкуры, меховые одеяла — все укладывается и завязывается поплотнее и потуже, чтобы занимало как можно меньше места; потом складывают всякую посуду, утварь — низенькие столики уже лежат на нартах кверху ножками; развязывают завязки нюков — покрытия чума, — и нюки покорно сползают с шестов. Все покрытие чума состоит из двух больших кусков шкур, сшитых в виде трапеции, и нужны большое умение, сноровка и ловкость, чтобы на ветру, в мороз, в темноте справиться с ними, набросить каждый из этих кусков на составленные конусом шесты и, обвивая вокруг чума пришитые к нюкам веревки, быстро устроить жилище.

Снимают чум еще быстрее — и вот он уже стоит скелетом черных шестов, между которыми светит низкое солнце, — остов жилища, из которого выносятся оставшиеся еще вещи.

Снимают и шесты, укладывая их на особые, длинные и крепкие, нарты.

Все увязано крепко и плотно, остались только два чайника и ящик-буфет, где хранятся хлеб, сахар и чашки. В чуме не только ничего никогда не теряется — в тундре вообще ничего не пропадает, мы потом много раз убеждались в этом. В чуме, несмотря на частые и трудные переезды, не разбиваются чашки, которые служат иногда больше ста лет, и вам могут рассказать их историю — кто когда их привез и где купил; и даже хрупкие ламповые стекла разбиваются только тогда, когда собаки, войдя в чум, струсят на стекло капли влаги или намерзшие на шкуру кусочки снега или если это же, только несколько иным способом, сделает расшалившийся малыш.

Хозяйка с дочкой подметают сопку гусиными крыльями.

Все снова, неторопливо переговариваясь, пьют чай — и вдруг начинают страшно торопиться.

Все вскакивают и бегут к саням. К легковым санкам ездовых привязаны одна за другой по пять-шесть упряжек с грузовыми нартами; у женщин свои санки, несколько иной конструкции, чем легковые и гоночные санки мужчин, — там есть защищенное от ветра местечко для меховой люльки с ребенком и шкуры со щенками.

Старик, подав знак, поехал перегонять стадо.

Все хватают хорен — кс-кс-кс-кш-ш, и длинный аргиш — олений караван — вытягивается по тундре, огибает сопку, переплывает речку...

Мы переезжаем на новое пастбище.

Близится первое сентября, и мы еще раз понимаем, как эта жизнь не похожа на привычную нам.

Детей из тундры везут в школу на оленьих упряжках, иногда за сотни километров. На отдельных санках везут лодки — на пути встретятся речки. По пути — охота на гусей, уток, можно подстрелить гагару с плотной шкурой или зеленоголового нарматы.

Путь в школу — долгие, как ненецкая песня, часы езды на холодном ветру, под дождем, смешанным со снегом.

На всех лучшая одежда, украшенная развевающимися полосами цветного сукна.

Первое сентября — праздник и для детей, и для родителей, это поездка в поселок, где встретишься с другими людьми, из других стойбищ — можно поговорить об охоте, о погоде, о песцовых норках и переселениях лемингов — тундровых мышек, которыми питаются песцы... В поселке кино. Магазин. Новости.

Многих детей везут к морю — к пароходу.

Уже в пятый класс ребята уезжают за море — все вместе.

Володя делает эскиз «Первое сентября».

Уэско везет дочку к пароходу.

Прикидываем, что привезенные нами продукты должны бы уже кончиться, — едем с ним и мы пожить и порисовать оставшиеся двадцать — двадцать пять дней в поселке.

В поселке мы устраиваем мастерскую в старой бане; сейчас здесь сложены сети — рюжи и невода. Насколько возможно, выскабливаем заплесневевшие, поросшие мхом стены и полы. Стены от пара и сырости совершенно черные, но, сделанные из бревен, рубленых топором, очень красивы. Мебелью нам служат ящики из-под продуктов, постелями —

шкуры. Часть сетей мы вытащили в сени-предбанник, часть оставили; они висят на стенах, белеют поплавками — красиво и не так однообразно черно.

Володя говорит:

— Их мастерская была выдержана в строгих и благородных тонах. Дни быстро уменьшаются.

Два квадратных окошка с часгыми переплетами. Перспектива острова: берег мысками вдается в море; чуть подтаявшая вечная мерзлота. Вечная мерзлота... На острове это воспринимается по-иному, это уже не только географическое понятие.

Вечностью веет от пустынных берегов, где под фиолетовыми пластами торфа видны спрессованные столетиями слои ракушек и камней, в моренных голщах сохраняется ископаемый лед.

На острове можно встретить торчащие из земли бивни мамонтов. Ледниковые шрамы видны на поверхности валунов.

Вечность живет в кекурах — островитяне забыли, кто сложил эти каменные знаки, увенчаные плоским, напоминающим человеческий профиль камнем, всегда обращенным в сторону моря: своеобразные маяки заблудившимся в тундре...

Все это прочитывается в тяжелых, покрасневших от ветра и солнца веках островитян, в каменной неподвижности их лиц, в глубинах узких глаз. Сохраняется в складках их одежд.

В распахнутую ветром дверь нашего дома — почти всегда ее невозможно закрыть — видно море. Лодки на якорях, причал, поселок — домики стоят один за другим, в одни и те же часы из их труб появляется сбиваемый ветром дым... Дым ползет по земле, свешивается с обрывистого берега. Под берегом видна полоса мокрого песка, по ней разбросаны большие камни. По песку всегда бродят чайки и островные ребятишки, что-то отыскивая.

Я могу смотреть на это часами, неотрывно, это не может наскучить.

Что-то есть, наверное, в этой голой выпуклой линии морского горизонта, в зигзагах черных водорослей на лиловом песке, в обнаженном в отлив морском дне, сплошь покрытом следами волн и чаек, что-то такое... что невозможно забыть. От чего трудно уехать.

Близилось начало занятий в институте. Надо было возвращаться на пятый курс, к лекциям, к госэкзаменам. К преддипломным эскизам — по итогам летней практики.

После пятого курса начнется преддипломная практика — два месяца. Потом, в последний раз, каникулы и — диплом.

До отъезда всего несколько дней.

Мы сидим вечером на деревянном настиле перед нашей баней-мастерской. Нашей первой мастерской, увешанной сетями и рюжками.

Скоро придет парход.

Молчим и думаем. Думаем об одном, поэтому не надо много говорить — мы и так понимаем друг друга.

Нас постоянно учили, что для того, чтобы писать — говорить о жизни, нужно ее знать. В институте мы заняты, учитывая и спортивные занятия, и собрания, по десять — четырнадцать часов в сутки. Все это время мы проводим в стенах института. Дипломы пишутся в мастерских, с костюмированных натурщиков, которые готовы принять любую позу, часами застыть в любом движении.

Мы думали о том, что хорошо бы забраться сюда на целый год.

— На целый год?..

— Да...

— Придется много работать — нас могут лишить стипендии.
 — Придется...
 — А сколько нам примерно надо?
 — Потом подсчитаем...
 — Как-то все учесть надо будет.
 — Целый год. Весь дипломный год... А сумеем?..
 Море плещется все громче и четче — начинается прилив. Осенью всегда очень большие приливы..

В Архангельске с «Юшара» едем прямо к Косцову.
 Улица, где стоит его дом, носит такое название: улица Набережная Реки Соломбалки. Потому что самой набережной нет: в каждом дворе позади дома, выходящего светелкой на деревянную улицу, — дощатый причал. У причала «мотор» — большая моторная лодка или катер.
 Связываем свои холсты — те, что из Козел, и те, что с Колгуева.
 Косцов строго спрашивает:
 — Денег на дорогу хватит?.. Ну, когда же я вас увижу?
 Говорим ему, что через зиму, в начале лета.
 Косцов на своем «моторе» отвозит нас на вокзал.
 — Только не забудьте дать телеграмму — я приеду встречать.
 И машет платком.

Первая зимовка

Через год стоим на опустевшем дощатом перроне. Все уже разошлись, только мы еще ждем... И он таки появляется — Саша Косцов. Бежит по перрону, размахивает руками, кричит на бегу:
 — Причалить негде было! Но я растолкал все эти лодки и моторы, так их...
 С разбегу обнимает нас — вместе и по очереди.
 — А груз?
 Мы успокаиваем — груз есть.
 И вот мы уже перетаскиваем наши ящики — четыреста килограммов, говорим мы не без гордости — к Сашкиному «мотору», причаленно-му как только можно было ближе к станции.
 ...Ящики на «Юшаре», спрятаны в трюм. Два дня — до ухода «Юшара» — гостим у Косцова.

Пересев в Нарьян-Маре на забирающий рыбу по рыбпунктам бот «Тритон», мы начали свою преддипломную практику.
 «Тритон» дойдет почти до Амдермы (Лежбище Моржей), откуда отправлялись экспедиции первых полярных станций и где начинается Карское море.
 Мы решаем высадиться и остаться зимовать в первом понравившемся нам месте.
 — Но так хочется посмотреть и остальные...
 И на остров хочется...

Мы уже сдали госэкзамены и считаем себя наполовину «свободными».
 Весь пятый курс, в Киеве, мы работали в издательствах, иллюстрируя детские книжки. Даже те, которые не нравились.
 Работали — и покупали. Мы были оптовыми покупателями: карандаши покупали коробками, бумагу — рулонами. Цветную бумагу, на которой так хорошо рисовать углем и мелом, приходилось собирать по

листику. Володя усиленно улыбался продавщицам универмага, а они давали ему листы великолепной шероховатой оберточной бумаги (мне не давали). Краски мы считали сотнями тюбиков — должно хватить.

— Как ты думаешь, триста белил на двоих хватит?

Закрываю глаза и прикидываю. Мне представляется ужасная картина: пишешь, пишешь, кажется, вот-вот найдешь то, что нужно... и не хватает белил. Прибавляю еще сотню.

— Вы что, ожидаете приближение красочно-скипидарного голода? — говорили нам однокурсники. — Запасаетесь?

Мы продолжали запасаться.

Последний художественный совет института, который перед практикой утверждает студентам темы и эскизы для дипломных картин, утвердил Володин эскиз «Первое сентября». А я, к огорчению руководителя нашей мастерской, все еще не могу ни на чем остановиться.

Мне советуют взять то одну, то другую тему.

— Возьмите хотя бы такую сцену: комсомольский секретарь привез — на оленях! — газеты и книги. В чуме его радостно встречают, тут же разворачивают газеты, а эта девушка явно смущена, тут завязываются какие-то отношения... Новые — может, у них любовь...

А у меня нет утвержденного эскиза. Художественный совет решает утвердить мой эскиз после преддипломной практики.

Но ведь мы не приедем после практики, мы не будем писать дипломы в институте.

Рассказывать о нашем решении директору института не хочется — не знаю, что он будет думать, но по должности ему придется отговаривать нас, запрещать... Рассказываю ассистенту руководителя нашей мастерской. Он почему-то считает, что это шутка. Советует не говорить об этом руководителю мастерской:

— Старик еще примет всерьез, разволнуется...

С тем и уезжаем.

На «Тритоне» повариха, женщина-коми из колхоза «Харп», рассказывает нам о своем колхозе. О том, какие огромные расстояния проходят олени стада — пастбища находятся в зауральских лесах, а летом, спасаясь от страшной комариной силы, стада подходят к самому морю, где комаров сдувают холодные ветры.

Рассказывает, что на Печоре на самом берегу есть поселок — оседлая база колхоза, где живут рыбаки и работники сенокосных бригад.

Мы решаем посмотреть поселок. «Тритон» подходит к берегу у оседлой базы колхоза «Харп» — Северное сияние.

— Сейчас вода падать начнет, скорее! До свидания!

— До свидания...

«Тритон» разворачивается и уходит. Ровно двенадцать ночи. Большие склады у причала заслоняют поселок. Острые жесткие лучи красного солнца, черные комары. Никого.

Нет, вот стоит за складом — мы сперва не заметили — маленькая фигура. Руки втянуты внутрь, и рукава белой малицы висят пустые. Лицо, как из черного, старого, обдымленного и обветренного дерева, обрамлено темным мехом капюшона. Совсем древняя старуха, даже ссохлась от времени.

Смотрит и молчит.

— Больше никто нет?

— Нет, только мы.

— Ну, тогда вы пошли. Я дочку ждала, в Ленинграде учится. Не приехала, так вы пошли.

Пошли.

Старуха поставила на стол самовар, принесла откуда-то розоватый бок семги. Порезала мелкими квадратиками, сложила в деревянную чашку, чуть посолила сверху крупной желтоватой солью — значит, рыба свежая, сырая. Поколебавшись, пробуем.

Съедаем одну миску, потом еще одну.

На полу постланы сети, на них — шкуры.

— Теперь спи.

Прожив недели две в поселке, мы разделились. Володя остается здесь, на оседлой базе колхоза «Харп», работает в рыболовецкой бригаде, рисует поэтому мало и только нашу старуху. Каждый раз ее темное лицо. Я на знакомой шхуне «Тритон» отправляюсь снова в устье Печоры, высаживаюсь в одном из рыбоприемных пунктов, в становище Дресвянка, и дальше иду по тундре пешком в стада — они пасутся вон там, на голубых сопках возвышенности Вангурей.

Поживу в одном чуме — иду в другой.

Сопки горбятся темными силуэтами, неожиданно расступаются к озерам. Между ними громко шумят большие, как реки, ручьи.

Меня подвезли бы, но пешком мне интереснее. Чумы — километрах в десяти — пятнадцати один от другого. Моему приходу почему-то не удивляются.

К чуму подхожу уже ночью — тихо. Сижую и жду, пока собаки кого-нибудь разбудят.

Шкура-дверь отодвигается, в темной щели появляется темное лицо. Узкие, под нависшими морщинистыми веками глаза недоуменно смотрят на меня. Тоже смотрю — не двигаюсь.

Потом шкура-дверь откидывается больше и выходит женщина. Одна рука опирается на палку, другая, заброшенная за спину, лежит на поясице. Золотистая паница украшена крупным узором: квадратик белый, квадратик темный, красная полоса сукна.

Пока закипает чайник, она кое-как рассказывает мне, что сын караулит сейчас стадо, старик весной — рано-рано весной — умер, а другой сын с женой уехал в отпуск, в город.

— А я тебя знаю. Ты — рисуй. — (Это такое существительное, а не повелительная форма глагола). — Пастухи приезжали, говорили.

Она расстилает шкуру ногами к костру и куда-то выходит. Укрываюсь курткой, поджав ноги. Что-то не спится. Женщина возвращается. Все время о чем-то рассказывая, роется в темном углу. Согнувшись, что-то тащит ко мне. Сняв с меня куртку, брезгливо морщится. Накрывает чем-то другим.

— Худой немного паница, все-таки теплее. Кожа больно холодит.

Подсовывает с боков.

— Летний чум: все на зимних санях увязано. Паница была новая, теперь носилась. Шила — еще старик был, не помер...

Подсовывает край под ноги.

— Жалко, худой паница.

Бросает на ноги еще что-то.

Засыпаю. Тепло.

Утром разглядываю паницу. На ней хорошо сохранился только узор: такие же крупные, как квадратик на панице старухи, ветвистые рога большого хора.

В следующем чуме меня встречают необычно: свистящий аркан падает вокруг меня незатянувшейся петлей. На лай собак из чума появляется женщина, очень черноволосая; скулы ее выразительного лица

так высоки, что концы узких глаз забираются на висок, блестящие волосы так туго заплетены, что, кажется, подтянули и концы бровей. Две косы много раз соединены между собой вплетенными в них полосками красной кожи; к полоскам прикреплены нитки бус, монеты, медные плоские, с кольцами украшения — все это побрякивает и позванивает у нее за спиной.

Женщина что-то говорит мальчишке, бросившему аркан, он прячется за чумом.

Приближается тундровый праздник — День Оленевода, или, как все говорят здесь, День Оленя.

Многие семьи приспособили к этому празднику старинный обычай: прежде чем мальчик будет считаться юношей, он должен пройти испытание в силе, в ловкости, в меткости и выносливости. И тогда вместо малицы с капюшоном, который делается из головки теленка и сохраняет поэтому его рожки и ушки, ему сошьют малицу с воротом, похожим на воротник знатных испанцев с портретов Веласкеса, и высокую плоскую шапку с полосами цветного — как огонь — сукна в том месте, где соединяются шкуры, и он получит свою упряжку оленей, свои нарты и свою винтовку.

Мальчик должен показать, как он умеет стрелять в цель, бросать вращающийся в воздухе топор — на дальность, ездить на оленях — на определенную дистанцию с определенной скоростью и — самое трудное — в стаде, которое пастухи и собаки гонят прямо на него, поймать заданного оленя, если надо — догнать его, удержать и, брыкающегося, связать.

Все лето перед праздником, который бывает в середине августа, мальчишки тренируются. Стреляют, бросают аркан. Впрочем, аркан они бросают с тех пор, как могут поднять, а не волочить за собой моток крепкой, по-особенному сплетенной веревки; но в это лето мальчишки бросают аркан с утра до вечера — на чум, на убежавших из юрка оленей, на собак, на бегущую сестренку, на идущую к озеру за водой мать.

В этом чуме мальчишек двое. Я живу здесь дольше, чем в других чумах, — мне очень нравятся мальчишки. Их мать рассказывает мне, что у них есть дедушка, строгий старик, который будет очень сердиться, если окажется, что мальчишки что-нибудь делают плохо. Мальчишки его боятся.

Старый дедушка приехал в чум не один — еще какой-то юноша, еще два старика. Я никак не могу понять, кто чей родственник, но, уже усвоив некоторые правила этой жизни, я тоже не задаю вопросов. Впрочем, понять, кто чей родственник, вообще очень трудно.

Старики неторопливо пьют чай. Потом, потуже перевязав ярко-малиновые, с пушистыми кисточками подвязки пимов — их завязывают под коленями, — выходят из чума.

Юноша-гость и отец мальчишек поехали за стадом — мальчишкам устраивают что-то вроде генеральной репетиции.

Потом быстро пронеслись, фыркая и раздувая ноздри, олени, что-то кричали пастухи, лаяли собаки, мать мальчишек с их младшей сестренкой стояла в стороне.

Старики и отец мальчишек стояли на невысоком крутом холмике, опершись на хорей. Лица стариков неподвижны.

Испугается ли мальчишка бегущего на него рогатого стада?

Низкие плотные тучи касались земли, вода в ручье под сопкой потемнела, морщась на ветру.

Ночью я думаю о мальчишках и о себе.

Сделаем или не сделаем?

Мы решили зимовать на острове Колгуеве.

Приводим в пригодность для жилья и работы очередной дом — нашу новую мастерскую.

Только теперь мы можем наконец развязать холсты, развернуть бумажные свертки и, разложив на полу, устроить «отчетную» друг перед другом выставку работ: гуашей, рисунков, набросков, наблюдений, впечатлений, иногда даже записей; можем не торопясь обменяться мыслями, посоветоваться.

У нас впереди не месяц, не лето — целый год. Год самостоятельной работы, за которую мы сами должны отвечать перед людьми, помогавшими нам — делом, советом, молчаливым участием или молчаливым примером.

Друг перед другом.

Одежду нам уже сшили — одинаковые малицы: для работы на «улице» мне удобнее и проще мужская одежда; только в одну малицу вшито малиновое, в другую — голубое сукно.

Кроится ненецкая одежда очень просто и красиво, я бы сказала — конструктивно. Конструкция продиктована строением человеческого тела.

Только спустя большое время мы обнаружили, что у ненцев свои представления о пропорциях человеческого тела: для того, чтобы сшить одежду, не снимают мерки, швее достаточно знать длину руки человека или ширину его плеч, остальные размеры высчитываются. По этим данным могут сшить даже обувь. Даже головной убор.

В малице не много швов, ни одного лишнего, и все цветные: чтобы в швы не проникал ветер, они проложены яркой полоской сукна. Иногда на стык шкур кладут пучок длинных белых шерстинок из-под горла оленя: притянутые жесткой жилкой через абсолютно ровные промежутки, эти шерстинки блестят, как бисеринки.

Рукава не стесняют даже резких движений, позволяют свободно вытянуть руки внутрь — отсюда и характерные ненецкие силуэты с торчащими пустыми рукавами, напоминающие силуэты русских бояр; в какой-то ненецкой сказке говорится: «Лег на снег, один рукав под голову положил, другим рукавом укрылся — проспал всю ночь». Мы тоже не раз так проводили ночи в пути.

Орнамент никогда не разрежет целую шкуру — его полоса пройдет только в том месте, где нужно пришить другой кусок. Начальная ли он стадия художественного мышления или та, высокая, когда образ уже стал иероглифом, привычной формулой, такой привычной, что забываешь ее первоначальное значение? Орнамент можно разгадывать, как неизвестные письмена, читать, как книгу: каждая женщина-швея что-нибудь добавляет к его старинному рисунку.

Мужская одежда и проще и строже женской. Женская одежда не только богаче украшена полосами орнаментов — на нее идут более ценные, теплые, мягкие и красивые шкуры. Но из самых красивых шкур шьют, конечно, детскую одежду.

Когда бывает очень холодно или предстоит долгий путь, сверху лиц надевают еще совики-парки с капюшонами мехом наружу. Если же парка из нерпы — это своего рода плащ, и шьется он всегда с учетом пятен, расположенных на шкуре, — крупных и мелких, зеленоватых и черных.

Ненцы удивительно чувствуют цвет. Летом ему придают гораздо меньшее значение — летом есть солнце: оно дает цвет небу, куски неба лежат в озерах; есть трава у озер; есть мох и ягодки морошки. Летом есть море. Все это есть только потому, что есть солнце.

Зимой белое пространство снега — как белый лист. С первым сне-

гом появляются яркие пятна новых маличных рубах — их уже не испортят дожди, — пятна самых невероятных, казалось бы, цветовых сочетаний.

Но предпочтение всегда отдается красному цвету.

Что может быть противопоставлено белой тундре и белому морю больше, чем Огонь, удивительный красный цветок, осколок солнечного тепла, лелеемый человеком особенно тогда, когда солнце — друг — покинуло его?

Человек старается удержать Солнце — оно продолжает жить в чумах стойбищ и домах поселков: это круглые сумки, «туця»; женщины шьют их из шкур, снятых с оленьих лбов. Одна сторона сумки — из белого лба, другая — из темного: ночь и день... Оттуда, где были в шкуре разрезы глаз, сейчас смотрят глаза из цветного сукна с цветными ресницами, есть и узорные зубы — пасть. А вокруг, по контуру сумки, идут красные узкие полосы кожи — жесткие лучи солнца.

В марте, самом холодном месяце года, в очень морозном воздухе по сторонам настоящего солнца, сопровождая его в движении, сверкают еще два солнца, поменьше; к сумке, где женщины хранят сплетенные олени жилы, кусочки белых шкур, цветные лоскуты сукна и уже сшитые полосы узоров, к сумке-туця тоже пришиты маленькие «солнца» для хранения наперстка и иглолок — маленькие солнца с красными лучами из жестких крашенных полос кожи.

Спички были редкостью — их привозили купцы.

Огонь добывали с трудом, огонь старались сохранить. До сих пор в языке живет выражение «кормить огонь» — чтоб он не умер, чтоб жил там, где живет человек. До сих пор на праздничных хореях, там, где надето копьё, трепещет на ветру красная кисточка из полосок сукна или кожи; развеваются над копыльями женских нарт красно-оранжевые языки; верхняя часть саней сплошь оплетена крашеной шкурой — меховые люльки лежат в кольце пламени и тепла.

Завтра придет последний пароход. По этому поводу не говорят трогательных слов, но все отправляют последние «регулярные» письма, но какими глазами провожают его островитяне...

На острове нет посадочной площадки. Самолет вызывают в особых, экстренных случаях — тяжелобольной, срочная операция, кого-то унесло в море.

Последний пароход стоит на рейде.

С этим пароходом мы отправляем официальное письмо директору института и руководителям наших мастерских о том, что мы остаемся на острове.

Конечно же, мы сами должны отвезти эти письма на пароход.

Большая вода — бот «Колгуевец» отходит прямо от причала.

Наш бот никак не может подойти вплотную к борту парохода — мы как на качелях. То маленький бот взлетает выше черной громадины, выше капитанского мостика, то проваливается в скользкую пропасть без волн.

Чтобы попасть с бота на корабль, нужно прыгать.

— ...Вы-то зачем здесь? — Элегантный капитан Жуков в черном блестящем дождевике вдруг забыл, что перед ним «дама».

— Вы не остаетесь? — Голос в рупор едва слышен нам.

— Нет, мы приехали попрощаться. Вот письма.

На палубе у борта появляется старпом Борис Гермогенович Грибуля. Жестами он приказывает нам не прыгать на пароход. И еще что-то — трудно понять.

Мы ждем — сейчас наш бот выше палубы парохода. Но капитан и старпом стоят так, что прыгнуть некуда; через минуту мы оказываемся ниже линии освещенных иллюминаторов. Потом снова стремительно идем вверх — письма переданы удачно.

Теперь они опять подают нам знаки — внимание! — и, когда волна снова подбрасывает наш бот на один уровень с бортом парохода, старпом бросает нам какой-то сверток с метр длиной. Ловим его.

Но с палубы парохода подают нам еще какие-то знаки; темно, ветер — не разглядеть...

— Ловите!

На этот раз что-то маленькое, привязано за веревку. Убедившись, что мы поймали и этот мокрый предмет, старпом отпускает конец веревки. Прощально машет рукой и бежит по палубе — кончать дела с островом.

Островитяне по очереди прыгают с парохода на бот, тоже привязанные веревками.

Капитан прикладывает руку к фуражке под черным капюшоном:

— Салют!

Гудок. Еще гудок...

Пароход быстро пропадает в темноте.

Начинается отлив — надо пересаживаться в шлюпку. Эта процедура не многим отличается от высадки с парохода на бот.

Забрав свои сокровища — в темноте нельзя понять, что это такое, — идем в дом.

Раздеваемся у порога — с нас стекают лужи воды.

Смываем соль с лиц и рук.

Теперь рассматриваем привезенное. Вся обмотанная веревкой бутылка коньяка и — мы даже не сразу понимаем, так это неожиданно — туго связанная и обмотанная гофрированными картонными обрывками какой-то упаковки — елка... Настоящая зеленая елка.

Неожиданно рано, в первых числах октября, выпадает снег. Снег уже лежит натающим толстым слоем, а море еще плещется. До тех пор, пока не замерзло море, островитяне считают, что еще лето.

Потом на море появится шуга. Откуда-то приплывут круглые льдины, и море начнет замерзать.

Приливы и морские течения еще часто будут ломать лед, раскалывая его трещинами, в которые видно, как дышит море. Островитяне говорят, что над трещинами стоит «морской пар».

Приливы и ветры будут выворачивать и поднимать на дыбы толстые льдины, сваливать их, образуя какие-то непонятные строения или просто хаотические нагромождения льда по всей линии отступающего прибоя, но море уже не будет плескаться и заливать камни, не будет шумно и равномерно дышать, наполняя своим дыханием воздух над островом.

Станет тихо.

Но море и подо льдом живет. Сдавленное огромной толщей льда, оно становится еще более опасным.

Никогда нельзя спутать — идешь по низкой заснеженной тундре, над которой не торчит уже ни единой кочки, или по скрытому снегом морскому льду. Сейчас, когда и земля и море сливаются с небом, у человека появляется острое чувство — идешь по земле. По краю земли — вот тут она обрывается. А эта снежная, уходящая за горизонт равнина — это уже не земля, и там уже не жизнь...

Странно видеть ясное небо без солнца.

Небо, оставаясь ясным, постепенно теряет свой цвет. Как в лице, на котором отсутствуют глаза — их выражение, их цвет и свет, — отсутствует жизнь.

Дни такие коротенькие, что при их мутном свете мы ничего не успеваем.

Покупаем бочку керосина и десять десятилинейных ламп. Набиваем по стенам на разном уровне много гвоздей. Кроме того, Володя через всю мастерскую натягивает найденную на берегу проволоку. По этой проволоке можно передвигать висящие на ней лампы.

Пишем при таком освещении.

Лежу на берегу над морем и учусь стрелять. Стреляю в пролетающих и плавающих морских уток. Едят их редко: мясо их очень пахнет морем и рыбой.

— Зачем стреляешь?.. Есть ведь не будешь...

Ненецкий разговорный язык изобилует гортанными звуками: часто слова в произношении как бы плывут на одном дыхании и имеют странные, придыхательные ударения — как вздохи. Почти всегда ненцы так же характерно, по-своему, выговаривают и русские слова.

Но здесь что-то уж очень много придыханий — почти поет.

Оборачиваюсь.

Человек редко — во всяком случае не очень часто — бывает образцом.

Таули всегда был образцом.

Он переставал им быть, только когда сильно напивался.

Совершенно ровного цвета, без обычного для северян румянца — только тяжелые веки слегка покраснели от ветра и низкого солнца, — его лицо похоже на скульптуру, сделанную из темного песчаника, выветренную и обобщенную временем...

Ведет он себя так, что мы чувствуем себя как-то «не по себе».

В нем нет заносчивости, он даже явно стесняется нас, и все-таки нам в его присутствии как-то «не по себе».

Он одного с нами возраста, окончил только островную школу — четыре класса. В общении с ним я не чувствую разницы в образовании, несмотря на то, что мне часто приходится объяснять ему какое-то понятие или значение отдельного слова: просто слова эти и понятия — из другой жизни. Он тоже многое объясняет нам.

Желтая суконная полоса на его шапке выглядит парчой, драгоценным металлом сверкают и медная цепочка, на которой висит нож, и медные полосы простого и крупного орнамента ножен.

Мы едем в чум к Таули.

Почему-то так случается, что каждая наша поездка в тундру чем-нибудь замечательна. А может, в тундре каждая поездка — это не так-то просто?..

Не успеваем миновать мутно-серую холодную равнину за поселком — замерзшее болото, — как начинается пурга.

Дышать трудно — ветер усиливается. Снег забивается во все щели и швы одежды. Мы на опыте убеждаемся, что ненцы не напрасно защищают швы сукном или пучками оленьей шерсти. Ветер проникает всюду. Ведь известно: чем меньше шелка, тем резче дует. Ничего не видно. Впереди идет упряжка Иде, брата Таули; они часто переключаются, чтобы не потерять.

Едем, едем все в ту же плоскую вертикальную смесь ночи и снега; неожиданно (успеваешь только заметить, что вдруг исчезли олени твоей упряжки) санки куда-то летят, догоняя увязших в снегу оленей,

переворачиваются, перекатываются через них; все путается. Придя в себя, разбираем упряжь, растаскиваем санки и ощупываем в темноте оленьи ноги, нет ли переломов. Таули считает всех нас — все на месте.

Жарко. Стоим, отдыхая, кружком, укрывшись от ветра. Плечо к плечу, касаясь головами. Так повторяется много раз.

Два чума — Таули и Уэско — стоят вместе: их стада сейчас слиты.

Ветер пахнет дымом. Таули приглашает в чум.

Сын Уэско, откинув шкуру, заглядывает в чум, здороваются. Идем к чуму Уэско здороваться.

Хорошо, что нас двое — Володя пьет чай в чуме Уэско, я живу в чуме Таули.

У Таули четыре брата и две сестры. Сейчас в чуме живут его мать и два брата.

В зимнем чуме шкуры лежат на досках, специально выпиленные доски лежат на снегу. Между ними полоса снега. Когда снег загрязнится, приносят и утаптывают чистый. В центре этой снежной полосы — костер.

Обычно по одну сторону костра живут старики, по другую — молодые. Едят отдельно — с каждой стороны ставят низенький столик.

По одну сторону от костра живут мать Таули и его старший брат — очевидно, он уступил место с другой стороны костра мне.

По другую — мы. Мы — это Таули, Иде и я.

Мы живем в самом центре круга под куполом темноты и звезд, ходим по земле, сидим и лежим на земле, мы ощущаем землю, на которой живем.

В этом чуме кормит и сохраняет огонь мать Таули. Высокая худощавая старуха с темным лицом, таким темным, что мне никак не разглядеть его черт: она ходит согнувшись — от дыма костров и постоянного выделывания шкур.

Каждый день ездим «имать» оленей.

Вместо дня чуть-чуть сереют сумерки. Едем белой тундрой за белые сопки. Я чаще всего сижу на санках позади Таули, прячась за его спиной от твердых и острых кусков смерзшегося снега, летящих из-под оленьих копыт.

«Имают» долго на большой круглой сопке. Собаки не дают оленям разбегаться.

Таули догоняет оленя и ловко бросает свистящий гынзей, связывает и догоняет следующего, во всей его фигуре чувствуется сила, и ловкость, и что он сам ощущает свою силу и ловкость и радуется им. Реакция у него мгновенная. Часто взрослый олень волочит его за собой, смерзшийся снег режет в кровь руки и лицо, но оно не меняет выражения.

Меняются только глаза — следящие за оленем, измеряющие расстояние, зоркие, точные глаза, прикрытые тяжелыми веками от ветра и колючего снега.

Рисуем чаще всего углем и пастелью.

Я пытаюсь писать гуашью — для этого нужно иметь банку кипятка и писать очень быстро.

Мать Таули сидит в углу на шкуре, шьет, но я чувствую, как она все время следит за мной.

Я не успеваю кончить писать, только подхожу к концу — не знаю, как она об этом догадывается, — она берет чайник, в котором остатки чая еще на замерзли, немного сухого мха, и, поливая из чайника пятна краски на досках пола, трет их мхом.

Воды мало, и я всегда удивляюсь точности, с какой старуха попадает стружкой из чайника в пятнышко краски.

Она просто не выносит этих пятнышек и вообще, по-моему, слишком любит чистоту.

Утром, едва только одеяла, шкуры и спальные мешки свернуты и запиханы в угол между шестами чума и полом, она уже молча через костер с другой половины чума швыряет мне лата-то — гусиные крылья, веник, чтобы я смела в изобилии насыпавшуюся шерсть.

Как она смотрит на меня, когда я выворачиваю, чтобы сушить, пимы из жестких камусов! Ее презрение просто великолепно. Таули, когда я делаю что-нибудь уж очень неловко, вполголоса и глядя в другую сторону, объясняет мне, что надо делать, чтобы это лучше получалось.

А как она смотрит, когда я скручиваю жилку, чтоб зашить дырку на подошве! Так же примерно она смотрит на Таули, когда он вечерами играет со мной в савыко — игру-головоломку, в которую можно играть без конца. По-моему, и Володя тоже побаивается ее.

...На одной половине сидим мы — я и Таули. На другой половине — мать Таули, шьет. Шьет и косится на палитру и кисти, лежащие на полу.

Мне и так трудно — все время замерзает краска. Я пишу уже около часа — костер потух, ведь топят только для того, чтобы сделать чай из снега; мясо в большом закопченном котле варят вечером; я пишу темперой, а в консервной банке уже не вода, а лед с маленькой прорубью посредине; на кистях намерзли ледяные наросты. Но хуже всего то, что вода с краской замерзает тонким слоем прямо на картоне. С силой вожу кистью по палитре.

А старуха все шьет и косится. Потом она встает, вздыхает, неторопливо достает из-за пазухи сверток березовой коры — осторожно, как старинный свиток. Отрывает кусочек коры и подносит его к своей толстой самодельной папиресе; часто затягивается.

Береста потрескивает, вспыхивает. Старуха держит этот потрескивающий яркий цветок прямо в пальцах, осторожно и неторопливо кладет его под аккуратно сложенные посреди снеговой полосы полена длиною в карандаш.

Я очень радуюсь, но стараюсь, чтобы это было незаметно; подвигаю банку ближе к огню — лед быстро начинает таять.

Я пишу еще час, а может, и два. Густой, эластичной, податливой — растаявшей краской. И никто не едет к чуму.

Это уже неважно, как получился этюд, — не в этом дело. Я даже не знаю сейчас, что важнее — великолепное лицо Таули с тяжелыми веками, с линией скул и губ, за которыми удивительным образом угадываются белые просторы тундры и ослепительные блики океана у Северного берега, или эта темная, с кольцами, которые уже никогда не снимутся, высохшая, как лапка, старушечья рука, подкладывающая в костер коротенькие полена.

Таули уехал в поселок, вернулся через три дня и теперь едет к Северному берегу — ему нужно отвезти на маяк Норд бочку керосина.

Естественно, что нам тоже совершенно необходимо ехать. К северу идут четыре упряжки. Кроме Таули, меня и Володи, едет еще Хурк.

Белый берег — кончилась земля, началось небо.

Ветер с моря, соленый.

И никак не уйти от берега.

Не понимаю, но чувствую, почему возвращаются сюда люди, хоть несколько лет прожившие на Севере...

Мы заходим в домик у маяка.

Нас зовут ужинать в комнату — Таули и Хурка не зовут. Нам готовят постели в комнатах — им вообще ничего не стелют.

— Переспят в малицах.

Я живу в чуме у Таули, мы спим рядом — наши шкуры-постели разделяет несколько досок пола и Сэвк, которого Таули всегда привязывает веревкой к шкуре, на которой спит сам. И эта темная старушечья рука с кольцами, которые уже никогда не снимутся, подкладывает коротенькие поленца в огонь...

Мне больно за себя и за этих людей. Мне стыдно перед Таули.

Ночью мы уезжаем обратно в наш чум.

Ни одна жизнь, даже если она совсем рядом, не становится понятной сразу. Чтсбы раскрылась она, подарив тебе свой опыт, свою мудрость, свои знания, свою любовь, нужно приблизиться к ней, пойти навстречу с желанием понять ее и очень часто уметь от чего-то отказаться в своей.

Иногда это дорого нам обходится, и, не дождавшись радостей от открытия другой жизни, не заслужив их, мы отступаем с полдороги.

Приехавший сюда человек не может быть временным по какой-то внутренней перспективе своей работы; приехавший сюда человек и не бывает временным, его жизнь здесь не кончается с его отъездом; как нигде в другом месте, долго сохраняется память о нем — о его поступках, о сказанном им.

Бывает и так, что приехавшие сюда на работу люди не имеют с местным населением недельных связей. Обидно, когда, не зная этой жизни и не стремясь понять ее, вместе с какими-то ее недостатками подчеркивают и ее приобретения.

На уроках труда в школе — а надо все время помнить отдаленность этих мест, трудную доставку почти всех предметов быта и продуктов, — на уроках труда ребята преимущественно рисуют. Рисуют, чаще всего с картинок, предметы или вещи, которых никогда не видели. Конечно, это имеет познавательное значение, но ребята больше всего любят рисовать свою тундру, сцены охоты и домашней жизни, знакомые им во всех деталях. Но вот беда — этих деталей часто не знают учителя. Тогда детские рисунки, полные прелести и наблюдательности, кажутся неинтересными. Что может быть интересного в тундре? Голая, однообразная, болотистая равнина окружает поселок...

Девочки на уроках труда под руководством учительниц вышивают. Они уже умеют шить: еще до школы помогают матерям, которые шьют всегда — подошвы или орнаменты, узорные праздничные пивá или одежду из нерпичьих шкур. Жесткая нерпичья шкура плохо слушается в маленьких пальчиках, трудно прокалывается; но девочки всего мира играют в куклы — чаще всего девочки шьют, с завидным терпением, старательно, одежду для своих кукол... Ненецкая кукла — это или выстроганные отцом или братом чурки с головками, или просто гусиный клюв, на круглом оранжевом кончике которого можно увидеть, если вы, конечно, умеете, загорелое личико. Крохотная одежда из обрезков шкур почти во всем повторяет взрослую одежду; к подоле ее пришиты маленькие тобоки, туго набитые мхом, — у гусиного клюва ведь нет ножек. Тобоки бывают даже с узором.

А в школе девочек учат вышивать кошек с голубыми бантами. Они никогда не видели кошку, или коску, как все здесь произносят, и не очень любят ленты — это не их жизнь.

Но девочки доверчиво слушают учительницу и постепенно начинают стыдиться своих кукол, своих привычек, своей одежды — своей жизни.

Детей привозят в школу в самой лучшей одежде, украшенной орнаментами, ленточками сукна и медными украшениями, и, оставив детей

в поселке, увозят ее обратно. Детям в школе не позволяют носить свою удобную и теплую одежду.

Одежда не по росту, плохо сшитая особенно удручает на детей. Ребят переодевают в одинаковые серые пальто; и мальчики и девочки обуты в сапоги осенью и валенки зимой, тоже часто не по размеру — они передаются от одного к другому поколению школьников. Привыкшие к меховой одежде и обуви ребята мерзнут.

Когда же за ними приезжают, чтобы увезти на каникулы домой, в тундру, они вновь преобразуются в ловких, удобно и любовно одетых ребят, с младенчества умеющих править упряжкой оленей, бросать на ветвистые олени головы аркан и обращаться с оружием...

Новый год.

У нас горят все лампы и на двух из них даже надеты хитроумные — чтобы не загорелись — цветные фонарики.

Елка — та самая, переданная с «Юшара» — стоит на полу, ничем не украшенная. Она сохранялась на чердаке. Сейчас, оттаявшая в относительно тепле, она вся распушилась, зеленая. Пахнет солнцем.

У нас — гости. Уэско и Таули приехали из тундры. Нидане с мужем и сыном пришла из поселка.

Мы сидим на полу, на шкурах, вокруг сдвинутых ящиков из-под масла, накрытых куском еще не загрунтованного холста: низкий стол привычнее нашим гостям. Постепенно они становятся более разговорчивыми.

Нидане в лицах рассказывает Уэско содержание наших картин, с двух сторон возвышающихся над нами — сидим, как на дне ущелья. Потом Уэско, наклонив голову и почти касаясь лбом лба Таули, говорит ему что-то, избыточное придыханиями и ударениями. Потом, очевидно, решив, что так будет понятнее, поет. Таули слушает очень внимательно.

Проговорив все по-ненецки, он повторяет то же самое по-русски — для нас с Володей. Оказывается, он рассказывает свою родословную — это все равно что рассказывать родословную острова. Не только мы, но и все гости очень внимательно слушают, хотя, я думаю, все это они знают не хуже самого Уэско.

По пропетому стариком рассказу Володя вычертил потом интересное «генеалогическое древо» — родословную островитян, которые продолжают жить очень большой семьей. Родственники — все. Родственные связи тянутся на материк — в Большую и Малую тундры справа и слева от Печоры.

Островитяне очень внимательно относятся к своим родственным связям, часто преодолевают большие расстояния, чтобы навестить родственника, которого они никогда не видели, и никогда не упускают возможности рассказать о том, кто кому брат.

Часто мы встречали людей за сотни километров от острова, удивительно похожих чертами лица или чем-то неуловимым в этих чертах на знакомых нам островитян. Иногда мы осмысливали это сходство только в процессе работы, рисуя их лица, в рисунке вспоминая знакомые характеры. В этом занятии было для нас что-то очень увлекательное и притягивающее. Очень интересно, когда черты лица, характерные для одной семьи рода, вдруг обнаруживаешь у членов другой семьи, давно живущей далеко от первой. Как давно? Почему так случилось?

Ненцы неожиданно охотно рассказывают об удивительных историях того времени, когда не ходили пароходы и ненцы с Большой земли пересекали опасное море на парусных карбасах, добирались до островов, утверждая старые или создавая новые родственные связи.

Рассказывают о том, как часто уносило в море преданных родственников, жаждущих свидания с людьми своего племени, как осваивали они новые острова или погибали в море.

О том, что остров уже был населен, когда сюда приехали первые «ненецкие люди».

— Это были русские, те, которые крестились вот так,— показывает два пальца,— а потом их заставили креститься вот так... а они почему-то не захотели и переселились с Большой земли на остров, и когда сюда потом, попозже, приплыли ненцы, тех русских оставалось уже совсем мало — они не ели сырого мяса и все заболели цингой.

— Оставшиеся ставили умершему крест — там что-то было вырезано и написано, но мы не могли прочесть, а совсем последние сами приготовили себе кресты, и мы их похоронили. Всех вместе, за речкой Большой Паарков, на востоке. Там ручей есть. Покойничий.

— Кресты мы не трогали — это были их покойники и их кладбище, мы не хороним своих в тех местах. Совсем уже недавно какая-то экспедиция сожгла кресты. Зачем? Не знаю зачем; на дрова, наверное. И наших сядэв — наши шаманы ставили их на высоких сопках,— тоже сожгли. Не знаю зачем — сожгли, и все.

— ...А одна женщина в пургу потерялась от аргиша, ее снесло на лед и льдину прибило на остров. Никого не нашла — всю зиму одна жила. Чем? А олени? Убивала и ела. А береста ведь всегда у женщин хранится. И щенки были в санях; так одна и жила. Всю ночь. Только уже весной людей встретила. Потом так и осталась у нас жить. Кто? Ну, ты же ее знаешь. Хада Ваэрми.

Островитяне рассказывают об этих случаях так, что, кажется, все они, независимо от возраста, были свидетелями гибели фанатиков, бежавших от реформ Никона, и будто сами встречали весной эту женщину, прожившую зиму-ночь во мраке снегов.

В тундре новости не стареют. Бережно передаются из чума в чум, бережно хранятся.

У островитян свое представление о времени, иное его исчисление. Конечно, официально они пользуются европейскими понятиями, но только официально. Они иначе делят время года, их понятие месяца несколько отлично от нашего.

Год делится на обычные четыре части, и называются они — месяц весенний, месяц летний, месяц осенний, месяц большой темноты.

Более короткие отрезки времени — время отела (можно — месяц отела, май); месяц, когда падают у оленей рога; месяц, когда гнездятся птицы; месяц, когда ловится омуль; месяц, когда птицы собираются в стаи; месяц, когда замерзает море...

Нам так и не удалось понять — ведь ненцы почти никогда ни о чем не спрашивают,— как они узнают, где найти родственника в Мало-земельской тундре, которого они вообще никогда не видели и которому, по их исчислению, будет теперь, наверное, лет пятьдесят, и как узнают о том, живы ли вообще эти люди и люди, лет десять назад почему-либо покинувшие остров.

И все это выглядит вполне естественно.

— Ну я же говорила. Я так и знала, что белил не хватит!

Белил действительно не хватит. Того, что осталось, хватит одному недели на две, а ведь работают двое...

К кому звать о помощи? В Киев далеко...

Два дня сочиняем радиограмму о красках: «Архангельск, Косцову». Кроме масляных белил, нам нужна еще и гуашь и бумага. Как рассказать в радиограмме, чтобы было все понятно?

Дни после ухода солнца похожи на дни, когда ушел пароход.

Из какой-то давно рассказанной сказки я помню, как первобытные люди, глядя на заходящее солнце, каждый раз боялись, что оно не покажется снова над горизонтом, и призывали его заклинаниями, и задабривали жертвоприношениями. Как они радовались, наверное, эти люди, когда оно появлялось вновь!

Оно появилось, как всегда, на юге, за торосами, сперва только ярко-красной черточкой; это было даже не солнце, а только свечение воздуха, но солнце уже шло к нам. Потом мы увидели его огромный раскаленный край и какой-то неровный, изогнутый полукруг.

Все оставалось таким же — белые берега, белые торосы; только в белом небе у горизонта несколько минут в день плавилось красное пятно. Пятно росло, и вместе с ним росла еще не радость, а какое-то неясное ощущение ее.

Солнце растет быстро. Еще бесформенное, оно уже подымается выше, с каждым днем становится ярче и наконец заливает небо и белое море и освещает остров — весь — таким же ослепительным, сияющим, как оно само, осязаемым, весомым, материальным светом, несущим радость, несущим жизнь.

Только чтобы увидеть, как появляется, рождается для дня солнце, и только чтобы пережить эту радость, стоило прожить здесь эту ночь, эту зиму.

Есть еще одно ощущение, немного схожее с ожиданием солнца. Это ожидание самолета.

Как можно ждать самолета, как начинаешь волноваться и радоваться, когда над поселком вдруг раздается звук его мотора, уверенный и утверждающий звук, напоминающий, что есть и другая жизнь, — все это можно понять только там, где самолет зимой — единственная связь с Большой землей, с другой жизнью.

Сколько раз островитяне выходят осматривать прибрежный лед в поисках достаточно ровного и достаточно большого ледяного поля, годного для посадочной площадки, сколько раз ожидающим на льду людям — была радиограмма, что самолет вылетел, — мчащаяся от острова упряжка несет новую весть: самолет вернулся, встретив непогоду...

Сколько раз островитяне с отчаянием смотрят, как море ломает и без того далеко не идеальную площадку, как на ней появляются торосы.

Звук приближающегося самолета! Его ни с чем нельзя спутать, ошибиться — нельзя.

Вот мы его услышали. Еще не верим.

— Самолет...

В сознание вживается этот равномерный гул, вдруг победивший тишину полярной зимы, но ведь самолета не ждали — сегодня не ждали, о нем не предупреждали радиограммы, для него не искали посадочной площадки...

Значит, посадки не будет...

И все же из всех домов выбегают люди. С лаем мчатся собаки.

Самолет делает круг, второй.

Какой он великолепный над снегами!

Теперь понятно — летчик ищет ручей или речку невдалеке от поселка: на ровно замерзшем льду — мягкий и глубокий снег.

К ручью уже мчатся собачьи упряжки — у кого были готовые под рукой. К ручью бегут люди, на ходу сбрасывая шапки, подхватывая рукой полы малиц.

Бежим и мы.

Зачем? Попробуйте не побежать.

В самолете письма, написанные нам, газеты, посылки, кинофильмы; но важно даже не это, не сами эти письма и газеты — важна та Большая жизнь, которая послала к нам этот мощный и равномерный, уверенный гул мотора, важен он сам, самолет, воплотивший в своих формах, в самом своем движении человеческую волю, человеческую мысль, преодолевший опасное пространство, победивший тишину.

Самолет делает третий круг, и от него отделяются темные комочки — один, второй, третий. Четыре.

Самолет делает еще один круг, покачивает над ручьем крыльями. Все.

Набирает высоту, удаляется.

Удаляется гул его мотора — увеличивается тишина над островом.

Все стоят и смотрят вслед самолету. Пока он совсем не исчезнет, не растворится в просторе неба, пока хоть чуть слышен его гул, никто не подбирает мешки с почтой — с письмами, связками газет, посылками.

К бумажным мешкам привязаны красные флажки — их далеко видно на снегу.

Бумажные мешки привозят в одну из комнат фактории — здесь вдруг умещается весь поселок, включая и собак.

Пахнет одеждой из оленьих шкур сырой выделки, тает снег на обуви — его не выбивают. Не до этого.

Последний пакет. Адрес: «Колгуев, художникам». Под веревкой маленькая записка: «Достал почти все. Белил — 100, кобальта — 60; гуашь не достал. По совету художников посылаю мел, красители в порошке и столярный клей. На всякий случай пишу рецепт приготовления, сделайте сами. Вместо бумаги посылаю потолочные обои, все равно белые. Еще два лимона — больше не было. Спирт от себя оторвал. Всегда приду на помощь, желаю успеха. Радируйте. Александр Косцов».

Вспоминаем, что Саша Косцов не знал наших фамилий...

Март — самый холодный в году месяц. Месяц, «когда скрип полозьев слышен от края до края земли», поется в ненецкой песне. Но в марте уже светит солнце — все равно уже весна.

Собаки, одурев от блаженства, шурясь, сидят на солнце и даже пропускают возможность устроить драку или накинуться на кого-нибудь всей лохматой, ошетилившейся сворой, наполнив поселок оглушительным лаем.

День в марте еще короток, и когда мы, вымыв кисти и тщательно отмыв руки, выбираемся в гости, поселок уже голубеет в свете звезд.

Идя в гости в дома, где стойко живет запах недавно снятых и выделываемых «по-сырому» оленьих и нерпичьих шкур, нужно очень тщательно мыть руки: ненцы не выносят запаха керосина или скипидара. Банки с керосином держат плотно закрытыми, на специальных вешалах вдали от домов; бутылку со скипидаром или керосином, которым мы разводим краску или моем палитры и кисти, безглаголю, двумя пальцами, вытянув руку, выносят из чума; налить лампу — пренеприятное дело; знакомый старик в Каре, наш друг, всегда просил Володю покупать ему керосин и заправлять лампы; перед приходом гостей нам нужно было основательно проветривать и без того не слишком теплый дом, чтобы хоть немного удалить из него постоянный запах скипидара и краски, который мы уже совершенно не ощущаем.

Дверь из сеней в кухню завешена шкурой от холода, который врывается белыми клубами. В дом надо входить, как в чум, треугольником откидывая конец шкуры. Мы уже научились так входить — острови-

тяне говорят, что сперва мы это делали, как нерпы, выбирающиеся на лед.

В кухне выбиваем снег из одежды и обуви, особенно из подошв, специальной плоской палкой, нередко украшенной орнаментом. Снег, тающий на одежде, портит шкуры.

Глаза привыкают к свету ламп. Одна из них стоит прямо на полу, другая на квадратной дощечке, подвешенной на медных цепочках, — так подвешивают лампы (или светильники с нерпичьим жиром) в чуме, где нельзя прибить (некуда) полку.

В доме живут немного как в доме и немного — как в чуме. Стоит большой стол и табуретки, но чай пьют, чаще всего сидя на шкурах, которые постланы на полу, за маленьким привычным столиком.

Печку тоже топят, как костер, подкладывая по одному обычной длины поленцу, пока не закипят чайники. Кухня — самая теплая и самая тесная часть дома: здесь больше всего вещей.

В кухне развешаны по стенам пучки сухой травы, из которой делают стельки и вяжут коврики-подстилки. Здесь же висят связки гусиных крыльев — для веников; олених, со спины и ног, сухожилия — для ниток; на вешалах, устроенных над печкой, как в чуме — над костром, сушится меховая одежда и обувь.

Растянутые на палках, сушатся нерпичьи шкуры и шкурки птиц, чаще всего гагар; висят набитые мхом чучела бельков, детей нерпы, с разноцветными суконными ресницами и такими же яркими суконными носами.

Остальные стены в доме украшает огнестрельное оружие различных систем. Здесь есть все: завезенные еще норвежскими купцами, вышедшие из употребления на родине ружья, двустволки и мелкокалиберки новейших марок, немецкие трофейные карабины и ружья совсем уже загадочного происхождения.

В кухне над очагом висит закопченный котел, в котором по вечерам варят мясо, и другой, в котором варят еду для собак; низко в углу на медных цепочках висит перекочевавший из чума медный умывальниковщик.

На столе стоят ведра со снегом; под столом — ящик, в котором живут ябто-ко — найденные летом в тундре гусята; в этом же ящике живут щенки.

За кухней следуют комнаты. Они выглядят чрезвычайно современно: кроме стола и табуреток — никакой мебели. Необходимость кочевать не позволяет обзаводиться громоздкими и лишними вещами — человек должен обходиться немногим, жить налегке. Вещи не должны лишать его свободы.

Сани, лодки и лыжи — другое дело, их можно иметь сколько угодно. Прислоненные к стенам домов, отбрасывают изломанные длинные тени — без этих теней невозможно представить себе поселок...

Хозяин и хозяйка очень сдержанно отвечают на наше приветствие. У Нецька Саса этой выдержки пока явно нет.

— Ада, худó, Володя, худó! — много раз выкрикивает он.

Он совсем недавно усвоил наши имена. А до этого был убежден, что нас зовут одинаково — Худó.

Впрочем, по имени нас в поселке называют не очень часто и только в «официальных случаях». Чаще всего каждый из нас называется Рисуй-Нго-да — Тот, Который Рисует.

Нецька Саса не слушает, что там вполголоса сердито говорит ему мать, и продолжает выражать свой восторг по поводу нашего прихода тем же способом — он выкрикивает все известные ему русские слова, среди которых Ада, Володя, худо, спасибо, пожа-луй-ста, бугама —

иначе слово «бумага» никак не говорится, — составляют едва ли не половину всего запаса.

Садимся ужинать и в который раз удивляемся, как мы все умещаемся вокруг маленького ненецкого столика — сантиметров восемнадцать высоты и площадью едва ли больше газетного листа.

Снова лай — еще гости: старший брат Нидане, его жена — бабушка Ольга, их дочь с меховой, стянутой ремнями на медных пряжках люлькой, в которой спит ребенок.

Долгий разговор о направлении ветра, о сетях, о морзвере, долгое чаепитие — это все прелюдия. Гости сегодня званы не для этого: Нидане кончила шить свою белую паницу.

Нидане любит похвалиться:

— Я все сама, все сама смотрю, у кого хороший узор — я перенимаю и еще сама что-нибудь придумываю.

Наконец все считают, что положенное на разговоры время истекло. Нидане выходит из дому — вся одежда находится в санях на улице или в холодной кладовке. Она возвращается, неся новую паницу «нутром» наверх, так, чтобы белого верха и узора не было видно, — Нидане любит еще и эффекты.

Все мы сидим, как жюри в Доме моделей.

Переодевание происходит у нас на глазах. Набрасывая новую белую паницу поверх старой, когда-то темной, а теперь золотистой от ветра, Нидане проделывает это так ловко и быстро, что мы даже не успеваем заметить, какое у нее платье под паницей... Все это время Нидане стоит к нам спиной. Судя по тому, как оттопырились и изломались пустые рукава, она завязывает шнуры паницы (шнуры завязываются изнутри: снаружи на морозе это не всегда удалось бы сделать).

Потом она поворачивается. Черные блестящие волосы — темнее задымленных шкур — гладко и туго притянуты к голове, заплетены в черные тугие коски. Оттененное белым мехом лицо ровного темно-золотистого цвета. На совсем белых шкурах четко вырисовываются полосы узора — ветвистые рога большого вожака стада.

Фитили в лампах весь вечер никто не подкручивал — они дают все меньше света. В незанавешенные окна (занавески с успехом заменяет толстый слой льда) проникает голубое мерцание снега — взошла луна. Нидане стоит между окнами. Белый мех с двух сторон очерчен легким голубоватым контуром. Медные полукруги ее серег не висят, а лежат на мехе высокого ворота.

Паницу осматривают придирчиво. Бабушка Ольга замечает, что сзади узор надо было бы... на полтора пальца ниже.

Я ношу паницу, сшитую Нидане, к ней и ее мужу мы чаще всего ходим в гости, к ней и к ее мужу чаще всего идем за помощью. Но мы не рисовали ее. Не рисовали, честно говоря, опасаясь осложнений из-за несколько скандального ее характера.

Знакомство наше с Нидане началось именно с того, что она пришла к нам, и пришла как раз скандалить.

Волода тогда нарисовал и перед сеансом повесил в клубе большой рисунок, своего рода агитплакат: рядом с большой бутылкой спирта и его ценой была изображена женщина в панице, несущая обычный для острова пестрый мешок для продуктов; под рисунком было объяснение, опять-таки с изображениями, сколько продуктов или других товаров можно купить вместо одного литра спирта.

Не слишком твердо ступая, она тогда в первый раз пришла с претензией:

— Зачем меня нарисовал? Разве я только одна спирт покупаю?

Когда мы объяснили ей, что, конечно, не только она, но именно это

и плохо, что если бы только она, это было бы не так уж страшно, Нидане с еще большим возмущением и явным вызовом сказала:

— Но зачем тогда только меня нарисовал?

Выслушав снова все наши объяснения, что это не она, а, так сказать, собирательный образ, она выдвинула неопровержимое доказательство:

— Я бы, может, и поверила, что это не я, но ведь это же моя новая паница нарисована, и узор такой только я шью.

И она продолжает речитативом:

— Будес смеяться, так рисовать будес — стрелять будем. Ненецкий национал такой: по-хорошему жить будешь — ты мне брат и сестра будешь, смеяться будешь — мы на месте стрелять будем.

Вот так мы и познакомились.

...Просим рассказать сказку. Островные сказки — это часто отголоски сказок, которые вместе с людьми приплыли в карбасах из Большеземельской гундры, а иногда свои, родившиеся уже на острове из легенд и случаев островной жизни. Сказки хранят неясные, измененные временем образы истории народа, когда-то пришедшего в поисках пастбищ или по другим причинам сюда, к берегам холодных морей, и так и оставшегося здесь жить.

Бабушка Ольга говорит, закрыв глаза, по-ненецки; обычно ровный, почти на одной ноте гортанный говор сейчас очень богат оттенками: и без переводчика ясно — это говорит завывающая пурга, а это — шепотом — черная ночь.

Переводит Арка Саса. Нидане слушает очень внимательно и через несколько фраз с возмущением перебивает его, они начинают очень горячо по-ненецки спорить о тонкостях перевода. Они могут поссориться. Но Нидане оказывается, конечно, права; отстранив Арка Саса, переводит дальше: «... И у сына Пурги была дочь с лицом, как утреннее солнце после длинной ночи...».

На остров привозят кинофильмы. С последним пароходом на зиму завозят около пятидесяти металлических коробок, содержимое которых пересматривается к весне по четвертому разу. Весной ленты смотрят иногда даже с конца. Островитяне очень любят ходить в кино. Нидане в определенном состоянии часто вслух комментирует происходящее на экране — иногда от этого оно становится значительно интереснее.

Вокруг здания клуба на снегу жмутся друг к другу собачьи упряжки, лежат олени пастушьих упряжек; к стенам клуба прислонены маленькие санки, чтобы отвезти домой заснувших ребят.

В «кинозале» сидят по росту и по возрасту. Впереди на полу еще не уснувшие дети; ребята постарше и старики сидят на лавках первых рядов. Заснувших малышей в люльках и малицах с рукавами такого покроя, чтобы у спящего ребенка не мерзли втянутые внутрь руки, складывают на шкуру за печкой — там они и посапывают все вместе.

В ответ на вопрос президента-киномеханика: «Сегодня давать фильм или сборник киножурналов?» — все дружно требуют сборник.

Фильмы «про любовь» не пользуются успехом — островитянам почему-то не нравится смотреть «про любовь» крупным планом, и они уходят, но вот фильмы про войну... Такие фильмы можно смотреть и смотреть.

Различается еще один тип фильмов — и хотя среди них есть и хорошие и плохие, они почти всегда непонятны и потому нелюбимы. «Главную улицу» Бардэма мы смотрели к концу сеанса вдвоем.

Эти-то «заграничные» фильмы и повлияли самым неожиданным образом на Ларчи, которой вдруг захотелось быть... Лючией или на худой конец Ларисой.

Работает Ларчи на звероферме, готовит корм и кормит голубых песцов: Клетки стоят на самом берегу моря, открыты отчаянным ветрам.

Ветер яростно треплет длинные, неподобранные пряди черных волос Ларчи. Но ветер с полюса — не ветер Средиземноморья, и на звероферме Ларчи все-таки ходит в ватнике и высоких нерпичьих тобоках. В обеденный перерыв она не прочь, спустившись к морю, побегать с распущенными волосами по берегу, по мокрой, заблестевшей полосе песка у самой волны.

А по вечерам... по вечерам Ларчи собирается в кино — как для выезда в свет.

Ларчи всего восемнадцать лет. Сильно подкрашенные глаза не портят ее — только делают похожей на театральную японскую маску; босоножки (ах, как они выглядят рядом с островной обувью из нерпичьих шкур) на высоких каблуках позволяют идти только по кладке-проспекту. Ларчи-Лючии хочется купаться и загорать. Она даже пыталась это делать в Баренцевом море в отлив и очень обиделась на Володю, когда он сказал, что для купанья в этих широтах ей надо шить купальник из нерпичьей шкуры. Ей хочется, чтобы дорки — моторные шлюпки, в которых возят и мешки с солью, и бочки с керосином, и шкуры морзверя, — были если не яхтами, то хотя бы «прогулочными катерами»; хочется платье, оставляющее плечи открытыми «вот посюда», и туфли «на гвоздиках». Хочется рыжие волосы и звенящие браслеты, и чтобы кто-нибудь заходил, возможно — заезжал за ней и провожал из кино... И чтобы транспорт был не собачьей упряжкой... Ей хочется собирать цветы. Она спрашивает:

— А продаются ли в городе... ресницы? Я в кино видела — вот такие длинные! Ведь краска для ресниц продается...

Ларчи требует в магазине «что-нибудь на нижнюю юбку, чтоб пышная такая». Ларчи жалуется, что в магазине нет даже большого зеркала, «чтоб видеть себя отсюда досюда, от макушки до пальчиков».

Вечером после сеанса она спускается к морю.

— Ты куда?

— Да луна, пройдусь так, перед сном, — отвечает Ларчи, медленно, в белых босоножках ступая по подмерзшей пене...

И все это не делает Ларчи смешной — разве только чуть-чуть.

В очень узких глазах Ларчи, которым явно не пойдут длинные ресницы, отчаянное, жадное желание, почти тоска по какой-то другой, неизвестной жизни, к которой уходят корабли — куда-то туда, за линию горизонта...

Есть ненецкая пословица: «И у птицы есть родина, и у моря — течение, и у ночи — конец, и у племени — счастье...»

Мы дождались конца ночи и увидели рождение солнца; увидели, как возвращаются на свою холодную родину птицы.

Весной мы снова уехали в тундру.

Мы едем втроем — Хурк, Володя и я, с нами этюдники и обои, пастель, уголь, темпера, мешок сухарей. Две мелкокалиберки, чайник.

За поселком на снежной серой равнине начинается небольшая пурга — но что за пурга в конце мая? Едем не останавливаясь.

Добрались до первых сопок; на их южных склонах, где было мало снега, уже появились небольшие талинки. Хурк распускает оленей пастись. К весне олени, после частых гололедиц, становятся совсем тощими. Они не могут пробить копытами корку льда, а ведь надо еще добраться до земли, разыскать замерзшие сизые кустики ягеля. Иногда даже и не видно пасущегося стада — олени в поисках мха выкапывают большие ямы в снегу, из которых торчат только кончики их рогов, да и то когда

Хурк отрезает упряжь, и мы на руках выносим санки на берег — это не очень трудно; вытащить оленей труднее: мы сами начинаем проваливаться.

Плывущий по воде снег и лед в кровь царапают посиневшую кожу; мы стоим на перекрещенных хореях.

Я тяну за остатки упряжи, Володя и Хурк приподнимают оленей за морду и хвост, чтобы высвободить из льда их ноги. Вытащенный уже было олень тяжело плюхается обратно в воду, в ледяную кашу.

Мы давно уже не чувствуем, куда ступают босые подошвы ног, мы не чувствуем ни холода, ни толчков, ни порезов от плывущего мокрого льда — олени тонут!

Хурк, нервничая, бьет оленей хореем, заставляя их своими усилиями помочь нам. Я не помню, сколько времени мы провозились с упряжками. Едва выбравшись на берег, олени отряхиваются, как собаки, разбрасывая холодные брызги, и тут же, снова опустившись на колени, жадно хватают мох.

— Теоретически мы должны простудиться, — говорит Володя и, взяв у совсем выбившегося из сил Хурка топор и остатки бревна, которые мы увезли с собой, делает костер.

Снова пьем горячую снеговую воду с сухарями — мы все больше хотим есть.

К утру мы останавливаемся на берегу речки со странным названием — Мя'зь Бие Яха — Речка, На Которой Ветер Уносит Чумы. Эта речка не пугает нас своим безмолвием — она вскрылась. Полноводная река ревет и бурлит, образуя водовороты у камней.

Хурк ищет брод.

Но попробуй найди брод у весенней речки! Хурк привязывает моих оленей к своим санкам — «только не бойсь, не бойсь, забоишься — забьются слени». — мы съезжаем в воду. Вода выше копыльев, выше шкуры, вода по пояс... но мы переехали! Отряхиваемся, как олени; на том берегу остались Володя и Лапа.

Собака бросается в воду первой, ее сносит к камням. Хурк бежит по берегу: «Лапа, Лапа!» Лапу, отчаянно гребущего, уносит за сопку, за поворот реки.

Видя, как сильно снесло Лапу, Володины олени отказываются идти в воду, упрямо поворачивают вдоль берега.

Хурк бросает Володе через реку тынзей и через бурлящую реку объясняет Володе, как завязать аркан на шее у передового, чтобы веревка, за которую мы вдвоем будем тянуть, не задушила оленя.

Ненецкие узлы — это целая наука: по-разному вяжется веревка, если надо просто удержать оленя, и веревка, которой он привязан к нартам; узлы на кладях саней отличаются от узлов на сплавляемых бревнах; узлы надо вязать правильно во избежание разных неприятных случайностей.

Мы перетягиваем Володину упряжку через стремительные потоки ревушей весенней воды. Выжимаем меховую одежду, и Хурк, снова распустив оленей, идет к бывшему когда-то здесь стойбищу — может, остались дрова.

Возвращается с несколькими палочками, за ним ковыляет совсем промокший, с порезанными пальцами Лапа.

Снова костер — сушим одежду; но мешок с сухарями при переезде был вместе с санями под водой — вместо сухарей у нас с полмешка черного месива, пахнущего кислым.

Хурк ножом отрезает пант у одного из оленей, который покрепче: клещущий кровью отросток перевязывает веревочкой. Обчистив кожу с шерстью, обедает пантом. Мы не решаемся.

Работает Ларчи на звероферме, готовит корм и кормит голубых песцов. Клетки стоят на самом берегу моря, открыты отчаянным ветрам.

Ветер яростно треплет длинные, неподобные пряди черных волос Ларчи. Но ветер с полюса — не ветер Средиземноморья, и на звероферме Ларчи все-таки ходит в ватнике и высоких нерпичьих тобоках. В обеденный перерыв она не прочь, спустившись к морю, побегать с распущенными волосами по берегу, по мокрой, заблестевшей полосе песка у самой волны.

А по вечерам... по вечерам Ларчи собирается в кино — как для выезда в свет.

Ларчи всего восемнадцать лет. Сильно подкрашенные глаза не портят ее — только делают похожей на театральную японскую маску; босножки (ах, как они выглядят рядом с островной обувью из нерпичьих шкур) на высоких каблуках позволяют идти только по кладке-проспекту. Ларчи-Лючии хочется купаться и загорать. Она даже пыталась это делать в Баренцевом море в отлив и очень обиделась на Володю, когда он сказал, что для купанья в этих широтах ей надо шить купальник из нерпичьей шкуры. Ей хочется, чтобы дорки — моторные шлюпки, в которых возят и мешки с солью, и бочки с керосином, и шкуры морзверя, — были если не яхтами, то хотя бы «прогулочными катерами»; хочется платье, оставляющее плечи открытыми «вот посюда», и туфли «на гвоздиках». Хочется рыжие волосы и звенящие браслеты, и чтобы кто-нибудь заходил, возможно — заезжал за ней и провожал из кино... И чтобы транспорт был не собачьей упряжкой... Ей хочется собирать цветы. Она спрашивает:

— А продаются ли в городе... ресницы? Я в кино видела — вот такие длинные! Ведь краска для ресниц продается...

Ларчи требует в магазине «что-нибудь на нижнюю юбку, чтоб пышная такая». Ларчи жалуется, что в магазине нет даже большого зеркала, «чтоб видеть себя отсюда досюда, от макушки до пальчиков».

Вечером после сеанса она спускается к морю.

— Ты куда?

— Да луна, пройдусь так, перед сном, — отвечает Ларчи, медленно, в белых босножках ступая по подмерзшей пене...

И все это не делает Ларчи смешной — разве только чуть-чуть.

В очень узких глазах Ларчи, которым явно не пойдут длинные ресницы, отчаянное, жадное желание, почти тоска по какой-то другой, неизвестной жизни, к которой уходят корабли — куда-то туда, за линию горизонта...

Есть ненецкая пословица: «И у птицы есть родина, и у моря — течение, и у ночи — конец, и у племени — счастье...»

Мы дождались конца ночи и увидели рождение солнца; увидели, как возвращаются на свою холодную родину птицы.

Весной мы снова уехали в тундру.

Мы едем втроем — Хурк, Володя и я, с нами этюдники и обои, пастель, уголь, темпера, мешок сухарей. Две мелкокалиберки, чайник.

За поселком на снежной серой равнине начинается небольшая пурга — но что за пурга в конце мая? Едем не останавливаясь.

Добрались до первых сопок; на их южных склонах, где было мало снега, уже появились небольшие талинки. Хурк распускает оленей пастись. К весне олени, после частых гололедиц, становятся совсем тощими. Они не могут пробить копытами корку льда, а ведь надо еще добраться до земли, разыскать замерзшие сизые кусты ягеля. Иногда даже и не видно пасущегося стада — олени в поисках мха выкапывают большие ямы в снегу, из которых торчат только кончики их рогов, да и то когда

они, прислушиваясь, поднимают голову. Маленькие промерзшие кустики — ничтожное вознаграждение за такую тяжелую работу. Весной на оленьих боках все больше проступают ребра, оленьи ноги все больше слабеют. Весной на олени упряжки кладут половину обычного груза.

Наши олени, сбившись в кучу на талинках, пощипывают подтаявший мох; ветер со снегом стих, и из-за сопки появляется красное, с прямыми жесткими лучами солнце.

Подвязав малицы под коленями и укрывшись пустым рукавом, ложимся спать каждый на своих санках — ночевка будет недолгой. Около трех часов утра собираем оленей, запрягаем и едем дальше.

Ночью мороз крепче — оленям легче бежать. Хурк очень торопится. — Весна идет. Если застанет — так и не доедем.

Незащищенные глаза не могут вынести весеннего сверкания неба, солнца и снега. Свет, материальный свет — еще одна стихия, как море, как ветер. Свет обжигает кожу. Снеговая слепота длится иногда десять — двенадцать дней. Когда темные стекла очков были редкостью, здешние люди защищали глаза вшитыми в полосу замши монетами с прорубленными в них тонкими щелями, еще более сужая узкие разрезы глаз.

Сопки сменяют одна другую. Перед нами целая страна сопки: столпились тесно, острые, как рыбий хребет, и совсем круглые, как валуны.

Упряжка Хурка идет первой, потом я, потом Володя. Хурк часто оглядывается — очень уж олени слабые...

Олени начали линять — клочьями сходит с них зимняя шерсть; они почти все уже сбросили зимние рога, и сейчас у них выросли плоские, нависающие над мордой, хрящеватые, наполненные густой кровью весенние панты. Теплые и мягкие на ощупь панты покрыты густой и нежной темно-коричневой шерсткой.

На талинках кормим оленей не выпрягая и снова медленно продвигаемся вперед.

Все больше и больше талинок. Днем становится теплее — снимаем шапки.

На несколько минут останавливаемся на высоком плато; вокруг сопки — как волны. От талинок рябит в глазах.

Это ничем не напоминает весну наших широт — здесь преобладают холодные, сине-лиловые тона. От протаявших пятен на южных склонах и сине-лилового снега веет угрюмостью и неприветливостью мало пригодных для жилья, необитаемых мест. И снег, и талинки, и сопки, и все плато погружены в молчание. Посвистывающий ветер гнет желтые редкие травинки на лысых кочках, кое-где торчащих из-под снега. И все-таки идет весна — в неуловимых, слабых запахах южного ветра, пахнущего пока только влагой и чуть-чуть — теплом.

Бывает же такое небо — выметенное ветрами голубое искрящееся пространство, начинается вот здесь, здесь, а где кончается?

В толщах снега шуршат... кажется, капли; гулко ударяются одна о другую и — о землю. И снова шелестит в толще, а иногда и булькнет, и забормочет что-то — невнятно, но звонко... И оборвет. И опять — тихо. И опять шелест...

Снега тают зримо, над сопками струятся вертикальные колеблющиеся потоки — как дымы; размывают дальние контуры сопки, поднимаются в это голубое — и растворяются в нем. Нет границы снегов и неба.

Не видно ничего живого — в этом голубом темными силуэтами движутся только наши упряжки; ручьи и реки еще подо льдом, не слышно

моря, но все вокруг живет; тишины уже нет — звенит небо, по-своему звучат колеблемые ветром струи над сопками.

Талинки на сопках растут, обнажая и подчеркивая строение сопки, рисуя их выпуклости, горбы и впадины.

Вместе с талинками растет беспокойство в узких глазах Хурка.

Если бы олени могли идти, Хурк гнал бы их не останавливаясь. Но на подтаявшем снегу, проваливаясь, они идут все медленнее; все труднее гнать их на талинках.

День переходит в солнечную ночь: становится холоднее.

Хурк не дает оленям передышки. Только утром он выпускает их пастись — вывалив языки, они совсем уже еле плетутся.

Мы наконец ложимся спать, сняв с саней шкуры и перевернув санки набок, стенкой от ветра.

Просыпаемся мы оттого, что стало очень трудно дышать.

— Это солнечный ветер ноздри высушил, — говорит Хурк, и мы все умываемся в снеговой луже, сломив на ней ледяную корочку.

Найдя под сопкой кусок обожженного бревна (кто-то когда-то костер палил), Володя и Хурк разводят огонь, и мы пьем чай с сухарями.

Обычно, идя на охоту или устраивая переезды по тундре, ненцы не берут с собой никакой еды и не делают остановок для того, чтобы сварить еду, — охотник должен приносить еду в дом, а не уносить ее из дома, путник должен идти и ехать не останавливаясь. Мы понимаем, как сейчас беспокоен Хурк, если он решил на эту чрезвычайную меру.

Олени идут все медленнее.

К вечеру, снова покормив оленей, мы достигли реки Песчанки — самой большой реки острова. Тучи сплошь закрыли солнце и небо, и в сыром воздухе мы увидели, как по реке, все прибывая, толчками катится вода. Мы невольно останавливаемся.

— Скорее, скорее, — торопит Хурк и первый въезжает в воду.

Оказывается, река не вскрылась — это талая вода идет по чуть опустившемуся льду. Скорее! — лед набухает и делается рыхлым. Скорее! — река глубокая.

Эта река — половина пути.

Миновав уже середину реки, вдруг останавливается упряжка Хурка, за нею и моя. Хурк оборачивается и кричит Володе, машет ему рукой — не иди по нашим следам, не иди по нашим следам! — Володя не понимает, в чем дело.

— Скорее к берегу! — опять кричит Хурк. — Не по нашим следам!

Володя наконец понял, объезжает нас и тоже вдруг останавливается. Мы все стоим на санях, вода чуть-чуть не достает до шкур, которыми они покрыты.

— В чем дело?

— Не знаю... Олени не слушаются.

Олени почему-то погружаются в воду и только судорожно вытягивают шеи — держат над водой бело-розовые носы.

Хурк соскакивает в воду в пимах и малице и толкает санки — они свободно плавают.

Хурк опускается на колени, как олень, вытянув шею, и ощупывает оленьи ноги. Наконец он догадывается: олени провалились в намокший, опустившийся на дно реки лед; он даже не знает, целы ли у них ноги. Оленей надо вытаскивать.

— Раздевайся!

Мы быстро раздеваемся, оставив трусы и майки; Володя относит одежду на берег. Хурку раздеваться уже бессмысленно.

Выпрячь оленей не удается; вода все прибывает, олени в страхе бьются, пытаясь выбраться, — все путается еще больше.

Хурк отрезает упряжь, и мы на руках выносим санки на берег — это не очень трудно; вытащить оленей труднее: мы сами начинаем проваливаться.

Плывущий по воде снег и лед в кровь царапают посиневшую кожу; мы стоим на перекрещенных хореях.

Я тяну за остатки упряжи, Володя и Хурк приподнимают оленей за морду и хвост, чтобы высвободить из льда их ноги. Вытащенный уже было олень тяжело плюхается обратно в воду, в ледяную кашу.

Мы давно уже не чувствуем, куда ступают босые подошвы ног, мы не чувствуем ни холода, ни толчков, ни порезов от плывущего мокрого льда — олени тонут!

Хурк, нервничая, бьет оленей хореем, заставляя их своими усилиями помочь нам. Я не помню, сколько времени мы провозились с упряжками. Едва выбравшись на берег, олени отряхиваются, как собаки, разбрасывая холодные брызги, и тут же, снова опустившись на колени, жадно хватают мох.

— Теоретически мы должны простудиться, — говорит Володя и, взяв у совсем выбившегося из сил Хурка топор и остатки бревна, которые мы увезли с собой, делает костер.

Снова пьем горячую снеговую воду с сухарями — мы все больше хотим есть.

К утру мы останавливаемся на берегу речки со странным названием — Мя'зь Буе Яха — Речка, На Которой Ветер Уносит Чумы. Эта речка не пугает нас своим безмолвием — она вскрылась. Полноводная река ревет и бурлит, образовывая водовороты у камней.

Хурк ищет брод.

Но попробуй найди брод у весенней речки! Хурк привязывает моих оленей к своим санкам — «только не бойсь, не бойсь, забоишься — забоятся слени». — мы съезжаем в воду. Вода выше копыльев, выше шкуры, вода по пояс... но мы переехали! Отряхиваемся, как олени; на том берегу остались Володя и Лапа.

Собака бросается в воду первой, ее сносит к камням. Хурк бежит по берегу: «Лапа, Лапа!» Лапу, отчаянно гребущего, уносит за сопку, за поворот реки.

Видя, как сильно снесло Лапу, Володины олени отказываются идти в воду, упрямо поворачивают вдоль берега.

Хурк бросает Володе через реку тынзей и через бурлящую реку объясняет Володе, как завязать аркан на шее у передового, чтобы веревка, за которую мы вдвоем будем тянуть, не задушила оленя.

Ненецкие узлы — это целая наука: по-разному вяжется веревка, если надо просто удержать оленя, и веревка, которой он привязан к нартам; узлы на кладки саней отличаются от узлов на сплавляемых бревнах; узлы надо вязать правильно во избежание разных неприятных случайностей.

Мы перетягиваем Володину упряжку через стремительные потоки ревушей весенней воды. Выжимаем меховую одежду, и Хурк, снова распустив оленей, идет к бывшему когда-то здесь стойбищу — может, остались дрова.

Возвращается с несколькими палочками, за ним ковыляет совсем промокший, с порезанными пальцами Лапа.

Снова костер — сушим одежду; но мешок с сухарями при переезде был вместе с санями под водой — вместо сухарей у нас с полмешка черного месива, пахнувшего кислым.

Хурк ножом отрезает пант у одного из оленей, который крепче: хлещущий кровью отросток перевязывает веревочкой. Обчистив кожу с шерстью, обедает пантом. Мы не решаемся.

Мя'зь Буге Яха была началом такого трудного пути, что я уже не помню, сколько дней это продолжалось, сколько раз мы купались в холодных озерах, вытаскивая провалившуюся последнюю упряжку: чаще всего две упряжки лед выдерживал, третья проваливалась. В памяти осталось ощущение холодной воды, прилипающего к телу мокрого меха, радости, что мы снова на берегу. Через каждые три часа нужно было пасти, подкармливать оленей. Отдохнув, с трудом собрав их и двинувшись в путь, мы вскоре снова барахтались в очередном озере.

Мы обессилели, как олени, и засыпали прямо на мокрых шкурах. — Теоретически мы должны уже умереть от воспаления легких, — говорит Володя.

Но по непонятным причинам ни у кого из нас нет даже насморка.

У нас есть только чувство голода: черная каша с кисловатым запахом, невкусная, но вполне съедобная, размокая все больше и больше, вытекает из мешка...

И вдруг мы увидели куропаток. Белых-белых, весенних — с красными бровями, черненькими пятнышками на крыльях и лохматыми лапками...

Хватаю мелкокалиберку — одна птица падает тут же, где стояла, а вторая улетает.

Полный презрения Хурк говорит:

— Сейчас еще и хвалиться начнет. Тоже — целится в самца...

Смотрю — действительно самец.

Если убить самку — она без красных гребешка и бровей, — самец никогда не покинет подругу, даже мертвую. Его легко убить вторым выстрелом.

— Иди ищи вторую пару, а я найду дров.

Ползу по снегу и по лужам, не выбирая сухих мест, и приношу пять куропаток; Володя уже выпряг оленей.

Сидя на сопке кружком, мы яростно ощипываем птиц. Варим куропаток в чайнике, едим, макая в золу — нет соли, — и засыпаем, впервые за несколько дней почти насытившись.

Путь, который зимой проделывают часов за двенадцать, мы прошли за девять дней. Нам встречались и туман с дождем. Хурк сбивался с дороги, мы спали на солнечном ветру и делили на всех остатки полусухой одежды. Добравшись все-таки до чума Уэско, мы проспали полтора дня. Нас не будили.

Когда мы наконец проснулись, старика не было в чуме.

Ненцы совершенно не выносят двух вопросов: «куда» и «сколько». Сколько убил нерп, сколько убил гусей, сколько родилось телят, сколько поймал дров — эти вопросы бестактны и недопустимы, на них всегда один ответ:

— Не знаю. Разве мы считаем?

Однако точно известно, сколько было нерп в унесенных морем капроновых сетях и сколько бревен из плота разбросал по морю ветер.

Мы только через пять лет узнали, что старик, беспокоясь, что мы не появились даже на пятый день, поехал нас искать — поехал другой дорогой, достиг места нашей эпопеи на Песчанке и оттуда уже отправился по нашим следам... Через пять лет при случае он до подробностей точно рассказал нам, где мы полоскали мешок от сухарей, а где разрывали мою куртку и ковбойку, чтобы обернуть ими ноги, потому что пимы у всех раскисли.

Середина июня. Некончающийся день.

— Даже уши болят! Куропатки орут, ручьи шумят, солнце светит, — говорит Хурк, жмуря покрасневшие веки.

День отличается от ночи тем, что ночью иногда стихает ветер. Тогда и в чуме слышны голоса ручьев и птиц.

Одуревшие от света и тепла птицы заняты только своей жизнью — их не стреляют даже, их ловят в капканы.

За важенками прыгают темные длинноногие неуклюжие телята. Прилетели и гнездятся гуси. Оттаивают болота и трава.

Никто не живет сейчас в чуме — все заняты охотой: женщины охотятся на куропаток, мужчины, охраняя стада от волков, бьют гусей.

Охотиться здесь так же естественно, как жить, но убивают только для еды, для одежды. Охота — труд, часто опасный.

В кажущемся бездействии островитяне могут терпеливо ждать нужного ветра, чтобы привезти, допустим, плот дров; ждут прилива, чтобы спустить на воду кунгас.... Но что бы они ни делали — пилят ли дрова на берегу, вкатывают ли на высокий берег строительный лес, или просто ждут, — всегда поблизости лежат ружья.

Юноша-ненец, работавший пекарем, жаловался, что ему «никак невозможно» на такой работе:

— Поставлю тесто — иду на охоту: гуси же летают! Вернусь, с охоты — оно уже чуть ли не на пол убежало... Просто нервов моих не хватает...

В жизни перемежаются ожидание попутного ветра и ожидание сезона охоты с радостями охоты и ее опасностями.

Ловчее других ставит силки и капканы на куропатку мать Таули. Она всегда чем-то занята. Я не знаю, когда она спит. Сидя на сопке, в стороне от чумов, она всегда или шьет, или дробит выветренные оленьи кости, добывая из них костный жир. И только иногда, солнечной ночью идя за водой к ручью, старуха остановится, сядет. Закурит и долго-долго сидит, то ли отдыхая, то ли о чем-то думая...

Даже при свете солнца мне не удается рассмотреть черт ее темного лица.

Часто она всю ночь охотится.

Хурк посвящает нас в хитрости этой охоты:

— Бабушка все же старая, ей уже трудно стрелять. Она возьмет петуха — ну, кто-нибудь убил — и поставит его на палочке, под кочкой. Под самой высокой кочкой. Поставит — чтоб стоял, как живой, и голову ровно держал. Потом на кочке снимет мох до льда и поставит туда капкан и мхом прикроет. Потом отойдет в сторонку и тихонько сидит. И все.

— Как — все?

— Ну, петух будет лететь к своей курочке — и увидит этого петуха. Он обязательно полетит к нему и будет с ним драться. И будет его побеждать. Палочку надо ставить крепко, чтоб мертвый петух не упал с первого раза. Живой петух налетит, будет перья у мертвого вырывать... Потом мертвый упадет. Тогда «победивший» петух обязательно прыгнет на эту высокую кочку, где капкан, — и тут он поймается...

— Почему прыгнет?

— Ну-у... Ты же в кино видел, как военные начальники всегда на больших таких вроде кочках стоят, так они... гордятся, вот и петух тоже, победит и прыгнет на высокую кочку — гордиться. И радоваться. И будет прыгать на кочке по-всякому. Капкан обязательно шелкнет. Тогда снова надо ставить мертвого петуха... К утру его и шипать не надо — петухи его совсем голым сделают. А вот гусей капканом не возьмешь...

Возле старой бабушки на сопке все-таки лежит дробовик — гуси так низко летают...

Солнечный круглосуточный день.

Мы пишем тающие снега на сопках, пишем Уэско, Таули, Иде — по многу раз; мы ездим на озера эхотиться и радостно ощущаем это оглушительное и гремящее звучание весенней, чуть оттаявшей земли.

Мы вернулись в поселок.

В поселке нас ждала телеграмма: «Защита 24 июня. В случае неявки к защите...»

Попробуй явись.

Иссякают запасы продуктов, в письмах не остается ни одного не запомнившегося еще слова.

И когда ждать, кажется, становится уже невозможно, приходит пароход. Хочешь — и, ступив на его борт, ты уже на Большой земле.

Первый пароход пришел двадцатого июля. На месяц позднее защиты дипломов.

В Киеве — жарко, в институте — каникулы.

На берегах острова гнутся на ветру травы, блестя на солнце белые меховые цветочки — кажется, что выпал снег. А внизу плещется море, бесчисленное количество раз в день меняя свой уровень и свой цвет.

Мы решаем остаться на острове до последнего парохода.

Упаковка холстов, вообще всех наших работ — трудное дело. Мы снова решаем сложные задачи: как свернуть сырые еще холсты, как вынести их из дома, как угадать, что дождя не будет, чтобы удобно, без тесноты упаковать их на улице.

Даем «прощальный ужин», и снова Уэско, прикинув лбом к лбу мужа Нидане, рассказывает ему, «кто чей брат» (муж Нидане и сама Нидане — не очень далекие родственники Уэско); потом он речитативом рассказывает, как мы, приехав первый раз, два лета назад, к нему, Уэско, в чум, носили воду из озера и пилили дрова, как еще раньше мы встретились с ним на «Юшаре»... Судя по всему, мы зачислены в родословную острова. Нидане снова в лицах рассказывает содержание картин, которые стоят уже в больших ящиках на причале.

— Письмо писать будес?

— Конечно, будем.

— Про все напишес, ладно?

Последнюю ночь мы проводим у Нидане — ее дом ближе к причалу. Спим на белых шкурах, разостланных на полу. Спим ли? Прислушиваемся к порывам ветра. Думаем об институте. Об острове.

...«Я пил вашу воду и ел ваш хлеб»... Эти люди живут на окраине огромной страны, и не всегда слушают радио, и совсем не посещают международных выставок. Но мне кажется, что, узнав, как они живут, и поняв их, я узнаю — через это — и нечто большее, и более важное.

Потом, много позже, у нас часто спрашивали: но почему именно эти люди так интересуют, почему именно к ним едем? Это всем обязательно — узнать, как они живут?

Необязательно. Это уже индивидуальное. Как любовь.

На рассвете мы все стоим в конторе фактории. С пароходом еще почему-то не связывались — не могут поймать. Когда с полным рассветом расходится туман, видно, что пароход — на рейде.

Вода большая — бот приводят к причалу. Сильная волна швыряет его; натягивается причальный канат. Наши тяжелые, по двести килограммов, ящики поднимают на руках, и когда волна, вновь швырнув, прижимает бот к причалу, их на руках принимают на боте.

Неловко брошенные, летят между бортом и причалом и с треском

раздавливаются бочки с мясом. Волна сильно швыряет бот в море. Причал нехотя, с треском, медленно ползет за ботом — в море.

— Руби конец! — Несколько рук с утолщенными суставами столкнулись ножами на толстом мокром витке.

На корабле из-за шторма неисправны обе динамо-машины — одна совсем, другая работает с перебоями.

— Как пираты идем, «летучие мыши» к борту иногда подносим. Зашли за вами. Если бы не ваши дипломы, прошли бы мимо. Ну, живее, мы вас с ночи ждем — не могли почему-то связаться.

Капитан Жуков все тот же.

И уже с бота:

— Письмо писать будес?..

Кара

И снова: пассажирские пароходы не ходят туда, куда нам нужно попасть.

Но ходят же пароходы вообще! Они берут геологов с собаками, работников полярных станций и полярных аэропортов с семьями и козой в ящике. Иногда даже артистов. Нам надо попасть на такой пароход.

Мы делаем остановку в Москве и ходим по разным учреждениям, чтобы запастись бумагами, в которых должны быть слова: «Просим всячески содействовать...»

Сегодня суббота, а в понедельник надо ехать в Архангельск, потому что груз наш — пятнадцать ящиков с красками, бумагой, рулонами грунтованного холста, линолеумом и типографским станком для печатания эстампов — уже, вероятно, прибыл в Архангельск, да и в море вот-вот появятся приплывшие с океана льды. Надо торопиться.

Перебираем в уме, кто же может нам помочь: Арктическое пароходство, Министерство морского флота... Наконец мы оказываемся в Главсевморпути.

Конец субботнего рабочего дня нам запомнится.

Мы попадаем к начальнику канцелярии, который завтра утром вылетает «принимать» какие-то дальневосточные порты.

На столе у него звонят одновременно три или четыре телефона, он отвечает, схватывая по две трубки сразу, и в это же время еще что-то диктует секретарше — стук машинки сливается с телефонными трелями.

Мы — как нельзя более некстати (и главное — кто мы такие?), но мы не уйдем. Я ему сразу говорю, что мы не уйдем, что больше нам идти все равно уже некуда и мы вот так и будем сидеть у него, потому что именно от него теперь зависит наша дальнейшая судьба и жизнь, и, главное, — я пытаюсь ему втолковать — наша работа.

Он снова говорит по телефону, а мы рассматриваем огромную карту, где написаны такие заманчивые слова: Карское море, море Лаптевых, Таймыр и — меньшими буквами — Хоседа-Хард, о. Вайгач, пролив Маточкин Шар... Нет, я не уйду. Я говорю еще раз, что все равно не уйду, и привожу начальника канцелярии в ярость:

— Ну, а что вы там жрать будете? Мясо сырое — будете?

Мы сразу успокаиваемся. Мы даже смеемся: он просто не знает, с кем имеет дело. Тоже, нашел чем удивить.

— Ладно, пошли.

И мы пошли, мы побежали по коридору все трое: начальник канцелярии впереди, а мы за ним — к адмиралу.

Очень красивый и спокойный, с мягкими белыми руками адмирал подвел нас к карте:

— Вот сюда идет пароход. Во вторник, с грузом. Последний в эту навигацию. Хотите?

Крохотная точка на карте. Восточное побережье Карского моря. В этой точке и кончается Карское море. Кара. Байдарацкая губа.

Мы кричим в один голос:

— Давайте!

Адмирал морщится — очевидно, необязательно так громко — и очень спокойно, тихо, очень мягким голосом говорит:

— Сырое мясо есть будете?

Смеемся уже втроем — мы и начальник канцелярии.

Через полчаса у нас уже масса бумаг — в порты, метеостанции, в Арктическое пароходство, к капитану судна «Бежецк» и к товарищу Грисюку.

Бумаги подписаны: «Страхов, начальник канцелярии Главсевморпути; Бурханов, адмирал».

Прикинув в уме вес наших ящиков — эти ящики, пожалуй, не так-то легко украсть. — мы оставляем их на причале у железнодорожного вокзала и бросаемся искать «Бежецк», капитана, катер, Арктическое пароходство и товарища Грисюка.

«Бежецк» очаровал меня сразу: большой, серьезный, черный; стучат работающие лебедки. Трюмы уже полны, и теперь прямо на палубу складывают двери и окна, новенькие желтые двери и окна; привязывают. Укрывают брезентом и снова привязывают. Потом сверху моторные шлюпки — и тоже привязывают.

Нельзя сказать, чтоб команда была счастлива оттого, что в этот момент появляемся еще и мы со своими ящиками, которые тоже нужно поднимать с катера лебедкой, укрывать брезентом и тоже привязывать.

Нас никто не встречал в Архангельске. Не перевозил «мотором» наши ящики. Перед самым отъездом из Киева нам пришла телеграмма, что Косцов, наш Сашка Косцов, утонул в Кузнечихе. Мотор «забарахлил», волной от проходившего тяжело груженного парохода опрокинуло лодку. Сашка не выплыл — Сашка, прекрасно управлявший мотором и такой же прекрасный пловец. В мирной, всегда спокойной Кузнечихе. Не только радости, но уже и потери привязывают нас к этой земле.

Вместе с моряками машем остающимся на причале женщинам, машем Архангельску.

Через три часа о нос «Бежецка» с хорошо знакомым шумом разбиваются невидимые в темноте волны Белого моря.

Утром их сменяют зеленые, с лиловой пеной волны Баренцева.

Солнце, неожиданно, как всегда на море, прорвавшись через туман, светит в темно-красные берега; на одном из них виднеется крохотная избушка, еще одна, еще какие-то строения. Мы проходим мимо. Меня не оставляет ощущение, что вот прошла мимо какая-то земля, на ней живут люди, а я на этих берегах, может, никогда не побываю, не узнаю живущих в этих избушках людей, людей, которые строили их, чтобы жить у стыка холодных морей, и мне кажется, что на этих берегах осталось что-то очень для меня важное, очень — мое... Как часто вынуждены мы пройти мимо таких берегов, чтобы хватило времени дойти...

Миновав пролив между островами Вайгач и Новая Земля, «Бежецк» уже в Карском море.

Мокрые ступеньки раскачивающегося трапа выскальзывают из-под нерпичьих пимов, с глухим звуком, отдающимся где-то внутри корабля, ударяются о мокрый черный борт — это мы наконец спускаемся в шлюпку. Отчаливаем. «Бежецк» делается чужим, все мысли — к берегу,

о берегу. Со шлюпки он даже и голубой полосой не виден; а море не успокаивается, и через некоторое время мы уже мокрые.

Володя улыбается — что ж, началось.

Я считаю, что мне все же необыкновенно везет.

Много дней было туманно и пасмурно. Мелкий дождь смешивался с брызгами разбивающихся волн. И вот сейчас, когда шлюпка наша, огибая песчаную отмель, повернулась так, что стала видна серая, пятном, земля, выглянуло солнце.

Оно могло выглянуть и раньше: по небу уже несколько часов вместо ключев тумана неслись плотные, резко очерченные облака, но солнце выглянуло именно сейчас, и сразу стали видны линии буро-лиловых сопкок с упругими спинами — твердая, недвижимая земля над текущим блестящим морем. земля с большими пятнами сверкающего снега; стали видны обрывистый берег, и скалы, и отдельно — окруженный водой остров — мы потом узнали — Халеу-Нго, Остров, На Котором Живут Чайки. И берег и остров обведены белыми контурами — пеной разбивающихся волн. Белым контуром обведены и черные камни, торчащие из воды у полосы песка.

Мы приближались к берегу. Сзади, удерживаемый туго натянутой якорной цепью, вздрагивал «Бежецк», а с земли уже доносился запах йода — запах водорослей, гниющих на берегу, запах болот, листьев морошки, теса, просыхающих на ветру сетей, смолы, собачьей шерсти, — разве найдешь название и определение всем удивительным запахам, несущимся с земли? Запахам земли?

Мне всегда хотелось рассказать об этом, записать запахи, как записывают звуки, как музыку, — только в привычной мне форме, в технике черно-белой гравюры.

Наши пятнадцать тяжелых ящичков, оклеенных внутри (и оказалось, не зря) клеенкой, уже на берегу, а шегольские узорчатые рукавицы, купленные в Москве на Кузнецком, за каких-нибудь полтора часа превратились в грязные обрывки, и только резинка цела полностью и держится еще вокруг кисти.

Нас приглашают сразу в несколько домов, поят чаем, угощают рыбой печорского засола; вопросы задают только самые необходимые: сильно ли качало в море, сколько домов привез пароход и видели ли морзверя.

Первые дни и даже первые месяцы на этом берегу мы не пишем и не рисуем. Мы готовимся к зиме — ищем дом, приводим его в жилой вид, ловим в море дрова, ловим с бригадой рыбу.

Это даст нам возможность работать: не только потому, что дом будет законопачен и застеклен, будет топливо и в бочках посоленная рыба.

Рассматривая наши рисунки и портреты, островитяне, а потом и жители Кары всегда говорили «такой» или «не такой». Это, по-моему, точнее выражает существо дела, чем слово «похож».

Очень часто мы наблюдали, что портрет, казавшийся не очень «похожим», когда изображенный на нем человек находился рядом, безошибочно угадывался людьми даже в условностях лино- или деревогравюры, вдали от модели; пейзаж, который мы «сжимали», обобщали — рисовали соответственно своим задачам и своему настроению, — тоже угадывался и, как ни странно, гораздо лучше по прошествии некоторого времени и вдали от самого изображенного пейзажа.

Это понятно: вдали от предмета, пейзажа, человека мы помним самое характерное, самое выразительное плюс свое настроение тогда.

И когда мы просто работаем «на разных работах» — пилим ли дрова, солим ли рыбу, — мы и узнаём берег, поселок, людей, с которыми

сталкиваемся. Потом нам уже не нужно, чтобы они неподвижно, по несколько часов позировали нам, зачастую становясь от этого вновь «непохожими», — мы уже знаем их.

Кара — это река, впадающая в море, с широким, как море, устьем-губой, от нее и море называется Карским.

Кара — поселок, небольшой, домики стоят редко, как всегда, вдоль берега: школа, больница, интернат, склады, правление колхоза, жилые дома.

Иван Петрович Попов помнит, как строился первый домик, это было около тридцати лет назад. Попов — первый председатель колхоза «Красный Октябрь».

Колхоз большой, миллионер. Земли колхоза — огромная территория; стада его зимой уходят за Урал, к Оби, летом же подходят снова к морю, спасаясь от полчищ комаров, — их сгоняет резкий и холодный морской ветер. Пастухи кочуют со стадами.

Они так привыкли кочевать, жить на сопке у речки, что скучают в поселке; когда же почему-либо им приходится жить здесь, нет-нет да и стараются, пусть даже на короткое время, уехать в тундру, находя или придумывая для этого разные предлоги.

В населенные пункты они приезжают обычно за продуктами, газетами, порохом и новостями.

Охотники колхоза живут более оседло: в тундре — в чумах, на берегах моря и губы — в избушках. У каждого свой участок (участки распределяются ссенью), большой, километров сто, иногда сто пятьдесят; на своем участке охотник знает все кочки, все следы, все норки и места водопоя мышей-лемингов, которыми питаются песцы.

Охотники разъезжаются на участки с осени, с октября или немного раньше, чтобы обжиться там до начала сезона охоты; в это время многие дома в поселке пустуют.

Постепенно знакомимся с людьми в поселке: в этих местах действительно «не ступала нога художника», а нам хочется работать здесь так, чтобы люди не замечали и не удивлялись нашей работе, как не удивляются занятиям человека, ставящего капканы или солящего рыбу.

Хотя поездка наша не была этнографической экспедицией и мы знали уже достаточно для того, чтобы этнография в наших работах не превратилась в экзотику, в местах, где мы живем, материал с этой стороны, во всяком случае для художника, такой богатейший и интереснейший, что вполне можно сбиться на чистую этнографию. Мне и здесь повезло, так как удалось увидеть и нечто другое: это, не заслоненное ни этнографией, ни экзотикой, стало для меня — для нас — главным в работе.

Несколько дней держалась плохая погода. Мы все время были на берегу, ловили в губе рыбу с одной из бригад.

К вечеру небо чуть прояснилось у горизонта — в тундре это всегда, как улыбка на обветренных, замерзших губах; не обратить на нее внимания, не ответить ей невозможно.

Небо стало оранжевым, южный ветер после дождя принес запахи мокрой тундры, и мне захотелось пойти к безымянному озеру.

Высокий берег ручья скрыл поселок.

Я вышла на сопку и увидела море в плывущих на горизонте льдах. Черные угрюмые берега, иногда вертикальные, а иногда с крутым наклоном к морю, почти падая, стерегли его. Преобладали лиловый и черный цвета: лиловой и плотной была земля, черными — мокрые скалы на берегу, и таким же темным — Халеу-Нго, Остров, На Котором Живут Чайки.

Море тоже было темное, лилово-синее. Казалось, что пустынный и мрачный этот пейзаж всегда был и будет таким.

Я возвращалась в поселок. Солнце уже коснулось моря; оно не опускается здесь в него вертикально — оно скользит по линии, где соприкасаются море и небо, скользит, скрываясь постепенно, а в тот вечер солнце было очень оранжевое и очень яркое.

В поселке последнее время работали плотники, собирали привезенные дома.

На сваях, еще не ушедших в болото, на новеньких светло-золотистых сваях лежали бревна в пять или шесть рядов, а на них, кажущиеся против света огромными, стояли окна и двери. Они стояли совсем вертикально, скрепленные перекладной-уровнем; благодаря им в пространстве угадывались объемы и контуры будущих домов. И в эти окна, спускаясь в синее море, светило солнце.

А вокруг, сваленные прямо в болото, в воду и развороченную трактором бурю жижу верхнего, подтаявшего слоя тундровой мерзлоты, лежали еще целые кучи новеньких бревен и были вбиты в жидкую грязь светлые, желтые сваи для новых домов.

Отсюда и начался рассказ из папки гравюр, который называется «Солнечные ночи».

Постепенно привыкнув к нам, охотники, приезжая в поселок, приходят в наш дом пить чай, поговорить о новостях.

Мы живем в доме знатного охотника комсомольца Алексея Тайбаря, по-семейному — Ядей-Ко.

Кроме нас, в доме у него живут: мать, жена и брат почти одного с нами возраста, двое каких-то юношей — они братья, и еще двое юношей — они тоже братья, да еще старик — отец одной пары братьев.

Когда начинаются заморозки, но река еще не замерзла, семья Тайбареев уезжает на свой охотничий участок вверх по Каре.

Отправляется не только эта семья.

Никаких особых сборов нет, как всегда, невозможно выяснить, на какой же день назначен отъезд. Но когда наконец приходит день отъезда, причал становится вдруг удивительно живописным: здесь появляются свертки шкур, меховых одеял и меховых одежд, связки капканов, ведра, выварки, цинковые корыта, наполненные разной посудой — чайниками, кружками, мисками, ковшиками-черпаками, в одном корыте даже примус. Все у всех одинаковое — то, что можно купить в магазине. Много, почти все, заново покупается к зимовке.

На причале лежат весла, пешни, связки лыж: лыжи часто ломаются; связки ружей в чехлах из шкур; горками нагромождены нарты; привязаны упряжки; возбужденные предотъездной суетой собаки рвутся с привязи, рычат, кусают своих и чужих, мелькают сморщенные злобой носы и сверкающие клыки; стоя на задних лапах — ошейник не дает устроить настоящую свалку — заливаются звонким и хриплым лаем, галдеж стоит невероятный, невозможно разговаривать, нельзя брать ни одного слова. Тут же лежат меховые люльки с медными украшениями; в люльках спокойно спят дети.

Охотники и женщины — в лучшей своей одежде, в цветных малиновых рубахах, с ярко-малиновыми подвязками пимов — торжественные и совершенно невозмутимые, ожидают мотористов лодок, иногда веслами или хорями разгоняя собак.

Наконец лодки у причалов. В них складывают шкуры, нюки чумов, всю утварь, кроме чайников — они остаются под рукой. Потом усаживаются женщины (они уже выудили из этой свалки вещей люльки и

держат их на коленях), ребята нешкольного возраста, и только после этого самое сложное — мужчины растаскивают по лодкам упряжки.

Лодки отчаливают и идут вверх по реке, наполняя холодный воздух стуком моторов и лаем неугомонившихся псов.

Мы пока остаемся в поселке — воевать со щелями в нашем доме и вообще как-то благоустроить свой быт.

Дом светлее, удобнее и просторнее чума, однако очень часто возле дома, в который только что вселилась семья охотника, стоит и чум... Почему?

Все старые дома в поморских деревнях, все охотничьи избышки на побережье сложены из круглых бревен с пазами, так что бревна плотно прилегают друг к другу, и ветру трудно проникнуть внутрь дома.

Все новые дома складываются из квадратных в сечении брусьев, которые кладут один на другой, как кирпичи.

Дома собирают и осенью и зимой — полярное лето коротко, — только к следующему лету просыхает мох-конопатка в швах, просыхают и бревна. В щели между брусьями свободно проходит лезвие ножа — в поселке удивляются тому дому, в котором зимой нет снега.

Делать брусья без пазов, конечно же, проще и быстрее. Но сколько нужно дополнительных усилий, чтобы здесь, далеко за Полярным кругом, в таком доме можно было жить. Зимой в таких домах невероятно холодно, и мы тоже предпочли бы жить в чуме: костер требует меньше дров, чем печка.

Не все уезжают зимой в тундру — в поселке зимуют рыбацкие бригады, есть школа-интернат и больница, есть ясли.

Чтобы натопить дома не то что до нормальной, хотя бы до плюсовой температуры, в поселок завозят уголь — иногда самолетом.

Мы со всей энергией и напором обе зимы «воевали» со щелями, заталкивая туда бесконечное — и куда оно помещается? — количество конопатки, мы обивали досками углы дома снаружи и таскали на чердак бесчисленные ведра песка. И после каждой пурги выгребали из дома снег. Мы сожгли за одну зиму шесть тонн угля — температура никогда не поднималась выше семи градусов. А чтобы уголь горел, нужны еще и дрова.

От экономии времени и материала на лесозаводе вряд ли получается нужная экономия в хозяйстве.

Итак, мы воюем со щелями в нашем доме, где, кроме нас, живут теперь только двое юношей со стариком отцом. Их участок за губой, нужно ждать, пока она покроется крепким льдом: они отправляются на участок на собачьих упряжках.

Пока же они работают в поселке и охотятся «на нерпей» в губе, уже покрывающейся «салом».

Старика зовут Лаптандэр Топчик.

Маленький крепкий старик с очень темной, поблескивающей, как мореное дерево, и чуть зеленоватой кожей лица, по-русски говорит плохо, но как-то очень веско. Через некоторое время мы уже не обращаем внимания на его выговор. Мудрый старик, которому досталась вовсе не легкая жизнь.

Постепенно и незаметно этот старик стал самым близким нам человеком в Каре.

Старик как бы сконцентрировал в себе в какой-то чистой и наглядной форме и жизненную мудрость маленького народа, и стойкость его духа, и его физическую выносливость.

Вместе с председателем Иваном Петровичем — они почти ровесники — он активно участвовал в организации колхоза «Красный Октябрь»,

ездил от чума к чуму, а это не то же самое, что ходить от двора к двору, агитируя за вступление в колхоз.

Сейчас старик летом пилит дрова для колхоза, а зимой ставит капканы и ничем другим заниматься не хочет.

Похоронив жену, старик остался с четырьмя сыновьями. Один из сыновей умер вслед за женой, другой утонул прошлым летом, сопровождая геологическую партию. Теперь они живут втроем, все «безжонатые», все сами шьют себе обувь, и она не лишена определенного «стиля» и красоты.

В одну из зим в Каре совершенно не ловилась рыба. За рыбой ушла нерпа, ушел морзверь, нечем было кормить собак, не было привады для песцов. Рыба оставалась только в тундровых озерах. Старику и в голову не пришло взять в колхозе аванс: охотник должен сам прокормить себя и семью...

— Не в эту зиму, так в другую — все равно пёсца поймаем, — говорил он.

В поселок с вымершего своего участка — тридцать пять километров — он ходил по очереди с сыновьями на лыжах (отошавшие собаки не могли уже тянуть даже санки) и приносил в избушку еду — хлеб или муку, чай, немного сахара и еще полмешка отрубей на корм собакам.

Старик не хотел сдавать мало ценящиеся шкурки зайцев-ушканов, которых в ту холодную зиму тоже было мало. Поймав зайца, он, естественно, приносил его домой уже мерзлого. Чтобы снять с такого зверя шкуру, нужно сперва оттаять тушку. Запуская темные пальцы в белую нежную шерстку, старик ощипывал его, мерзлого, как птицу.

— А почему не хотите сдать шкуру?

Продолжая яростно отрывать куски шерсти вместе с кожей и брезгливо бросая их в таз с грязной водой, Толпчик отвечал:

— Такой барахла дорожить — не пёсец!

С приходом зимы, со снегом вдруг изменился вид поселка.

В поселке растут новые улицы новеньких домов. Жители тундр прибывают на коньки крыш кусок оленьего черепа с ветвистыми рогами, «чтоб дома тоже были, как олени, рогатыми». Рыбаки сушат сети. Длинные драконьи тела рюж переброшены с одного дома по крышам на другой. Дома соединены, будто пойманы в сети. А вот здесь, на протянутой между домами веревке, победно развеваются над тундрой выстиранные фланелевые пеленки и чулочки — целая партия разноцветных детских чулочков. Так и появляются в только что выросшем, еще растущем и не сплошь заселенном поселке Оленья улица, Улица, Где Детский Сад, Рыбачья улица, Почтовая улица. На этой улице на снежных наметах выше крыш всегда стоит несколько упряжек: охотники заехали на почту получить газеты и журналы — иногда за три месяца, — отправить телеграмму или получить письмо...

Силуэтами смотрятся на снегу и длинноногие, как на ходулях, чтобы снег не замел, телеграфные столбы, силуэтами — черные лодки на берегу. Лодки чем-то похожи на самолеты. Здесь воля человека воплощена отчетливо: доски хотят выпрямиться, а человек, поразмыслив, как лучше, согнул их — получилась тугая, стремительная, звонкая линия. Как будто движение было поймано человеком, понято человеком и теперь живет при нем: лодка, санки. Самолет.

Здесь, на белом снегу и белом небе, очевидно по контрасту с ненаселенными просторами моря и тундры, особенно отчетливо видно, как все сделанное руками человека несет на себе следы его характера, его природы и разума.

С Топчиком хорошо, потому что просто. Топчик рассуждает мудро: если человек идет в магазин — значит, ему надо; если человек идет в пургу за сорок километров, чтобы увидеть еще один обрывистый берег, — значит, это тоже надо.

Если Топчик не занят, он охотно откликается на наши предложения проделать еще сотню-другую километров к еще одной избушке или к еще одному, по слухам, подошедшему стаду. У него тоже есть вполне достаточный повод — он провожает нас.

Преодолевая течение, едем вверх по Каре, перетаскивая нашу легкую лодку через небольшие пороги; пьем чай во встречных чумах — мы и не знали, что вода в Каре, в тех местах, куда не достигает прилив, такая вкусная; собираем дикий лук и чеснок (они пахнут, как настоящие) — пол-лодки завалено травами. Едем на юг.

Красноватые скалистые берега отражаются в воде. За поворотом реки встречаем лебедей — они не пугаются нас, плещутся так, будто хотят расплескать всю реку — расплескивают радугу.

Конусом рябь по воде.

— Мышка плывет на другой берег... — тихо говорит старик.

Ненадолго выбираемся на высокий берег — там уже вывелись стаи комаров. Внизу, на ряби воды, — наша лодка, смоленая, с красной бортовой доской. Лодку зовут «Николай Рерих».

Проходили дни, наполненные работой — пилкой ли дров, строительством лодки, — или это была другая работа — поиски, поиски, огорчения. Среди них яркие, как праздники, события — поездки в тундру, время, проведенное в охотничьей избушке старика Топчика, приход весны, приход парходов, дни, когда были миражи, лёт лебедей...

Прожитые дни оставили в памяти — как ветер с океана на губах — свой вкус, который нельзя забыть.

Володина упряжка все время отстает.

Черная Машка ленится, крутит головой, сдвигая ошейник, смотрит по сторонам и этим мешает передовому, сбивая ритм его бега.

Топчик, оборачивая к Володе лицо, что-то кричит ему; Володя с силой толкает Машку хореем, но она совсем раскапризничалась, не хочет бежать.

Есть верный способ призвать собаку к повиновению.

Володя останавливает упряжку, быстро завязав повод за копылья саней, выпрягает Машку и, запустив пальцы в длинную шерсть, заиндевевшую на шее за ушами, резко бросает ее назад через голову.

От нескольких сальто в воздухе у Машки кружится голова; Володя идет к ней и, схватив за загривок, волочит к упряжке и запрягает снова.

Сдвинув капюшон, вытирает лоб.

На собственном опыте поняли мы и то, почему, собравшись на охоту, не рекомендуется кормить собак.

Мы идем к Каре, идем, взбираясь на спины сопок.

Вот складкой навис сугроб над ручьем, впадающим в море; вот вмерзшее в песок бревно, и на нем — странно видеть среди снегов — причальное кольцо с продетым в него остатком ржавой цепи; вот ребрами торчит скелет бота, потерпевшего когда-то крушение; маленькая «мигалка» — береговой маяк из тех, что стоят здесь на местах, которые обнажаются во время отливов; просто знакомый камень.

Здесь мы чинили сани; здесь, вырубая из песка, брали бревно на дрова — помнишь, у нас тогда совсем ни полена уже не было? Вот здесь — помнишь? — пропустив старика вперед, я делала рисунок с его уменьшавшейся фигурки... Здесь Тобси сбросил мешок муки: «Совсем едва идут собаки, потом сам приду заберу...» А вот здесь — как это было давно — старик сказал нам, что вон-вон уже виден огонек, — заметил, наверное, что мы тоже едва идем... Помнишь, Тобси потом говорил, что они все лампы, что у них были, и фонарь из сеней зажгли и поставили на окно с той стороны, откуда мы должны были прийти, чтобы огонь пораньше увидели...

В этой ничем не нарушаемой тишине знакомым становится каждый бугор снега, каждая гень от нагроможденных и стоящих отдельно льдин, каждое озеро, зеленым растрескавшимся куполом вспученное над снегами.

А поселок?

Какая это обетованная земля, какой это мир, когда вернешься в поселок из тундры!

Раньше всего встретишь Хальмюр — высокое место над морем, такое торжественное и печальное, каким только и может быть последнее людское прибежище... Но и кладбище здесь говорит о жизни поселка — упрямой жизни людей на этом трудном берегу.

За Хальмюром — ручей. За ним — поселок.

Первые дома совсем замело снегом; вон с сугроба на крышу прыгает серая собака, похожая на шакала, и пытается лапой открыть дверь, вездущую на чердак.

Вон в сторону от поселка — это же его рыжие собаки — едет Петя Молькин. Рюжи смотреть едет, наверное...

За вешалами начинается первая улица — сети сушатся и на домах. На запачканном кровью бревне бабушка Нанук рубит кусок мерзлого нерпичьего мяса. Кружком, пристально следя глазами за ее движениями, сидят восемь ее собак. Идущая мне навстречу Парэй останавливается, коричневым пальцем со сломанным желтым ногтем трогает пятно у меня на щеке и говорит без улыбки:

— Лицо лучше сохранять надо...

Бжит навстречу рыжий ублюдок Тоби, у которого шкура на голове не по размеру скроена, прыгает, толкает лапищами — вот черт! — а потом стоит и смотрит, поворачивая голову из стороны в сторону, и уши болтаются... Неподвижно сидит у своего чума Алика, о чем-то думает; семья Алики — с Таймыра, у них у всех малицы чудно так сшиты: от головы к плечам совсем прямая линия натянутой шкуры.

Около клуба обрывок афиши шуршит по снегу; отворачиваю угол — «Девушки с площади Испании». Интересный фильм, наверное...

Смеется навстречу Илк. В руке у него игрушка — обшитая красным колыном сукна лохматая куропачья лапка. Белая.

Подхватываю его на руки.

— Зачем чужой сын себе несешь?

Берег. Новые желтенькие лодки — скоро и лед сойдет: некоторые уже и смолить начали.

А вот в проталинках от костров в мерзлоту вбиты новые сваи — смотри, целая новая улица. Тундровая.

С аэродрома взлетел самолет; не говорим, но думаем об одном — откуда? С Диксона, с Северного полюса или... или из Москвы? Может, почта есть...

Потянулись все в одну сторону дымы: час утреннего чая.

Вот и последний дом — дом, в котором мы живем на берегу этого моря, мой дом в этом поселке.

Снова пришли пароходы.

— Вот, пароходы пришли,— повторяя новость, приветствуют друг друга люди.

На разгрузке стремятся работать даже подростки: всем хочется попасть на корабль, вблизи рассмотреть и потрогать его.

В иллюминаторах, на мачтах, на работающих лебедках круглосуточно горят электрические, ярче зари огни; ветер доносит обрывки музыки, голоса радио, голоса другой жизни; когда туман скрывает пароходы, все равно слышны и скрежет лебедок, и стук моторов, и эти голоса, напоминающие — пришли пароходы!

Срочно строят причалы, на причалы срочно проводят электричество, берег становится жилым.

Разгружаясь, становясь легче, пароходы сидят менее глубоко, подходят все ближе к берегу — вот они, большие, черные, привязанные якорями, торопят разгрузку, дают протяжные требовательные гудки.

— Всем на разгрузку!

Надо поднять выше сложенные на песке лес, крыши, двери, окна, ящики — идет шторм.

Работают все — пароходы пришли!

Новые желтые доски пола запачканы глиной, завалены осколками битого красного и самодельного серого кирпича, стружками, щепками; замерзают лужи расплесканной воды; бродят или, свернувшись, спрятав в шерсть хвоста нос и согреваясь своим дыханием, дремлют собаки.

Тут же, прямо к полу, прибита красная семиметровая полоса сатина.

Выделяясь среди всего этого строительного мусора четким ритмом, белеют буквы: «Да здравству...» Против этого места стоит банка с вмерзшими в белила кистями.

На дальнем конце этой семиметровой полосы топчется по кругу Юган — хочет устроиться подремать. Негромкий свистящий звук — окрик Тагана — и Юган, взглянув в сторону хозяина, демонстративно ложится на куче мерзлой глины.

Торжественный вечер завтра: первый вечер в новом клубе. Сегодня кончают работу плотники, спешно кладутся печи и пишутся лозунги.

Тагана возглавляет составленную на ходу бригаду столяров. В одном из углов уже плотно столпились, будто боясь запачкаться в этом мусоре, белоногие лавки, а к вечеру нужно их еще десятка два сделать.

У Тагана — «молодежная бригада», подростки. Они строгают толстые доски, топорами обтесывают поленья для ножек; сам же Тагана занят «ответственной» работой: самодельным «национальным» сверлом — из стального наконечника, двух палочек и двух нерпичьих шнурков, которые нужно дергать по очереди, — он просверливает отверстия для ножек, ножом пригоняет их.

Печорские рыбаки кладут печи: одна уже оштукатурена и даже затоплена — от нее идет и дым, и пар от просыхающей глины, и веселое тепло.

Так как рыбаки уже начали было встречать праздник, их просто заперли на ночь в помещении клуба — иначе печи не были бы готовы; им оставили немного еды и чайник, и вот утро — они кончают уже вторую печь.

Володя, увлеченный деловой, предпраздничной, всегда захватывающей и куда более интересной, чем сам праздник, суетой, возвращается от затопленной печи с кружкой закипевшей воды — развести замерзшие белила, — и дальше ложатся четкие белые буквы: «...годовщина Октября»...

Длинные прямые линии золотистых, светлых, непросохших досок пола, перспектива золотистых брусьев, разделенных темными полосами мха-конопатки, подчеркнута и усилена красными длинными полотнищами лозунгов; густо-красное пятно сцены; почти тепло. Пахнет новыми печками, новыми стенами, чистыми, еще сырыми полами.

Даже собак выгнали.

Гости начинают съезжаться.

Оленьи и собачьи упряжки подъезжают прямо к новому клубу. Поселковые жители топчутся на крыльце задолго до назначенного часа — ведь можно будет обменяться новостями; тундровые люди — они и через Воркуту ехали, и по восточному берегу. Поселковые люди на крыльце сбивают снег с подошв, заходят в сени, выходят.

— Ань торова!

— Ань торова!

И по-русски:

— Как зывес?

Новости могут рассказывать, новости могут и пропеть. А можно и молча постоять — сколько людей сразу... Разве не самая новая новость?

Идут в «зал».

Каждый вошедший задерживается у входа, оглядывает помещение: потолок, стены, трогает ногтем печки. Прочитывает вслух лозунги. Трогает лавки.

Если ты хорошо воспитан и внимательно слушаешь приятного собеседника, если ты удивлен, если ты обрадован, если ты доволен, если ты сгораешь от нетерпения — не надо тратить лишних слов. Все можно выразить одним только:

— Но-о-у!

— Но-о-у! — сколько раз слышалось у входа.

Женщины задерживаются дольше: и на новую паницу все смотрят, и люлька мешает торчащим вокруг личика ребенка ворсистым мехом. Надо положить люльку на лавку или на пол и еще раз все осмотреть. Интересно, а сколько рядов лавок?

Неслышно ступая (топочут только печорские рыбаки мерзлыми валянками), все рассаживаются по лавкам. Женщины даже завязки паниц развязали и, спустив мех с одного плеча, показывают новые красные, в больших или маленьких цветочках платья. А тундровые старухи — те и высоких шапок с сукнами не снимают...

В проходе и у двери столпились люди в ватниках, в черных овчинных тулупах, которые называются почему-то «шубами»: «Посмотрим, если будет интересно»...

На сцену проходит президиум: председатель колхоза Иван Петрович Попов, знатный охотник Тайбарей, знатный охотник Лаптандэр, работница зверофермы Соломанида.

— Разрешите мне, товарищи...

Прилетевший спецрейсом работник окружка партии начинает торжественный вечер.

А потом в клубе прочно поселяется новый запах — сырой одежды: сырых ватников, мокрой обуви, отсыревших в дороге оленьих шкур, которые пахнут еще и дымом, потому что их всегда сушат у костра, — в клубе поселяется запах праздников.

Сегодня одна из тех ночей, когда люди замерзают на пороге своего дома, так и не найдя его.

Непонятно, что это может так грохотать (в поселке нет ни одной железной крыши), так свистеть (провода уже второй день как оборваны), так выть (всем собакам разрешено забраться в сени, где они и лежат плотной грудой, примерзая к полу длинной шерстью,— если нужно выйти, приходится ступать прямо по ним, они все равно не встанут).

Ветер перекачивает на чердаке весла, свернутые паруса, чем-то хлопает, разбивается порывами об угол дома. Невольно задаешь вопрос: а дом он опрокинуть может?

Настроение тревожное и напряженное, мы все время начеку, нам все время кажется, что нужно куда-то идти, что-то делать... Подложив под дверь лом и так удерживая ее, по очереди протискиваемся в щель наружу.

Ветер срывает даже слежавшийся снег, люди — если кому уж очень нужно — бредут, приваливаясь к стенам, ползут на четвереньках. Ветер не дает подняться; сугробы вырастают там, где их только что не было; в темноте натыкаешься на снеговую стену, руками, на ощупь ищешь, где она пониже, где можно взобраться.

Возле домов сушатся рюжи; сейчас, на ветру, рюжи похожи на лежащих чудовищ; длинные, распертые скрипящими обручами их тела вздрагивают, дергаются; узкий конусовидный конец ловушки, наполненный ветром, — как хвост; развеваются растянутые ветром открылки, ловят темноту.

Не знаешь, в какой стороне море; слепнешь и задыхаешься в этом месиве ветра, колючего снега и темноты.

Многие дома угадываешь по сугробам — откуда такая гора снега? Многие дома уже нужно откапывать.

Идем и начинаем копать траншеей — коридор, почти вертикальный, вглубь. К дверям соседского дома.

Володя разнимает двух дерущихся, отбирая у одного из них топор. Парень сбрасывает малицу и, обнаженный до пояса, ложится на снег — это его протест против того, что отобрали топор.

Сорок ниже нуля.

Володя натягивает на парня малицу — он сбрасывает ее снова.

— Принеси мне нерпичий ремень,— говорит Володя.

Утром парень пьет с нами чай, рука у него на перевязи.

— Понимаешь,— виновато говорит Володя,— я не хотел сделать тебе больно, но ты же вырывался и все хотел снова схватить топор.

Володя выступает на колхозном собрании: слишком много спирта, слишком много несчастных случаев.

Представитель торгующей организации:

— А у нас накладные на общую сумму завозимых товаров.

— Но ведь из всего количества завозимых продовольственных и промышленных товаров семьдесят процентов — спирт!

— Во-первых, не докажете... Во-вторых... иначе я выручки здесь не получу. Мы все от выручки работаем...

Представитель райисполкома депутатов трудящихся:

— Главное у нас, товарищи, не это: это, конечно, досадно, но это досадные, товарищи, мелочи. Мы должны выполнить план и по добыче для страны рыбы, как выполнили его по добыче пушистого золота...

Доктор готовится делать мне анестезирующий укол. В ванночке на керогазе кипит вода, доктор в белом халате читает книгу.

— Смотри, вот здесь в кости — отверстие, выход пучка нервов. Вот сюда мне и нужно попасть иглой. Скажешь, если попаду.

Игла шприца легонько ударяется в кость — это я точно чувствую.

— Доктор, ты делал хоть одну операцию?

— В институте — на собаке. Мы все делали. Она с утра до вечера была под наркозом, на другой день скончалась. Может, оттого, что очень долго под наркозом была?..

Доктор новый, в новой больнице. Один — даже санитарок нет.

— Доктор, тебе не страшно одному? Ведь придется и серьезные операции делать. И вообще, операции в такой обстановке... не страшно?

Доктору двадцать три года.

— Нет, не страшно. Я, конечно, делал операции голько под наблюдением, а здесь первую же — сам. Больница ведь еще не оборудована. Знаете, первую операцию прямо на полу делал, четыре керосиновые лампы тоже на полу стояли. «Молнии», правда. Ничего, живет ведь. Если эту больницу оборудовать — я уже заказал, самолетами начнут привозить, — здесь не хуже, чем в областном центре, будет. А с пароходом, наверное, и санитары и фельдшер уже приедут... Обживемся.

Вспоминаю остров. Последний, на отшибе, дом над морем. И врача Федора Егоровича Бефуса, тоже выпускника Архангельского медицинского института, семь лет прожившего на острове и оборудовавшего, собственно, создавшего здесь больницу, всегда, в любое время года и в любое время суток готовую принять больного, всегда одинаково чистую, всегда имеющую горячую воду, — как это трудно на острове, понятно и без объяснений...

Как часто доктору приходилось прерывать операцию и, накинув поверх халата полушубок, бежать к «забарахлившему» в сарае мотору — трудно все же делать операцию при керосиновых лампах.

Доктор съездил на боте за лесом и, выписав на фактории старые бочки, возглавил бригаду плотников. Так была проложена на острове первая улица-проспект, а попросту — деревянная кладка над топкой, раскисшей тундрой.

Доктор добился, чтобы все женщины вместо того, чтобы рожать в тундре в отдельно поставленном чуме, приезжали в больницу. Кто знает, чего ему это стоило.

В торосах рождалось солнце.

Отразилось в глазах, в стеклах домов.

— Ну, вот и зима кончилась, — поздравляли друг друга люди.

Снег скрипел и визжал под подошвами, под полозьями — люди расходились и разъезжались по своим делам.

Лежу за печкой, растянувшись на нарах, высоко над заиндевшим полом. Мне хорошо — как только может быть хорошо человеку, шедшему в пургу берегом Карского моря почти восемнадцать часов, не садясь и не останавливаясь.

Впрочем, остановки были...

Старик Топчик, останавливаясь, гладит заснеженные собачьи лбы, стряхивает с собачьих бровей куски снега, говорит что-то ободряющее — и дальше; остановились — сняли лыжи, потому что усиливающаяся поземка совсем скрывает поверхность снега и заледеневшие заструги, оставшиеся после прошлой пурги, — об них можно сломать лыжи.

...Надо мной — черные балки потолка, на двух растянутых над печкой веревочках сушатся щепки для растопки, на такой же черной, как потолок, стене (изба когда-то топилась по-черному) висят ружья; про-

тянув руку, я могу потрогать отполированное прохладное дерево и блестящий металл.

Кожа у меня на лице стягивается все больше — от этого даже выворачиваются губы, а со щек течет что-то мутно-коричневое; от жара печи — больно.

Топчик поглядел на меня, покачал головой: ай-ай... Вышел в сени, вернулся с кусочком нерпичьего жира.

— Попробуй приложи...

У него на скулах тоже темные пятна.

Едва светает — старик уже топчется по избе: прикрутил лампу (ее не гасят — кончились спички), затопил печь, принес из сеней бруски снега; когда красноватые лучи косыми полосами подползают к двери, мы уже пьем чай.

В конце завтрака на чистых некрашенных досках стола — кружки с крепким чаем, темные сухари, котелок с растопленным нерпичьим жиром. Немногословный разговор: кто куда сегодня.

Первым, взяв ружье, вниз к морю скользит Нядма.

Старик, натянув поверх малицы черный суконный совик, с ружьем и лопаточкой для утапывания снега у капканов, не нагибаясь, ловким движением ноги надевает лыжи. Идет вверх, к сопкам, не быстро, размеренно, так он может идти суток трое. Володя идет со стариком.

Тобси, взяв ружье и надев лыжи, как всегда бегом, отправляется тоже в тундру, но к востоку.

Я остаюсь в избушке.

Рассматриваю желтые, как выскобленный стол, полы, блестящие ковши и алюминиевые кружки, развешанные на стене у печки.

Вчера вечером я спросила у старика:

— У вас все новое?..

— Так мы вчера в магазин ходили...

А Нядма выдал:

— Это Тобси вчера целый день все скоблил — гостей ведь ждал...

Через некоторое время до меня доходит, что гости — это мы.

Как в сказке, к приходу охотников убираю избушку. Вытряхиваю на снегу шкуры-постели, складываю в печку дрова, наполняю ведра и чайники снегом.

Закипятив чайник и перелив кипяток в ведерко, иду писать этуод.

Собаки вышли из снежного своего дома и лежат на солнечном снегу.

Когда мужчины уезжают — кто к стаду, кто на охоту, — они могут не вернуться и через несколько суток. К их шапкам, к поясу с большой круглой, как солнце, медной пряжкой всегда привешены звякающие металлические украшения, оттягивающие и прижимающие шкуры одежд, чтобы их не подымал ветер.

Зашевелился ребенок — звякнули колокольчики, шелкнули копытца, пришитые к рукавам и капюшону, тонким звуком ответили связки пиштонов; потянулась к нему женщина — звякнули на длинных красных шнурках медные треугольнички и солнца; сталкиваясь в ритме работы, звенят все время, пока она выделяет шкуру.

На моей шапке тоже пришиты тянущие ее к низу медяшки, на двух из них, круглых, — летящие гуси, ябто. Тишина чуть расступается вокруг избушки.

Скрип. Лыж или полозьев.

С сопки спускается старик, за ним Тобси.

Старик снимает лыжи, ставит их к углу сруба.

— Чай давать?

— Пусть девка работает еще...

И мне приходится идти за новым ведерком кипятка.

Вечерняя трапеза проходит так же неспешно и молчаливо, и только в конце ее все по очереди рассказывают о том, что видели в тундре, очень подробно: о следах ушканов, о следах возле капканов, об ореоле солнца, о направлении ветра — может, завтра вскроется море...

Сидят за простым некрашеным столом трое мужчин разного возраста, с одинаково обветренными лицами, говорят ровными негромкими голосами. И все это — их трапеза, их речи, их занятия вместе со звездами наступившей уже ночи, со снегами, зелеными от сияния, с притаившейся за ставнями тишиной — все вместе так торжественно и так просто, как труд людей, живущих на этой земле, как сама жизнь.

Весна все не шла, не шла — и вдруг прорвалась к морю.

Ошалевшие от птичьего лета и птичьих криков, от запаха ветра, ослепленные сиянием тающих снегов, люди, лишившись сна, бродят по поселку, уходят в тундру; присев на сырую вытаявшую кочку, касаются руками жестких, прошлогодних листьев морозики. Из труб, из чумов — невиданная картина — в разное время выползает дым.

На высоком берегу талинок побольше, ярко-зеленый мох, и эти цветочки вытаяли, беленькие, похожие на меховые одуванчики.

На талинку приходят женщины из поселка. Ни о чем не говорят — просто смотрят на море, на льдины — льдины плывут и тают; смотрят на дрожащие контуры поднявшегося от воды Халеу-Нго.

До чего тепло — можно даже паницы снять...

Володя пишет картину «Праздник».

Прошло лето.

В трех отданных нам залах краеведческого музея обтягиваем стены грубым холстом. И красим заказанные щиты желтой и оранжевой, очень яркими красками.

Володя предложил работы, которые были на нашей первой выставке в Киеве, подарить городу Нарьян-Мару. Город и округ праздновали свое тридцатилетие.

И вот работы уже в Нарьян-Маре.

Нам помогают: холста не хватило, и за ним послали катер в становища по Печоре — в каком-нибудь магазине да осталась же бортовка, — забирайте всю! Гвозди, фанеру, стекло — отдавали со строительства.

Редактор «Нарьяна-Вындер» Валентин Сергеевич Левчаткин, в прошлом москвич, и его сотрудники приходят после работы в редакции помочь нам, приносят яркие краски, помогают печатать приглашения.

...Сейчас разрежут ленточку.

Пожалуй, эта выставка лучше, чем та, что была у нас в Киеве, — ее залы с крашеными полами заполняют люди в бахилах, в нерпичьих тобоках, люди в ватниках.

Среди них есть Хурк, Иде и Гаули.

Это самые дорогие наши гости сегодня; когда музей уже закрылся, мы пошли ужинать, а после ужина... снова вернулись к экспозиции.

В полуосвещенных залах гулко звучит очередное:

— А помнишь...

— А вот тут тогда весной стоял наш чум...

— А вот тут...

Нет, Гаули, нет. Там не стоял твой чум, на этой сопке твоя старая мать не вязала силки для куропаток, не сидела у этого озера, спустившись к нему за водой и так и не наполнив ведра. И не здесь, Иде, ты тогда сказал мне, как всегда, не выговаривая шипящих:

— Сними сапку, послушай. Море открылось...
Точно таких мест вообще нет на острове, и этот портрет, в котором вы узнаете Таули, не писан с Таули.
Но то, что вы сейчас говорите, все ваши «а помнишь...» — это очень важно для нас.

В Киеве мы показывали работы своим друзьям. Увлеклись новой работой. И вдруг почувствовали необходимость еще раз увидеть землю, где прожили несколько лет. Вдохнуть запахи этой земли.

И опять наша мастерская выходит окнами на море. Над морем хохочут огромные, как гуси, белые чайки.

И опять мы перекладываем печь (не святые ведь горшки лепят), выдергиваем из стен гвозди, которые забивали все его сменявшиеся обитатели, шпаклюем и белим потолок, красим стены в серый, черный и желтый цвета, скоблим пол.

И снова ловим дрова в море, воюем со щелями и бегаем к Нидане поесть сырого мяса.

В нашей мастерской, кроме голубовато-серой, желтой и черной, есть еще одна стенка-экран, отделяющая пространство «грязной», скульптурной мастерской от «чистой», графической.

Стена эта долго оставалась белой. Потом — еще море не замерзло и приходили пароходы — мы сразу получили несколько писем. Среди конвертов был один, чем-то особенно привлечший наше внимание — то ли яркий он был, или марки на нем были особенные, а может, вынуженное из него письмо было нам как-то особенно дорого, — чтобы всегда иметь этот конверт перед глазами, Володя приклеил его на стену.

Почта приходила еще несколько раз, потом ушел последний пароход, а вслед за ним — солнце.

Потом почту острову сбросил самолет.

Конверты писем как-то сами собой располагались на стене — в красивом ритме, красивыми пятнами. Нам очень нравилось смотреть на эту стенку, разноцветные конверты, разноцветные марки.

Разные письма. Штампы разных городов Большой земли.

Эти конверты всегда перед нами. Напоминают о людях, написавших нам. И других, не писавших. Но когда-то пришедших нам на помощь. Чему-то научивших нас.

И еще острее всегдашний вопрос: что мы сделаем на этом берегу? Знакомом берегу...



ФРАНТИШЕК ГРУБИН

★

ИЗ СТИХОВ ВОЕННЫХ ЛЕТ

С чешского

На самый край небытия
Упала Чехия моя
Забывтой раковиной звонкой...
В ней отсвет вражеских штыков,
В ней посвист пуль и плач ребенка,
В ней злая влага облаков;
Небес прозрачное вино
Слилось с другим, что так черно;
Ребенок нежными стопами
Земную чувствует печаль,
Как и солдат, бредущий вдаль,
В ботинках с грубыми шипами.

О, свет мой, Чехия моя!
Старинному холсту сродни ты,
Чьи краски солнечные скрыты
Могильной тьмой. О, сколько раз
Тебя из рамы выдирали,
Но в светлый день для ждущих глаз
Ты вновь сияла в древней раме!

О, свет мой, Чехия моя!

Мороз в жилищах опустелых,
Кристаллы льда на стенах белых
Хоронят вздохи мертвецов
И тех живых, кому в лицо
Летят погибельные смерчи
Страны убийц; в родных домах
Полы, где страсть брела впотьмах,
Теперь дрожат от страха смерти...
Гроб, колыбель... Кому они
Свой смысл и суть свою откроют?
Гроб, колыбель — как брат с сестрою,
Что веку более сродни?

О, свет мой, Чехия моя!
Тебе, забытой каблуками,
Тебе, закрытой облаками,
Так запах гибели знаком!

Когда беда тебя искала,
Рек ремешки ты распускала,
Плелась по крови босиком.

О, свет мой, Чехия моя!

Вдали струится русский снег,
И отблеск ласковый ложится
На просветлевшие во сне
Детей задумчивые лица.
Но дьявол делает круги,
Чтоб села выстричь под гребенку,
Мать задушить, убить ребенка,
Ржой выжрать русские плуги,
Дитя распять, убить мечту!..
Под ним лежит отчизна чеха,
Он бьет по древнему холсту,
Как в барабан,

рождая эхо...

На грань, на край небытия
Упала Чехия моя
Забытой раковиной звонкой..
В ней отсвет вражеских штыков,
В ней посвист пуль и плач ребенка,
В ней злая влага облаков;
Небес прозрачное вино
Слилось с другим, что так черно.
О, свет мой, Чехия моя!
Ребенок под стопою нежной,
Когда цветешь ты, жизнь любя,
Прекрасной чувствует тебя,
Но воин — горькой и мятежной.

О, свет мой, Чехия моя!

Жилища в инее седом,
Там, замороженное льдом,
Дыханье тех, кто уничтожен,
Там колыбели пустотой
Взывают к небесам:

— За что же,

За что, о господи, за что?!
И вот в заброшенных домах
Полы, где страсть брела впотьмах,
Унять не могут гневной дрожи!
Гроб, колыбель — в такие дни
Кому они свой смысл откроют?
Гроб, колыбель — как брат с сестрою,
Что веку более сродни?

О, свет мой, Чехия моя...

Перевел Юлий Даниэль.



И. КОНЕВ,
Маршал Советского Союза

★

СОРОК ПЯТЫЙ ГОД*

Страницы воспоминаний

29 апреля — 2 мая

Новая разграничительная линия между войсками Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов была установлена Ставкой с 24 часов 28 апреля. До Мариендорфа она оставалась прежней, а затем шла через станцию Темпльхоф, Виктор-Луизе-платц к станции Савиньи и далее по железной дороге к станциям Шарлотенбург, Весткройц и Рулебен.

В связи с этим нам пришлось 29 апреля выводить из центральных районов Берлина те части 3-й танковой армии Рыбалко и 28-й армии Лучинского, которые оказались за этой линией. Выводя их оттуда, мы ставили перед ними задачу наступать в своей полосе из южной части Шенеберга в направлении станции Савиньи.

Перегруппировка некоторых частей Рыбалко и Лучинского в свою полосу наступления сочеталась в этот день с продолжавшимися в Берлине ожесточенными боями. Наступая в северном и северо-западном направлении, войска Рыбалко и Лучинского заняли с жестокими боями еще несколько кварталов города.

В это же время 10-й танковый корпус армии Лелюшенко и 350-я дивизия армии Пухова продолжали воевать на острове Ванзее, захватив в этот день его юго-западную часть.

Шестой мехкорпус армии Лелюшенко после того, как он вместе с частями Первого Белорусского фронта овладел Потсдамом, был направлен теперь в район Михендорф. Ему была поставлена задача наступать на Бранденбург с востока. Развивая наступление, этот корпус во время своего движения столкнулся с частями армии Венка, которые на разных участках все еще пытались прорваться к Берлину. Встреча была, как говорится, незапланированной, но успешной для нас: эти части армии Венка были разбиты и отброшены.

Соседний с 6-м 5-й мехкорпус армии Лелюшенко, по-прежнему занимавший рубеж Беетлиц — Тройенбритцен, в течение этого дня успешно отбил несколько ожесточенных атак армии Венка, вновь упрямо пытавшейся прорваться к Берлину и на этом участке. Атаки ее были весьма настойчивыми, но положение нашего 5-го мехкорпуса стало к этому времени уже гораздо прочнее, чем было раньше. К его левому флангу подошли вплотную части армии Пухова, а кроме того, танкисты полу-

* Окончание. Начало см. «Новый мир», №№ 5 и 6 с. г.

чили солидную артиллерийскую поддержку, да и имели уже в своем втором эшелоне кое-какие резервы. Так что теперь дело у них шло веселее, хотя Венк упорствовал и продолжал слепо выполнять приказ Гитлера. Напористость Венка, стремившегося во что бы то ни стало пробиться к Берлину на выручку окруженной там группировки и самого Гитлера, реально ни к чему не привела и не принесла никаких лавров ни ему, ни его армии.

Я, как и всюду до этого, говорю о действиях войск в полосе наступления Первого Украинского фронта. Но для того, чтобы оценить ту меру замешательства и растерянности, в которых находились к вечеру 29 апреля руководители гитлеровской армии и государства, следует напомнить, что к концу этого дня войска нашего соседа — Первого Белорусского фронта вели бои уже в самом центре города и уже подходили вплотную и к рейхстагу, и к имперской канцелярии.

Венк так и не прорвался к Берлину. Франкфуртско-губенская группировка доживала последние дни. Словом, надо признать, что у Гитлера к концу этого дня были вполне достаточные основания, чтобы окончательно потерять веру в будущее.

Командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг в своих показаниях говорил о том, что вечером 29 апреля, после полуторачасового доклада Гитлеру о невозможности продолжать сопротивление в Берлине, Гитлер все-таки не принял окончательного решения и дал принципиальное согласие на оставление Берлина и попытку прорыва из окружения только в том случае, если за ближайшие сутки не удастся наладить доставку боеприпасов и продовольствия воздушным путем в центр Берлина.

Думается, однако, что эта оттяжка окончательного решения еще на сутки была не проявлением воли к борьбе, а, наоборот, только еще одним проявлением растерянности и боязни до конца посмотреть правде в глаза.

Тридцатого апреля войска обоих фронтов продолжали вести ожесточенные бои в Берлине, уничтожая окруженную немецкую группировку. Чем больше сужалась территория, занятая противником, тем сильнее уплотнились его боевые порядки и увеличивалась плотность огня.

Гитлер в течение 30 апреля все еще колебался. В 14.30 он предоставил генералу Вейдлингу свободу действий, разрешил осуществить попытку прорыва из Берлина. А в 17 часов 18 минут Вейдлинг получил новое распоряжение Гитлера, которое отменяло предыдущее и вновь подтверждало задачу оборонять Берлин до последнего человека.

Эти метания Гитлера, свидетельствовавшие о неуверенности и даже отчаянии, сочетались с продолжавшимся ожесточенным сопротивлением частей берлинского гарнизона, упорно дравшихся за каждый квартал, за каждый дом.

В полосе наступления нашего фронта армия Рыбалко и армия Лучинского продолжали наступать своим правым флангом на северо-запад, занимая все новые кварталы Берлина и одновременно пресекая участвовавшие попытки отдельных групп противника просочиться и вырваться из Берлина, уйти навстречу Венку.

Части армий Лелюшенко и армии Пухова, продолжая в этот день бои на острове Ванзее, ворвались в город Ноль-Бабельсберг. В центре и в юго-восточной части острова сопротивление немцев было уже сломлено, они стали сдаваться в плен, но на самом юго-востоке острова по-прежнему продолжались ожесточенные бои, и в ночь с 30 апреля на 1 мая около шести тысяч немцев переправились с острова на южный берег протоки.

Создалась своеобразная ситуация: наши войска основными силами

переправились на остров, а немцы остатками сил перебрались с острова на материк, туда, откуда ушли наши основные силы, оставив только слабое прикрытие. Считаю нелишним привести эту деталь как характерную. Немцы, уже явно обреченные в эти дни на поражение, продолжали, однако, упорно драться, используя каждую нашу оплошность. И в данном случае использовали эту оплошность, надо признать, весьма удачно.

В целом же к концу дня 30 апреля положение берлинской группировки немцев стало безвыходным. Она оказалась фактически расчлененной на несколько изолированных групп. Имперская канцелярия, из которой осуществлялось управление обороной Берлина, после потери узла связи главного командования, находившегося в убежище на Бендерштрассе, лишилась телеграфно-телефонной связи и осталась только с плохо работающей радиосвязью.

В этот вечер передовые части 8-й гвардейской армии Василия Ивановича Чуйкова находились уже всего в восьмистах метрах от имперской канцелярии. Прошел слух об исчезновении Гитлера и о его самоубийстве. До нас эти сведения дошли 1 мая из информации, полученной от Первого Белорусского фронта.

Премьерники Гитлера направили для переговоров в войска Первого Белорусского фронта начальника штаба сухопутных войск генерала Кребса. Все вопросы, связанные с этими переговорами, прекращением военных действий в Берлине, с последующей капитуляцией немецких войск, по указанию Ставки решались командованием Первого Белорусского фронта — Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым. Командование и штаб Первого Украинского фронта в проведении и завершении этих переговоров не участвовали, а только получали о них необходимую информацию.

Но хотя переговоры начались, бои тем не менее продолжались с прежним ожесточением. В полосе Первого Украинского фронта армии Рыбалко и Лучинского в течение всего дня 1 мая очищали от противника районы Вильмерсдорфа и Халензее и заняли за этот день девяносто кварталов. 10-й танковый корпус армии Лелюшенко и 350-я дивизия армии Пухова в этот день наконец покончили с немецкой группировкой на острове Ванзее. Шесть тысяч немецких солдат и офицеров, переправившихся в ночь на 1 мая с острова на материк, были по частям уничтожены или пленены в расположении различных частей армии Лелюшенко. Одна из этих групп — самая большая, около двух тысяч человек — утром 2 мая вышла в лес северо-западнее Шанкенсдорфа, как раз туда, где в это самое время располагался штаб Лелюшенко. Сначала завязался бой между этой группой и охраной штаба армии, потом к месту схватки подошел 7-й гвардейский мотоциклетный полк и другие находившиеся поблизости части.

Отражением этого неожиданного нападения немцев на штаб армии пришлось руководить самому командарму Дмитрию Даниловичу Лелюшенко. История достаточно типичная для первого периода войны и, пожалуй, единственная в своем роде в ее последние недели и месяцы.

После двухчасового боя эта наткнувшаяся на штаб танковой армии немецкая группа была уничтожена и пленена.

В 18 часов 1 мая, после того, как Геббельс и Борман отклонили наши требования о безоговорочной капитуляции, войскам обоих фронтов был отдан приказ продолжать штурм Берлина. В 18 часов 30 минут вся артиллерия советских войск, действовавших в Берлине, нанесла одновременный мощный огневой удар по немцам. После этого удара боевые действия не прекращались всю ночь с 1 на 2 мая.

Наши войска, пробиваясь навстречу друг к другу через разрушенные кварталы Берлина, соединились в течение ночи в нескольких пунк-

тах. Части 28-й армии Лучинского и 3-й танковой армии Рыбалко в районе станции Савиньи соединились с частями 2-й танковой армии Первого Белорусского фронта.

Второго мая в 2 часа 50 минут по московскому времени радиостанция 79-й гвардейской дивизии 8-й гвардейской армии Первого Белорусского фронта приняла радиограмму от немцев на русском языке: «Алло, алло, говорит пятьдесят шестой танковый корпус. Просим прекратить огонь. К 12 часам 50 минутам ночи по берлинскому времени высылаем парламентариев на Потсдамский мост. Оознавательный знак: белый флаг на фоне красного цвета. Ждем ответа».

На рассвете началась массовая капитуляция немецких войск, а в шесть часов утра 2 мая перешел линию фронта и сдался в плен командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг.

Весь день 2 мая в Берлине немцы целыми подразделениями и частями сдавались в плен. После того, как весть о капитуляции дошла до всех тех немецких групп, которые еще продолжали обороняться, хотя они и не имели связи с командованием, капитуляция приняла всеобщий характер, и к трем часам дня сопротивление берлинского гарнизона прекратилось повсюду и полностью.

В этот день в районе Берлина было взято в плен 134 тысячи немцев. 34 тысячи из них было взято в плен войсками Первого Украинского фронта. Эта цифра — 134 тысячи пленных, попавших в наши руки после приказа о капитуляции, — подтверждает наше предположение о том, что общая численность берлинского гарнизона, видимо, значительно превышала 200 тысяч человек.

Чтобы завершить повествование о действиях Первого Украинского фронта во время Берлинской операции, приведу выписку из направленного мною в Ставку последнего по этой операции боевого донесения.

«Войска фронта сегодня, 2 мая 1945 года, после девятидневных уличных боев, полностью овладели Юго-западными и Центральными районами города Берлин (в пределах установленной для фронта разграничительной линии) и совместно с войсками Первого Белорусского фронта овладели городом Берлин».

Итак, 2 мая войсками Первого Белорусского и войсками Первого Украинского фронтов была завершена ликвидация берлинской группировки немцев и взят Берлин. Но, несмотря на это, война еще не кончилась. Войскам Первого Белорусского фронта предстояло еще окончательное завершение Берлинской операции. Надо было очистить от врага всю территорию Германии к востоку от Эльбы. Войскам Первого Украинского фронта, как это уже и предусматривалось ранее, была поставлена новая задача: разгромить группу армий фельдмаршала Шернера и освободить Чехословакию.

Командующему Первым Белорусским фронтом Г. К. Жукову было приказано не позднее 4 мая сменить войска Первого Украинского фронта в пределах новой разграничительной линии. Уже 2 мая войска нашего Первого Украинского фронта начали сдавать свои участки соседу и производить перемещения и передвижения, связанные с подготовкой предстоявшей Пражской операции.

Пражская операция

Обстановка, предшествовавшая Пражской операции, требует того, чтобы подробно остановиться на ней. Сложность ее во многом определила весь ход Пражской операции, ее замысел, сроки и темпы.

После разгрома берлинской стратегической группировки фашистское государство фактически рухнуло. Однако в своем политическом замышлении Гитлер делал попытку продлить существование фашистского режима, назначив новое правительство Германии во главе с гросс-адмиралом Деницем. Главкомандующим сухопутными силами Германии назначался генерал-фельдмаршал Шернер, занимавший к этому времени пост командующего группой немецких армий «Центр», находившихся главным образом в Чехословакии. Такое назначение имело свои основания, потому что Шернер к этому времени оказался, пожалуй, наиболее реальной военной фигурой, имевшей власть, а главное, войска, и немало войск.

Надо сказать, что в распоряжении нового германского «правительства» — я и здесь и в дальнейшем ставлю это слово в кавычки — имелись для продолжения войны еще весьма значительные по численности силы, продолжавшие оказывать сопротивление Советской Армии. Чтобы составить общую картину, стоит назвать эти силы. В Прибалтике находилась группа армий «Курляндия». На побережье Балтийского моря еще продолжала сражаться группа войск «Восточная Пруссия». Западнее Берлина продолжала драться, хотя и основательно потрепанная в предыдущих боях, 12-я немецкая армия. В Чехословакии была сосредоточена под командованием Шернера группа армий «Центр» (54 полнокровных дивизии и 8 боевых групп, сформированных из бывших дивизий). Эта группировка оказывала сопротивление войскам Первого, Второго и Четвертого Украинских фронтов. В Западной Чехословакии фронтом против союзников стояла 7-я немецкая армия (5 дивизий), как раз в эти дни тоже переданная в подчинение фельдмаршалу Шернеру.

Наконец, в Австрии и Югославии против войск Второго и Третьего Украинских фронтов и Югославской Народной Армии дрались еще две группы немецких армий — «Австрия» и «Юго-Восток», вместе насчитывавшие около 50 дивизий.

Таким образом, Пражская операция отнюдь не носила символического характера, как это иногда пытаются изобразить. Нам предстояла серьезная борьба с большой группировкой вооруженных сил Германии, на которую делало ставку «правительство» Деница, рассчитывая, что спасение этой группировки даст возможность хотя бы еще на какое-то время продлить существование третьего рейха.

Уже находясь на краю гибели, «правительство» Деница направляло все свои усилия на то, чтобы, как можно скорее прекратив военные действия на западе, продолжить борьбу на Восточном фронте. Это был краеугольный камень всей его политики, достаточно откровенно изложенной самим Деницем в его выступлении 1 мая по фленсбургскому радио:

«Фюрер назначил меня своим преемником. В тяжелый для судьбы Германии час с сознанием лежащей на мне ответственности я принимаю на себя обязанности главы правительства. Моей первой задачей является спасение немцев от уничтожения наступающими большевиками. Только во имя этой цели продолжают все военные действия. Пока при выполнении этой задачи встречаются препятствия со стороны англичан и американцев, мы вынуждены защищаться также от них и продолжать войну».

На специальном заседании «правительства» Деница было записано как основное решение: «Необходимо всеми средствами продолжать борьбу на Восточном фронте».

Совершенно очевидно, что Дениц был фанатичным последователем Гитлера и, не считаясь с реально сложившейся обстановкой, продол-

жал его политику, угрожавшую самому существованию немецкого народа. Собственно говоря, именно это и привело его к власти. Надо сказать, что Гитлер со своей точки зрения был прав, назначив себе именно такого преемника,— он не ошибся в Денице. Это был фанатичный последователь гитлеризма.

Основной реальной силой, которая, в соответствии с решением «правительства» Деница, могла «всеми средствами продолжать борьбу на Восточном фронте», была немецкая группировка, действовавшая севернее Дуная — на территории Чехословакии и северных районов Австрии.

Кроме войск группы армий «Центр», в эту группировку входила часть сил группы войск «Австрия», а также множество резервных и запасных частей и подразделений, которыми к этому времени была буквально наводнена вся еще не освобожденная нами территория Чехословакии. С запада ее прикрывала 7-я немецкая армия, которая, как я уже сказал, тоже вошла в подчинение Шернеру.

«Правительство» Деница поставило себе задачу провести частичную капитуляцию перед нашими западными союзниками и в то же время сохранить на Восточном фронте, против нас, эту миллионную группировку войск севернее Дуная. Нам предстояло сорвать эти планы. Еще 2 мая преемники Гитлера считали, что группировка Шернера не меньше трех недель сможет удерживать за собой территорию Чехословакии. Но Дениц настаивал на том, чтобы группировка Шернера начала немедленный отход к юго-западу — так будет облегчена в будущем сдача ее в плен американцам. А Кейтель и Йодль возражали, считая, что как только группа армий «Центр» начнет отходить, она будет смята и развалится под нашими ударами,— рассуждение, я бы сказал, не лишнее здорового смысла. Если бы Шернер в эти дни поспешно сорвал свои войска с насиженных и обжитых позиций, они, несомненно, были бы смяты нами при преследовании и мы едва ли дали бы им улизнуть в американскую зону.

Вызванный в резиденцию «правительства» Деница начальник штаба Шернера генерал Нацмер доложил мнение своего командующего о нецелесообразности отхода войск с хорошо укрепленных позиций, опиравшихся на Судетские и Рудные горы и в значительной мере на старые чехословацкие укрепления, построенные еще перед войной.

Точки зрения, как видим, были разные, причем обсуждался даже вопрос о переезде «правительства» в Прагу — под прикрытие группировки Шернера.

До сих пор сожалею, что Дениц не дал на это согласия. Согласись он тогда на это, и войска нашего фронта, несомненно, захватили бы его «правительство» вместе с основной массой войск Шернера.

Такова была военно-политическая обстановка в стане противника накануне Пражской операции. Что касается наших союзников, то именно в это время Черчилль дал фельдмаршалу Монтгомери свое знаменитое и теперь уже широко известное указание «тщательно собирать германское оружие и складывать так, чтобы его легче можно было снова раздать германским солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось».

Говоря о своих настроениях тогда, весной 1945 года, Монтгомери впоследствии в своих мемуарах писал, что если бы верховное руководство военными операциями осуществлялось политическими лидерами Запада должным образом, то «мы могли бы захватить все эти три центра раньше русских». Под тремя центрами подразумевались Берлин, Вена и Прага.

Ко времени получения Первым Украинским фронтом директивы Ставки приступить к проведению Пражской операции Берлин был уже

нами взят, и Вена тоже была взята нами. Из трех названных Монтгомери городов оставалась только Прага. И ряд документов того времени позволяет считать, что наши союзники с большой неохотой расстались с надеждами захватить этот «третий центр» раньше русских.

Если 30 апреля Эйзенхауэр в своем письме предлагал установить демаркационную линию, с которой мы были в принципе согласны и которая потом действительно была установлена, то 4 мая, несмотря на уже достигнутую договоренность, Эйзенхауэр в своем новом письме к начальнику нашего Генерального штаба Антонову писал совсем другое: «Будем готовы продвинуться в Чехословакию, если этого потребует обстановка, до линии рек Влтава и Эльба, чтобы очистить западные берега этих рек». Это дополнение фактически включало уже в зону действия американских войск и саму Прагу.

Письмо это, видимо, отражало то давление, которое со все большей силой оказывали на Эйзенхауэра и Черчилль, и пришедший к власти на смену Рузвельту Трумэн.

Начальник нашего Генштаба от имени советского Верховного Командования направил на следующий же день, 5 мая, генералу Эйзенхауэру ответ, в котором просил Эйзенхауэра во избежание возможного перемешивания войск не продвигать союзные войска в Чехословакию к востоку от первоначально намеченной линии.

После обмена этими письмами американские войска приостановили свое наступление в глубь Чехословакии на той линии, которая была оговорена с самого начала.

Эти дипломатические и политические события происходили как раз в те дни, когда у нас в штабе фронта и в армиях шла самая энергичная подготовка к Пражской операции и войска занимали исходное положение для ее начала.

В эти же дни напряженной подготовки к операции я встретился с командующим американскими войсками в Европе генералом Бредли. Мне бы хотелось рассказать об этой встрече, тем более что генерал Бредли уже писал с ней в своих «Записках солдата».

Я не вижу необходимости вступать с ним в полемику по поводу трактовки тех или иных фактов, данной им в «Записках», но мне кажется полезным дать читателю представление о том, как выглядели эти встречи в моих глазах.

Впервые я встретился с командующим 12-й армейской американской группой войск генералом Омаром Бредли через неделю после встречи наших войск с американскими на Эльбе, о которой я упоминал. Это произошло неподалеку от Торгау, в сорока километрах северо-восточнее его, на моем командном пункте.

Бредли прибыл со свитой генералов и офицеров и огромным количеством корреспондентов и фоторепортеров, я бы даже сказал, с чрезмерным. С нашей стороны, кроме меня, присутствовали члены Военного Совета фронта, начальник штаба фронта, командующий 5-й гвардейской армией Жадов и командир 34-го гвардейского корпуса Бакланов. Именно их войска впервые встретились на Эльбе с американцами. Присутствовали на встрече также несколько представителей наших центральных и фронтовых газет, кинооператоры и фотокорреспонденты, но куда в более скромном числе, чем у американцев.

Разные бывали времена в советско-американских отношениях, да и сейчас эти отношения не по нашей вине оставляют желать много лучшего, но, соблюдая историческую точность, я бы сказал, что в тот день, 5 мая 1945 года, встреча двух командующих — американского и советского — была дружественной и происходила в атмосфере прямоты и открытости. Мы с Бредли ведь были не дипломатами, а солдатами, и это

наложило отпечаток на обе наши встречи: они были одновременно и официальными и дружественными.

Мы с Бредли рассматривали его карту, на которой было нанесено положение американских войск на этот день — 5 мая 1945 года. Бредли коротко пояснил, где и какие его войска вышли на условленную линию соприкосновения с нами, а затем спросил меня, как мы намерены брать Прагу и не следует ли американским войскам оказать нам содействие в ее овладении.

Вопрос не был для меня неожиданным. Хотя наступление Второго, Четвертого и Первого Украинских фронтов против группы Шернера еще не началось, но у американцев не могло оставаться никаких сомнений относительно того, что это наступление начнется в самом ближайшем будущем.

Я сказал Бредли, что необходимости оказывать нам помощь в овладении Прагой нет и что любое продвижение американских войск дальше к востоку от ранее установленной линии соприкосновения с нами может внести путаницу, вызвать перемешивание войск, а это нежелательно, и я прошу этого не делать.

Бредли согласился со мной и сказал, что подчиненные ему войска будут и впредь строго соблюдать установленную линию соприкосновения.

На вопрос Бредли о том, как мы намерены брать Прагу, я ответил в общих чертах, что нацеленные на Чехословакию советские войска в состоянии справиться с этой задачей и безусловно справятся с ней. В подробности предстоящих действий своего фронта я не вдавался. Я не считал возможным сообщать о своих оперативных планах, хотя в душе и верил, что именно войска Первого Украинского фронта сыграют решающую роль в освобождении Праги, даже если бы считал себя вправе говорить об этом, все равно постарался бы уклониться от каких-либо прогнозов на сей счет.

Во время обеда в своем первом, официальном тосте я говорил о тех испытаниях и трудностях, через которые прошла Советская Армия на своем пути к победе. Я говорил о том, какую важную роль сыграл президент Рузвельт в создании и во всех дальнейших действиях антигитлеровской коалиции. Кончина Рузвельта была еще так свежа в памяти, а я принадлежал к числу людей, искренне и глубоко переживавших эту потерю. Поэтому, выражая официально соболезнование по поводу безвременной кончины американского президента, я вложил в него и свои личные чувства и высказал надежду, что новый президент продолжит дело, за которое боролся Рузвельт.

К сожалению, эта надежда не оправдалась и преемник Рузвельта очень скоро внес свой первый вклад в обострение отношений между нашими странами.

Говоря о нашей совместной борьбе против фашистских захватчиков, я отметил и оценил бесспорные заслуги, которые принадлежали в этой борьбе офицерам и солдатам 12-й американской группы армий.

Генерал Бредли в своем ответном тосте отметил мужество советских солдат, храбрость войск Первого Украинского фронта, примеру которых, по его словам, следовали американские солдаты, офицеры и генералы. Остановившись на заслугах Рузвельта, он выразил сожаление, что президенту не удалось дожить до счастливых дней победы, и предложил тост за нашу встречу.

После первых, официальных тостов за столом возникла дружеская беседа, прерываемая уже, как говорится, локальными тостами в честь представителей наших и американских штабов, командующих армиями, представителей различных родов войск. Тосты эти были теплыми и дружественными. Они свидетельствовали о том, что мы взаимно и по-

настоящему уважаем друг друга и ценим нашу боевую дружбу, возникшую и окрепшую в борьбе с общим врагом.

Не буду приводить всех последующих разговоров за столом — они были довольно долгими и касались главным образом тех же тем, которые были затронуты в наших обоюдных тостах.

После обеда я предложил Бредли и его спутникам послушать концерт ансамбля песни и пляски Первого Украинского фронта. Надо сказать, что этот ансамбль, созданный в сорок третьем году в Киеве под руководством Лидии Чернышевой, пользовался у нас на фронте большой популярностью. Там были по-настоящему отличные музыканты, певцы и танцоры.

Когда ансамбль исполнял гимн Соединенных Штатов, находившиеся в зале американцы подпевали, а после горячо аплодировали нашим музыкантам. Аплодировали они и тогда, когда ансамбль исполнил гимн Советского Союза.

Артисты ансамбля были в тот день особенно в ударе. Кроме наших песен, они спели американскую шуточную песенку «Кабачок», английскую песню «Типерери». Это было восторженно встречено нашими гостями. Ну, а потом был украинский «гопак» и «русский перепляс» — коронные номера наших танцоров, которые и в обычной обстановке производят яркое впечатление, а тогда впечатление это было еще усилено тем праздничным, радостным настроением, которое охватило и нас, и наших гостей.

Генерал Бредли, сидя рядом со мной, заинтересованно расспрашивал, что это за ансамбль, откуда здесь, на фронте, эти артисты. Я сказал ему, что ансамбль состоит из наших солдат, прошедших вместе с войсками фронта большой боевой путь. Однако, как мне показалось, он отнесся к моему ответу без особого доверия. И зря, потому что большинство участников ансамбля действительно начали свой путь на войне солдатами, а потом, когда уже был сформирован ансамбль, много раз выступали на переднем крае, порой в условиях далеко не безопасных.

Бредли поблагодарил за концерт и объявил после его окончания о решении правительства Соединенных Штатов наградить меня как командующего Первым Украинским фронтом высшим американским орденом. Он тут же вручил мне этот орден и, как водится в таких случаях, поздравил и обнял.

Мои товарищи по фронту, принимавшие участие в этой встрече, с искренним одобрением отнеслись к этому награждению: они справедливо видели в нем высокую оценку со стороны американцев боевых дел, совершенных нашими войсками, которыми мне выпала честь командовать.

После короткой церемонии вручения награды мы вышли вместе с Бредли из особняка, в котором был накрыт стол и дан концерт, и на вольном воздухе, в присутствии, надо сказать, достаточно широкой аудитории, собравшейся в связи с приездом американских гостей, я вручил генералу Бредли от имени воинов Первого Украинского фронта красное знамя как символ нашей дружбы и нашей встречи. К этому времени я уже знал, что Бредли имеет в виду подарить мне на память машину «виллис», которую он привез из своей ставки прямо на самолете. Я со своей стороны тоже приготовил ему личный подарок и первым вручил его. Несмотря на всю мою приверженность к механизации, я подарил генералу Бредли своего боевого коня. Этот конь следовал за мной всюду с лета 1943 года, когда я вступил в командование Степным фронтом. Это был красивый, хорошо выезженный донской жеребец, и я подарил его Бредли со всей экипировкой.

Мне показалось, что он был искренне рад этому подарку. Приняв

коня, он в свою очередь подарил мне легковую машину «виллис» с надписью «Командующему Первой Украинской группы армий от солдат американских войск 12-й группы армий» и вместе с этим «виллисом» вручил мне американское знамя и американский автомат.

А через несколько дней мне пришлось выехать с ответным визитом в ставку Бредли.

До Торгау мы ехали на своих машинах, а там меня встретили старший офицер штаба Бредли и переводчик, которые сопровождали нас до Лейпцига. В Лейпциге меня встретил сам Бредли и предложил дальше, до своей ставки, которая была размещена довольно далеко, летать на его личном самолете.

Мы сели в его «СИ-47», который всю дорогу сопровождали две эскадрильи истребителей. Они непрерывно делали в воздухе всевозможные эволюции, перестраивались, показывая высший класс группового полета, а когда наш самолет сел неподалеку от Касселя, истребители эффектно ушли на разных эшелонированных высотах вплоть до самых низких, на бреющем.

Не скрою, мне показалось тогда, что при помощи этого эскорта истребителей нам не только оказали почет, но и постарались продемонстрировать свое мастерство самолетовождения.

От аэродрома в районе Касселя нас тоже сопровождал эскорт: впереди несколько боевых бронемашин, за ними — машина с мощными сигналами, затем машина, в которой ехали я, Бредли и переводчик, позади нас опять бронетранспортеры и в заключение три танка.

На пути от аэродрома до резиденции Бредли были с интервалами построены войска — представители всех родов войск. За исключением, кажется, только моряков.

У здания, к которому мы подъехали, нас встретили многочисленные офицеры штаба Бредли и еще более многочисленные корреспонденты.

В парадном зале Бредли предложил нам коктейль, приготовленный, как он нам сказал, по его рецепту. Из огромного медного котла коктейль разливали черпаком в солдатские кружки. Мне сказали, что это традиция. Ну что ж, традиция так традиция.

После коктейля Бредли повез меня в свою штаб-квартиру на другой конец города. Здесь перед зданием был выстроен почетный караул из всех родов войск. Мы с Бредли обошли строй, я поздоровался и попросил генерала, чтобы он подал войскам команду «смирно». Когда это было сделано, я по поручению Советского правительства прямо перед строем почетного караула вручил генералу Бредли орден Суворова первой степени. Бредли — человек сдержанный, но мне показалось, что в эти минуты лицо его было взволнованным. Мы дружески обнялись, и я поздравила его.

Затем мы с Бредли перешли в зал, где были накрыты столы. И дело, как водится, опять началось с тостов. Первый тост произнес хозяин, второй — я: за нашу встречу, за Бредли, за сидящих за столом его боевых соратников и друзей.

Во время обеда разговор почти не касался военных тем. Единственной военной темой, на которую мы на этот раз разговаривали, был Суворов. Бредли, получив орден Суворова, интересовался этой исторической личностью. Как выяснилось, он до этого ничего не знал о Суворове, и мне пришлось рассказать здесь же, за столом, об основных кампаниях Суворова, в том числе об итальянской кампании и швейцарском походе.

Заключая свой рассказ о Суворове, я сказал Бредли, что Суворов — самый крупный полководческий талант в истории русской армии и орден, который я сегодня вручил, — это орден прежде всего полководческий, отмечающий заслуги человека как полководца. Это наиболее высокая

награда, установленная у нас для военачальников, командующих крупными соединениями, и что маршал Сталин — так оно в действительности и было — поручил мне лично вручить этот орден ему, генералу Бредли.

В конце обеда два скрипача в американской солдатской форме, один постарше, другой помоложе, исполнили дуэтом несколько превосходных пьес. Скажу сразу, что высочайшему классу скрипичной игры, которую мне довелось слышать в тот день в ставке у Бредли, удивляться не приходится: этими двумя солдатами были знаменитый скрипач Яша Хейфиц и его сын.

В перерывах между номерами Бредли несколько иронически поглядывал на меня. Видимо, мои предположения были справедливы: он так и не поверил мне при первой встрече, что наш ансамбль песни и пляски состоял из солдат нашего фронта, и, считая в этом смысле данный ему концерт маленьким подвохом, с добрыми намерениями в свою очередь решил прибегнуть к приятельской мистификации, представив Яшу Хейфица с сыном как американских солдат.

Обед проходил в дружеской обстановке. На нем с американской стороны присутствовали генералы — командующие армиями, командиры корпусов и дивизий.

Вспоминаю, что во время разговоров за столом Бредли несколько раз выражал сожаление по поводу того, что среди собравшихся нет генерала Паттона, и отзывался о его армии как о лучшей из американских армий и о нем как о наиболее выдающемся американском генерале, как о человеке, способном к смелому маневру и решительному использованию танковых войск.

Один или два раза по инициативе Бредли разговор коснулся генерала Эйзенхауэра. Бредли говорил о нем с уважением, но больше ценил в нем дипломата, чем полководца.

Из слов Бредли можно было также заключить, что у Эйзенхауэра очень много времени и сил занимало согласование действий между союзными командованиями и союзными правительствами, и поэтому почти вся тяжесть практического руководства американскими войсками, действовавшими в Европе, ложилась на плечи Бредли, который в ряде случаев бывал не согласен с Эйзенхауэром.

Мы вели беседу через переводчиков, и, может быть, поэтому какие-то оттенки сказанного не были уловлены мною с достаточной точностью, но общее впечатление от разговора у меня сложилось именно такое.

Сам Бредли как человек и военный произвел на меня и во время первого, и во время второго свидания благоприятное впечатление. Уже немолодой, тогда, в мае сорок пятого, ему было уже около шестидесяти, военный-профессионал, это был человек крепкий, спокойный, выдержанный. Судя по нашим разговорам на военные темы, он интересно и правильно анализировал ход событий, понимал значение, которое приобрели в ходе войны мощный артиллерийский огонь, танки и авиация. Он хорошо разбирался в характере современного боя, правильно представлял себе решающее и второстепенное в нем. Глубоко, на мой взгляд, разбирался он и в вопросах артиллерии, со знанием дела судил о наших танках, их вооружении, броне, двигателях и тому подобном.

В общем, я чувствовал и видел, что рядом со мной сидит человек, хорошо ориентированный в вопросах использования всех родов войск, что, на мой взгляд, было первым признаком высокой квалификации командующего.

У меня сложилось впечатление, что это был воин в полном смысле этого слова, военачальник, достойно представлявший действовавшие в Европе американские войска.

В наших разговорах он проявлял добрые чувства по отношению к нашему народу, к нашей армии, с удовлетворением и, как мне казалось, искренне давал высокую оценку нашим последним операциям, а также проявлял понимание всей меры трудности той борьбы, которую Советская Армия вела с немцами. В одном из разговоров си мне так прямо и сказал, что наша армия в борьбе с немцами вынесла основную тяжесть войны, то есть сказал именно то, что впоследствии многие другие генералы на Западе, бывшие некогда нашими союзниками, столь упорно замалчивали или даже пытались опровергать. Бредли, судя по нашим разговорам, отлично понимал, что на долю Советской Армии выпала большая, трудная, длительная и упорная борьба.

В оценке противника, как выяснилось из разговоров, мы тоже с ним сходились. Он считал немецкую армию сильной и закаленной, способной драться упорно, с большим умением и стойкостью.

Наша встреча проходила и закончилась в непринужденной дружеской атмосфере, свидетельствующей о том, что между нами тогда были действительно хорошие, дружественные отношения. Я уезжал от Бредли в самом добром расположении духа, и только уже по дороге мне несколько омрачила настроение одна небольшая деталь.

Дело в том, что, когда мы усаживались за обеденный стол, я увидел, что перед нами стоит микрофон. Я не видел никакой необходимости в том, чтобы застольные тосты транслировались в эфир, и я попросил убрать от меня микрофон. И Бредли тут же распорядился на этот счет. Но когда я, возвращаясь к себе на командный пункт, включил радиоприемник, я услышал в эфире свой голос. Тост, который я произнес на обеде у Бредли, был все-таки записан на магнитофон и теперь передавался в эфир. Я, правда, не придал этому сколько-нибудь существенного значения, но, не скрою, поскольку мы договорились заранее, что это исключается, нарушение слова даже в столь несущественном деле оставило у меня несколько неприятный осадок. Хотя, впрочем, допускаю, что это было сделано без ведома Бредли и его самого в данном случае надули корреспонденты.

Обе встречи с Бредли были для меня тогда, разумеется, значительными и интересными событиями. Но тем не менее я все время ни на минуту не расставался с мыслями о предстоящей Пражской операции.

Обстановка становилась все сложнее и требовала от нас и ускорения темпов подготовки, и сокращения сроков проведения самой операции.

В первых числах мая в Чехии началось восстание. С особенной силой оно разгорелось в Праге. Фашистский наместник Франк, стремясь выиграть время, начал переговоры с восставшими. А в это же самое время Шернер отдал своим войскам приказ: «Восстание в Праге должно быть подавлено всеми средствами». К Праге с трех сторон двинулись немецкие войска. Восставшим пражанам предстояла тяжелая борьба. Прага нуждалась в решительной помощи, и оказать эту помощь должны были прежде всего мы.

Войска Второго, Четвертого и Первого Украинских фронтов занимали выгодное охватывающее положение по отношению к группе армий Шернера. Удары по флангам немцев — с юго-востока Вторым Украинским фронтом и с северо-запада нашим фронтом — должны были привести к окружению всей немецкой группировки восточнее Праги, не позволить ей отойти на запад. Но чтобы нанести эти удары, нашим войскам предстояло преодолеть крупные горные массивы и глубокие, заблаговременно подготовленные оборонительные полосы немцев. Перед Первым Украинским фронтом глубина этой полосы местами достигала восемнадцати километров.

Оценивая обстановку и данные разведки, мы видели, что наиболее мощные оборонительные сооружения против нас немцы создали восточнее Эльбы, в районе Герлица, где мы вели долгие и тяжелые бои с дрезденско-герлицкой группировкой.

Значительно слабее выглядела у противника оборона северо-западнее Дрездена, где во время предыдущих боев фронт не приобретал стабильного положения. Самым слабым участком их обороны был участок западнее реки Эльба. Именно на этом направлении я и создал главную группировку для наступления на Прагу.

Правда, и здесь, в глубине обороны противника, была полоса бетонированных укреплений, проходивших вдоль старой германо-чехословацкой границы, и если бы мы задержались, застряли здесь, эти укрепления в сочетании с горным рельефом местности могли создать для нас тяжелые препятствия. Ведь тут же, на северо-западе, вдоль германо-чехословацкой границы, куда нашим войскам, действующим на направлении главного удара, предстояло устремиться после прорыва первой полосы немецкой обороны, проходила цепь Рудных гор протяжением в полтораста километров и около пятидесяти километров в ширину.

Правда, Рудные горы с севера на юг, то есть в направлении нашего удара, прорезало около двух десятков шоссежных дорог. А это при соответствующей подготовке и соответствующих темпах наступления сулило нам неплохую перспективу даже в условиях горной войны.

Меня как командующего фронтом в эти дни беспокоило не столько сопротивление мощной группировки противника и даже не прочность его укреплений сами по себе, сколько сочетание всего этого с горным рельефом местности. А так как операция была рассчитана на быстроту и именно это лежало в основе наших расчетов, то надо было очень серьезно подумать о том, как бы не застрять в этих горах.

У меня все время из головы не выходила Дуклинская операция 1944 года, во время которой мы пробивались прямо через горы. Продиктованная политическими соображениями, предпринятая во имя поддержки национального антифашистского вооруженного восстания словацкого народа, эта операция обошлась нам очень дорого, хотя и многому нас научила. Помня нелегкий опыт этой операции, я в последующем делал все, чтобы при малейшей возможности не забираться в горы, а прикрываться ими, и всегда искал решения в обход гор. Я пришел к твердому убеждению, что борьба в горах может быть продиктована только самой жестокой, железной необходимостью, когда иного пути — обхода или маневра — нет.

Но именно такое положение и создавалось перед началом Пражской операции. Чтобы как можно скорее разгромить засевшую в Чехословакии миллионную группировку Шернера, взять Прагу, спасти город от разрушений, а жителей Праги, да и не только Праги — от гибели, не оставалось ничего другого как прорываться прямо через Рудные горы. Иного пути не было, потому что на подступах к Чехословакии с севера всюду куда ни сунься, куда ни кинь — горы. Значит, надо их преодолеть. Но преодолеть так, чтобы нигде не застрять в них, чтобы как можно скорее их проскочить, обеспечив свободу маневра для танковых и механизированных войск.

Итак, в подготовлявшейся операции надо было предусмотреть все, чтобы не дать немцам задержать наше наступление на перевалах. Мы не считали возможным брать перевалы силами одной пехоты. Мы считали, что наши передовые отряды должны с самого начала обладать внушительной пробойной силой и состоять из всех родов войск, располагать всеми необходимыми инженерными средствами разграждения, подрыва,

уничтожения оборонительных сооружений, которые могли оказаться на нашем пути в Рудных горах.

Такие передовые отряды были созданы на всех направлениях, ведущих в Чехословакию через Рудные горы, и каждому направлению было предназначено достаточное количество авиации, которая должна была поддержать пробивающиеся части, а вслед за этим и дальнейшее движение вырвавшихся на простор танков.

Из района Берлина большая часть войск, входивших в нашу ударную группировку, должна была проделать марш в сто пятьдесят—двести километров только для того, чтобы подойти к исходным позициям. Времени было в обрез, и все-таки мы стремились проводить передвижение своих частей, в особенности крупных танковых соединений, по возможности скрытно. Ведь, узнав о сосредоточении их, Шернер мог в любой момент пойти на риск: оторваться от насиженных позиций и двинуться на запад, навстречу американцам. Мы вовсе не стремились подталкивать его к такому решению, хотя он так или иначе был бы разбит, но все же перед ним открывалась возможность спасти от капитуляции перед нами часть своих войск.

При планировании операции Ставка отводила главную роль Первому Украинскому фронту. Это было связано не только с его нависающим над немецкой группировкой положением, но и с его ударной силой. Мы имели возможность использовать для удара освободившиеся у нас на Берлинском направлении две танковые армии и несколько танковых механизированных корпусов.

Исходя из общей обстановки и директивы Ставки, мы создали на правом фланге северо-западнее Дрездена ударную группировку из трех общевойсковых армий — Пухова, Гордова и Жадова, двух танковых армий — Рыбалко и Лелюшенко, двух танковых корпусов — Полубоярова и Фоминых и пяти артиллерийских дивизий.

Общее направление главного удара планировалось на Теплице-Шанов — Прага, несколько охватывая Прагу с запада и юго-запада.

Одновременно был задуман вспомогательный удар из района северо-западнее Герлица. Его должна была осуществить вторая ударная группировка, в которую входили армии Лучинского и Коротева, один мехкорпус, одна артиллерийская дивизия прорыва. Общее направление их удара было: Циттау — Млада-Болеслав — Прага.

Начиная Пражскую операцию, предстояло решить попутно и еще одну немаловажную задачу. Хотя мы сосредоточивали свою главную группировку северо-западнее Дрездена, но сам Дрезден до сих пор все еще не был взят нами. Планируя удар на Прагу, мы должны были в самом начале операции разделаться и с немецкой группировкой, оборонявшей Дрезден. Эту задачу предстояло выполнить 5-й гвардейской армии Жадова, усиленной 4-м танковым корпусом Полубоярова, во взаимодействии со Второй армией Войска Польского и ее танковым корпусом. Остальным войскам главной ударной группировки, кроме армии Жадова, предстояло сразу же двигаться на Прагу, не ввязываясь в борьбу за Дрезден.

Было решено также, что на главном направлении в наступление перейдут одновременно и общевойсковые, и танковые армии, чтобы этим сразу обеспечить максимальную мощь удара, стремительный прорыв обороны противника и дальнейшее движение вперед без обычных затрат времени, необходимых на то, чтобы ввести танковую армию в прорыв на участке общевойсковой армии.

Я считаю это важной особенностью Пражской операции; она была продиктована и обстановкой, и опытом войны. Причем опытом последних, наиболее стремительных операций, где широко использовались тан-

ковые армии. Но, чтобы правильно использовать этот опыт, надо было создать все необходимые условия, не забыв ни одного из тех слагаемых, из которых в сумме складывается победа. От нас требовалось создать не только мощную танковую, но и мощную артиллерийскую группировку и обеспечить массивную поддержку авиации и при прорыве, и при дальнейшем движении наземных войск. Все это было подготовлено, и мы были вправе рассчитывать на успех.

Перед наступающими армиями были поставлены задачи, требовавшие от них очень высокого темпа наступления. Наиболее интересная и ответственная задача была поставлена перед 13-й армией Пухова. Прорвав немецкую оборону, она должна была в дальнейшем развивать наступление, обходя Прагу с запада, а Пльзень с востока, обеспечивая этим маневром всю остальную ударную группировку фронта с запада.

Было естественно предполагать, что, когда развернется операция, немцы приложат все усилия, чтобы прорваться на запад, к нашей демаркационной линии с союзниками. Именно этого и не должен был допустить Пухов со своей армией.

Еще глубже, перехватывая пути возможного отхода немцев, должен был продвинуться приданный Пухову 25-й танковый корпус Фоминых. Кстати сказать, с блеском выполнив поставленную перед ним задачу, он в последний момент успел перехватить уже почти добравшуюся до американцев власовскую дивизию и самого Власова. Но об этом дальше.

Выполнил этот корпус и вторую стоявшую перед ним задачу: захватил в городе Мосты крупнейший завод синтетического горючего, на продукции которого в последнее время держалась немецкая авиация. И захватил этот построенный немцами завод целым и невредимым.

Третья гвардейская армия Гордова наносила удар на Прагу прямо с севера и должна была во взаимодействии с 3-й танковой армией Рыбалко овладеть Прагой с северо-востока и востока. 4-я танковая армия Лелюшенко, наступавшая вместе с армией Пухова, должна была выйти к Праге с запада и юго-запада.

Овладение Прагой планировалось в самые сжатые сроки операции. Это требовало высоких темпов наступления от всех армий. Но главная изюминка плана этой операции заключалась в том, что сначала общевойсковые и танковые армии вместе прорывают оборону немцев, а в дальнейшем танковые армии и отдельные танковые и механизированные корпуса смело вырываются вперед и в максимально высоких темпах, какие только допускает обстановка и состояние дорог, движутся к Праге, не оглядываясь и не заботясь о том, что происходит у них за спиной. Их задача сводится к одному: с ходу овладеть Прагой. А потом, когда они уже завяжут там бои и отрежут пути отхода немцам, к этому времени вслед за ними подойдут и общевойсковые армии. И хотя — надо отдать им должное — все армии наступали на Прагу высокими темпами, но то, что туда ринулось десять танковых корпусов — 1600 танков — Первого Украинского фронта, было решающим фактором.

Чтобы обеспечить задуманный план, нам пришлось за небывало короткий срок — с 4 по 6 мая — перебросить, главным образом с Берлинского направления, и сосредоточить на участке прорыва главной ударной группировки пять артиллерийских дивизий прорыва, около двадцати артиллерийских бригад и примерно столько же отдельных артиллерийских и минометных полков. Помимо этого еще было переброслено очень большое количество зенитной артиллерии. Всего за эти дни мы сосредоточили на главном направлении удара 5680 орудий и минометов. Плотность огня на участке прорыва 5-й гвардейской армии Жадова достигала двухсот и более стволов на километр.

Вторая воздушная армия под командованием генерала Красовского сосредоточила на основном направлении 1900 самолетов и на вспомогательном направлении, где наступали армии Лучинского и Коротеева, — 355 самолетов. Кроме задачи прикрыть войска, обеспечить нашу переправу через Эльбу и массированными ударами штурмовиков и бомбардировщиков подавить на главном направлении живую силу и технику врага, перед авиацией была поставлена задача не дать возможности противнику маневрировать по железным дорогам, практически выключить все крупнейшие железнодорожные узлы вокруг Праги. 1100 танков и самоходок, вводимых в бой на главном направлении, а также весь автотранспорт танковых войск имели более чем полутонную заправку дизельным топливом и бензином. Все, что двигалось в наступление, было полностью заправлено на всю операцию до конца, вплоть до Праги, и за время операции ни один танк не вышел из строя из-за недостатка горючего.

Я говорю прежде всего о главном направлении удара. Но и на вспомогательном направлении у Лучинского и Коротеева были сосредоточены немалые силы, в том числе около 3700 орудий и минометов, около трехсот танков и две артиллерийские дивизии прорыва. Кроме того, наступал еще танковый корпус Второй армии Войска Польского. Таковы лишь некоторые цифры и факты, характеризующие масштаб подготовительных работ к операции.

Четвертого мая в штабе фронта были созваны на совещание командующие армиями. На этом совещании было особо подчеркнuto, что фактор времени будет играть решающую роль в предстоящей операции. И, кроме того, было подчеркнuto, что нам предстоит не просто преодолеть Рудные горы и Судеты, а в буквальном смысле слова перелететь через них.

Одной из предпосылок для осуществления нашего замысла было состояние войск противника. И об этом тоже говорилось на совещании. Я никогда не был склонен недооценивать силы сопротивления немцев, но в данном случае, требуя от командующих армиями стремительных и безостановочных действий, считал необходимым подчеркнуть, что хотя нам и противостоит мощная по численности и серьезная по вооружению группировка, но после взятия Берлина моральное состояние немецкой армии в целом — подавленное, что она надломлена и ее остается только ломать. Судя по многим признакам, немецкие штабы в сложившейся обстановке уже не в состоянии оценивать и охватывать взглядом все происходящее с той точностью, с которой они обычно это делали. Поэтому мы должны идти не только на смелые, но и на дерзкие решения, показывая высший класс оперативного и тактического искусства, считая и экономя каждую минуту.

Это относилось и к самому наступлению, и к последним дням и часам подготовки его. Недостаток времени не давал нам действовать с обычной методичностью. Нам приходилось одновременно и перебрасывать войска, и сосредоточивать их, и с ходу создавать группировку для наступления, считаясь с тем, что если какие-то части не успеют подойти в назначенное место к назначенному сроку, то наступление все равно начнется и им придется наверстывать упущенное время на ходу. По существу и переброска войск, и их сосредоточение, и переход в наступление — все это связывалось в Пражской операции в единый неразрывный процесс. В этом-то и была основная особенность подготовки к ней.

В ходе наступления от танковых войск требовалось смело, отрываясь от пехоты и не ввязываясь в бои за города, обходя опорные пункты, рваться вперед и вперед. Общеармейским армиям было предложено в максимальной мере использовать весь наличный автотранспорт, не

делая ни одного шага пешком там, где его можно сделать на машинах. От командиров и штабов, вплоть до штабов полков и дивизий, требовалось, чтобы руководство бсем осуществлялось в этом наступлении не на длинных, а на самых коротких дистанциях, чтобы командиры были непосредственно в бсевых порядках, чтобы все было в их руках и в их зоне видимости с самым широким использованием управления по радио.

Было дано специальное указание не допускать разрушения городов, заводов, населенных пунктов, помня, что мы вступаем на территорию дружественной союзной страны. Приказ не ввязываться в бои за населенные пункты там, где только это будет возможно, имел целью не только обеспечить стремительность продвижения войск, но и желание предотвратить жертвы среди мирного населения. Было приказано всюду, где это возможно, выходить на фланги и тылы немецких частей и соединений, стремительно окружать их, расчленять, предъявляя там, где противник не будет сдаваться, ультиматумы о сдаче в плен. В смысле предъявления ультиматумов была предоставлена полная свобода инициативы и командующим армиями, и командирам соединений.

Под лозунгом «Вперед, на Прагу! Спаси ее. Не допустить, чтобы она была разрушена фашистскими варварами!» велась вся партийно-политическая работа в частях. И надо сказать, что, несмотря на усталость войск после Берлинской операции, этот лозунг был повсюду подхвачен с огромным подъемом.

Об этом говорилось и на том двухчасовом совещании с командующими армиями, о котором я довольно подробно рассказываю. А так получилось потому, что было оно последним в ходе войны. Последний раз перед последней операцией собрались в штабе фронта все командармы, которым предстояло ее осуществить. Должно быть, поэтому так и запомнилось оно мне...

Прежде, чем перейти к описанию самой операции, которая началась не 7 мая, как это планировалось, а на сутки раньше — 6 мая, мне хочется хотя бы в нескольких словах сказать о личности и деятельности некоторых из своих соратников, вместе с которыми мне предстояло осуществлять эту последнюю операцию войны и о которых я по ходу предыдущего повествования еще не имел возможности сказать.

Первым среди них я хотел бы назвать командующего 13-й армией генерал-полковника Николая Павловича Пухова. Я уже много писал о действиях его армии и в Висло-Одерской, и в Берлинской операциях, да и в Пражской операции его армия оказалась на высоте и превосходно выполнила поставленную перед ней сложнейшую задачу.

Николай Павлович Пухов, ныне безвременно ушедший от нас, был человеком с большим боевым и служебным опытом. До войны он преподавал в Академии имени М. В. Фрунзе, командовал дивизией и корпусом и уже в первые месяцы войны был выдвинут на должность командующего 13-й армией, прошел вместе с нею весь путь до Берлина и Праги. Он участвовал в сражении на Курской дуге, принимая на себя основной удар немцев на ее северном фесе. Его армия одной из первых форсировала Днепр и потом прошла с боями всю Украину и Польшу. Там его армия одной из первых вышла на Вислу и форсировала ее вместе с танковыми войсками, захватив Сандомирский плацдарм.

При форсировании Вислы Пухов в очень сложной обстановке проявил большое мастерство, находчивость, смелость и настойчивость. Жесточайшие атаки, которые вел противник на Сандомирском плацдарме, делая буквально все, что от него зависело, чтобы спихнуть нас в реку, в первый период пришлось главным образом на долю армии Пухова.

Надо сказать, что в тяжелой борьбе на этом плацдарме с самой лучшей стороны показал себя и начальник штаба 13-й армии, один из самых

талантливых наших штабистов генерал Маландин. Большую роль в этих тяжелых боях сыграл и член Военного Совета армии Марк Александрович Козлов.

Вообще надо сказать, что на протяжении всего того периода, когда я мог лично наблюдать работу Военного Совета 13-й армии, эта работа представлялась мне образцом, достойным подражания, примером слаженности, четкой организации, истинного товарищества, примером того, как в условиях безоговорочного и необходимого в армии единоначалия в то же время каждый в этом руководящем коллективе находил свое место и с наибольшей пользой отдавал делу все свои силы.

Иногда в первое время работы с Пуховым мне казалось, что Николай Павлович несколько мягковат, недостаточно тверд. Ближе изучив его, я убедился, что этот внешне мягкий, спокойный человек способен проявить решимость в сложной обстановке и поддержать в армии авторитет командарма.

Николай Павлович умел опираться на свой штаб, доверять ему, умел высоко, по справедливости ценить достоинства своего начальника штаба. Мне запомнился маленький эпизод, весьма характерный для Н. П. Пухова. В те часы, когда был взят Берлин, я находился на наблюдательном пункте как раз у Пухова. Именно там, у Николая Павловича, мне довелось вместе с ним отметить и Первое мая, и взятие Берлина, потому что по существу Берлин уже был взят. Прямо на командном пункте на скорую руку был организован праздничный обед, и тут я, может быть, впервые, хотя воевали мы вместе давно, увидел Николая Павловича просто в роли гостеприимного хозяина.

Все мы были охвачены в те дни чувством радостного подъема. Но я никогда не ожидал, что Пухов такой любитель и мастер попеть. Какие только песни он не пел в тот вечер! Был в полном смысле запевалой, всех увлек. Особенно хорошо пел он лирические песни. Вся его душевность, сердечность, открытость, скованные обычно обстановкой войны, в этот праздничный вечер Первомая, который мы наконец встречали под Берлином, как бы прорвались наружу.

Некоторые из командармов нашего фронта по условиям обстановки оказались не на ударных, а на второстепенных направлениях в заключительных операциях войны, о которых я рассказываю. Их армии занимали оборону, прикрывали фланг наших наступающих ударных группировок, сковывали противника, то есть выполняли совершенно необходимые в масштабах фронта, но, так сказать, не броские задачи, о выполнении которых обычно упоминаешь самым кратким образом, все внимание отдавая тому участку фронта, где осуществляется прорыв, где развертываются главные события.

По условиям обстановки в такой относительно незаметной роли в последних операциях войны оказался командующий 52-й армией генерал Коротеев. И он, и его армия прошли славный и нелегкий боевой путь, и если он во главе своей армии не штурмовал непосредственно Берлина и не входил в Прагу, то я хочу подчеркнуть, что это отнюдь не снимает ни его доли ответственности за выполнение всех этих задач войсками фронта, ни его совершенно законной доли гордости за успех этих операций, которые он обеспечивал там, где ему было поручено, в том числе и в жестоких боях под Герлицем, где его армию с такой яростью контратаковали немцы.

К сожалению, генерал Коротеев, как и многие другие военачальники Великой Отечественной войны, рано ушел от нас. Очевидно, как это принято теперь говорить, сказались «перегрузки» военного времени, то огромное напряжение, вызванное чувством постоянной ответственности

за дело и за жизнь десятков тысяч людей, которое прежде всего и определяет справедливость подсчета: год войны — три года службы.

Коротев был опытным боевым командармом, добросовестным и умелым исполнителем всех тех задач, которые ставил перед ним и его армией фронт. Он воевал честно, много, никогда не хитрил и никогда не уклонялся от осуществления самых сложных операций, выпадавших на долю его армии.

Иван Терентьевич Коровников — командарм 59-й — тоже оказался в ходе Берлинской и Пражской операций на направлениях хотя и ответственных, но, с точки зрения общих задач фронта, все-таки второстепенных. Зато в ходе Висло-Одерской операции армия Коровникова была на одном из главных направлений и сыграла важнейшую роль в освобождении Кракова. В последующих операциях нанесение основных ударов перешло на правое крыло нашего фронта, и Коровников оказался на второстепенном, прикрывающем нас и сковывающем противника направлении.

Когда в конце 1944 года 59-я армия была переброшена к нам с Ленинградского фронта, у меня была и чисто личной причина радоваться встрече с Иваном Терентьевичем Коровниковым. Дело в том, что в тридцатые годы, когда я командовал особым корпусом в Монголии, Коровников, хотя и командир по военному образованию, был комиссаром этого корпуса. И у меня о нем сохранилось самое лучшее мнение: это был замечательный коммунист, в высшей степени ответственно относящийся к исполнению своего партийного долга; это был хороший воспитатель, отличный товарищ, честнейший человек. И теперь, когда мы встретились с ним в новых ролях — я командующего фронтом, а он командующего армией, — я приезжал к нему как к своему старому боевому другу и товарищу. Но должен сказать, что при этом скидок я ему ни в чем не делал, требовал от него все, что полагается требовать, и в душе был рад, что он хорошо выполняет поставленные перед ним задачи, потому что, будь по-иному, спуска я бы ему не дал, несмотря на старую дружбу.

Генерал Коровников со своей армией особенно активно и успешно действовал при освобождении Кракова и в Верхне-Силезской операции. Иногда, правда, он жаловался, что я мало даю ему танков, — а он хорошо знал танки и имел вкус к их использованию. Но, ничего не поделаешь, обстановка складывалась так, что основные танковые массы мне приходилось бросать на другие направления. В Берлинской и Пражской операциях армия Коровникова выполняла важную задачу, обеспечивая наш левый фланг на довольно растянутом фронте.

Вспоминая сейчас о военной деятельности этого человека, я должен сказать, что он достоин самого глубокого уважения и в качестве командующего одной из армий Первого Украинского фронта в последний период войны.

Мне хочется сказать еще несколько слов о некоторых представителях славной плеяды авиаторов, действовавших на нашем фронте в составе 2-й воздушной армии под командованием генерал-полковника Степана Акимовича Красовского.

Сам генерал Красовский был старым солдатом, испытанным боевым командиром и хорошим организатором, отлично знавшим не только авиационное дело, но и наземные войска, их службу и их потребности.

Надо сказать, что положение командующего воздушной армией всегда в известной мере двойственно: с одной стороны, он целиком подчинен командующему войсками фронта, а с другой — главнокомандующему военно-воздушными силами в Москве. Все материальные ресурсы, все техническое руководство — все это идет оттуда. Но генерал Красов-

ский на этом сложном посту всегда умело выходил из трудных положений, связанных с этим двойным подчинением. И я неизменно в таких случаях удивлялся его недюжинным способностям.

В его распоряжении была одна из самых крупных авиационных армий — до трех тысяч самолетов, и ему, поддерживая наступление наземных войск, приходилось проводить операции большого размаха. Любя авиацию и защищая ее от справедливых, а порой, быть может, и несправедливых упреков, Красовский порой был склонен, пожалуй, преувеличивать трудности, с которыми было связано использование авиации. Но зато, когда операция была уже распланирована и утверждена, он со своим штабом настойчиво проводил в жизнь и решения командующего войсками фронта, и свои собственные решения.

У меня о генерале Красовском сложилось мнение как об очень способном авиационном начальнике. Его подчиненные — командиры корпусов 2-й воздушной армии — представляли собой замечательную плеяду советских летчиков с большим опытом и славными традициями, сложившимися еще в мирное время. На войне эти люди в первый период вынесли на своих плечах самые тяжкие испытания первого периода войны, когда немцы решительно превосходили нас в воздухе и в численном, и в техническом отношении. В разгар войны эти и подобные им люди по существу заново создавали нашу авиацию, организовывали новые авиационные части, обучали и воспитывали новых летчиков, в боях отработывали новые принципы боевого применения авиации.

Я неизменно с большим уважением вспоминаю о таких командирах корпусов, как В. Г. Рязанов, Н. П. Каманин, Д. Т. Никишин, А. В. Утин, В. Г. Благовещенский, В. М. Забалуев, И. С. Полбин. Помню, как всех нас глубоко потрясла внезапная гибель последнего — это произошло уже в самом конце войны, во время победоносной Берлинской операции.

Дважды Герой Советского Союза генерал Полбин, командир гвардейского бомбардировочного корпуса, был очень храбрым, я бы даже сказал — безумно храбрым человеком. Причем эта личная храбрость сочеталась у него с высокими командирскими и организаторскими качествами. Всю войну он продолжал летать на выполнение боевых задач, особенно когда это были задачи крупные, ответственные или особо опасные.

Во время Берлинской операции, зная, что Полбин и теперь, под конец войны, продолжает сам летать на выполнение боевых заданий, я через генерала Красовского и его штаб приказал без моего ведома не выпускать Полбина с аэродрома, считая вполне достаточным, чтобы он с КП руководил подчиненной ему авиацией, — обстановка теперь уже не требовала его личных вылетов, личного участия в боях.

Аэродром Полбина был недалеко от Бреслау. Он видел, что происходило в Бреслау, и, видимо, глубоко переживал, что нам так долго не удастся покончить с окруженной там группировкой. И вот однажды, когда командующий 6-й армией Глуздовский попросил Полбина поддержать его авиацией, подавить какие-то особенно мешавшие нашему продвижению немецкие батареи, Полбин, прирожденный летчик, соскучившийся без боевых вылетов, несмотря на мое запрещение, поднял девятку бомбардировщиков, сам сел в самолет и повел его на Бреслау. И надо же было так случиться, чтобы именно в этот вылет он напоролся на не зафиксированную ранее зенитную батарею. Сбитый прямым попаданием, его самолет был единственным из девятки. Сам же Полбин тем же прямым попаданием был убит наповал в воздухе. Так погиб этот командир корпуса, человек с точки зрения выполнения боевых заданий безукоризненно дисциплинированный, при получении любых заданий никогда не ссылавшийся ни на трудности, ни на метеорологическую

обстановку, ни на неполадки в технике. Так, уже в самом конце войны, над Бреслау мы потеряли одного из самых способных командиров нашей бомбардировочной авиации.

Говоря о наших авиаторах, не могу не упомянуть о другом талантливом командире — А. И. Покрышкине, ныне трижды Герое Советского Союза, командовавшем авиационной истребительной дивизией. Он показал себя на фронте не только человеком большой личной храбрости, но крупным и умнейшим организатором боевых действий. Он владел не только высочайшим личным искусством воздушного боя, не только превосходно руководил этими боями в воздухе, выбирая наиболее выгодные боевые порядки и уничтожая максимальное количество вражеских самолетов, но одновременно был и великолепным организатором боя на земле, умел подготовить наилучшим образом свою дивизию для выполнения боевых заданий, быстрее и точнее всех перебазироваться, лучше всех организовать аэродромную службу. Кстати сказать, он первым начал летать с автострады, шедшей из Силезии на Берлин, используя ее как аэродром. Покрышкин — гордость нашей авиации.

И наконец, вспоминая своих боевых соратников, о которых до сих пор я не упоминал или упоминал только мимоходом в этих записках, я хочу сказать о генерале Кароле Сверчевском — командующем Второй армией Войска Польского.

Генерал Сверчевский был одним из тех военных, которые давали отпор вооруженному натиску фашизма еще до начала второй мировой войны. Он сражался в Испании, командовал там одной из интернациональных бригад; имя, которое он там носил — Вальтер, — было одним из самых славных и героических имен в армии республиканской Испании.

На нашем фронте генерал Сверчевский представлял новую, возродившуюся армию Польши — Войско Польское. Вторая Польская армия, которой он командовал, в период Берлинской операции принимала первое боевое крещение. Скажу как военный человек, что это не так-то легко — принимать первые бои во главе такого крупного соединения, как армия. Начало операции, когда Вторая Польская армия была введена в бой, было обстоятельно подготовлено ее командующим и ее штабом. Наступление армии началось хорошо. Позже, в ходе развертывания боев, создалась трудная, и даже очень трудная, обстановка — немцы превосходящими силами вышли на тылы Второй Польской армии. Но в этой трудной обстановке воины польской армии мужественно отбивали атаки немцев. Сам Сверчевский и его штаб были в гуще сражений. Даже когда положение становилось критическим, Сверчевский сохранял уверенность, что это хоть и тяжелая, но все же не безвыходная ситуация. И действительно, помощь пришла вовремя и опасное положение было ликвидировано. Надо сказать, что в той сложной обстановке на высоте оказались и наши польские товарищи, и их сосед — 5-я гвардейская армия, вовремя пришедшая им на помощь.

Проводил я вместе со Сверчевским и последнюю операцию войны — Пражскую. Когда я слушал его имя в приказе верховного главнокомандующего о взятии Дрездена, я никак не думал, что этому нашему боевому товарищу так недолго осталось жить. И несколько лет спустя я был глубоко потрясен, когда узнал, что там, у себя в Польше, товарищ Кароль Сверчевский погиб от руки украинского националиста-террориста. Тяжело и горько было слышать о трагической гибели этого замечательного представителя польского народа, боевого командарма, нашего старого друга.

Но вернемся к Пражской операции. Как я уже сказал, несмотря на и без того предельно сжатые сроки подготовки, начало операции было

перенесено с 7 на 6 мая. Главной причиной этого было пражское восстание, начавшееся 5 мая, и тот призыв по радио о помощи, с которым обратились к нам наши чехословацкие братья из своей охваченной восстанием столицы. В то же самое время мы получили разведывательные данные о том, что фельдмаршал Шернер поспешно стягивает к Праге войска. 5 мая я отдал приказ войскам ударной группировки начать наступление утром 6 мая.

Вот как протекала операция (по дням).

6 мая. Как только утром передовые отряды армий, входивших в ударную группировку, перешли в наступление, почти сразу же обнаружили два очень существенных для нас обстоятельства. Во-первых, выяснилось, что противник занимает не сплошную оборону, а что она состоит из отдельных узлов и очагов сопротивления и опорных пунктов. Предположения на этот счет у нас были, но в условиях, когда наступление началось буквально с ходу, без достаточного времени на всестороннюю разведку, на таких предположениях основываться было нельзя. Они требовали проверки. И действия наших передовых отрядов сразу же подтвердили это. Во-вторых — и это было особенно важно, — передовые отряды уже сразу установили, что немецкое командование так и не обнаружало сосредоточения нашей ударной группировки на левом берегу Эльбы, к западу и к северо-западу от Дрездена. Именно поэтому ее внезапный удар обещал дать особенно хорошие результаты. Надо было только действовать смело и без промедления. И я решил развить успех передовых отрядов немедленным вводом главных сил.

В 14 часов после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление армии Пухова и Гордова и сразу же вместе с ними, в их боевых порядках, двинулись танковые армии Рыбалко и Лелюшенко.

Армия Жадова, ближайшей задачей которой было взять Дрезден, еще не была готова к этому часу к переходу в наступление, и я оттянул ей время до 20 часов 45 минут (по берлинскому времени это было 18 часов 45 минут). Жадов в этот день все же имел для наступления хоть немного светлого времени. То, что его было немного, меня не смущало. Я считал, что, даже если армия пойдет в наступление ночью, это оправдано обстановкой, к тому же 5-й армии любая задача была по плечу.

Нанести без промедления армией Жадова удар в направлении Дрездена я считал особенно важным — как раз перед Дрезденом оборонялись танковые дивизии противника и мы этим ударом лишали немцев возможности снять из-под Дрездена эти дивизии и бросить их против наших танковых армий. Наступая своей армией, Жадов должен был сковать эти танковые дивизии немцев. Так оно и вышло.

К ночи как назло пошел обильный летний дождь. Темнота хоть глаз выколи, дождь, грязь. Наступать нелегко, а ориентироваться еще труднее. Немцы повсюду оказывали жестокое сопротивление нашим войскам, но особенно сильным оно было на левом фланге армии Гордова и на всем фронте армии Жадова. Здесь вели упорные оборонительные бои части танковой дивизии «Герман Геринг», 20-й танковой дивизии и 2-й мотодивизии немцев.

Весь день на этом самом трудном участке немцы предпринимали отчаянные усилия, чтобы задержать нас, и мы продвинулись здесь за ночь на десять—двенадцать километров. Но зато в полосе 13-й армии Пухова и на правом фланге армии Гордова наши войска прорвались вперед на двадцать три километра, целиком выполнив задачу дня. Танкисты пока что действовали в боевых порядках общевойсковых армий.

В обычных условиях можно было вполне удовлетвориться достигнутым. Но, принимая во внимание обстановку, сложившуюся в Праге, когда был дорог каждый час, я потребовал от всех четырех командармов — Гордова, Пухова, Рыбалко и Лелюшенко — более высоких темпов наступления. Перед пехотой стояла задача пройти тридцать — сорок километров за следующие сутки, а от танкистов — пятьдесят — шестьдесят километров. Им было приказано наступать днем и ночью, не считаясь ни с усталостью, ни с другими помехами. А главная помеха состояла в том, что дождь сильно испортил дороги. Выехав в части Гордова, я с трудом пробрался туда по полям даже на «виллисе». Дрезден еще не был взят. Поэтому некоторые шоссе использовать нельзя было. Войскам приходилось двигаться по проселочным дорогам и кружными путями. После дождя все было буквально перепахано и колесами и гусеницами, и это очень затрудняло продвижение.

Так обстояло дело на главном направлении. Но и на других направлениях удара в этот день тоже произошли существенные события.

В 18 часов командующий обороной Бреслау генерал Никгоф, убедившись в безнадежности дальнейшего сопротивления, капитулировал с сорокатысячным гарнизоном. Город был сдан уже много недель осаждавшей его 6-й армии генерала Глуздовского. Генерал Никгоф дал интересные показания, о которых немедленно доложили мне. Оказывается, на 7 мая планировалась попытка гарнизона Бреслау прорваться для соединения с Шернером. Войска 17-й армии, входившие в группу армии «Центр», должны были одновременно начать наступление навстречу прорывающемуся гарнизону. Этот замысел, хотя и не осуществившийся, интересен с точки зрения той меры активности, которую даже в эти дни готова была проявить группировка Шернера.

Начало нашего наступления, видимо, перечеркнуло эти немецкие планы, и Никгоф решил наконец капитулировать. Кстати говоря, Никгоф передал через генерала Глуздовского письмо на мое имя, в котором просил встречи со мной, ссылаясь на то, что он не взят в плен, а капитулировал сам. Я приказал передать ему, что оперативные дела фронта не дают мне возможности принять его и что с ним и с его подчиненными будет поступлено так же, как со всеми остальными капитулировавшими частями германской армии.

У меня действительно не было времени для разговора с Никгофом, но, кроме того, я считал, что и принципиально он не заслуживает какого-то особого отношения. Никгоф и его гарнизон проявили упорство в бою, но в последнее время, особенно после падения Берлина, в положении явно безнадежном и бесперспективном, это упорство превратилось в бессмысленное и преступное и по отношению к личному составу гарнизона, и тем более по отношению к многочисленному гражданскому населению, скопившемуся в многострадальном Бреслау.

Вторым существенным событием дня на наших второстепенных направлениях был неожиданно обнаружившийся отход немцев на крайнем левом крыле нашего фронта, против 59-й армии Коровникова. Заметив первые признаки отхода немцев, армия Коровникова перешла к их преследованию и к вечеру продвинулась на семь километров. Все это вместе взятое говорило мне о том, что немцы почувствовали наш удар на Дрезденском направлении, правильно восприняли его как угрозу окружения и начали поспешно вытягивать свои войска из самых отдаленных районов того периметра, по которому была размещена миллионная группировка Шернера.

Шернер явно начинал торопиться, и это требовало от нас удвоенной стремительности действий.

Именно этими мыслями закончился для меня день 6 мая.

7 мая. Сражение шло всю ночь и продолжалось утром. Войска главной ударной группировки продвигались все дальше к югу по западному берегу Эльбы и к концу дня оказались перед северными склонами главного хребта Рудных гор. Темп продвижения достиг в этот день сорока пяти километров. Особенно успешно наступала армия Пухова, настолько успешно, что взаимодействовавшие с нею танкисты Лелюшенко, продвигаясь через горы и леса, так и не смогли в этот день оторваться от пехоты Пухова и лишь кое-где незначительно опередили ее. Правда, армия Лелюшенко наступала компактно, и я по многим признакам чувствовал, что у нее уже все подтянуто для предстоящего рывка вперед. В этот день, признаюсь, я был особенно удовлетворен действиями Пухова и Лелюшенко и четкой работой штабов обеих этих армий, возглавляемых генералами Маландиным и Упманом. Обстановка была сложной, темпы наступления высокие. Управление войсками фронта в этих условиях требовало непрерывных донесений снизу, чтобы вовремя регулировать движение войск, выдерживать и направление движения, и темпы. Я должен был все время знать, где что происходит, чтобы иметь возможность соответственно сманеврировать другими имевшимися в моем распоряжении войсками в том случае, если наступление где-то остановилось, застряло, уперлось в не пробиваемую с одного удара оборону. Информация имела для меня в этот день особенное, исключительное значение. И нужно отдать должное Маландину и Упману, они ее обеспечили: донесения шли ко мне непрерывно и связь их с армиями, хотя они и двигались на дальнем, заходящем фланге, действовала превосходно.

Не могу не сказать тут хотя бы несколько слов о начальнике штаба 13-й армии Германе Капитоновиче Маландине (в последнее время был он начальником Академии Генерального штаба), недавно ушедшем от нас в расцвете сил и таланта. Это был человек большой штабной школы, талантливый и организованный: человек, отличавшийся безукоризненной честностью и точностью, никогда не поддававшийся соблазну что-либо приукрасить или округлить в своих докладах. Вот уж за кем не было этого греха, водившегося за многими другими в общем-то неплохими людьми.

Эта отличная штабная школа сказала и в тех докладах — лаконичных и в высшей степени точных, — которые делал Маландин в ходе Пражской операции. Порой он даже сообщал мне при этом последние данные о продвижении своего соседа — 3-й гвардейской армии Гордова, — прежде чем я получал сообщения непосредственно оттуда.

Армия Гордова и танковая армия Рыбалко своим правым флангом прошли в этот день двадцать пять километров. Рыбалко так же, как и Лелюшенко, еще не отрывался от пехоты. Только его 6-й танковый корпус, выполняя особое задание и помогая Жадову овладеть Дрезденом, совершил пятнадцатикилометровый маневр и вышел на западную окраину Дрездена.

Гордов в этот день овладел городом Мейссенем с его знаменитым собором и не менее знаменитым фарфоровым заводом. Надо отдать должное Гордову: он применял все меры, чтобы захватить этот один из стариннейших и красивейших городов Германии в целостности и сохранности. И ему удалось это сделать, хотя было не так-то уж просто, потому что немцы сопротивлялись упорно весь этот день, цепляясь за рубежи и прикрывая свой отход контратаками танков.

Войска армии Жадова, начав, как я уже сказал, свое наступление накануне вечером, вели бои всю ночь, все утро и весь день и к концу суток, продвинувшись на тридцать километров, завязали бои уже непосредственно за Дрезден.

Особенно важным с точки зрения дальнейшего развития событий было для меня быстрое продвижение правого, заходящего, фланга нашей ударной группировки, то есть армий Пухова и Лелюшенко. Своим стремительным наступлением они захлестывали противника, не давали ему возможности зацепиться, занять оборону, сесть на пояс долговременных укреплений на чехословацкой границе, оседлать горные перевалы. Погода 7 мая более благоприятствовала нам, чем накануне. Правда, почва еще не просохла после сильных дождей, и это по-прежнему затрудняло продвижение, но небо было чистым и авиация уже работала вовсю. А это, разумеется, сыграло немаловажную роль в успешности нашего продвижения.

Что касается противника, то, как выяснилось впоследствии, в этот день штаб группы армий «Центр» разработал план постепенного отхода войск в Западную Чехословакию и Северную Австрию, навстречу американцам. Оказывается, Кейтель, подписав в этот день в штабе Эйзенхауэра предварительную капитуляцию, тотчас же направил фельдмаршалу Шернеру приказ о капитуляции за своей подписью, но Шернер отказался выполнить этот приказ и начал отвод своих войск на запад. В приказе, отданном в этот день по войскам, Шернер писал: «Неприятельская пропаганда распространяет ложные слухи о капитуляции Германии перед союзниками. Предупреждаю войска, что война против Советского Союза будет продолжаться». Таким образом, в этот день намерения Шернера заключались в том, чтобы, продолжая драться по-прежнему, в последний момент ускользнуть от нас и капитулировать перед теми, с кем он не воевал.

Но чем дальше шло время, тем менее выполнимым становился задуманный Шернером план. Утром 7 мая в соответствии с общим планом Ставки перешли в наступление войска Второго Украинского фронта под командованием маршала Малиновского, двигавшиеся на Прагу в обход ее с юго-востока. 7-я гвардейская армия Шумилова и 6-я гвардейская армия Кравченко Второго Украинского фронта двигались на Пражском направлении навстречу нам, охватывая группировку Шернера. Одновременно войска Четвертого Украинского фронта под командованием генерала армии Еременко продолжали свое продвижение с востока, освобождая на пути к Праге все новые и новые районы Чехословакии.

Не сказав обо всем этом, нельзя дать общего представления о происходившем. И тех читателей, которые хотели бы познакомиться со всем кругом событий, происходивших в эти дни, я бы хотел отослать к недавно вышедшему под моей редакцией коллективному историческому труду «За освобождение Чехословакии», в котором освещен ход и характер действий всех трех фронтов, планирование и решение всех стоявших перед ними в те дни задач. Я же, как и в предыдущих главах своих записок, естественно, буду описывать прежде всего и главным образом то, что находилось непосредственно в моем поле зрения, то есть дела Первого Украинского фронта.

Если говорить о моих настроениях и переживаниях к исходу дня 7 мая, то они были непосредственно связаны с тем, что от войск Первого Украинского фронта по-прежнему требовалось максимальное напряжение сил для быстрейшего выхода в район Праги. Это отрезало бы пути отхода войск Шернера на запад.

8 мая На рассвете в полосе действий армии Лелюшенко произошло событие, в тот момент не обратившее на себя особого внимания, но, несомненно, сыгравшее свою роль в последовавшем затем разгроме и пленении группировки Шернера. Стремительно продвигаясь вперед днем и

ночью и громя все, что попадалось на пути, 5-й мехкорпус армии Лелюшенко под командованием генерал-майора Ермакова на заре между Яромержем и Жатецем (северо-западнее Праги) с ходу разгромил и уничтожил большую штабную колонну немцев. Разгромил и пошел дальше. Было некогда останавливаться, задерживаться, разбирать документы. Что это была за колонна, мы разобрались уже потом, только после салюта победы. Оказалось, что танкисты Ермакова во время своего прорыва полностью уничтожили пытавшийся уйти к американцам штаб группы армий «Центр» фельдмаршала Шернера.

О значении этого факта лучше всего, пожалуй, сказал потом в своих показаниях сам Шернер: «С этого времени я потерял управление отходящими войсками. Танковый прорыв был совершенно неожиданным, так как вечером 7 мая фронт еще существовал». К этому следует добавить, что после уничтожения штаба танкистами Лелюшенко Шернер не только потерял управление войсками, но и вообще, если можно так выразиться, «перешел на нелегальное положение», ушел в горы и прятался там, переодетый в штатское платье.

Весь этот день войска фронта продолжали стремительное наступление. Они смяли противника на рубеже Рудных гор, где он еще пытался зацепиться и оказать сопротивление, и перевалили через горы. Одна за другой наши части вступали на территорию Чехословакии, с огромной радостью встречаемые чешским населением. Можно сказать, что день 8 мая был не только решающим днем наступления, но и решающим днем всей операции. В этот же день 5-я гвардейская армия Жадова во взаимодействии с частями армии Гордова, Рыбалко и Второй армией Войска Польского полностью овладела Дрезденом и сразу же с ходу продвинулась еще на двадцать пять километров вперед. Вечером этого дня в Москве прозвучал один из предпоследних салютов войны — в честь взятия Дрездена.

Я, как командующий фронтом, знал, что в то самое время, когда наши войска, перевалив через Рудные горы, движутся вперед, освобождая Чехословакию, — на севере, сзади нас, в Берлине, идет подготовка к подписанию акта о всеобщей капитуляции германской армии. Я аккуратнейшим образом получал информацию о всем происходившем там и, читая ее, испытывал, пожалуй, довольно странное чувство: там, за спиной у нас, фельдмаршал Кейтель подписывал капитуляцию, а перед нами все еще воевал фельдмаршал Шернер, вернее — его войска.

В 20 часов я, выполняя указания Ставки, приказал передать по радио обращение ко всем немецким войскам, находившимся на территории Западной Чехословакии, об их безоговорочной капитуляции. Одновременно с этим всем командующим армиями было приказано, что если через три часа, то есть к 23 часам 8 мая, немецкие войска не приступят к капитуляции, то мы продолжаем военные действия и, нанеся решительный удар по противнику, должны разгромить его до конца, чтобы выполнить боевые задачи, поставленные перед каждой армией. Чтобы не допустить перелета неприятельских самолетов на запад, я приказал во время наступления в первую очередь захватывать аэродромы и взлетные площадки, выделив для этого специальные подвижные отряды с танками, броневиками и посаженной на машины пехотой.

Наступила трехчасовая пауза. Я находился на своем командном пункте на северо-западной окраине Дрездена, куда перебрался, как только мы взяли город. Все, кто находился со мной, были на своих местах и ждали. Слушали, как говорится, во все фронтовые уши — всеми радиостанциями. Мы ждали ответа. Но ответа от немецкого командо-

вания так и не последовало. Ровно в 23 часа войска фронта в соответствии с моим приказом обрушили на немцев мощный огневой шквал и перешли в дальнейшее наступление.

К этому времени уже наступали не только армии, входившие в главную и вспомогательные ударные группировки, но и вообще все двенадцать армий фронта вплоть до ее крайнего левого фланга. Они начали наступление в разное время, но к исходу дня продвижение наших семи армий центра и левого крыла фронта уже составило на разных направлениях от двадцати до тридцати километров. Войска Второй армии Войска Польского под командованием генерала Сверчевского и войска генералов Коротеева, Шафранова, Гусева, Коровникова к вечеру 8 мая очистили от противника уже ряд городов и на границе Чехословакии, и в ее пределах.

Наша авиация после начала наступления сделала уже четыре тысячи самолето-вылетов, две трети этих вылетов было совершено на третий день операции, 8 мая. Значительная часть этих вылетов была связана с ударами по немецким войскам, пытавшимся отойти от Праги на запад. Авиация своими ударами преграждала и перехватывала те дороги на запад, которые еще не успели перерезать наши танкисты. Так выглядели события этого напряженного дня. Но поскольку именно 8 мая был взят Дрезден, а название этого города неразрывно связано в нашей памяти и в сознании с Дрезденской галереей, то я, пожалуй, именно здесь забегу несколько вперед и расскажу о событиях последующих дней, связанных со спасением Дрезденской галереи.

Сразу же после занятия Дрездена, когда мы увидели те страшные разрушения, которые под конец войны без всякой на то стратегической необходимости произвела в городе англо-американская авиация, когда мы увидели разрушенный с особенной беспощадностью исторический центр города, нас заинтересовало, где и в каком состоянии находится знаменитая Дрезденская галерея. До меня уже дошли слухи, что сокровища ее куда-то спрятаны, а само место, где галерея когда-то находилась, разворочено так, что даже узнать его невозможно. Что последнее соответствует истине, я убедился своими глазами, проезжая по городу.

Не буду задним числом приписывать себе какую-то особую инициативу в розысках Дрезденской галереи, но то внимание, которое я способен был проявить к этому делу в то горячее время, я проявил.

Я поинтересовался, занимаются ли этими розысками, кто занимается, и выяснил, что в трофейной бригаде 5-й гвардейской армии есть художник Рабинович, проявляющий большой энтузиазм в розысках картин галереи. Я выяснил также, что он пока натолкнулся на множество трудностей, и распорядился оказать ему помощь: дать ему для розысков специальную команду, а также выделить из органов разведки опытных людей, которые могли быть ему полезны.

Надо сказать, что Л. Н. Рабинович — офицер трофейной бригады по должности и художник по образованию — действительно приложил много энергии и сметки, разматывая запутанный этот клубок и все время расширяя сферу своих поисков. Я разрешил ему докладывать о ходе поисков непосредственно мне. И он докладывал мне регулярно каждый день о ходе дел. К этому времени в поисках принимало участие уже немало людей, в том числе группа специалистов во главе с московским искусствоведом Натальей Соколовой, очень энергичной женщиной.

Поиски продолжались, и вот в один прекрасный день ко мне на командный пункт явился сияющий и до крайности взволнованный Рабинович и доложил, что сокровища Дрезденской галереи найдены. Найдены за Эльбой, в штольнях каменоломен. Он добавил, что еще не может

сейчас сказать о степени сохранности полотен, но картины там, он видел их собственными глазами.

Я тотчас же сел в машину и поехал к этим каменоломням.

Как сейчас помню открывшуюся тогда перед нами картину. Уходившая в глубь каменоломни железнодорожная ветка, по которой вывозили камень, сохранилась, но выглядела так, будто здесь все давно уже заброшено. У входа в штольню, наполовину прикрывая его, стояло два сломанных вагона. Кругом — запустение, словно стоишь на худом, заброшенном деревенском дворе. Все заросло травой, крапивой, и просто никому и в голову не могло прийти, что здесь может быть спрятано что-то ценное, а тем более всемирно известная картинная галерея. Скажу, как военный человек, что маскировка здесь была на высоте. Буквально никаких признаков, которые могли бы внушить хоть малейшее подозрение. А там, внутри за всем этим камуфляжем, за всем этим видимым запустением, оказалась одна дверь, потом вторая, потом обнаружился электрический свет и даже специальные установки, предназначенные для того, чтобы поддерживать внутри штольни определенную температуру. Штольня представляла собой нечто вроде большой пещеры. Очевидно, люди, прятавшие здесь картины, предполагали, что в этой каменной выемке будет сухо. Но эти предположения не оправдались. Местами по трещинам сочились грунтовые воды, температура воздуха, видимо, претерпевала большие колебания, и регулирующие установки к тому времени, когда были разысканы картины, уже не работали.

Картины — а их в этой пещере было около семисот — были размещены довольно беспорядочно. Некоторые были обернуты пергаментной бумагой, некоторые упакованы в ящики, другие же были просто-напросто прислонены к стенам. Я прошел всю эту пещеру и впервые увидел многие из тех картин, которые теперь можно видеть в залах восстановленной Дрезденской галереи. Там я увидел и «Сикстинскую мадонну». Несколько минут стоял перед ней, все еще не до конца веря собственным глазам, что мы действительно нашли ее.

Тревожил явную ощущавшаяся в пещере сырость, тревожили грунтовые воды. Еще больше встревожился я, когда мне доложили, что наши саперы обнаружили в штольне мины. Эти мины были уже обезврежены, но, кроме них, могли ведь оказаться и другие. Я приказал немедленно произвести дополнительную проверку и вызвать батальон для охраны обнаруженных сокровищ искусства. Через несколько часов в штольню были доставлены уже прибывшие к нам московские специалисты во главе с Натальей Соколовой, и под их руководством все найденное было переправлено в одну из летних резиденций саксонских королей на окраине Дрездена. В этом огромном дворце специалисты расставляли и просушивали картины, делали все, что было необходимо для их спасения.

Через некоторое время было признано, что здесь, на месте, в условиях только что окончившейся войны невозможно организовать до конца надежное и до конца правильное, с научной точки зрения, хранение этой огромной драгоценной коллекции, и она была отправлена в Москву специальным поездом под усиленной охраной и в сопровождении специалистов.

Но пока картины находились еще в летнем дрезденском дворце, я и Иван Ефимович Петров, кстати говоря, большой любитель и ценитель живописи, приходили смотреть картины. Может быть, именно после всего пережитого за четыре года войны я в эти дни, сразу после ее окончания с каким-то особенным удовлетворением и радостью смотрел на эти, к счастью, сохранившиеся произведения искусства.

9 мая. Прежде чем говорить о событиях этого дня, несколько слов о пражском восстании. Сейчас, через двадцать лет после войны, большинство событий, связанных с этим героическим восстанием, подробно описано в различных статьях и целых книгах. У этого восстания были свои особенности, противоречия, в нем участвовали различные социальные силы. Восстание усугубило и без того критическое положение немецких войск в Чехословакии; фашистские власти и немецкое командование, ведя с восставшими кровавую борьбу, в то же время искали выгодных для себя обходных путей, чтобы выиграть время,— шли на переговоры, а на последнем этапе даже соглашались на разоружение своих войск с тем, однако, чтобы они были пропущены через Прагу вооруженными и были разоружены только за ее пределами. Среди руководителей пражского восстания были люди, по-разному относившиеся к этим предложениям, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, может быть — еще одним жестоким кровопролитием на улицах Праги, которое учинили бы пропущенные через нее якобы готовые разоружиться, но пока еще вооруженные фашистские войска.

Сейчас гадать об этом не приходится, потому что весь этот сложный узел был разрублен нашими ворвавшимися в 3 часа утра 9 мая на улицы Праги танкистами. К этому моменту в различных районах Праги продолжались кровавые столкновения между участниками восстания и эсэсовцами. И в то время, как на одних улицах наших танкистов встречало торжествующее пражское население, на других улицах и окраинах Праги другие танковые экипажи гибли, выбивая из Праги продолжавших сопротивляться фашистов.

Когда я бываю на Ольшанском кладбище в Праге, где в могилах, у которых всегда лежат принесенные пражанами цветы, покоится прах наших солдат и офицеров, погибших в дни Пражской операции, я с горестным чувством читаю на некоторых из этих могил дату «9 мая». В сущности, война уже кончилась, а эти люди погибли здесь, на пражских окраинах, когда вся наша страна уже праздновала победу, погибли в последних схватках с врагами, бесстрашно доводя до конца начатое дело.

Я не стану анализировать ход пражского восстания во всех его сложных перипетиях, но скажу лишь о том, что было и осталось в нем самым главным. А самым главным в нем было — всенародный взрыв негодования против фашистских захватчиков, стремление народа взять в руки оружие, любой ценой помочь скорейшей победе над фашизмом, не считаясь при этом ни с опасностью, ни с жертвами. В этом была героическая суть восстания, и тогда, двадцать лет назад, мы, издали прорываясь к Праге, чтобы спасти ее от фашистов, чувствовали эту героическую суть и стремительно двигались на помощь восставшим пражанам. Ведь мы по собственному опыту достаточно хорошо знали, на какие кровавые злодеяния способны фашисты всюду, где сила оказывается на их стороне, и у нас у всех была острая тревога за Прагу, острое желание как можно скорее прийти на помощь своим братьям прежде, чем фашисты, используя подавляющее преимущество в силах, успеют расправиться с ними. Это чувство было у нас всеобщим. Оно владело и мной, командующим фронтом, и теми танкистами армий Рыбалко и Лелюшенко, которым для того, чтобы утром ворваться в Прагу, пришлось совершить за ночь с 8 на 9 мая невероятный по темпам восьмидесятикилометровый бросок. К Праге стремились все. И в этом стремлении скорее дойти до нее сделали все, что было в человеческих возможностях. Но ради исторической справедливости хочу перечислить части, первыми достигшие Праги, в той последовательности, в какой это происходило.

Первыми вошли в город с северо-запада танки 10-го гвардейского корпуса армии Лелюшенко. Почти сразу же вслед за ними с севера поехали танкисты 9-го мехкорпуса армии Рыбалко. А всего через несколько часов на пражских окраинах уже появились передовые части 13-й и 3-й гвардейской общевойсковых армий. Войска 5-й гвардейской армии своими главными силами ликвидировали группировку врага в районе Мельника (северо-восточнее Праги), и ее передовой отряд вышел на северную окраину Праги. К десяти утра Прага была полностью занята и очищена от противника войсками Первого Украинского фронта.

В 13 часов головные части 6-й танковой армии генерала Кравченко Второго Украинского фронта соединились в тридцати пяти километрах юго-восточнее Праги с частями 4-й танковой армии Лелюшенко.

Подвижная группа Четвертого Украинского фронта, стремительно преследуя отходящего врага, к 18 часам 9 мая также достигла Праги своими основными силами.

Кольцо вокруг этой отказавшейся сложить оружие чехословацкой группировки немцев было замкнуто. В этом очередном и теперь уже последнем для немцев гигантском котле оказалось более полумиллиона солдат и офицеров из дезорганизованных и потерявших управление войск группы армий Шернера. Теперь им не оставалось ничего другого как сдаться, хотя отдельные стычки с группами не желавших складывать оружия фашистов в разных местах продолжались еще почти неделю.

Кстати сказать, в течение этой недели в сорока километрах юго-восточнее Пльзенья войсками 25-го отдельного танкового корпуса генерала Фоминых, входившего в это время в оперативное подчинение Пухову, была пленена власовская дивизия генерала Буйниченко. В середине колонны этой дивизии, которая пыталась уйти к американцам, ехал Власов. Когда наши танкисты перерезали путь этой колонне, стали разоружать ее и выяснять ее состав, то в одной из легковых машин был найден Власов, сидевший там, закутанный в два одеяла. Его местонахождение помог обнаружить его собственный шофер. Танкисты вместе с этим шофером вытащили прятавшегося Власова из-под одеял,грузили на танк и тут же из расположения еще не разоруженной власовской дивизии отправили предателя прямо в штаб 13-й армии. Жалкий конец, вполне закономерно венчающий всю карьеру этого отщепенца. Из штаба 13-й армии Власова доставили ко мне в Дрезден, на командный пункт, вернее — на аэродром. Я распорядился, не теряя времени, отправить его сразу в Москву.

Решительными действиями, которые потребовались для бескровного и быстрого пленения власовской дивизии, непосредственно руководил командир 162-й танковой бригады полковник И. П. Мищенко, а самого Власова захватил командир мотострелкового батальона этой бригады капитан М. И. Якушев.

Возвращаясь к рассказу о дне 9 мая.

Как ни хотелось мне выбросить вперед свой наблюдательный пункт, чтобы оказаться ближе ко всему происходящему, я не сделал этого и весь день оставался в Дрездене. Такое решение диктовалось условиями связи: на командном пункте в Дрездене она была относительно более надежной.

О том, что танкисты Лелюшенко и Рыбалко в Праге, я узнал вскоре после того, как это произошло. Получил почти одновременно коротенькие донесения на этот счет от начальника оперативного отдела штаба Рыбалко и от Маландина из 13-й армии. Но прошло еще некоторое время — и как назло проводная связь со штабами армий, освобождавших Прагу, прервалась. С этого времени в течение многих часов связисты.

как ни старались, не могли соединиться ни с армией Лелюшенко, с которой до этого держали все время очень хорошую связь, ни с армией Рыбалко, ни с армией Гордова. С 13-й армией, с Маландиным, связь была, но зато у него к этому времени прервалась связь с его передовыми частями.

Все это вызывало у меня известное беспокойство. Хотя я был уверен в благоприятном развитии дальнейших событий и уже имел, как я упомянул, первые данные об освобождении Праги, но на основании одних этих предварительных данных мы, как и в прежних операциях, не считали возможным докладывать в Ставку.

Одно из первых коротеньких донесений было передано по проводу, другое кодировано по радио. После того как связь прервалась, можно было, конечно, попытаться запросить по радио открытым текстом, но этого не хотелось делать, да и довольно солидное расстояние плюс горы затрудняло связь. Я послал самолет из эскадрильи связи штаба фронта. Рассчитал по времени, что он во всяком случае через три часа должен вернуться, однако прошло три часа, а самолета нет. Пришлось звонить в 13-ю армию и брать в оборот Маландина. Маландин ответил, что он уже послал в Прагу машину с несколькими офицерами, но докладов от них еще нет. Тогда я приказал Маландину послать оттуда, от них, из армии, в Прагу офицеров связи на самолетах. Но время шло, а самолеты не возвращались и новых донесений опять-таки не было. Я послал еще одного офицера из оперативного управления штаба фронта на самолете связи и одновременно приказал Красовскому послать группу боевых самолетов, чтобы они с низких высот выяснили обстановку в Праге. После возвращения этих самолетов авиаторы мне доложили, что в городе никаких боевых действий уже не наблюдается, а на улицах толпы народу.

Что Прага освобождена — было ясно, но ни одного вразумительного доклада ни от одного из командующих армиями по-прежнему не было.

Как потом выяснилось, дело было в том, что к тому времени, когда офицеры связи добрались разными средствами передвижения до Праги, город был уже очищен нашими передовыми танковыми частями от остатков фашистских войск и вся Прага ликовала. На улицах шли сплошные демонстрации. При появлении всякого нового советского офицера его немедленно брали в дружеский плен, начинали обнимать, целовать, качать. Один за другим попадали все мои офицеры связи в окружение — угощения, поцелуи, цветы... Словом, царило такое ликование, что даже трудно описать. И ничего не поделаешь, надо откровенно признать, что это небывалое излияние всенародных чувств в этот день Победы отрицательно сказалось на всех офицерах в смысле исполнения ими своих прямых служебных обязанностей.

Потом в эти же дружеские объятия один за другим попали и более старшие начальники — и Лелюшенко, и Рыбалко, и подъехавший вслед за ними Гордов. Всем им никак не удавалось выбраться из Праги на свои командные пункты, к своим узлам связи с тем, чтобы подробно доложить обстановку. Так что хотя ко мне и поступали от времени до времени сообщения по радио, но все они были, я бы сказал, уж чересчур краткими: «Прага взята», «Прага взята», «Прага взята...» А мне необходимо было доложить верховному главнокомандующему не только то, что Прага взята, но при каких обстоятельствах взята, какое сопротивление было встречено и где. Есть ли или уже нет организованного противника, а если есть, то в каком направлении он отходит.

Словом, этот день освобождения Праги был для меня очень беспокойным днем операции с точки зрения управления войсками и попыток установить действительно картину происходящего. Пропадали

офицеры связи, пропадали командиры бригад и корпусов — все пропадали! Вот что значит и до чего доводит народное ликование!

Впоследствии меня не раз, в особенности по случаю торжественных годовщин, журналисты спрашивали о том, каким был для меня последний день войны. Какими были мои переживания в связи с последней операцией войны? Как видите, вопрос не такой уж простой! Не больно-то хочется признаваться командующему в том, что в последний день войны он на несколько часов потерял связь с некоторыми своими командармами, хотя бы из-за народного ликования. Однако что было, то было. Из-за торжественной встречи наших войск в Праге и связанных с этим перебоев в связи я фактически задержал по нашей вине на несколько часов издание приказа верховного главнокомандующего об освобождении Праги. Я нажимал на своих подчиненных, требовал подробных донесений, а в это время из Москвы непрерывно звонили и говорили: «Послушайте, ведь сегодня должен быть окончательный салют в честь полной победы! Где же ваше донесение? Где вы там? Что у вас там? Уже давно подписана всеобщая капитуляция, а от вас все еще нет донесения».

Начальник Генерального штаба по крайней мере раз десять звонил мне, требуя окончательных донесений, а я и сам не имел их и все оттягивал и оттягивал. И только получив наконец удовлетворяющие меня донесения, уточнив их, я составил свое донесение в Ставку, указав в нем выведенное мною на основании ряда донесений среднее время — девять часов утра. К десяти часам утра, сообщил я, Прага была полностью освобождена и очищена от противника. Хотя, повторяю, первые наши танки вошли в Прагу в три часа утра.

Я упоминал о журналистах. Заканчивая повествование о последней операции Первого Украинского фронта, хочу сказать о военном корреспонденте, который первым на связном самолете добрался до Праги и первым написал о ее освобождении, а до этого прошел вместе с войсками Первого Украинского фронта весь его боевой путь. Я говорю о Борисе Николаевиче Полевом.

Мы впервые встретились с ним еще в начале войны на Калининском фронте, а потом, начиная с 1943 года, он достойно представлял «Правду» на Степном, Втором Украинском и Первом Украинском фронтах. Мне лично кажется, что он на протяжении всего этого времени с наибольшим знанием дела, наиболее справедливо и объективно освещал ход боевых событий, происходивших на нашем фронте. С одной стороны, он писал об отдельных фактах боевой жизни, как правило, ярких, имеющих принципиальное воспитательное значение. В его корреспонденциях можно найти десятки достоверных портретов живых и мертвых героев войны. С другой стороны, он всегда имел представление о масштабах всего происходящего на фронте, неизменно располагал всей доступной для него информацией, присутствовал в разгар событий на их решающих участках и на протяжении войны дал в «Правду» немало интересных обобщающих корреспонденций о наиболее крупных операциях фронта.

Его корреспонденции с военной точки зрения всегда были грамотными, отвечающими действительной обстановке, спокойными и некрикливыми. Такие корреспонденции помогали нам в нашей нелегкой работе. Так же, как и те живые портреты людей фронта, которые появлялись в «Правде» за подписью Полевого. К сожалению, порою наши журналисты и литераторы не отличались умением показывать людей на войне. Иногда, читая их корреспонденции, я испытывал такое чувство, как будто вижу на первом плане колесо какой-то большой машины и где-то там, около этого колеса, человек в виде муравья. Колесо, конечно, важно, особенно в такой машине, как война, но все-таки главное дело не

в колесе, а в том человеке, который это колесо придумал и который его вертит. И на мой взгляд, человек, не стремящийся выразить красоту человеческой души, в том числе и на войне, не в состоянии принести большой пользы советской печати и ее читателям, в том числе и военным.

А корреспонденции Полевого мне как раз нравились в этом смысле, потому что он вкладывал в них свою душу и свою любовь к человеку, и я полюбил потом за это же и его книгу «Повесть о настоящем человеке», как бы продолжившую собой все то, что он делал во время войны у нас на фронте.

Последние три года войны я встречался с Полевым нечасто и, как правило, накоротке в силу своей постоянной занятости. На большом фронте паузы в работе командующего очень редки, потому что обычно то на правом, то на левом фланге, то в центре — где-то обязательно предпринимаются какие-нибудь активные боевые действия. То ли частная операция, то ли перегруппировка, то ли улучшение положения, не говоря уже о нашей работе в разгар большой операции. Однако Полевой, хорошо знавший фронтовую обстановку и, я бы добавил, чувствовавший ее, все-таки находил такие моменты, когда ко мне можно было обратиться за информацией для печати и когда я располагал возможностью дать эту информацию. И я в таких случаях уделял разговору с ним хоть немного столь дорогого для меня времени, потому что знал, что он использует разговор со мной в интересах дела и расскажет в печати о событиях, происходящих на фронте, достоверно, без искажений и отсебятины.

Полевой много бывал в войсках, без колебаний ездил и летал на самые боевые и опасные участки, вовремя улавливал все происходящие на фронте события и, на мой лично взгляд, среди многих достойных представителей советской печати, с которыми я встречался за время войны, был, пожалуй, наиболее оперативным человеком. Слово это родни нашей военной терминологии, и я употребляю его как вполне заслуженную Полевым похвалу.

Эту оперативность он проявил и в самый последний день войны — первым из всех корреспондентов оказавшись в освобожденной Праге.

Если не изменяет память, салют войскам Первого Украинского фронта, освободившим Прагу, был дан в Москве в 19 часов 9 мая. Освобождение Праги было последним крупным событием войны. Освободив ее и полностью окружив группировку Шернера, войска Первого, Второго и Четвертого Украинских фронтов в кратчайший срок решили задачу большей политической и стратегической важности.

Ход и результаты Берлинской и Пражской операций явились свидетельством зрелости советского военного искусства, высоких организаторских способностей наших командных кадров и боевого мастерства советских войск, накопивших большой практический опыт организации и ведения боевых действий в самой различной обстановке. Коммунистическая партия вдохновляла воинов на подвиги. Высокий наступательный порыв, победный дух наших войск, уверенность в своих силах и в мощи советского оружия обеспечили блестящие успехи в Берлинской и Пражской операциях.

Салют в честь освобождения Праги был предпоследним салютом войны. Последний салют — салют Победы, данный из тысячи орудий, прозвучал в Москве через несколько часов после этого.

Я слушал по радио эти салюты на своем передовом командном пункте, к этому времени вынесенном вперед, за Дрезден. Вместе со мной эти последние салюты слушали мои соратники по боевым действиям фронта, члены Военного Совета Крайнюков и Кальченко, командующие родами войск и служб штаба фронта, офицеры политуправления, офицеры опе-

ративного управления. Торжественность обстановки усиливало то, что со всех сторон гремели торжественные, если можно так выразиться, салюты. Передовые части ушли далеко вперед, они тоже там, впереди, конечно, палили из всех видов оружия, но мы их салютов не слышали. Зато уж вторые эшелоны, тыловики, салютовали в эти часы вокруг нас, не жалея сил. Палили в небо и ракетами, и холостыми снарядами, и боевыми из автоматов, карабинов и револьверов. Словом, каждый салютовал всем, чем мог... Не помню сейчас уже всех подробностей этого вечера. Помню товарищеский ужин, не очень длинный, помню, что много и с особым чувством пели песни, но больше всего помню свое ощущение природы в тот вечер. Весна была в разгаре, все благоухало, и было такое чувство, как будто ты заново увидел природу.

Радость от победы была, конечно, большая, огромная, но все-таки всей меры ее в тот первый момент мы еще даже не почувствовали. И скажу честно, одним из первых и самых сильных желаний этого дня было желание выспаться и мысль, что наконец это, видимо, будет возможно. Если не сегодня, то хотя бы в ближайшем будущем.

Мне лично выспаться в ту ночь так и не позволила обстановка. Почти сразу после салюта нахлынуло столько неотложных вопросов! И первым из них было неожиданное донесение, что в районе Мельника значительные силы немцев еще оказывают сопротивление. Пришлось срочно распорядиться и направлять танковые войска для немедленной ликвидации этой довольно сильной и организованной группировки.

Потом навалились другие дела, и должен сказать, что я так и не вкусил тогда всех радостей дня Победы. Думаю, что не только я, но и другие командующие фронтами по-настоящему почувствовали себя на празднике Победы только во время парада Победы в Москве и последовавшего за этим приема в Кремле. Вот там я почувствовал, что с меня действительно спала какая-то ноша, испытал облегчение и позволил себе выпить за победу!

Девятого мая у меня было полно забот до глубокой ночи, а утром 10-го я выехал в Прагу. Дорога, по которой я ехал, была забита до отказа. По ней двигалось как бы три не смешивающихся между собой потока. Первый, самый большой поток — колонна военнопленных из группировки Шернера. Голова этой колонны уже подходила к Дрездену, а хвост был еще около Праги. Второй поток составляли выдворяемые чехами из пределов Чехословакии судетские немцы.

А третий огромный поток состоял из людей, возвращавшихся из фашистских концлагерей. В этом районе было много лагерей, связанных с военной промышленностью, в которой немцы применяли подневольную рабочую силу из всех стран Европы. Вид этих людей, возвращавшихся из лагерей, вызывал двойное чувство — и радости и боли. Радости, потому что они возвращались к жизни, шли к себе домой, а боли потому, что просто мучительно было на них смотреть — так изнурены и ужасающе измождены были они в большинстве после пребывания в концлагерях.

Я много раз бывал потом в Праге и очень люблю этот прекрасный город, но, конечно, то первое впечатление просто неизгладимо. Город продолжал праздновать свое освобождение, и это всеобщее победное, радостное ликование, эти знамена, флаги, цветы делали город особенно красивым и праздничным, несмотря на то, что кое-где нам на пути попадались развалины и пожарища — следы фашистских обстрелов и бомбардировок в дни пражского восстания.

В этот день, 10 мая, мне удалось лишь бегло познакомиться с городом. Главное чувство, которое я при этом испытывал, была радость, что

даже отдельные разрушения в Праге очень редки и что нам все же удалось сохранить город в целостности.

Вечером в уже размещившемся в Праге штабе 3-й гвардейской армии я встретился с моими боевыми командармами — Рыбалко, Лелюшенко, Гордовым и с членами Военных Советов этих армий. Всех трех командармов я не видел с начала Пражской операции и теперь от всей души поздравил их с одержанной победой. Они ответили тем же. Но долго поздравлять друг друга было некогда, надо было подумать о нормализации жизни, о снабжении населения Праги по нашей военной линии и, стало быть, о назначении начальника гарнизона и коменданта города Праги. В этом эпизоде есть некоторые житейские черточки, которые и сейчас, через двадцать лет, вызывают у меня улыбку.

Сидя в штабе у Гордова и разговаривая об итогах только что закончившейся операции, я сделался свидетелем жаркого спора между Рыбалко и Лелюшенко о том, кто из них первым вошел в Прагу. Этот спор подогревался еще и тем обстоятельством, что по нашей русской военной традиции, начиная еще со времен Суворова, повелось так, что кто из генералов первым вступил в город, тот обычно и назначается комендантом. Слушая этот спор между двумя нашими славными генералами-танкистами, никак не желавшими уступить друг другу пальму первенства, я решил, что не стоит углублять его, и тут же назначил начальником гарнизона Праги командующего 3-й гвардейской общевойсковой армией генерал-полковника Гордова. Поскольку Гордов становился начальником гарнизона, тем самым претензии обоих командующих танковыми армиями на комендантство в Праге сразу отпали. Назначив Гордова начальником гарнизона, я вслед за этим назначил комендантом города человека, так сказать, нейтрального и находившегося в меньшем звании, чем Рыбалко и Лелюшенко, — заместителя командующего 5-й гвардейской армией генерала Парамзина.

Докладывая в этот же вечер по ВЧ из Праги Сталину о назначении Гордова начальником гарнизона в Праге, я встретился с неожиданным для меня возражением. Сталину было непонятно, почему идет речь о начальнике гарнизона, ему больше нравилось слово «комендант». Пришлось объяснить по ВЧ разницу между тем и другим, что согласно нашим уставам начальнику гарнизона подчиняются все войска, находящиеся на соответствующей территории, а комендант является подчиненным ему лицом и ведает главным образом вопросами караульной службы, охраны внутреннего порядка и так далее.

Выслушав мое объяснение, Сталин утвердил Гордова начальником гарнизона и дал мне распоряжение оказать все необходимое содействие для переезда в Прагу из Кошице президента Бенеша и чехословацкого правительства.

Эти указания были мною выполнены. Президент Бенеш и чехословацкое правительство выразили желание лететь из Кошице в Прагу на самолетах, и самолеты были за ними посланы.

В тот день, когда в Прагу прибыло чехословацкое правительство, на пражском аэродроме был построен почетный караул от войск Первого Украинского фронта. От моего имени там, на аэродроме, встречали правительство Чехословацкой республики генерал-полковник бронетанковых войск Рыбалко, начальник гарнизона генерал-полковник Гордов, комендант города Парамзин и другие официальные лица — генералы и офицеры Первого Украинского фронта.

На второй день после прибытия в Прагу чехословацкого правительства я снова приехал в Прагу и встретился там с председателем Совета Министров Зденеком Фирлингером, с Клементом Готвальдом и другими членами правительства. В дружеской обстановке были решены все те

вопросы нормализации жизни Праги и всей Чехословацкой республики, в которых мы могли оказать содействие нашим чехословацким друзьям.

С особой теплотой вспоминаю я встречу в Праге в те дни с моим боевым соратником генералом Людвиком Свободой, возглавлявшим тогда министерство национальной обороны. Впервые встретился я со Свободой в 1944 году, во время Карпато-Дуклинской операции, которая проводилась нами в поддержку словацкого национального вооруженного восстания. В начале операции Свобода был командиром бригады, потом стал командовать всем чехословацким корпусом вместо не справившегося со своими обязанностями и отстраненного от командования генерала Кратохвила. В этой тяжелой, кровопролитной, проводившейся в очень трудных условиях операции Свобода показал себя как боевой командир, как человек организованный и исключительно храбрый. Можно о нем сказать без преувеличений, что он на поле боя головы перед врагом не склонял. Хотя в буквальном смысле слова это иногда и следовало бы ему делать, уж слишком он рисковал собой. Мне даже пришлось несколько раз указывать товарищу Свободе, что он зря, слишком часто появляется в боевых порядках своих частей и что я прошу его даже в критические минуты все-таки не становиться автоматчиком, потому что он нам дорог как командир корпуса.

Тогдашнее правительство Чехословакии находилось в Лондоне. Свобода был в его подчинении, и, формально говоря, он был для меня представителем иностранного государства, причем вдобавок буржуазного. Официально я его называл господин генерал (к тому времени он был уже произведен своим правительством в генералы), но в душе я никак не мог привыкнуть к такому обращению. Свобода был для меня не господин, а настоящий боевой товарищ и друг, и, когда не было необходимости в официальной и дипломатии, я его в боевой обстановке так и называл — товарищем. Впрочем, как и всех других офицеров чехословацкого корпуса. И только в тех случаях — не частых, — когда я был недоволен его действиями, я, для того чтобы подчеркнуть остроту своего недовольства, обращался к Свободе, называя его «господин генерал». Зато, когда дела у него шли хорошо, а по большей части так оно и было, я называл его товарищ генерал или товарищ Свобода.

За время боев я присмотрелся к генералу Свободе как к командиру, как к организатору боя. Должен сказать, что, пройдя путь от командира отдельного батальона весной 1943 года под Харьковом до командира корпуса, Свобода отвечал тем требованиям, которые предъявлялись на войне к генералам, командующим крупными войсковыми соединениями. Он был храбрый, способный настоять на выполнении своих приказов командир. И его твердость не мешала ему весьма учтиво относиться к своим подчиненным. В своих отношениях с советским командованием Свобода был всегда прямодушен, дружелюбен, искренен, и мы платили ему тем же. К стати говоря, нет ничего надежнее той дружбы, которая выражается не в декларациях, а в совместных боевых делах, которая складывается при выполнении ответственных и сложных заданий, связанных с риском для жизни.

Так зарождалась наша боевая дружба с воинами чехословацкого корпуса и с его командиром генералом Свободой. В ходе боев, особенно тяжелых в Карпатах, эта дружба была в подлинном смысле слова скреплена кровью наших и чехословацких воинов. Вместе с генералом Свободой мы всегда вспоминаем добрым словом боевых офицеров Первого армейского чехословацкого корпуса товарищей Я. Прохазку, Б. Ломского, В. Янко, О. Рытиржа и многих других славных сынов чехословацкого народа.

Генерала Свободу отличала глубокая уверенность в правоте своих позиций, вера в то, что новая, зарождающаяся чехословацкая армия, у колыбели которой он стоял, может и будет крепнуть и побеждать. Свобода не был в годы войны коммунистом, но он был человеком прогрессивных идей, связанных с лучшими стремлениями и чаяниями своего народа. Он верил чехословацким коммунистам, верил, что это люди, для которых интересы народа превыше всего, и твердо, не отступая, шел вместе с ними через все испытания — и войны и политики.

А с точки зрения героизма я должен сказать, что Свобода был настоящим народным героем. Он был одним из самых храбрых людей, был солдатом в самом высоком смысле этого слова.

Понятно поэтому, как рад был я обнять генерала Свободу, встретившись с ним в его родной Праге, наконец-то освобожденной от фашистов.

Вместо заключения

В своих «Страницах воспоминаний» я рассказал о крупнейших операциях 1945 года — года окончательной победы над фашизмом. Но, как известно, история войны началась для нас не с побед, а с горьких неудач и тяжелых испытаний. Наш путь к окончательной победе был долгим и тернистым — он занял почти четыре года, и, на мой взгляд, любой участник войны, пишущий свои воспоминания о ней, имеет право на обобщения и выводы лишь после того, как он осветил весь ход войны, потому что лишь анализ всего хода войны может привести к таким общим выводам.

Поэтому я не хочу спешить с общими выводами. Чтобы с полным чувством ответственности подойти к ним, мне необходимо восстановить в своей памяти все пережитое на войне, все ее этапы, а не только последний. И пока это не сделано, рано делать и общие выводы.

Однако пока что в своих первых, самых предварительных набросках этих выводов мне хочется высказать несколько мыслей, касающихся главным образом наших командных кадров: тех суровых требований, которые предъявила к ним война, и того процесса роста и совершенствования, которые они претерпели, оказавшись перед лицом этих требований.

В своих воспоминаниях я уже говорил о наших командных кадрах и называл имена некоторых людей, но мне пришлось упоминать главным образом о людях такой категории, как командующие армиями и родами войск, как политработники армейского и фронтового масштаба, как начальники штабов фронта и армий, как командиры корпусов и — реже — командиры дивизий.

Мои воспоминания предстанут на суд участников всех тех событий, о которых я пишу, в том числе на суд моих боевых товарищей — воинов Первого Украинского фронта всех званий, от солдатского до генеральского. Но и зная об этом, я не боюсь сказать, что мой боевой опыт и стиль командования, в котором я был воспитан, давал мне возможность вспомнить множество эпизодов, связанных с непосредственным пребыванием на передовой, с наблюдением за боевыми действиями подразделений, частей, соединений и объединений, за действиями не только командиров дивизий и полков, но и командиров батальонов, рот, батальонов, с многочисленными беседами в боевой обстановке в кругу средних и младших командиров и солдат.

Почему же я, как правило, уклонялся в своих воспоминаниях от описания этих оставшихся в моей памяти и дорогих моему сердцу эпизодов? Да потому, что мне казалось важным восстановить картину собы-

тий в тех масштабах, в которых я имел возможность это сделать по своему тогдашнему положению, то есть в масштабах всего фронта, всего хода операций.

Я останавливаюсь на этом, потому что такое отношение к событиям кажется мне принципиально важным. Человек, пишущий воспоминания о войне, мне думается, может принести наибольшую пользу для воссоздания ее общей картины в том случае, если он будет писать прежде всего о том круге событий и дел, с которыми он сам непосредственно и в первую очередь сталкивался, за которые он отвечал. Правильнее всего смотреть на события войны, если можно так выразиться, с того командного пункта, на который ты был поставлен. Общая, широкая картина войны может сложиться только из многих воспоминаний. Ее смогут составить и воспоминания командующих фронтами и армиями, и воспоминания командиров дивизий и полков, и воспоминания комбатов, командиров рот, младших командиров и солдат. Только все это вместе взятое может воссоздать общую картину войны, увиденной с разных точек пребывания на ней. И едва ли стоит пытаться сводить в чьих бы то ни было воспоминаниях все эти точки в одну.

Сказанное, на мой взгляд, относится не только к воспоминаниям, но в известной мере и к трудам по истории войны. Нам крайне необходимо написать историю боевых действий армий, дивизий, полков. В них, в этих историях, и должно найти себе место описание огромного количества событий и героических подвигов, которыми была так полна война. Эти истории необходимо написать, потому что только они могут сохранить для потомства тысячи и тысячи заслуживающих этого героических подвигов и боевых эпизодов. Но когда пишется сводная история всей Великой Отечественной войны, претендующая на то, чтобы полномасштабно осветить события и подытожить опыт войны в целом, то, мне кажется, в ней нет нужды, излагая общий ход событий, в качестве иллюстраций нагромождать множество хотя и героических, но частных эпизодов, которые, кстади сказать, в подобном труде могут быть по условиям места изложены лишь крайне бегло и поэтому не дадут представления ни о характере подвига, ни о личности совершивших его людей. Мне кажется, что история войны не должна в общих трудах рассыпаться на отдельные эпизоды. Они должны найти свое законное место в первую очередь в историях частей и соединений, которые надо создавать не откладывая в долгий ящик, пока живы участники войны.

Свои соображения о наших командных кадрах на войне я хотел бы начать с командира полка, с его роли. В своих воспоминаниях я не показывал действий полков, но и при подготовке, и в ходе операций я всегда отдавал себе отчет в том, что командир полка есть основная фигура в армии — и в мирное, и в военное время. В соответствии с таким пониманием я требовал и от своих подчиненных самого серьезного отношения к вопросам выдвижения на должность командира полка, поддержания его авторитета, понимания его роли. Командир полка — это основной организатор боя. На нем все замыкается. И выше и ниже него нет таких всеобъемлющих начальников, как он. Он командир-единоначальник, в его руках собрано буквально все, что относится непосредственно к бою и к военному быту, к обучению и воспитанию людей, к поддержанию дисциплины. В условиях войны если командир полка не на высоте, то сколько бы ты ни давал туда, вниз, мощных средств борьбы, боевой техники, — все равно проку не будет, все это наверняка используется плохо.

Взять, к примеру, полковые артиллерийские группы поддержки. Чем дальше шла война, тем мы все чаще имели возможность делать их крупными и мощными. Но все равно все зависело от того, на высоте ли

оказывался командир полка. Если он не понимал характера и роли артиллерии в войне, он не мог использовать полностью всю ту артиллерийскую мощь, которая попадала в его руки.

То же самое и с танками. Мы давали танки поддержки в полки и батальоны. Бесспорно, их место в боевых порядках батальонов. Но и тут опять-таки все прежде всего зависело от командира полка. Если он в бою правильно организовывал использование танков поддержки, то танки воевали хорошо, вводились в бой не вслепую, а с учетом местности и характера обороны противника. Имея в своих руках артиллерию поддержки, командир полка прокладывал танкам путь, давил немецкую противотанковую систему, организовывал взаимодействие пехоты и танков с артиллерией, заботился об эвакуации поврежденных танков с поля боя.

Словом, командир полка был на войне тем мастером организации боя, без которого не обойтись в любом деле, в любом цеху, тем более в цеху войны. Без мастера — знатока всех элементов данного производства дело так же не пойдет, как на войне без командира полка — знатока всех элементов организации общевойскового боя. Командиры полков — бесценный клад боевого опыта, люди, которых надо беречь и следить за их судьбой. И мы в меру сил старались это делать в условиях войны. И именно из этих командиров полков в ходе войны вырастали командиры дивизий, командиры корпусов и другие крупные военачальники.

В понимании того, как много зависит от командира полка, для меня большую роль сыграл личный опыт, полученный в мирное время, когда я пять лет командовал полком. Командовал по-настоящему, не стремясь поскорее уйти ни вверх, ни вбок, наоборот, стремясь как можно больше пробыть в полку, чтобы именно там постигнуть все премудрости войсковой службы и жизни.

Я вспоминаю и сейчас с чувством удовлетворения, как много дало мне командование именно полком. Потом я прошел через все должности, начиная с должности командира дивизии, на которой тоже пробыл шесть лет. И каждая должность меня чему-то учила. Учила меня и Академия имени Фрунзе. Но все-таки самой главной для меня академией был полк. Полк сделал меня человеком поля. И это пригодилось мне на войне. Будучи командиром полка, я страстно полюбил поле, учения, проводимые с максимальным приближением к боевой обстановке. Я относился к учениям с вдохновением и считал тогда, так же как считаю сейчас, что без вдохновения нет учений.

Не знаю, сумел ли я передать это в своих воспоминаниях, но мне хотелось показать в них, что руководство боевыми действиями — это прежде всего вдохновение, и именно оно, кроме всего прочего, требуется командиру перед принятием самых сложных решений.

А что касается слов Суворова «Тяжело в учении — легко в бою», то для меня, когда я командовал полком, и дивизией, и корпусом, да и позже, на других должностях, это была не фраза, а основа жизни и деятельности на протяжении многих лет. И как об одной из самых больших радостей в своей жизни я до сих пор вспоминаю тот момент, когда на учениях в Московском военном округе после того, как я со своим полком во встречном бою, смешав все карты, вышел прямо на командный пункт командира «Синей дивизии противника», Борис Михайлович Шапошников, командовавший тогда Московским округом, похвалил меня за удачный бой.

Казалось бы, столько огромных событий произошло после этого, позади осталась такая война, а я все же по сей день с волнением вспоминаю слова Б. М. Шапошникова, сказанные мне, командиру полка, почти сорок лет назад.

Не могу не привести одну принципиально важную подробность, связанную со взглядом маршала Шапошникова на роль командира полка,— он не только сам придерживался этого, но и прививал другим. Он считал, что уважающий себя и своих подчиненных начальник, забывая об авторитете командира полка, никогда не позволит себе проверить полк в отсутствие его командира.

Однажды Б. М. Шапошников прибыл в мой полк. Я был в нескольких верстах на стрельбище. Борис Михайлович явился на правый фланг полка, и, когда дежурный отрапортовал ему о состоянии полка и о том, где находится командир, Шапошников ждал, пока я не прибыл к нему по его вызову, и не ушел с правого фланга полка. Он не считал возможным смотреть полк без его командира.

Мне долгое время пришлось командовать полком и дивизией, находясь под начальством Иеронима Петровича Уборевича. Из всех своих учителей как военный человек я с наибольшей благодарностью вспоминаю именно его и ту роль, которую он сыграл в моем росте, как и в росте других моих сослуживцев — тогдашних командиров полков и дивизий и штабных офицеров. Уборевич был не только одним из выдающихся военачальников гражданской войны. И в последующие годы на посту командующего округом прекрасно знал войска, пристально, умело, я бы сказал, умно занимался боевой и оперативной подготовкой и воспитанием кадров. Он умел смотреть далеко вперед. В наибольшей степени именно у него я и мои сослуживцы учились и перенимали тот многогранный и современный опыт, которым обладал этот незаурядный военачальник, особенно в вопросах организации и обучения войск командования и штабов, в вопросах оперативно-тактической подготовки.

Несколько слов хочется сказать мне и о роли командира дивизии. На войне он, так же как и командир полка,— основная организующая фигура общевойскового боя. Командир дивизии не отвечает своему назначению, если он в бою не способен правильно использовать все рода войск, входящих в состав дивизии и приданных в поддержку ей. Командир дивизии должен быть способен осмыслить общую оперативную обстановку, в которой происходят действия его дивизии. Командир дивизии располагает в своем штабе группой специалистов, и, если он не опирается на них, не использует их знания, он не сможет быть на должной высоте как командир дивизии.

Он также не отвечает своему назначению, если не умеет как единачальник руководить через своего заместителя, начальника политотдела дивизии, не умеет правильно использовать в бою такую огромную силу, как политработники.

И уж, конечно, на войне обязанности командира дивизии вовсе не сводились к тому, чтобы, как это делали некоторые, уйти на так называемые «глаза» — на передовой наблюдательный пункт — и забыть об управлении дивизией, возложив все целиком на штаб. Это неправильно и порой дорого обходилось нам. Командир дивизии должен быть на наблюдательном пункте лишь в те моменты, когда решаются главные или во всяком случае важные задачи — скажем, в период начала боя, или во время прорыва, или при каких-то существенных изменениях в обстановке.

Надо признать, что некоторые командиры дивизий даже до конца войны не полностью понимали в этом смысле свои обязанности. Бывало, заедешь в дивизию: «Где командир дивизии? Пусть лично доложит обстановку». Отвечают: «Командир дивизии ушел «на глаза». А «глаза» у него в этот момент ничего не видят, потому что уже темно. И к вечеру и ночью место командира дивизии, разумеется, не «на глазах», а в штабе, где он должен готовить дивизию к следующему дню. У нас дивизия,

как правило, на войне управлялась боевыми приказами на одни сутки, и, ставя с вечера задачу, организуя будущий бой, настоящий командир дивизии никому не вправе передоверять этого. Он вместе со штабом — штаб под его руководством, а не наоборот — должен готовить будущий бой.

Я всегда считал слабой стороной командира дивизии, если он устранился от забот по организации разведки, целиком передоверив это начальнику разведки дивизии и штабу. Горький опыт войны учил на многих примерах, что, когда командир дивизии не вникает по-настоящему в назначение разведки, не ставит ей ясные задачи, он потом сам оказывается в трудном положении, потому что не в состоянии оценить, что, собственно, происходит перед его участком. И когда требуешь доклада от такого командира дивизии, слышишь в ответ стереотипную фразу: «Разрешите доложить, товарищ командующий, — противник оказывает сильное сопротивление». На то, чтобы доложить: «Противник оказывает сильное сопротивление» — большого ума не требуется. Не доложить об этом факте, а разобратся в нем, чтобы его проанализировать и использовать все свои средства для расправы со всем тем, что тебе противостоит, что тебя держит. Уровень докладов о противнике, уровень анализа его противодействия был для меня всегда одним из самых важных критериев в оценке того или иного командира дивизии и степени его соответствия своей должности.

Вспоминаю такой случай в 5-й гвардейской армии. Одна из ее дивизий никак не могла продвинуться на главном направлении. Командир дивизии находился где-то на НП и несколько раз подряд доносил оттуда, что его дивизия не может поднять головы из-за немецкого огня. Мне надоели эти однообразные доклады, и я, находясь в расположении армии как раз неподалеку, сам заехал на эти «глаза». Донесения командира дивизии оказались одновременно и правдой и неправдой. Он действительно с утра сидел на НП, на чердаке, в крайнем доме поселка, на переднем краю, и по нему лупили немецкие «самоходки». Он, находясь здесь, действительно не мог поднять головы. Но его дивизия, если бы он, не поддаваясь личным впечатлениям, разобрался и оценил обстановку в целом, давно бы уже могла опрокинуть те слабые силы немцев, которые ей противостояли. И это было сделано через два часа, после того, как я вытащил этого командира дивизии с его «глаз» в поле на высоту и заставил посмотреть на обстановку по-настоящему, своими глазами, выбраться из зоны огня и организовать бой в масштабах дивизии.

Я привел этот случай, потому что вопрос о личной храбрости командира на войне, и командира дивизии и выше, — вопрос не столь простой, как его иногда пытаются представить. Что произошло в данном случае? Командиру дивизии как будто и нельзя было отказать в личной храбрости, а дивизия по его вине действовала в этот день робко, нерешительно. Он сам, находясь весь день под отчаянным огнем, буквально под расстрелом, считал, очевидно, что это героизм. А на самом деле, распространяя свое личное ощущение боя, сложившееся именно здесь, на том участке, где он находился, на весь фронт дивизии и соответственно докладывая в высшие инстанции, он и робко управлял своей дивизией, и обманывал нас, не зная истинного положения дел. Спрашивается, кому нужна такая храбрость?

В другой период войны мне пришлось иметь дело с одним из своих командующих армией, у которого тоже была страсть садиться как можно ближе к переднему краю, в крайнюю хату деревни. Он всегда находился под огнем противника. Да еще и штаб с собой брал. Сажал его по соседству с собой, тоже в крайние хаты, и нес потерю за потерей, не

говоря уже о том, что всем этим нарушалось нормальное управление войсками и исключалась возможность трезвых, правильных оценок общей обстановки.

Добавлю, что вопрос о храбрости человека — вещь тонкая, требующая к себе внимания и подхода. В данном случае командарм, о котором я упоминал, был человеком исключительной храбрости. И хотя он выбрасывал свои командные и наблюдательные пункты бог знает куда, мне пришлось бороться с этим довольно длительное время. Смелость была сильной стороной этого человека, и я не считал для себя возможным посягать над ним или резко одернуть его. Это бы его подкосило, обескрылило. Обладая на войне немалой властью, командующему фронтом очень легко смять авторитет подчиненного, а потом поди восстанови его!

Подлинная храбрость очень ценна на войне. Ценна и в высших начальниках, если, конечно, она не единственное их достоинство.

Однако, когда мы говорим о тех качествах, которые вырабатывала в военачальниках война, то при всей важности храбрости не она в первую очередь определяла боевые качества людей, руководивших войсками. Смелость, храбрость, личное мужество — все это очень важно, конечно, и за редкими исключениями все это было типичной чертой наших командных кадров, в том числе и высших, с самого начала войны. Однако умение рисковать головой, с честью сложить ее — это лишь часть дела. Главные боевые качества военачальника — это умелое управление войсками, умение принять на себя ответственность и за то, что ты уже сделал, и за то, что ты собираешься сделать. Решимость нести ответственность за все, за все действия войск, за все последствия твоих приказов — словом, за все, чем бы это ни кончилось, — вот первый и главный признак волевого начала в командире. И командующим армиями, фронтами в ходе войны приходилось брать на себя ответственность такого рода, причем в начале войны брать в самых тяжких условиях. И это было одним из самых важных факторов их роста как военачальников.

Война постепенно отодвигала от командных постов военачальников того типа, которые однобоко, механически понимали ответственность за порученное им дело, порой примитивно выполняли приказы и терпели неудачи. Такие люди были готовы воевать до последнего солдата, всех голкать вперед — в огонь. В этом, узком смысле волевого начала у таких людей было дай боже! И ради справедливости надо добавить, что такой командир не только всех уложит, но и сам пойдет вперед и ляжет костями. Но додуматься, почему он уложил столько людей, а его части так и не сдвинулись с места, он был не в состоянии!

У нас постепенно в ходе войны изживали себя начальники, считавшие, что чем больше можно нагнать пехоты, тем больше она сможет взять. Война отбросила тех, кто считал, что все решает число, и не понимал, что все решает огонь, что надо продвигать вперед огонь, а за ним по пятам пехоту. Конечно, число — важная вещь, но за числом всегда должно стоять и умение, как говорит старая истина, должно стоять искусство вождения войск, танков, пехоты, артиллерии. И этому мы тоже учились в ходе войны. Учились на тяжелых ошибках, просчетах, неудачах. Учились на первых дорогах давших успехах. Учились на первых победах, которые поначалу не всегда умели реализовать до конца.

Я в своих записках пытался обрисовать боевые качества и нравственный облик ряда военачальников, которые оказались на высших командных должностях к исходу войны. Если в какой-то мере обобщить те весьма крупные качественные перемены к лучшему, которые произошли в ходе войны у наших военных кадров, в уровне их военного искусства, то коротко это можно выразить так: война сама выявляет и отбирает

кадры. Обстановка войны лучше всяких кадровых органов исправляет те ошибки, которые до нее были допущены и кадровыми органами, и высшим командованием в выдвижении на те или иные посты тех или иных людей. И если перед войной при расстановке кадров в армии было допущено немало ошибок и эти ошибки сказались буквально в первые же месяцы войны, то постепенно война отодвинула в сторону эти не справившиеся со всей сложностью обстановки кадры. И прежде всего таких людей, которые оказались не способными совершить перелом в своей собственной психике и начать выполнять свои обязанности командующих фронтами и армиями так, как этого требовало ведение современной войны. Достаточно взять в этом смысле хотя бы пример командующих фронтами. Фронтами командовали не те, кто был предназначен к этому в мирное время и кто оказался на этих постах в первые дни войны. Все командующие фронтами выявились в ходе войны, и, может быть, эта формулировка покажется не совсем удачной, но я скажу, что они были порождены войной. Огромное большинство людей, завершавших войну в качестве командующих фронтами и армиями, пришли к этому не в результате стечения случайностей, а в результате своих действий, своих способностей, знаний и воли, в результате проявления всего того, что наиболее отчетливо обнаруживается именно на войне.

Так сложилась группа высших командиров, которая несла на себе тяжесть войны. Когда я, зная их близко по войне и сталкиваясь с ними в мирное время, анализирую, что они собой представляют, я прихожу к выводу, что в основе тех качеств, которые сделали их способными к вождению войск на поле боя в условиях современной войны, лежали большие и всесторонние знания, опыт долгой службы в армии — последовательно, ступенька за ступенькой, без перепрыгивания через несколько ступенек. Эти люди знали войска, знали природу солдата. Они еще в мирное время упорно учили войска тому, что потребуется на войне. Сами учились вместе с войсками и, добавлю, учились у войск. Все лучшее, передовое, что давал тогдашний опыт, они брали от войск и аккоммулировали в себе. И среди людей, выдвинувшихся в военачальники во время войны, я, как правило, в котором почти нет исключений, вижу тех, кто с большой любовью, самозабвенно работал в войсках еще в мирное время, кто, не почивая на лаврах былых заслуг, постоянно готовил себя к войне, не жил старым, не смотрел назад, в гражданскую войну, а смотрел вперед, в будущее.

Я дал своей работе подзаголовок «Страницы воспоминаний». И это действительно так. Хотя по своему положению командующего фронтом я принимал участие во многих крупнейших событиях войны, многое видел и знал, но даже если бы я рассказал обо всех четырех годах войны, пережитых мною, все равно это были бы только некоторые страницы той огромной летописи Великой Отечественной войны, которую всем нам коллективно необходимо создать в интересах нашей страны и в интересах истории. Причем и то и другое совпадает, потому что война против фашистской Германии с полной очевидностью подтвердила не только военную мощь нашего Советского государства, не только прочность нашего социалистического строя, но и общечеловеческую правду идей коммунизма.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВАЛЕНТИН БЕРЕЖКОВ

★

НА РУБЕЖЕ МИРА И ВОЙНЫ

*С дипломатической миссией в Берлине
(1940—1941)*

Под нами медленно проплывал Кавказский хребет. Казалось, что крыло самолета вот-вот заденет заснеженный склон Казбека. Подходил к концу наш долгий путь из столицы гитлеровского рейха.

Прошел первый месяц Великой Отечественной войны. Около полутора тысяч наших граждан, работавших в советских представительствах в Германии и в оккупированных гитлеровцами странах Европы, завершали последний отрезок пути на родину. Добравшись до Турции и отдохнув несколько дней в Стамбуле на стоявшем там советском теплоходе «Сванетия», большинство из них отправилось поездом через Ленинакан. За группой советских дипломатов в Анкару прибыл из Москвы специальный самолет. Мы вылетели на нем из столицы Турции утром, переночевали в Тбилиси и к вечеру 22 июля приземлились в Москве.

Под мерный рокот моторов я вновь и вновь мысленно возвращался к драматическим событиям последних месяцев, свидетелем которых мне довелось быть. Я оказался к ним причастен с памятного для меня осеннего дня 1940 года. С него я и хочу начать свой рассказ.

I

Специальный поезд

Вечером 9 ноября 1940 года от перрона Белорусского вокзала вне расписания отошел необычный поезд. Он состоял из нескольких вагонов западноевропейского образца. Его пассажирами были члены и сотрудники советской правительственной делегации, направлявшейся в Берлин для переговоров с германским правительством.

Сейчас Советский Союз поддерживает прямое железнодорожное сообщение со многими государствами. Сев в вагон на московском вокзале, пассажир может доехать в нем до Варшавы, Берлина или Парижа. Но перед второй мировой войной советские составы шли только до нашей государственной границы. Там пассажиры переходили в поезд, который доставлял их до первой зарубежной станции, где снова надо было пересаживаться в состав, шедший в Западную Европу. Это было вызвано разницей в колее, а смена тележек под вагонами тогда не практиковалась. В этом отношении поезд, поданный для советской делегации, был также необычным. Ему предстояло пройти весь путь от Москвы до Берлина: на границе наши вагоны ожидали тележки западноевропейского типа.

Не спеша поужинав в вагоне-ресторане, я вернулся в свое купе и растянулся на постели. Однако сон долго не приходил — очень уж взбудоражили меня со-

бытия этого дня. Только утром я узнал о поездке. Надо было закончить срочные дела на работе, пройти формальности, связанные с получением заграничного паспорта, наскоро собраться и быть на вокзале за час до отъезда.

Это была не первая моя поездка за рубеж. Весной и летом 1940 года я работал в нашем торгпредстве в Берлине и основательно поколесил по Германии. Поскольку моя специальность инженера-технолога дополнялась хорошим знанием немецкого языка, меня часто привлекали к важным экономическим переговорам. Осенью 1940 года я был вызван в Москву и зачислен в германскую референтуру Наркомата внешней торговли. В тех случаях, когда нарком (им тогда был А. И. Микоян) лично вел переговоры с немецкими делегациями, я выполнял роль переводчика.

Теперь меня включили в состав сотрудников, сопровождавших правительственную делегацию СССР в Берлин. Так я оказался в числе пассажиров специального поезда. По роду своей работы я знал, что в последние месяцы германская сторона задерживала поставку Советскому Союзу важного оборудования и в то же время настойчиво требовала увеличения советских поставок нефти, зерна, марганца и других товаров. Можно было ожидать, что все эти вопросы будут обсуждаться в Берлине. Но состав советской делегации, в которую входили дипломатические и военные эксперты (ее возглавлял народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов), давал основание полагать, что прежде всего предстоят политические переговоры.

Международная обстановка в то время была весьма сложной. Предпринимавшиеся на протяжении ряда лет попытки Советского правительства договориться с Англией и Францией о совместном отпоре гитлеровской агрессии не увенчались успехом. Летом 1939 года стало очевидным, что западные державы думают лишь о том, как бы изолировать Советский Союз, направить агрессию третьего рейха против нашей страны, а затем объединиться с Гитлером в антикоммунистическом походе. В этих условиях Советское правительство сочло необходимым принять предложение Берлина и заключить с германским правительством пакт о ненападении. Это давало бы возможность Советскому Союзу на какое-то время отвести от нашего народа опасность войны, выиграть время для подготовки к отпору фашистской агрессии. Идея на заключение договора с Германией, Советский Союз тем самым срывал вынашивавшиеся в реакционных кругах Европы планы объединения англо-французской реакции с германским фашизмом в общий антисоветский фронт.

Между тем война в Западной Европе стала фактом. С молниеносной быстротой следовали одна за другой победы гитлеровского «блицкрига»: оккупация Польши, Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии и наконец Франции. На берегу Ла-Манша нацистские полчища остановились. План «Морской лев», предусматривавший вторжение на Британские острова, стал покрываться пылью на полках германского генштаба. Военные действия довольно вяло происходили лишь в Северной Африке. В остальном вторая половина лета и осень 1940 года прошли сравнительно спокойно.

Всех тревожил вопрос: что же дальше? Как долго еще будет соблюдать Гитлер свои обязательства по советско-германскому пакту о ненападении? Не повернет ли он на восток? К осени 1940 года Берлин предпринял ряд акций, осложнявших советско-германские отношения. Германские войска высадились в Финляндии, в Румынию прибыла германская военная миссия. Берлин оказывал нажим на Болгарию. Сроки поставки немецкого оборудования Советскому Союзу систематически нарушались. Необходимо было «прощупать», каковы же подлинные намерения Гитлера. Это и было одной из целей миссии, отправившейся в Берлин в ноябре 1940 года по приглашению германского правительства.

На следующее утро в нашем поезде начались обычные трудовые будни. Мы были связаны по радио с Москвой и внимательно следили за информацией о международных событиях. О визите советской правительственной делегации в Гер-

манию было уже объявлено, и мировая пресса широко комментировала эту поездку, строя всевозможные догадки.

В вагоне, где находились мы, референты, систематизировалась вся информация, готовились краткие сводки для членов делегации. Машинистки их тут же отстукивали в нескольких экземплярах.

У экспертов были свои заботы. Они просматривали взятую с собой документацию по истории русско-германских и советско-германских отношений, отмечали то, что по их предположениям могло понадобиться для подкрепления нашей аргументации при переговорах.

За окном вагона мелькали тронутые багрянцем белорусские леса. В этих краях было еще тепло. Сквозь рваные тучи проглядывало солнце, поблескивала влажная трава. Регулярно, через равные промежутки примерно в четыреста — пятьсот метров, у насыпи виднелась одинокая фигура красноармейца; в руках — винтовка с примкнутым штыком. Железнодорожное полотно по всему маршруту нашего поезда находилось под специальной охраной. Но лишь немногие из часовых стояли по стойке «смирно». Большею частью они сидели на пенках, покуривая, или, раскинув шинель на траве, лежали, жуя соломинку и с любопытством поглядывая на мчавшийся мимо них состав с необычными вагонами...

Инцидент в Эйдкунене

Ночью поезд подошел к границе и, миновав ничейную зону, остановился у платформы первой станции, на оккупированной немцами польской территории. Смолок стук колес, и за окном раздался выкрик: «Bahnhof Eidkunen!» — «Вокзал Эйдкунен!» Некоторое время было совсем тихо. Потом мимо вагона кто-то быстро протопал коваными сапогами, и в отдалении послышались возбужденные голоса. О чем-то шел спор, но слов нельзя было разобрать. Я вышел на платформу и сразу же окунулся в полный мрак: здесь, на подвластной Германии территории, действовали строгие правила затемнения. Постепенно глаза привыкли к темноте, и я пошел в ту сторону, откуда раздавались голоса. В группе споривших оказался начальник нашего состава. Он что-то втолковывал высокому немецкому офицеру в длинном кожаном пальто. Переводчик — шупленький человечек в штатском — с трудом изъяснялся по-русски, и я предложил свои услуги.

Оказалось, что немцы приготовили в Эйдкунене свой состав и предлагали всем в него пересесть. Начальник нашего поезда возражал: он имел инструкцию доставить делегацию в советских вагонах до самого Берлина и на границе уже произвел замену тележек. Немцы не соглашались, ссылаясь на то, что габариты наших вагонов не соответствуют стандартам германской железной дороги. В этом не было никакого резона, поскольку наш состав состоял из вагонов западноевропейского типа. Но немцы упирались, и в конце концов было решено отцепить один вагон и пропустить его через специальное приспособление, измеряющее габариты. Подогнали маневренный паровоз, защелкали стрелки. Мы вскочили на подножку вагона, который медленно покотился по какой-то боковой ветке в темноту. Вот и трапедия, под которой должен пройти вагон, не задев ни одного из свисающих с нее на проволоке шариков. Но один шарик все же слегка коснулся крыши вагона. Немецкий офицер ликовал:

— Вот видите, ваш состав не пройдет. Придется всем пересесть в немецкие вагоны...

Но у нашего начальника поезда оказался в запасе еще один аргумент: салон-вагон, в котором ехали члены советской делегации, был намного меньше других вагонов — в этом можно было убедиться невооруженным глазом. Видя, что руководство делегации пересадить в немецкий поезд не удастся, немцы отступили. В конце концов порешили прицепить к нашему составу два немецких салон-вагона.

Немецкие вагоны оказались весьма комфортабельными: одноместные спальные купе, ресторан с отличным баром, радиофицированные гостиные. Даже букеты свежих роз. Но, разумеется, не забота о нашем удобстве руководила гитлеров-

цами, когда они так упорно настаивали на своем. Несомненно, их состав располагал не только баром, но и специальной аппаратурой для подслушивания.

Под утро двинулись дальше. Поезд шел с непривычной тогда для нас скоростью. Слышно было, как протяжно завывает и свистит ветер. Когда рассвело, стало видно, что вдоль железнодорожной насыпи выстроены солдаты вермахта. Они стояли спиной к поезду, широко расставив ноги, с автоматами на груди. Восходящее солнце зловеще поблескивало на стальных шлемах.

Постояв у окна, я отправился в бар немецкого вагона-ресторана коротать время за кружкой баварского пива...

Отель Бельвю

Утром 12 ноября поезд прибыл в Берлин. На Ангальтском вокзале советскую делегацию встречали официальные лица. Моросил дождь. Косматые серые тучи нависли так низко, что, казалось, задевали крыши домов. На асфальте при вокзальной площади стояли лужи. Среди встречавших находились министр иностранных дел Риббентроп и фельдмаршал Кейтель. После весьма сдержанных взаимных приветствий перед нами продефилировала рота почетного караула. Заиграл оркестр. Стало как-то особенно тихо, когда исполнялся «Интернационал». Пожалуй, впервые с 1933 года, с момента захвата Гитлером власти, в Берлине громко звучала эта боевая песня пролетариата. За ее исполнение гестапо бросало людей в лагеря смерти, а тут на площади Ангальтского вокзала под звуки гимна коммунистов стояли навтыяжку гитлеровские генералы и высшие чины нацистского рейха! И еще одна деталь врезалась в память: справа высился кирпичный корпус какого-то предприятия и из его окон рабочие махали нам красными платками и косынками...

По окончании официальной церемонии все разместились в черных «мерседесах» и кортеж, сопровождаемый эскортом мотоциклистов в стальных касках, помчался по немногочисленным улицам города к дворцу Бельвю — резиденции советской делегации. Это был старинный дворец, предназначенный для гостей германского правительства. Здание, принадлежавшее некогда семье кайзера, окружал старинный парк с вековыми деревьями и экзотическими растениями. К поезду вела длинная аллея, обсаженная раскидистыми липами. Парадные залы поражали своей помпезностью. По всем комнатам разливался тонкий аромат роз — в каждом углу в высоких фарфоровых вазах стояли огромные букеты нежно-розовых цветов. Стены украшали старинные гобелены и картины в тяжелых золотых рамах. В вычурных горках красовались статуэтки и посуда из тонкого фарфора. Возможно, сюда уже попало кое-что из сокровищ, награбленных гитлеровцами в оккупированных странах. Старинная мебель, лакеи и официанты в расшитых золотом ливреях — все это настраивало на торжественный лад.

Нас разместили на втором этаже, где находились комнаты с ваннами для гостей. Мне досталась скромно обставленная небольшая комната с деревянной кроватью, простым письменным столом и стенным шкафом. Единственным украшением была висевшая на стене гравюра Дюрера.

Официальные переговоры должны были начаться после завтрака — его подали в просторной столовой, отделанной темным дубом. Наскоро перекусив, советские делегаты в сопровождении экспертов сразу же отправились в имперскую канцелярию, где должна была состояться первая встреча с Гитлером. Переводить и записывать эту беседу было поручено нам двоим: В. Н. Павлову, первому секретарю советского посольства в Берлине, и мне.

В имперской канцелярии

Вереница черных лимузинов, эскортируемая мотоциклистами, выехала на Шарлоттенбургское шоссе, миновала Бранденбургские ворота и, свернув на Вильгельмштрассе, помчалась дальше. Здесь публики было побольше. В некоторых

местах берлинцы заполняли весь тротуар; они молча разглядывали красный флажок с золотым серпом и молотом, укрепленный на радиаторе первого лимузина. Кое-кто несмело помахивал рукой.

Сбавив скорость, машины въехали во внутренний двор новой имперской канцелярии. Это здание, выстроенное по проекту архитектора Шпеера в «нацистском» стиле, представлявшем собой смесь классики, готики и древней тевтонской символики, выглядело отнюдь не привлекательно. Квадратный мрачный двор подходил скорее на плац казармы или тюрьмы. Он был обрамлен высокими колоннами из темно-серого мрамора и выложен такими же серыми гранитными плитами. Распростертые орлы со свастикой в лапах, нависший над колоннами гладкий портик, застывшие фигуры часовых в серо-зеленых шлемах — все это производило какое-то зловещее впечатление.

Высокие, украшенные бронзой двери вели в просторный вестибюль, а дальше открывалась анфилада тускло освещенных комнат и переходов без окон. Вдоль стен шпалерами стояли люди в разнообразной форме. Словно автоматы, они выбрасывали вверх правую руку и гулко щелкали каблуками. Еще у входа нас встретил статс-секретарь Отто Мейснер. Он повел нас очень длинным путем, рассчитанным, видно, на то, чтоб произвести наибольшее впечатление всем этим декорумом.

Наконец мы очутились в круглом, ярко освещенном холле. В центре стоял стол с прохладительными напитками и легкими закусками. Вдоль стен — длинные диваны. Тут находились немецкие эксперты с толстыми папками, офицеры охраны. Между ними бесшумно двигались официанты. Здесь же остались и эксперты нашей делегации. В примыкавший к круглому залу кабинет Гитлера прошли только глава советской делегации В. М. Молотов, его заместители и переводчики.

Эту процедуру гитлеровцы обставили со всей присущей им театральностью: два высоких, перетянутых в талии эсэсовца — эдакие белокурые бестии в черной форме с черепами на фуражках — щелкнули каблуками и хорошо отработанным жестом распахнули высокие, уходящие к самому потолку двери. Затем, став спиной к косяку двери и подняв правую руку, они как бы образовали живую арку, которой мы должны были проследовать в кабинет Гитлера.

Это было огромное помещение, похожее скорее на банкетный зал, чем на кабинет. На стенах висели гигантские гобелены. Центральная часть комнаты была покрыта толстым ковром. Справа от входа располагалась как бы гостиная — круглый стол, диван, несколько кресел. На столе — лампа с высоким белым абажуром. В противоположном конце зала стоял громадный полированный письменный стол. Тут же на подставке из черного дерева был укреплен большой глобус.

Гитлер сидел за письменным столом, и в этом огромном зале его небольшая фигура во френче зеленовато-мышинного цвета была едва заметна. Гитлер пристально посмотрел на нас, затем резко поднялся и быстрыми, мелкими шагами вышел на середину комнаты. Здесь он остановился и вяло, небрежно поднял руку в фашистском приветствии, как-то неестественно отвернув при этом ладонь. Затем, не произнеся по-прежнему ни звука, подошел вплотную, поздоровался со всеми за руку. Его холодная, влажная ладонь напоминала прикосновение лягушки. Здороваясь, он сверлил каждого из нас буравчиками лихорадочне горевших зрачков. Над коротко подстриженными усиками торчал острый угреватый нос.

Сказав несколько слов о том, что он рад приветствовать советскую делегацию в Берлине, Гитлер предложил расположиться за круглым столом в той части кабинета, которая представляла собой гостиную. В это время в противоположном углу комнаты из-за драпировки, видимо скрывавшей еще один вход, появился министр иностранных дел Риббентроп. За ним шли личный переводчик Гитлера Шмидт и хорошо знавший русский язык советник германского посольства в Москве Хильгер. Все разместились вокруг стола на диване и в креслах, обтянутых пестрой тканью.

Беседа началась с длинного монолога Гитлера. Надо отдать ему должное — говорить он умел. Возможно, у него даже был приготовлен какой-то текст, но он

им не пользовался. Речь его текла гладко, без запинок. Подобно актеру, отлично знающему роль, он четко произносил фразу за фразой, делая паузы для перевода.

С немецкой стороны роль переводчика выполнял Хильгер. Он много лет жил в Советском Союзе, русский язык знал не хуже родного, немецкого, и даже внешне походил на русского. Когда по воскресеньям где-нибудь на Клязьме в косоворотке и соломенной шляпе, с пенсне на носу он удил рыбу, прохожие принимали его за эдакого «чеховского» интеллигента. Хильгер даже хвастал, что, беседа с другими рыболовами, нередко добывал интересную информацию. Теперь он сидел занятый в черную парадную форму министерства иностранных дел, чопорный и прямой, словно проглотил аршин. Рядом с ним, держа на коленях блокнот, переводчик Шмидт записывал беседу. Отлично владея несколькими западноевропейскими языками, он не знал русского и потому на этот раз ограничился ролью протоколита. Мы с Павловым поочередно переводили выступления советского представителя и вели запись.

Смысл рассуждений Гитлера сводился к тому, что Англия уже разбита и что ее окончательная капитуляция — дело ближайшего будущего. Скоро, уверял Гитлер, Англия будет уничтожена с воздуха. Затем он сделал краткий обзор военной ситуации, подчеркнув, что германская империя уже сейчас контролирует всю континентальную Западную Европу. Вместе с итальянскими союзниками, продолжал Гитлер, германские войска ведут успешные операции в Африке, откуда англичане вскоре будут окончательно вытеснены. Из всего сказанного, заключил Гитлер, можно сделать вывод, что победа держав «оси» предрешена. Поэтому, продолжал он, настало время подумать об организации мира после победы.

Тут Гитлер стал развивать такую идею: в связи с неизбежным крахом Великобритании останется ее «бесконтрольное наследство» — разбросанные по всему земному шару осколки империи. Надо, мол, распорядиться этим «безхозным» имуществом. Германское правительство, заявил Гитлер, уже обменивалось мнениями с правительствами Италии и Японии и теперь хотело бы иметь соображения Советского правительства. Более конкретные предложения на этот счет он намерен сделать позднее.

Когда Гитлер закончил речь, которая вместе с переводом заняла около часа, слово взял В. М. Молотов. Не вдаваясь в обсуждение предложений Гитлера, он заметил, что следовало бы обсудить более конкретные, практические вопросы. В частности, не разъяснит ли рейхсканцлер, что делает германская военная миссия в Румынии и почему она направлена туда без консультации с Советским правительством? Ведь заключенный в 1939 году советско-германский пакт о ненападении предусматривает консультации по важным вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон. Советское правительство также хотело бы знать, для каких целей направлены германские войска в Финляндию? Почему и этот серьезный шаг предпринят без консультации с Москвой?

Эти замечания подействовали на Гитлера, словно холодный душ. Он даже весь как-то съехался, и на его лице на какое-то мгновение появилось выражение растерянности. Но актерские способности все же взяли верх, и он, драматически сплетя пальцы и запрокинув голову, вперил взгляд в потолок. Затем, поерзав в кресле, скороговоркой объявил, что немецкая военная миссия направлена в Румынию по просьбе правительства Антонеску для обучения румынских войск. Что касается Финляндии, то там германские части вообще не собираются задерживаться; они лишь переправляются через территорию этой страны в Норвегию.

Однако это объяснение не удовлетворило советскую делегацию. У Советского правительства, заявил Молотов, на основании донесений его представителей в Финляндии и Румынии, создалось совсем иное впечатление. Войска, высадившиеся на южном побережье Финляндии, никуда дальше не двигаются и, видимо, собираются надолго задержаться в этой стране. В Румынии также дело не ограничилось одной лишь военной миссией. Туда прибывают все новые германские

воинские соединения. Их уж слишком много для одной миссии. Какова же цель этих перебросок германских войск? В Москве подобные мероприятия не могут не вызвать беспокойства, и германское правительство должно дать четкий ответ.

Тут Гитлер предпринял неоднократно испытанный им маневр: сослался на свою неосведомленность. Пообещав поинтересоваться вопросами, поставленными советской стороной, Гитлер заявил, что считает все это делом второстепенным. Сейчас, сказал он, возвращаясь к своей первоначальной теме, настало время обсудить проблемы, вытекающие из скорой победы держав «оси».

Затем Гитлер снова принялся развивать свой фантастический план раздела мира. Англия, уверял он, в ближайшие месяцы будет разбита и оккупирована германскими войсками, а Соединенные Штаты еще многие годы не смогут представлять угрозы для «новой Европы». Поэтому пора подумать о создании нового порядка на всем земном шаре. Что касается германского и итальянского правительств, продолжал Гитлер, то они уже наметили сферу своих интересов. В нее входят Европа и Африка. Япония проявляет интерес к районам Юго-Восточной Азии. Исходя из этого, пояснил далее Гитлер, Советский Союз мог бы проявить заинтересованность к территориям, расположенным к югу от его государственной границы, в направлении Индийского океана. Это открыло бы доступ Советскому Союзу к незамерзающим портам. Если по этому поводу удастся договориться, добавил Гитлер, делая широкий жест рукой, то германское правительство со своей стороны готово уважать эти интересы Советского Союза...

Здесь советский делегат перебил Гитлера, заметив, что он не видит смысла обсуждать подобного рода комбинации. Советское правительство заинтересовано в обеспечении спокойствия и безопасности тех районов, которые непосредственно примыкают к границам Советского Союза.

Гитлер, никак не реагируя на это замечание, снова стал излагать свой план раздела британского «бесконтрольного наследства». Беседа стала приобретать какой-то странный характер. Германские представители делали вид, будто не слышат, что говорит им другая сторона. Советская делегация продолжала настаивать на обсуждении конкретных вопросов, связанных с безопасностью Советского Союза и других независимых европейских государств, и требовала от германского правительства разъяснений его последних акций, угрожающих самостоятельности стран, непосредственно граничащих с советской территорией. А Гитлер все вновь и вновь пытался перевести разговор на проекты передела мира, всячески стараясь связать Советское правительство участием в обсуждении этих сумасбродных планов.

Беседа длилась уже два с половиной часа. Вдруг Гитлер посмотрел на часы и, сославшись на вероятность воздушной тревоги, предложил перенести переговоры на следующий день.

Мы поднялись со своих мест. Советские представители, попрощавшись, покинули кабинет Гитлера. Нас снова провели через анфиладу залов во внутренний двор имперской канцелярии.

На город уже опустились ранние осенние сумерки. Дул пронизывающий ветер, улицы опустели, и черные «мерседесы» быстро доставили нас во дворец Бельвю. Там, за тяжелыми портьерами, ярко горел свет, было тепло, благоухали розы. Сразу же был составлен отчет о состоявшейся беседе. Его передали по телеграфу в Москву.

В тот же вечер в особняке нашего посольства на Унтер ден Линден был устроен большой прием по случаю пребывания в Берлине советской правительственной делегации. В огромном мраморном зале стояли столы в виде гигантской буквы «П». На белоснежной скатерти — ярко-красные гвоздики и старинное серебро. Был извлечен сервиз на пятьсот персон, с незапамятных времен хранившийся в посольстве для особо торжественных случаев. Но Гитлер не явился на прием. Из этого делали вывод, что он «недоволен» ходом переговоров. Зато присутствовали многие высокопоставленные нацисты — рейхсмаршал Геринг, грудь

и живот которого украшал иконостас из орденов и медалей; Рудольф Гесс, считавшийся третьим человеком в рейхе (в начале войны Гитлер объявил, что в случае его внезапной гибели его преемником станет Геринг, а если и он погибнет, фюрером будет Гесс); Риббентроп, фельдмаршал Кейтель и другие. Но едва были произнесены первые тосты, как послышался вой сирен, возвещавших о приближении к Берлину английских бомбардировщиков.

В здании посольства не было убежища, и гости стали поспешно расходиться. Большинство из них, пройдя по Унтер ден Линден до Бранденбургских ворот, укрылось в метро.

Советская делегация возвратилась во дворец Бельвю, в подвалах которого было оборудовано комфортабельное бомбоубежище. Здесь так же, как в залах дворца, на стенах висели дорогие картины и гобелены. Официанты подавали прохладительные напитки. Через два часа послышался сигнал отбоя, и все разошлись по своим комнатам.

Продолжение переговоров

На следующий день состоялась вторая встреча с Гитлером. К тому времени из Москвы поступила депеша. Отчет о вчерашней беседе был рассмотрен в Кремле, и делегация получила инструкции на дальнейшее. Советское правительство со всей категоричностью отклонило попытку Гитлера втянуть нас в переговоры по поводу «раздела британского имущества». При этом вновь подтверждалось указание настаивать на том, чтобы германское правительство дало разъяснение по вопросам, связанным с проблемой европейской безопасности, и по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы Советского Союза.

На этот раз беседа с Гитлером длилась почти три часа, причем порой принимала весьма острый характер.

Когда после взаимных приветствий все расселись за круглым столом в кабинете рейхсканцлера, слово взял Молотов. В соответствии с указаниями, полученными из Москвы, он изложил позицию Советского правительства, а затем перешел к вопросу о пребывании германских войск в Финляндии. Советское правительство, сказал он, настаивает на том, чтобы ему были сообщены истинные цели посылки германских войск в эту страну, непосредственно граничащую с таким крупным промышленным и культурным центром, как Ленинград. Что означает эта фактическая оккупация Финляндии германскими войсками? По имеющимся у советской стороны данным, эти войска не собираются передвигаться в Норвегию. Напротив, они укрепляют свои позиции вдоль советской границы. Поэтому Советское правительство настаивает на немедленном выводе германских войск из Финляндии.

Теперь, спустя сутки, Гитлер уже не мог отделаться ссылками на неосведомленность. Однако он принялся отрицать факт размещения в Финляндии германских войск. Гитлер продолжал голословно утверждать, будто речь идет лишь о транзитной переброске воинских частей в Норвегию. Затем, прибегнув к старому приему: лучшая защита — нападение, Гитлер попытался изобразить дело так, будто бы Советский Союз угрожает Финляндии.

— Конфликт в районе Балтийского моря, — заявил он, — осложнил бы германо-русское сотрудничество...

— Но ведь Советский Союз вовсе не собирается нарушать мир в этом районе и ничем не угрожает Финляндии, — возразил советский представитель. — Мы озабочены тем, чтобы обеспечить мир и подлинную безопасность в данном районе. Германское правительство должно учесть это обстоятельство, если оно заинтересовано в нормальном развитии советско-германских отношений...

Гитлер уклонился от прямого ответа и вновь повторил, что предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности вермахта в Норвегии и что конфликт в районе Балтики повлек бы за собой «далеко идущие последствия». Здесь уже звучала прямая угроза, которую нельзя было оставлять без ответа.

— Похоже, что такая позиция вносит новый момент в переговоры, который может серьезно осложнить обстановку, — заявил советский делегат.

Тем самым Гитлеру давали понять, что Советский Союз намерен и дальше решительно настаивать на своем требовании о выводе из Финляндии германских войск.

У советской стороны были веские основания ставить этот вопрос с такой настойчивостью. Правящие круги Финляндии в то время откровенно заявляли, что считают мир, заключенный с Советским Союзом в марте 1940 года, лишь «перемирием», передышкой, которую, дескать, следует использовать для подготовки к новой войне против Советской страны, причем на этот раз уже совместно с гитлеровской Германией.

В октябре 1940 года правительство Рюти — Таннера заключило с Берлином соглашение о размещении германских войск на финляндской территории. В это же время в Финляндии начала осуществляться кампания по вербовке шюцкоровцев. Их отправляли в Германию, где в дальнейшем предполагалось сформировать так называемый «финский эсэсовский батальон».

Подобные приготовления давали основание считать, что Гитлер при пособничестве тогдашних правителей Финляндии готовит эту страну в качестве плацдарма для операций против Советского Союза.

Действительно, к моменту нападения гитлеровской Германии на Советский Союз на севере Финляндии была сосредоточена армия в составе четырех немецких и двух финских дивизий. Ее задача заключалась в том, чтобы оккупировать Мурманск. Южнее — от озерной системы Оулуярви до побережья Финского залива — были развернуты Карельская и Юго-Восточная финские армии в составе пятнадцати пехотных дивизий (одна из них немецкая), двух пехотных и одной кавалерийской бригад. Эти армии, продвигаясь к Ленинграду и реке Свирь, должны были содействовать немецкой группе армий «Север» в захвате Ленинграда.

Когда Гитлер вторгся в пределы нашей страны, германские войска вместе с финскими пересекли советскую государственную границу и со стороны Финляндии...

Но вернемся к переговорам в имперской канцелярии. Дискуссия вокруг германских войск, размещенных в Финляндии, настолько накалила атмосферу, что Риббентроп, сидевший до того молча, счел нужным как-то разрядить обстановку. Вмешавшись в разговор, он небрежным тоном заметил:

— Собственно, нет оснований делать из финского вопроса проблему. Повидимому, здесь произошло какое-то недоразумение...

Гитлер воспользовался этим замечанием своего министра иностранных дел и быстро переменял тему. Он предпринял еще одну попытку вовлечь советскую делегацию в дискуссию о разделе сфер мирового влияния.

— Давайте лучше обратимся к кардинальным проблемам современности, — сказал он примирительным тоном. — После того, как Англия потерпит поражение, Британская империя превратится в гигантский аукцион площадью в сорок миллионов квадратных километров. Государствам, которые могли бы проявить интерес к имуществу несостоятельного должника, не следует конфликтовать друг с другом по мелким, несущественным вопросам. Нужно без отлагательств заняться проблемой раздела Британской империи. Тут речь может идти прежде всего о Германии, Италии, Японии, России...

Советский представитель заметил, что все это он уже слышал вчера и что в нынешней обстановке гораздо важнее обсудить вопросы, ближе стоящие к проблеме европейской безопасности. Помимо вопроса о германских войсках в Финляндии, на который Советское правительство по-прежнему ждет ответа, нам хотелось бы знать о планах германского правительства в отношении Турции, Болгарии и Румынии. Советское правительство считает, что германо-итальянские гарантии, недавно предоставленные Румынии, направлены против интересов Советского Союза. Эти гарантии должны быть аннулированы.

Гитлер тут же заявил, что это требование невыполнимо. Тогда советский делегат поставил такой вопрос:

— Что сказала бы Германия, если бы Советский Союз, учитывая свою заинтересованность в безопасности района, прилегающего к его юго-западным границам, дал бы гарантии Болгарии, подобно тому как Германия и Италия дали гарантии Румынии?..

Это уже окончательно вывело Гитлера из равновесия. Он визгливо прокричал:

— Разве царь Борис просил Москву о гарантиях? Мне ничего об этом не известно. И вообще об этом я должен посоветоваться с дуче. Италия тоже заинтересована в делах этой части Европы. Если бы Германии понадобилось искать повод для трений с Россией, то его можно было бы найти и в другом районе,— угрожающе добавил Гитлер.

Советский представитель спокойно возразил, что долг каждого государства — заботиться о безопасности своего народа так же, как и о безопасности соседних дружественных стран. Именно из этого исходит Советское правительство в своей внешней политике.

Затем советский делегат перешел к другим вопросам. Он сказал, что в Москве весьма недовольны задержкой с поставками важного германского оборудования для Советского Союза. Это тем более недопустимо, поскольку советская сторона точно выполняет свои обязательства по советско-германским экономическим соглашениям. Срыв ранее согласованных сроков поставки германских товаров создает серьезные трудности.

Гитлер снова стал изворачиваться. Он заявил, что германский рейх ведет сейчас с Англией борьбу «не на жизнь, а на смерть», что Германия мобилизует все свои ресурсы для этой окончательной схватки с британцами.

— Но мы только что слышали, что Англия фактически уже разбита. Какая же из сторон ведет борьбу на смерть, а какая на жизнь? — саркастически заметил Молотов.

— Да, это так, Англия разбита,— не замечая иронии собеседника, ответил Гитлер.— Но еще надо кое-что сделать...

Затем Гитлер заявил, что, по его мнению, тема беседы исчерпана и что, поскольку вечером он будет занят, переговоры завершит рейхсминистр Риббентроп.

Так закончилась последняя встреча советской делегации с Гитлером. Уже тогда было ясно, что Гитлер не пожелал считаться с законными интересами Советского Союза, диктовавшимися требованиями безопасности нашей страны. Но о том, что гитлеровское правительство задолго до берлинской встречи приняло решение напасть на Советский Союз и даже вело практическую подготовку к этому, тогда, конечно, известно не было.

Из секретных архивов германского правительства, а также из дневников высокопоставленных нацистских чиновников и документов Нюрнбергского процесса над гитлеровскими военными преступниками мы теперь знаем, что и после заключения осенью 1939 года советско-германского пакта о ненападении Гитлер продолжал вынашивать планы войны против Советского Союза. Спустя два месяца после того, как был подписан этот пакт, Гитлер дал указание командованию вооруженных сил рассматривать оккупированные Германией польские районы как «плацдарм для будущих германских операций». Об этом имеется соответствующая запись в дневнике генерала Гальдера от 18 октября 1939 года.

Двадцать третьего ноября 1939 года, выступая перед своими генералами с пространной речью о готовящемся походе на Запад, Гитлер коснулся также и операций против Советского Союза. Он заявил: «Мы сможем выступить против России только после того, как развяжем себе руки на Западе...»

А «победу на Западе» он понимал как разгром Англии. Но война с Советским Союзом была для него делом решенным. Как свидетельствует в своем дневнике начальник генерального штаба германской армии генерал Йодль, «еще во

время похода на Запад Гитлер изложил свое принципиальное решение... напасть на Советский Союз весной 1941 года».

Двадцать девятого июля 1940 года на совещании представителей командования вооруженных сил Гитлер уже без всяких оговорок заявил, что намерен выступить против Советского Союза весной 1941 года. Он явно стал склоняться к тому, чтобы напасть на Советский Союз до окончательного разгрома Англии. 31 июля 1940 года в своей резиденции в Бергхофе Гитлер при встрече с представителями вермахта объявил о решении отложить высадку на английских островах и заявил:

— Все надежды у Англии на Россию и Америку. Если надежда на Россию опадает, опадет и надежда на Америку, поскольку выход России из строя в огромной степени изменит роль Японии в Восточной Азии. Когда Россия будет разбита, рухнет последняя надежда Англии...

Генерал Гальдер в своем дневнике следующим образом подытожил это совещание. «Постановили: для того, чтобы решить проблему, Россия должна быть уничтожена весной 1941 года. Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше».

После этого, то есть за три месяца до берлинской встречи, начались практические тайные приготовления к агрессивному походу против Советского Союза. Угроза, нависшая над Англией, миновала.

Таким образом, уже самый факт существования мощной социалистической державы — Советского Союза — отвел от Англии опасность германского вторжения. Гитлер решил сперва покончить с Советским Союзом, а потом уничтожить Англию. Но он просчитался. Героическое сопротивление советского народа фашистской агрессии и последующий разгром третьего рейха навсегда похоронили эти планы.

Итак, Гитлер вел двойную игру. Уже приняв решение о нападении на Советский Союз, он вместе с тем, стараясь выиграть время, пытался создать у Советского правительства впечатление, будто готов обсудить вопрос о дальнейшем мирном развитии советско-германских отношений.

Видимо, по его мнению, этим же целям должна была послужить и встреча в Берлине, к которой гитлеровское правительство проявляло большой интерес начиная с лета 1940 года.

В переписке, которая в те месяцы велась между Берлином и Москвой, делались намеки на то, что было бы неплохо обсудить назревшие вопросы с участием высокопоставленных представителей обеих стран. В одном из немецких писем прямо указывалось, что со времени последнего визита Риббентропа в Москву произошли серьезные изменения в европейской и мировой ситуации, а потому было бы желательно, чтобы полномочная советская делегация прибыла в Берлин для переговоров. В тех условиях Советское правительство, которое неизменно выступало за мирное урегулирование международных проблем, ответило положительно на германское предложение о проведении в ноябре 1940 года совещания в Берлине.

В бункере Риббентропа

Вечером того же дня, когда закончились переговоры с Гитлером, состоялась встреча в резиденции Риббентропа на Вильгельмштрассе. Его кабинет, значительно меньший, чем у Гитлера, был обставлен роскошно. Узорчатый паркетный пол так блестел, что в нем, словно в зеркале, отражались все предметы. На стенах висели старинные картины, окна обрамляли портьеры из дорогой гобеленовой ткани, вдоль стен на высоких подставках стояли статуэтки из бронзы и фарфора.

Риббентроп пригласил участников беседы к стоявшему в углу кабинета столу, украшенному бронзовыми фигурками и греческим орнаментом, и, когда все расселись, заявил, что в соответствии с пожеланием фюрера было бы целесообраз-

но подвести итоги переговоров и договориться о чем-то в «принципе». Затем он вынул из нагрудного кармана своего зеленого кителя сложенный вчетверо листок и, медленно развернув его, сказал:

— Здесь набросаны некоторые предложения германского правительства...

Держа листок перед собой, Риббентроп прочитал эти предложения. Смысл их сводился все к тем же хвастливым рассуждениям о неизбежном крахе Великобритании и о том, что теперь, дескать, настало время подумать о дальнейшем переустройстве мира. В связи с этим германское правительство предлагало, чтобы Советский Союз присоединился к пакту, заключенному между Германией, Италией и Японией. При этом Германия, Италия, Япония и Советский Союз должны дать обязательство уважать интересы друг друга. Все четыре державы должны также дать обязательство не поддерживать никакие группировки держав, направленные против какой-либо из четырех сторон. В дальнейшем участники пакта, с учетом взаимных интересов, должны будут решить вопрос об окончательном устройстве мира...

Советский делегат, выслушав это заявление, сказал, что нет смысла возобновлять дискуссию на эту тему. Но нельзя ли получить только что прочитанный текст? Риббентроп ответил, что у него только один экземпляр, что он не имел в виду передавать эти предложения в письменном виде, и поспешно спрятал бумажку в карман.

В этот момент раздался сигнал воздушной тревоги. Все переглянулись, наступило молчание. Где-то поблизости раздался глухой взрыв, в высоких окнах кабинета задребезжали стекла.

— Оставаться здесь небезопасно, — сказал Риббентроп. — Давайте спустимся вниз, в мой бункер. Там будет спокойнее...

Мы вышли из кабинета и по длинному коридору дошли до винтовой лестницы, по которой спустились в подвал. У входа в бункер стоял часовой. Он открыл перед нами тяжелую дверь, и когда мы вошли в убежище, закрыл дверь и задрал ее изнутри.

В одном из подземных помещений был оборудован второй кабинет Риббентропа. На полированном письменном столе стояло несколько телефонных аппаратов. Поодаль от него — круглый столик и глубокие мягкие кресла.

Когда беседа возобновилась, Риббентроп снова стал распространяться насчет того, что необходимо изучить вопрос о разделе сфер мирового влияния. Есть все основания считать, добавил он, что Англия фактически уже разбита. На это Молотов возразил:

— Если Англия разбита, то почему мы сидим в этом убежище? И чьи это бомбы падают так близко, что разрывы их слышатся даже здесь?

Риббентроп смугился и промолчал. Чувствуя неловкость положения, он вызвал адъютанта и велел подать кофе. После того как официант, поставив на стол кофейный прибор и разлив кофе, ушел, советский делегат поинтересовался, когда можно ожидать разъяснения относительно целей пребывания германских войск в Румынии и Финляндии?

Риббентроп, не скрывая раздражения, ответил, что если Советское правительство продолжают интересоваться эти, как он выразился, «несущественные вопросы», то их следует обсудить, используя обычные дипломатические каналы.

Снова воцарилось молчание. Все вопросы были исчерпаны, но приходилось оставаться в бункере: английские самолеты продолжали массированный налет на Берлин. Вновь и вновь слышались глухие удары разрывающихся поблизости бомб. Подали сухое вино. Риббентроп стал рассказывать о своих винных заводах, спрашивал о марках вин, выпускаемых в Советском Союзе. Время тянулось медленно. Только глубокой ночью после отбоя мы смогли вернуться во дворец Бельвю.

Наутро советская делегация покидала Берлин. На привокзальной площади

вновь был выстроен почетный караул. Но из высокопоставленных лиц присутствовал только Риббентроп. У перрона стоял наш железнодорожный состав. К нему прицепили два немецких вагона — ресторан и салон, в котором разместились представители протокольного отдела германского министерства иностранных дел, сопровождавшие советскую делегацию до границы.

Тайные цели нацистов

Каков был смысл разглашований Гитлера и Риббентропа насчет планов дальнейшего сотрудничества с Советским Союзом? Действительно ли германское правительство исходило тогда из предпосылки, что между Германией и Советским Союзом на протяжении длительного периода не возникнет конфликта? Могло ли быть, что Гитлер решил на какое-то время отказаться от планов агрессии против СССР, провозглашенных в его «Майн кампф»? Конечно, нет.

Гитлер рассматривал совещание в Берлине лишь как очередной отвлекающий маневр. Об этом говорит, в частности, секретное распоряжение № 18, которое он издал 12 ноября 1940 года, то есть в день прибытия в Берлин советской правительственной делегации. В этом распоряжении говорилось: «Политические переговоры с целью выяснить позицию России на ближайшее время начались. Независимо от того, какой будет исход этих переговоров, следует продолжать все уже предусмотренные ранее приготовления для Востока. Дальнейшие указания на этот счет последуют, как только мною будут утверждены основные положения операционного плана»...

О каких «приготовлениях для Востока» шла речь, мы уже знаем.

Что касается Советского правительства, то оно всячески стремилось предотвратить войну или по крайней мере как можно дальше оттянуть столкновение с гитлеровской Германией.

Советское правительство продолжало поддерживать дипломатический контакт с германским правительством и зондировать его намерения. 26 ноября 1940 года, то есть менее чем через две недели после берлинской встречи, германскому послу в Москве Шуленбургу было сообщено, что для продолжения переговоров, начатых в Берлине, германская сторона должна обеспечить выполнение ряда условий, в частности:

немецкие войска должны немедленно покинуть Финляндию;
в ближайшие месяцы должна быть обеспечена безопасность Советского Союза путем заключения пакта о взаимопомощи между Советским Союзом и Болгарией.

Шуленбург обещал немедленно передать советское заявление своему правительству. Но ответа из Берлина не поступило. Уже тогда это молчание казалось многозначительным. Теперь причины его известны. Гитлер попросту игнорировал советские требования — и вплотную занялся подготовкой агрессии против нашей страны. В дневнике генерала Гальдера воспроизводятся следующие слова Гитлера, сказанные по поводу телеграммы Шуленбурга: «Россию надо поставить на колени как можно скорее...»

Гитлер предложил генеральному штабу ускорить окончательную разработку конкретного плана нападения на Советский Союз. 5 декабря, после длившегося четыре часа совещания с Браухичем и Гальдером, Гитлер утвердил этот план. Тогда он значился под шифром «План Отто». Вскоре это наименование было заменено новым. 18 декабря Гитлер подписал директиву № 21, озаглавленную «План Барбаросса». Директива эта начиналась следующими словами:

«Германские вооруженные силы должны быть готовы еще до окончания войны против Англии разбить Советскую Россию в стремительном походе. Для этого армия должна пустить в действие все находящиеся в ее распоряжении соединения, за исключением лишь тех, которые необходимы, чтобы оградить оккупированные районы от каких-либо неожиданностей. Приготовления должны быть

закончены до 15 мая 1941 года. Особое внимание уделить тому, чтобы подготовку этого нападения было невозможно обнаружить».

Вспоминая сейчас ход советско-германских переговоров, состоявшихся в Берлине осенью 1940 года, нельзя не остановиться на тех инсинуациях, которые распространялись, да и сейчас еще появляются в западной прессе по поводу этой встречи. Уверяют, например, будто тогда в Берлине советская сторона сама выдвигала какие-то «территориальные претензии в направлении Индийского океана». Это либо плод досужей фантазии, либо заведомая фальсификация.

Советская сторона рассматривала берлинскую встречу 1940 года как реальную возможность прощупать позицию германского правительства.

Позиция Гитлера во время этих переговоров, в частности его упорное нежелание считаться с естественными интересами безопасности Советского Союза, его категорический отказ прекратить фактическую оккупацию Финляндии и Румынии, свидетельствовала о том, что, несмотря на демагогические заявления по поводу «глобальных интересов» Советского Союза, Германия практически была занята подготовкой восточноевропейского плацдарма. Не может быть сомнений, что Гитлер добивался берлинской встречи, стремясь использовать переговоры с советскими представителями для того, чтобы замаскировать свои истинные намерения и тем самым поставить Советское правительство в неблагоприятные условия, которые в дальнейшем связали бы нам руки, предоставив в то же время свободу действий Германии, в том числе и возможность соглашения с Англией.

Пытаясь навязать советской делегации на берлинской встрече дискуссию о «переустройстве» мира и разделе «британского имущества», Гитлер, очевидно, рассчитывал изолировать Советский Союз на мировой арене и тем нанести ему коварный удар. Но он просчитался.

II

Новогодний вечер в Груневальде

Вскоре после возвращения в Москву я был направлен на работу в Наркоминдел — референтом по германским проблемам. В это время в советско-германских отношениях наступило заметное затишье. В Москве между советскими представителями и германским послом Шуленбургом не было почти никаких контактов. Время от времени Шуленбург обращался с запросами о могилах немцев в разных районах СССР и о других делах, которые могли интересовать скорее военную разведку вермахта, уточнявшую данные о театре намечавшихся военных действий. Естественно, что на это любопытство германской стороны давались уклончивые ответы... Ничего существенного не поступало и от нашего посольства в Берлине, если говорить о сфере официальных отношений, в которой царил холод.

Между тем из сообщений зарубежной прессы и донесений советских дипломатов было видно, что германское правительство развивает большую активность по вербовке новых союзников и привлечению их к пакту трех держав. Одно за другим следовали сообщения о «торжественном» подписании соответствующих документов. Перед Гитлером склонили голову реакционные правители Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии. Берлин торопился укрепить свои позиции в Юго-Восточной Европе. При этом гитлеровская дипломатия грубо игнорировала интересы Советского Союза.

В последних числах декабря мне предложили отправиться на работу в Берлин — первым секретарем посольства. Занимающий этот пост В. Н. Павлов отзывался в Москву и должен был остаться в центральном аппарате Наркоминдела. Выбор, как мне объяснили, пал на меня, поскольку, присутствуя на ноябрьских встречах с Гитлером и Риббентропом, я был в курсе текущих дел и мог быть полезен в Берлине.

Днем 31 декабря я вышел из вагона на перрон вокзала Фридрихштрассе в Берлине. Жилье мне было приготовлено в помещении нашего посольства на Унтер ден Линден. Здание это было построено еще в начале прошлого века и сохранилось в своем первоизданном виде (оно было разрушено во время одного из воздушных налетов на Берлин в конце войны). Большие залы посольства отапливались с помощью калориферной системы, а в жилом флигеле высились белые кафельные печи. В моей комнате было тепло и по-домашнему уютно.

Доложив о своем прибытии, я решил прогуляться по вечерним улицам Берлина, а затем встретить Новый год в какой-нибудь «бирштубе» — пивной. Но, спустившись в вестибюль, я наткнулся на старого знакомого, который, узнав о моих скромных намерениях, предложил присоединиться к их компании.

— Мы едем в Груневальд к нашему военно-морскому атташе адмиралу Воронцову. У него там большой особняк. Хорошо проведем время.

Я охотно согласился. Конечно, это было куда приятней, чем сидеть за кружкой пива в прокуренной пивной. К тому же мне представлялась возможность познакомиться и со многими из моих коллег.

Как и все дома в затемненном Берлине, особняк нашего военно-морского атташе с улицы казался нежилым. Но внутри было светло, тепло и оживленно. Хозяйка дома подносила каждому новому гостю, зябко ежившемуся от промозглого берлинского холода, чарку водки и сэндвич. Кое-кто, видимо, уже успел не раз проделать эту процедуру: в гостиной было шумно. Все чувствовали себя непринужденно, а в соседней комнате гостей ждал длинный, по-праздничному убранный стол.

Радиоприемник был настроен на Москву. Мы встречали Новый год по московскому времени. За несколько минут до полуночи Михаил Иванович Калинин поздравил советских людей с Новым годом. Мы сели за стол, захлопали пробки от шампанского... В эти минуты все, казалось, забыли о повседневных делах и заботах. Отовсюду сыпались шутки, остроты, сопровождавшиеся взрывами смеха. Мы поздравляли друг друга, поднимали тосты за то, чтобы наступающий год был для нашей родины еще одним мирным годом. Мы не думали тогда, что уже отсчитывавший первые минуты 1941 год принесет самую тяжелую и кровопролитную войну в истории нашего народа. В ту ночь война, казалось, была где-то далеко — даже английская авиация не появлялась над Берлином. Мы приятно провели время и разъехались по домам лишь в шестом часу утра.

Дипломатические рауты

Большой прием, который германское правительство обычно устраивало для дипломатического корпуса в первый день нового года, был на этот раз, «по случаю войны», отменен. Вместо этого 1 января дипломаты, аккредитованные в Берлине, расписывались в специальной книге в имперской канцелярии, где их от имени рейхсканцлера приветствовал сухой и длинный как жердь начальник канцелярии Ганс Ламмерс.

Однако в посольствах, находившихся в Берлине, число дипломатических раутов не уменьшилось. Скорее наоборот. Дипломаты старались воспользоваться любым поводом для встречи со своими коллегами, чтобы обменяться информацией, слухами и прогнозами на будущее. А слухов в первые месяцы 1941 года ходило по Берлину невероятное множество. Они были связаны прежде всего с перспективами дальнейшего хода войны. Кто окажется следующей жертвой германской агрессии? Когда начнется вторжение в Англию? Скоро ли вступят в войну Соединенные Штаты? Куда двинется Япония? Будет ли нарушен нейтралитет Швеции и Турции? Захватят ли немцы нефтеносные районы Ближнего Востока? Все эти и другие вопросы были предметом споров, догадок, пророчеств и пересудов.

На больших приемах какой-нибудь новый слух облетал всех с молниеносной быстротой, хотя его, конечно, передавали под «строгим секретом». На таких приемах всегда былолюдно и шумно, чтобы пересечь зал, приходилось прогискивать-

ся между гостями, а порой и работать локтями. Тут можно было познакомиться с крупными промышленниками, с высшими представителями нацистской иерархии, с такими тогдашними кинознаменитостями, как Ольга Чехова, Пола Негри, Вилли Форст. Но разговоры здесь носили скорее «светский» характер.

Куда интереснее бывали встречи в более узком кругу, где собеседники обычно старались выудить друг у друга очередную сенсацию, хотя порой такой «сенсации» была грош цена.

Распространять всякие «новости» особенно любил турецкий посол Гереде. Впрочем, он никогда не настаивал на достоверности своей информации и обычно приговаривал:

— Не могу поручиться, что это так, но все может быть, и потому я решил вас проинформировать конфиденциально...

Высокий, щегольски одетый, с широкими черными бровями и массивным носом, Гереде всегда угощал своих гостей душистым турецким кофе, таким густым, что в чашке чуть ли не торчком стояла ложка, рахат-лукумом и знаменитым измирским ликером. Гереде был поразительно разговорчив, и чаще всего беседа с ним выливалась в его собственный монолог. В кабинете у него висела карта Ближнего Востока, и его излюбленной темой был разбор возможных вариантов операций немцев по захвату нефтяных районов Ирака и Саудовской Аравии.

— Турция, — начинал свои рассуждения Гереде, — не раз заявляла, что она не пропустит немцев через свою территорию. Если Германия попытается что-либо предпринять в этом отношении, мы будем сопротивляться. Они это знают...

— Значит, они уже обращались к вам с таким предложением?

— Что вы! Я этого не говорил. Просто им известно, что мы их не пропустим. Но им позарез нужно горячее для танков, авиации, подводных лодок. Следовательно, им придется высадить парашютный десант, чтобы захватить Мосул. А для этого нужны базы — Греция, острова в Эгейском море, Египет. Если немцы высадятся в Ираке, Турция будет зажата с двух сторон. Тогда нам будет трудно, очень трудно...

— Вы хотите сказать, что в таком случае Турция пойдет на уступки Берлину?

— Я этого не говорил. Мы не хотим ни с кем ссориться. Англичане — наши друзья, немцы — наши друзья. Англичане говорят, что ради захвата Ирака немцы готовы потребовать у русских согласия на проход через Кавказ. Это чепуха. Вы на такое дело не пойдете. И они ничего не сделают. У вас с Гитлером пакт о ненападении, и я знаю из авторитетных источников, что он твердо намерен его соблюдать. Тут все ясно. Нападать на нас немцам тоже нет смысла. Поверьте мне — они теперь сосредоточатся на Египте, помогут Муссолини овладеть Грецией, а затем высадят десант в Ираке. Вот каковы их планы!

Развивая свою мысль, Гереде то и дело подходил к карте, старался убедить собеседника, что десант в Мосуле — это наиболее вероятный дальнейший шаг Гитлера. Прощаясь, он говорил:

— Если услышите что-либо о планах немцев на Ближнем Востоке — сообщите мне. Это очень важно...

Но посол Гереде вовсе не был таким простаком, каким мог показаться с первого взгляда. Он поддерживал весьма близкие отношения с нацистской верхушкой. Возможно, по уговору с Вильгельмштрассе он даже играл определенную роль в гитлеровской кампании дезинформации: разговорами о предстоящих операциях на Ближнем Востоке он отвлекал внимание от подлинных намерений Берлина.

Весьма своеобразной фигурой дипломатического корпуса был японский посол в Берлине — генерал Хирочи Осима. Хотя он всегда одевался согласно протоколу и носил фрак и цилиндр, это не могло скрыть его военной выправки. Плотный, низенького роста, он говорил отрывисто, словно отдавал воинскую команду. При этом он сопровождал свою речь резкими движениями правой руки, как будто рубил невидимого противника самурайским мечом.

Осима не скрывал своих симпатий к нацистам. Гитлеровцы ценили это. Они

часто возили японского посла-генерала по местам недавних сражений на Западе, и, возвращаясь в Берлин, он не уставал превозносить в беседах со своими коллегами «подвиги» германской армии. Не менее восторженно отзывался Осима и о гитлеровском «новом порядке в Европе». Гитлер, заявлял он, умеет «держаться в узде» завоеванные страны, и это, дескать, «залог успеха планов переустройства мира, разрабатываемых державами «оси».

В беседах с советскими представителями Осима не упускал случая напомнить, что в прошлом служил в Квантунской армии и хорошо знает Дальний Восток. В этой связи он старался внушить нам мысль о том, что Советскому Союзу нет будто бы необходимости держать крупные соединения на границе с Маньчжурией, оккупированной в то время японцами. Осима следующим образом аргументировал эту идею:

— Основные события сейчас происходят в Европе, и тут сосредоточены главные интересы Советского Союза. Между тем ваше внимание отвлекает также Дальний Восток. Туда выделяются значительные материальные средства и военные силы. В итоге вдоль маньчжурской границы с обеих сторон сосредоточены большие массы хорошо вооруженных людей, что очень опасно. Как военный человек я хорошо знаю, что когда на протяжении длительного времени друг против друга стоят оснащенные всеми видами оружия крупные армии двух стран, то всякое может случиться, даже если этого не хотят в высших инстанциях. Какая-либо из сторон может не выдержать напряжения, произойдет инцидент, а потом уже ничего нельзя будет поделаться. Мне хорошо известен боевой дух советской Дальневосточной армии. Высок боевой дух и японской Квантунской армии. Нельзя допускать, чтобы эти армии долго стояли друг против друга. Это опасно. Я уже писал своему правительству, что полезно было бы сократить численность армий и отвести их в глубь территории, подальше от границы, чтобы они не соприкасались. Я бы и вам советовал высказать эти соображения своему правительству, чтобы оно как можно скорее предприняло шаги в этом направлении.

При каждой встрече с нами Осима снова возвращался к этой теме.

Какую он мог преследовать цель?

Быть может, он полагал, что его идея в случае ее осуществления позволит Японии высвободить силы для планировавшихся уже тогда в Токио операций в Юго-Восточной Азии. А может быть, Осима рассчитывал перехитрить Советский Союз, побудить его ослабить свою оборону на Дальнем Востоке, чтобы затем Япония в подходящий для нее момент могла неожиданно напасть на Советский Союз.

В любом случае трудно было поверить, что Осима всерьез рассчитывал на успех. Но он не переставал убеждать нас в целесообразности своего плана взаимного отвода войск на Дальнем Востоке, несмотря на его нереальность и даже наивность в условиях того времени. От обсуждения дальнейших военных акций Гитлера он обычно уклонялся, хотя, несомненно, знал о них больше, чем другие члены дипломатического корпуса.

Хочу рассказать и о встрече с югославским посланником Андричем, которая мне особенно запомнилась. Его резиденция находилась в Тиргартене, в новом районе, отведенном для дипломатических представительств. Район этот только еще застраивался. Уже было почти готово помпезное здание итальянского посольства, заканчивалось строительство новой резиденции японского посла. А дом югославской миссии с прилегающей к нему территорией был полностью готов. Построенный по проекту белградских архитекторов, он и снаружи и внутри производил очень приятное впечатление строгостью линий, современностью отделки, интерьеров и мебелировки.

Встреча с Андричем, о которой идет речь, состоялась в самом начале апреля. В те дни нацистские газеты развернули бешеную антиюгославскую кампанию. Каждый день «Фелькишер беобахтер» и другие гитлеровские газеты писали о «преследованиях» немецкого меньшинства в Сербии, помещали фотографии, на которых были изображены группы «беженцев», или, как их называли авторы статей, «жертв югославского террора». На самом деле никто не преследовал немцев

в Югославии. Это была очередная геббельсовская провокация. Инциденты в Югославии и бегство из страны немецких граждан были специально организованы нацистской агентурой. Гитлеру нужен был повод, чтобы под предлогом «защиты» немецкого меньшинства вторгнуться в Югославию.

В конце марта югославское правительство, возглавляемое Цветковичем, подписало в Вене документ о присоединении Югославии к «пакту трех». Но сразу же после этого в Белграде произошел правительственный переворот, и, хотя новое правительство генерала Симовича предложило заключить с Берлином пакт о ненападении, Гитлер, не доверяя белградскому правительству, решил оккупировать Югославию, а заодно помочь Муссолини справиться с Грецией. Но эта операция спутала карты гитлеровцев. Из-за нее им пришлось отложить на более поздний срок вторжение в Советский Союз. Несомненно, что главная цель, которую Гитлер преследовал, напав на «строптивую» Югославию, заключалась в том, чтобы обеспечить себе тыл в Юго-Восточной Европе перед вторжением в Советский Союз.

...Посланник Андрич, всегда такой сдержанный и внешне спокойный, на этот раз не мог сдержать волнения. Он понимал, что замышляет Гитлер, и чувствовал, что не сегодня-завтра его страна может подвергнуться нападению.

— Что им еще от нас нужно?— с горечью говорил Андрич.— Мы их не трогаем. Вся эта история с преследованием немецкого меньшинства — наглая провокация, подстроенная от начала до конца. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но им мало того, что они уже захватили в Европе. Они жаждут нашей крови — вот что им нужно. Но они напрасно рассчитывают, что это им сойдет с рук. Наш народ не покорится. Мы не прекратим борьбу, даже если им удастся оккупировать нашу страну. Они дорого за это заплатят...

Гитлеровские провокации вызвали в Югославии всеобщее возмущение. В стране спешно принимались меры по отпору германской агрессии. 5 апреля в Москве был подписан советско-югославский договор о дружбе и ненападении. Это вызвало в Берлине резко отрицательную реакцию. Правда, практической помощи югославам Советский Союз в тот момент оказать уже не мог. В ночь на 6 апреля германские войска вероломно вторглись в Югославию, сея на своем пути смерть и разрушение.

Но запомнившиеся мне слова посланника Андрича оказались пророческими. Югославский народ не покорился, став на путь партизанской борьбы с фашистскими захватчиками...

В один из последних дней апреля меня пригласил на коктейль первый секретарь посольства США в Берлине Паттерсон. Он слыл весьма состоятельным человеком, снимал за свой счет роскошный трехэтажный особняк в районе Шарлоттенбурга и мог запросто пригласить к себе на обед два-три десятка человек или устроить коктейль для трех сотен гостей.

Поскольку Паттерсон жил довольно далеко и гости от него обычно расходились поздно, я взял в посольском гараже «эмку» — небольшую легковую машину, выпускавшуюся в то время горьковским автозаводом. В затемненном Берлине на улицах всегда царилась кромешная тьма, но на этот раз ночь была лунная, и ехать по опустевшим улицам было легко. У особняка Паттерсона уже стояла вереница машин.

В гостиной было людно. Но сразу нельзя было разглядеть присутствовавших. Комната освещалась лишь камином, в котором весело потрескивали дрова, и несколькими тусклыми «свечами» бра, вделанными в противоположную стену. Когда глаза несколько привыкли к полумраку, я заметил, что гости уже разбились на группы и оживленно беседуют, держа в руках бокалы и рюмки.

Поздоровавшись со мной, Паттерсон сказал:

— Тут у меня есть один человек, с которым я хотел бы вас познакомить...

Он взял меня под руку и повел к камину, где, окруженный знакомыми мне американскими дипломатами, стоял со стаканом виски в руке какой-то высокий

сухощавый офицер в форме майора германских военно-воздушных сил. Бросалось в глаза его очень уж загорелое лицо.

— Познакомьтесь, — представил меня Паттерсон. — Майор только что приехал на побывку из Африки...

Майор производил впечатление бывалого боевого летчика. Он много и охотно рассказывал об операциях в Западной Европе и Северной Африке. При этом не скрывал, что на африканском театре военных действий вопреки всем победным реляциям командования вермахта немцам приходится туго. Мне показалось немногим странным, что этот гитлеровский офицер держит себя так свободно в доме американского дипломата. Возможно, это было потому, что он давно знал Паттерсона — по некоторым его замечаниям можно было заключить, что они встречались еще до войны в Соединенных Штатах.

В конце вечера мы остались с немецким майором на какое-то время вдвоем, в стороне от других гостей. и он, раскуривая сигару и глядя мне прямо в глаза, сказал, несколько понизив голос:

— Паттерсон хочет, чтобы я вам сообщил одну вещь. Дело в том, что я тут не на побывке. Моя эскадрилья отозвана из Северной Африки, и вчера мы получили приказ передислоцироваться на восток, в район Лодзи. Возможно, в этом нет ничего особенного, но мне известно, что и многие другие части в последнее время перебрасываются к вашим границам. Я не знаю, что это может означать, но лично мне не хотелось бы, чтобы между моей и вашей страной что-либо произошло. Разумеется, я сообщаю вам об этом в конфиденциальном порядке...

На какое-то мгновение я растерялся. Это был беспрецедентный случай: офицер гитлеровского вермахта передал советскому дипломату информацию, которая, если она отвечала действительности, была сверхсекретной. Но мы тогда больше всего опасались каких бы то ни было провокаций. На всякий случай я решил ответить сдержанно и стереотипно:

— Благодарю вас, господин майор, за эту информацию. Она весьма интересна. Но я полагаю, что Германия будет соблюдать пакт о ненападении. Наша страна также заинтересована в том, чтобы мир между нами был сохранен. Будем надеяться на лучшее...

— Смотрите, вам виднее, — сказал майор.

Вскоре мы попрощались.

Конечно, этот разговор, как и все другое, что представляло интерес, был включен в очередное посольское донесение.

Тревожные сигналы

На протяжении нескольких месяцев мы, работники советского посольства в Берлине, видели, как в Германии ведется подготовка к военным операциям на востоке. Об этом свидетельствовала информация, поступающая в посольство из самых разных источников.

Прежде всего ее доставляли нам наши друзья в самой Германии. В нацистском рейхе, в том числе и в Берлине, в глубоком подполье действовали антифашистские группы — так называемая «Красная капелла», группа Раби и другие. Преодолевая невероятные трудности, порой рискуя жизнью, немецкие антифашисты находили пути для того, чтобы предупредить Советский Союз о нависшей над ним опасности. Они передавали информацию, говорившую об угрожающем положении, сложившемся у границ Советского Союза, о подготовке нападения гитлеровской Германии на нашу страну.

В середине февраля в наше консульство в Берлине явился немецкий типографский рабочий. Он принес с собой экземпляр русско-немецкого разговорника, изданного огромным тиражом. Содержание разговорника не оставляло сомнений в том, для каких целей он предназначался. Там можно было, например, прочесть такие фразы на русском языке, но набранные латинским шрифтом: «Где председатель колхоза?», «Ты коммунист?», «Как зовут секретаря райкома?», «Руки

вверх! Буду стрелять», «Сдавайся» и тому подобное. Разговорник был сразу же переслан нами в Москву.

Согласно заведенному в посольстве порядку каждое утро пресс-атташе делал для дипломатического состава краткий доклад о сообщениях немецкой и мировой печати. В первые месяцы 1941 года мы все чаще обращали внимание на сетования немецких газет по поводу сообщений мировой прессы о «военных приготовлениях» Советского Союза на германской границе. Нетрудно было проследить, из каких источников черпалась эта информация. Обычно она сначала появлялась в американской реакционной печати, причем нередко со ссылкой на немецкие источники в нейтральных странах. Несомненно, мы тут имели дело с инспирированной германской агентурой провокационной дезинформацией. Не располагая никакими реальными фактами о «советской угрозе» Германии — их не было в природе! — гитлеровская пропаганда фабриковала вымышленные сведения о «военных приготовлениях» СССР на его западных границах, подсовывала эти насквозь лживые сведения информационным агентствам и органам печати других стран. Когда же их печатали американские и другие газеты, на них ссылалась германская пресса, ханжески сетуя, что такие сообщения, дескать, «омрачают» советско-германские отношения.

В это же время в германской прессе стали чаще появляться ссылки на «Майн кампф». Этого не было в первые месяцы после подписания советско-германского договора о ненападении. Правда, это евангелие нацизма, написанное Гитлером еще в 1924—1926 годах, никогда не ставилось в третьем рейхе под сомнение. «Майн кампф» с фотографией Гитлера на обложке красовалась в витринах всех книжных магазинов и ежегодно издавалась огромными тиражами, принося Гитлеру гонорар в миллионы марок. Но теперь нацистские пропагандисты снова стали все чаще ссылаться на нее в прессе, рассуждая о дальнейших планах «Великогермании».

В «Майн кампф», как известно, агрессивные цели и планы Гитлера были изложены с предельной ясностью. Там говорилось, что Германия не должна ограничиваться требованием восстановления границ 1914 года. Ей нужно куда большее жизненное пространство («лебенсraum»). В Европе, мол, насчитывается восемьдесят миллионов немцев. Менее чем через сто лет на континенте их будет двести пятьдесят миллионов. Поэтому другие народы должны потесниться, чтобы дать место немцам.

Гитлер наметил здесь и вполне определенную программу агрессии. Сначала, писал он, должны быть захвачены районы на востоке с преобладающим немецким населением — Австрия, Судеты, западные провинции Польши, включая Данциг...

Все эти захваты к началу 1941 года были уже осуществлены, правда, в несколько иной последовательности, но зато в куда большем масштабе. Что же следовало ожидать после этого?

В «Майн кампф» давался недвусмысленный ответ: нападение на Советский Союз!

«Если мы хотим иметь новые земли в Европе, — писал Гитлер, — то их можно получить на больших пространствах только за счет России. Поэтому новый рейх должен вновь встать на тот путь, по которому шли рыцари ордена, чтобы германским мечом завоевать германскому плугу землю, а нашей нации — хлеб насущный».

В середине мая Берлин был взбудоражен сообщением о неожиданном полете в Англию Рудольфа Гесса — заместителя Гитлера по руководству нацистской партией. Гесс, который сам пилотировал самолет «мессершмитт-110», вылетел 10 мая из Аугсбурга (Южная Германия) и взял курс на Даунгавел-Касл — шотландское имение лорда Гамильтона, с которым он был лично знаком. Но Гесс ошибся в расчете горючего и, не долетев до цели всего четырнадцать километров, выбросился с парашютом в районе Иглшэма, где был задержан местными крестьянами и передан властям.

Несколько дней английское правительство хранило молчание по этому поводу. Молчал и Берлин. Но после того, как британские власти сообщили о приземлении Гесса, германское правительство поняло, что секретная миссия Гесса не увенчалась успехом. Тогда-то в штаб-квартире Гитлера в Бергхофе решили преподнести публике действия Гесса как проявление его умопомешательства. В официальном коммюнике о «деле Гесса» говорилось: «Член партии Гесс, видимо, помешался на мысли о том, что посредством личных действий он все еще может добиться взаимопонимания между Германией и Англией». В явно инспирированных комментариях германская пресса пошла еще дальше, утверждая, что этот нацистский лидер был «душевнобольным идеалистом, страдавшим галлюцинациями вследствие ранений, полученных в первой мировой войне». Авторы этих комментариев, очевидно, не замечали их убийственной иронии, поскольку этот сумасшедший субъект до последнего дня был вторым, после Гитлера, человеком в нацистской партии.

Гитлер понимал, какой моральный ущерб причинила ему и его режиму неудачная миссия Гесса. Чтобы замести следы, он распорядился арестовать приближенных Гесса, а его самого снял со всех постов и приказал расстрелять, если он вернется в Германию. Тогда же заместителем Гитлера по руководству нацистской партией был назначен Мартин Борман.

Нет сомнения, однако, что гитлеровцы возлагали на Гесса немалые надежды. Германский империализм рассчитывал на то, что ему удастся привлечь к антисоветскому походу также и противников Германии, прежде всего Англию. Гитлеровцы стремились превратить планировавшееся ими нападение на Советский Союз в «крестовый поход» против «большевистской опасности».

Используя свои связи с видными английскими мюнхенцами, Гесс заранее договорился о визите в Англию. Первоначально это должно было произойти в декабре 1940 года, но затем визит был отложен до завершения гитлеровских захватов в Юго-Восточной Европе. Когда наконец в мае 1941 года Гесс прилетел в Англию и начал переговоры с высокопоставленными британскими представителями, внутриполитическая, да и вся международная обстановка не позволила мюнхенцам осуществить свой план сговора с нацистами.

Наиболее дальновидные политические деятели Англии и США понимали, что мир с ними нужен Гитлеру лишь временно, для того чтобы потом снова напасть на них в более подходящий для нацистов момент. Правящие круги Англии тогда уже отчетливо видели, какую угрозу представляет для их позиций и интересов германский империализм, стремившийся подчинить себе весь мир. Поэтому они остерегались новых сделок с Германией, тем более что в прошлом подобные политические эксперименты всегда оборачивались против них же самих.

После войны Гесс предстал перед Нюрнбергским трибуналом в числе главных нацистских преступников. Он, впрочем, избежал виселицы — медицинская экспертиза признала его психически ненормальным — и был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Но в мае 1941 года мы, конечно, не могли знать всей подоплеку полета Гесса в Англию, хотя было ясно, что это — попытка договориться с Лондоном против Советского Союза. Знаменательно, что именно в первых числах мая в приемной германского министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе были демонстративно разложены на столах довоенные журналы и брошюры, прославлявшие «англо-германскую дружбу» и ее значение для судеб Европы и всего мира (одно время, в перепод Мюнхена, гитлеровцы носились с этой идеей). Все дипломаты, приезжавшие по делам на Вильгельмштрассе, конечно, сразу обратили внимание на эти брошюры, расценивая их появление как некий «жест» по отношению к Англии. Подобная демонстрация была предметом многих догадок, пересудов и спекуляций.

Важные сведения концентрировались в этот период также у нашего военного атташе генерала Тупикова и военно-морского атташе адмирала Воронцова. Согласно их информации, с начала февраля 1941 года на восток стали направляться

эшелоны с войсками и боевой техникой. В марте — апреле уже непрерывным потоком туда шли составы с танками, артиллерией, боеприпасами, а к концу мая, по всем данным, прифронтовая полоса была полностью насыщена людской силой и техникой.

В то же время гитлеровцы все более нагло и откровенно прощупывали советскую оборону вдоль государственной границы Советского Союза. Немецкие провокации на советско-германской границе особенно усилились в конце мая — начале июня. Чуть ли не каждый день посольство получало из Москвы указания заявить протест по поводу очередных нарушений в советской пограничной полосе. Не только германские пограничники, но и солдаты вермахта систематически вторгались на советскую территорию, открывали огонь по нашим пограничникам. Были и человеческие жертвы. Самолеты со свастикой нахально летали в глубь советской территории. Все эти факты с точным указанием места и времени мы сообщали германскому МИДу, но на Вильгельмштрассе, принимая наши заявления, сначала обещали произвести расследование, а затем уверяли, будто «эти сведения не подтвердились».

Наконец любопытен и такой факт. Неподалеку от посольства, на Унтер ден Линден, находилось роскошное фотоателье Гофмана — «придворного» фотографа Гитлера. В этом ателье когда-то работала в качестве натурщицы Ева Браун, ставшая впоследствии любовницей фюрера.

С начала войны в одной из витрин ателье Гофмана над официальным портретом Гитлера обычно вывешивалась большая географическая карта. Стало привычным, что там появлялась та часть Европы, где происходили или намечались очередные военные действия. Ранней весной 1940 года это был район Голландии, Бельгии, Дании и Норвегии, затем довольно долго висела карта Франции. В апреле 1941 года прохожие уже останавливались перед картой Югославии и Греции. И вдруг в конце мая появилась большая карта Восточной Европы. Она включала Прибалтику, Белоруссию, Украину — весь обширный район Советского Союза от Баренцева до Черного моря. Гофман без стеснения давал понять, где развернутся следующие события. Он как бы говорил: теперь пришел черед Советского Союза!.

Начиная с марта по Берлину поползли настойчивые слухи о готовящемся нападении Гитлера на Советский Союз. При этом назывались самые разные даты, видимо, для того, чтобы сбить нас с толку: 6 апреля, 20 апреля, 18 мая и наконец правильная, 22 июня — все воскресные дни.

Обо всех этих тревожных сигналах посольство регулярно докладывало в Москву. В начале мая группа наших дипломатов специально засела за изучение, обработку и обобщение имевшейся в распоряжении посольства информации относительно подготовки Гитлером войны на восточном фронте.

К концу мая был составлен обстоятельный доклад, включавший, между прочим, и соответствующие выдержки из «Майн кампф». Основной вывод этого доклада состоял в том, что практическая подготовка Германии к нападению на Советский Союз закончена, что масштабы этой подготовки не оставляют сомнения в том, что вся эта концентрация войск и техники означает войну. Вряд ли она предназначена для оказания какого-то политического нажима на нашу страну. Поэтому следует в любой момент ждать нападения Германии на Советский Союз.

В те недели мы находились в состоянии какой-то раздвоенности. С одной стороны, налицо была недвусмысленная информация, свидетельствовавшая о том, что война вот-вот разразится. С другой стороны, внешне ничего особенного как бы и не происходило. Жен и детей работников советских учреждений в Германии и в оккупированных ею странах было решено на родину не отправлять. Более того, из Советского Союза почти каждый день прибывали новые сотрудники с многочисленными семьями и даже с женами, находившимися на последних месяцах беременности. Продолжались бесперебойные поставки в Германию советских товаров, хотя немецкая сторона почти вовсе прекратила выполнение своих торговых обязательств. 14 июня (за неделю до нападения гитлеровской

Германии на Советский Союз!) советская печать опубликовала сообщение ТАСС, в котором говорилось, что, «по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы...».

Этим заявлением, текст которого был накануне передан германскому послу в Москве Шуленбургу, Сталин стремился проверить намерения германского правительства, повлиять на него. Он, видимо, рассчитывал таким образом в последний момент предотвратить нападение Германии на СССР. Но Берлин ответил на заявление ТАСС от 14 июня зловецим молчанием. Даже упоминания об этом сообщении не появилось ни в одной германской газете.

Двадцать первого июня, когда до нападения гитлеровской Германии на СССР оставались считанные часы, посольство получило предписание сделать германскому правительству еще одно заявление, в котором предлагалось обсудить состояние советско-германских отношений. Советское правительство давало понять германскому правительству, что ему известно о концентрации немецких войск на советской границе и что военная авантюра может иметь опасные последствия. Но содержание этой депеши говорило и о другом: в Москве все еще надеялись на возможность предотвратить конфликт и были готовы вести переговоры по поводу создавшейся ситуации.

Ночь на 22 июня

В субботу 21 июня в Берлине стояла отличная погода. Уже с утра день обещал быть жарким, и многие готовились во второй половине дня выехать за город — в парки Потсдама или на озера Ванзее и Николасзее, где купальный сезон был в полном разгаре. Только небольшой группе дипломатов пришлось остаться в городе. Утром из Москвы пришла телеграмма. Посольство должно было немедленно передать германскому правительству упомянутое выше заявление.

Мне поручили связаться с Вильгельмштрассе, где в помпезном дворце времен Бисмарка помещалось министерство иностранных дел, и условиться о встрече представителей посольства с Риббентропом. Дежурный по секретариату министра ответил, что Риббентропа нет в городе. Звонок к первому заместителю министра статс-секретарю барону фон Вейцзеккеру также не дал результатов. Проходил час за часом, а никого из ответственных лиц найти не удавалось. Лишь к полудню объявился директор политического отдела министерства Верман. Но он только подтвердил, что ни Риббентропа, ни Вейцзеккера в министерстве нет.

— Кажется, у фюрера происходит какое-то важное совещание. По-видимому, все сейчас там, — пояснил Верман. — Если у вас дело срочное, передайте мне, а я постараюсь связаться с руководством...

Я ответил, что это невозможно, так как посольству поручено передать заявление лично министру, и попросил Вермана дать знать об этом Риббентропу.

Дело, по которому мы добивались встречи с министром, никак нельзя было доверить второстепенным чиновникам. Ведь речь шла о заявлении, в котором от германского правительства требовалось объяснения в связи с концентрацией германских войск вдоль границ Советского Союза.

Из Москвы в этот день несколько раз звонили по телефону. Нас торопили с выполнением поручения. Но сколько мы ни обращались в министерство иностранных дел, ответ был все тот же: Риббентропа нет и когда он будет — неизвестно. Он вне пределов досягаемости, и ему якобы даже невозможно сообщить о нашем обращении.

Часам к семи вечера все разошлись по домам. Мне же пришлось остаться в посольстве и добиваться встречи с Риббентропом. Поставив перед собой настоящие часы, я решил педантично, каждые тридцать минут, звонить на Вильгельмштрассе.

Сквозь открытое окно, которое выходило на Унтер ден Линден, было видно, как посреди улицы по бульвару, окаймленному молодыми липами, как обычно по субботам, прогуливаются берлинцы. Девушки и женщины в ярких пестрых платьях, мужчины, главным образом пожилые, в темных старомодных костюмах. У ворот посольства, прислонившись к стене, дремал полицейский в уродливой шуцманской каске...

На столе передо мной лежала большая пачка газет — утром удалось лишь бегло их просмотреть. Теперь можно было почитать повнимательнее. В нацистском офицозе — «Фелькишер беобахтер» в последнее время было напечатано несколько статей Дитриха, начальника пресс-отдела германского правительства. О них на одной из последних наших внутренних пресс-конференций докладывал пресс-атташе посольства. В этих явно инспирированных статьях Дитрих все время бил в одну точку. Он говорил о некоей угрозе, которая нависла над германской империей и которая мешает осуществлению гитлеровских планов создания «тысячелетнего рейха». Автор указывал, что германский народ и правительство вынуждены, прежде чем приступить к строительству такого рейха, устранить возникшую угрозу. Эту идею Дитрих, разумеется, пропагандировал неспроста. Вспомнилсь его статьи накануне нападения гитлеровской Германии на Югославию в первые дни апреля 1941 года. Тогда он разглагольствовал о «священной миссии» германской нации на юго-востоке Европы, вспоминал поход принца Евгения в XVIII веке в Сербию, оккупированную в то время турками, и довольно прозрачно давал понять, что ныне этот же путь должны проделать германские солдаты. Теперь в свете известных нам фактов о подготовке войны на востоке статьи Дитриха о «новой угрозе» приобретали особый смысл. Трудно было отделаться от мысли, что ходивший по Берлину слух насчет последней даты возможного нападения Гитлера на Советский Союз — 22 июня на этот раз может оказаться правильным. Казалось странным и то, что мы в течение целого дня не могли связаться ни с Риббентропом, ни с его заместителем, хотя обычно, когда министра не было в городе, Вейцеккер всегда был готов принять представителя посольства. И что это за важное совещание у Гитлера, на котором, по словам Вермана, находятся все нацистские главари?..

Когда я в очередной раз позвонил в министерство иностранных дел, взявший трубку чиновник вежливо произнес стереотипную фразу:

— Мне по-прежнему не удалось связаться с господином рейхсминистром. Но я помню о вашем обращении и принимаю меры...

На замечание, что мне придется по-прежнему его беспокоить, поскольку речь идет о неотложном деле, мой собеседник любезно ответил, что это нисколько его не утруждает, так как он будет дежурить в министерстве до утра. Вновь и вновь звонил я на Вильгельмштрассе, но безрезультатно...

Вдруг в три часа ночи, или в пять утра по московскому времени, — это было уже воскресенье 22 июня — раздался телефонный звонок. Какой-то незнакомый лающий голос сообщил, что рейхсминистр Иоахим фон Риббентроп ждет советских представителей в своем кабинете в министерстве иностранных дел на Вильгельмштрассе. Уже от этого незнакомого голоса, от чрезвычайно официальной фразеологии повеяло чем-то зловещим. Но, отвечая ему, я сделал вид, что речь идет о встрече с министром, которой советское посольство добивалось.

— Мне ничего не известно о вашем обращении, — услышал я. — Мне поручено лишь передать, что рейхсминистр Риббентроп просит, чтобы советские представители прибыли к нему немедленно.

Я сказал, что понадобится время, чтобы известить посла и подготовить машину. На это мне ответили:

— Личный автомобиль рейхсминистра уже находится у подъезда советского посольства. Министр надеется, что советские представители придут незамедлительно...

Выйдя из ворот особняка на Унтер ден Линден, мы увидели у тротуара черный «мерседес». За рулем сидел шофер в темном френче и в фуражке с большим

лакированным козырьком. Рядом с ним восседал офицер из эсэсовской дивизии «Тотенкопф». Тулью его фуражки украшала эмблема — череп с перекрещенными костями.

На тротуаре, ожидая нас, стоял чиновник протокольного отдела министерства иностранных дел в парадной форме. Он с подчеркнутой вежливостью распахнул перед нами дверцу. Посол и я в качестве переводчика на этой ответственной беседе сели на заднее сиденье, а чиновник устроился на откидной скамеечке. Машина помчалась по пустынной улице. Справа промелькнули Бранденбургские ворота. За ними восходящее солнце уже покрыло багрянцем свежую зелень Тиргартена. Все предвещало ясный, солнечный день...

Выехав на Вильгельмштрассе, мы издали увидели толпу у здания министерства иностранных дел. Хотя уже рассвело, подъезд с решетчатым навесом был ярко освещен прожекторами. Вокруг суетились фоторепортеры, кинооператоры, журналисты. Чиновник выскочил из машины первым и широко распахнул дверцу. Мы вышли, ослепленные светом юпитеров и вспышками магниевых ламп. Фоторепортеры и кинооператоры неотступно сопровождали нас. Они то и дело забегали вперед, щелкая затворами, когда мы поднимались по устланной толстым ковром лестнице на второй этаж. В апартаменты министра вел длинный коридор. Вдоль него стояли навтыяжку какие-то люди в форме. При нашем появлении они гулко щелкали каблуками и выбрасывали вверх руки. Наконец мы повернули направо и вошли в огромный кабинет министра. В одном углу в глубине его стоял письменный стол. В противоположном углу — круглый стол с грузной лампой под высоким абажуром. Вокруг в беспорядке стояло несколько кресел.

За письменным столом сидел Риббентроп в будничном министерском мундире зеленовато-серого цвета. Оглядевшись, мы увидели справа от входа группу чиновников. Когда мы проходили через зал, направляясь к Риббентропу, эти люди не двинулись с места. И на протяжении всей беседы они оставались там же. Нас отделяло довольно значительное расстояние, и они, по-видимому, даже и не слышали, что говорил Риббентроп.

Когда мы вплотную подошли к письменному столу, Риббентроп встал, молча кивнул головой, подал руку и пригласил последовать за ним в противоположный угол зала, за круглый стол. У Риббентропа было отекавшее, сизо-красное лицо, мутные глаза с воспаленными веками. Он шел впереди нас, опустив голову и немного пошатываясь. «Не пьян ли он?» — промелькнуло у меня в голове.

После того, как мы уселись за круглый стол и Риббентроп начал говорить, это предположение подтвердилось. Он, видимо, действительно основательно выпил.

Мы так и не смогли изложить наше заявление, текст которого захватили с собой. Риббентроп, повысив голос, сказал, что сейчас речь пойдет совсем о другом. Спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, он принялся довольно путано объяснять, что германское правительство, дескать, располагает данными относительно усиленной концентрации советских войск на германской границе. Делая вид, будто ему совершенно неизвестно то, что на протяжении последних недель советское посольство неоднократно обращало внимание германской стороны на вопиющие случаи нарушения границы Советского Союза немецкими солдатами и самолетами, Риббентроп заявил, что советские военнослужащие нарушали германскую границу и вторгались на германскую территорию, хотя таких фактов в действительности не было.

Далее Риббентроп пояснил, что он кратко излагает нам содержание меморандума Гитлера, текст которого он тут же нам вручил. Затем Риббентроп сказал, что создавшуюся ситуацию германское правительство рассматривает как угрозу для Германии в момент, когда она ведет не на жизнь, а на смерть войну с англосаксами. Все это, заявил Риббентроп, расценивается германским правительством и лично фюрером как намерение Советского Союза нанести удар в спину немецкому народу. Фюрер не мог терпеть такой угрозы и решил принять меры для

ограждения жизни и безопасности германской нации. Решение фюрера окончательное. Час назад германские войска перешли границу Советского Союза.

Затем Риббентроп принял уверять, что, мол, эти действия Германии отнюдь не агрессия, а лишь оборонительное мероприятие. После этого он встал и вытянулся во весь рост, стараясь придать себе торжественный вид. Но его голосу явно недоставало твердости и уверенности, когда он произнес последнюю фразу:

— Фюрер поручил мне официально объявить об этом оборонительном мероприятии...

Мы также встали. Разговор был окончен. Теперь мы знали, что снаряды уже рвутся на наших границах. Война была объявлена нам официально уже после свершившегося разбойничьего нападения. Тут уже нельзя было ничего изменить. Прежде чем уйти, советский посол сказал:

— Это наглая, ничем не спровоцированная агрессия. Вы еще пожалеете, что совершили нападение на Советский Союз. Вы еще за это жестоко поплатитесь...

Мы направились к выходу. И тут произошло неожиданное. Риббентроп то ропливо, засеменял за нами. Он стал скороговоркой, шепотком уверять, будто лично он был против этого решения фюрера. Он даже якобы отговаривал Гитлера от нападения на Советский Союз. Лично он, Риббентроп, считает это безумием. Но он ничего не мог поделать. Гитлер принял это решение, он никого не хотел слушать...

— Передайте в Москве, что я был против нападения, — услышали мы последние слова Риббентропа, когда уже выходили в коридор.

Снова защелкали затворы фотоаппаратов, зажужжали кинокамеры. На улице, где нас встретила толпа репортеров, ярко светило солнце. Мы подошли к черному лимузину, который все еще стоял у подъезда, ожидая нас.

По дороге в посольство мы молчали. Но мысль невольно возвращалась к сцене, только что разыгравшейся в кабинете нацистского министра. Почему он так нервничал, этот отпетый фашист? Ведь он, так же как и другие гитлеровские правители, был яростным врагом коммунизма и относился к нашей стране и к советским людям с патологической ненавистью. Куда девалась его наглая самоуверенность? Конечно, он лгал, уверяя, будто отговаривал Гитлера от нападения на Советский Союз. Но что все же означали его последние слова? Тогда у нас не могло быть ответа на этот вопрос. А теперь, вспоминая обо всем этом, начинаешь думать, что у Риббентропа в тот роковой момент, когда он официально объявлял о решении, приведшем в конечном итоге к гибели гитлеровского рейха, возможно, зародилось какое-то мрачное предчувствие... И не потому ли он принял тогда излишнюю дозу спиртного?

Подъехав к посольству, мы заметили, что здание усиленно охраняется. Вместо одного полицейского, обычно стоявшего у ворот, вдоль тротуара выстроилась теперь целая цепочка эсэсовцев.

В посольстве нас ждали с нетерпением. Пока там никто определенно не знал, зачем нас вызывал Риббентроп, но один признак заставил всех насторожиться: как только мы уехали на Вильгельмштрассе, связь посольства с внешним миром была прервана — ни один телефон не работал.

В шесть часов утра мы включили приемник, ожидая, что скажет Москва. Но все наши станции передали сперва урок гимнастики, затем пионерскую зорьку и наконец последние известия, начинавшиеся, как обычно, вестями с полей и сообщениями о достижениях передовиков труда. В голове бродили тревожные мысли: неужели в Москве не знали, что уже несколько часов, как началась война? Не были ли действия на границе расценены как пограничные стычки, хотя и более широкие по масштабу, чем те, какие происходили на протяжении последних недель?..

Поскольку телефонная связь не восстанавливалась и на разговор с Москвой нельзя было рассчитывать, решили отправить телеграфом сообщение о разговоре с Риббентропом. Дешпу поручили отвезти на главный почтамт одному из работников консульства на посольской машине с дипломатическим но-

мером. Это был наш большой ЗИС-101, который обычно использовался для поездок на официальные приемы. Машина выехала из ворот, но через пятнадцать минут работник консульства возвратился пешком один. Ему удалось вернуться лишь благодаря тому, что при нем была дипломатическая карточка. Их остановил какой-то патруль. Шофер и машина были взяты под арест.

В гараже посольства, помимо «зисов» и «эмков», был желтый малолитражный автомобиль «опель-олимпия». Решили воспользоваться им, чтобы, не привлекая внимания, добраться до почтамта и отправить телеграмму. Эту маленькую операцию разработали заранее. После того, как я сел за руль, ворота распахнулись, и юркий «опель» на полном ходу выскочил на улицу. Быстро оглянувшись, я вздохнул с облегчением: у здания посольства не было ни одной машины, а пешие эсэсовцы растерянно глядели мне вслед.

Телеграмму сдать сразу не удалось. На главном берлинском почтамте все служащие стояли у репродуктора, откуда доносились истерические выкрики Геббельса. Он говорил о том, будто большевики готовили немцам удар в спину, а фюрер, решив двинуть войска на Советский Союз, спас германскую нацию.

Я подозвал одного из чиновников и передал ему телеграмму. Посмотрев на адрес, он воскликнул:

— Да вы что, в Москву? Разве вы не слышали, что делается?..

Не вдаваясь в дискуссию, я попросил принять телеграмму и выписать квитанцию. Потом, вернувшись в Москву, мы узнали, что эта телеграмма так и не была доставлена по назначению. Но мы сделали все, что могли...

Повернув с Фридрихштрассе на Унтер ден Линден, я увидел, что около подъезда посольства стоят четыре военные машины защитного цвета. По-видимому, эсэсовцы уже сделали вывод из своей оплошности...

В зале на втором этаже несколько человек по-прежнему стояли у приемника. Но московское радио ни словом не упоминало о случившемся. Спустившись вниз, я увидел из окна кабинета, как по тротуару пробегают мальчишки, размахивая экстренными выпусками газет. Я вышел за ворота и, остановив одного из них, купил несколько изданий. Там уже были напечатаны первые фотографии с фронта: с болью в сердце мы разглядывали наших советских бойцов — раненых, убитых... В сводке германского командования сообщалось, что ночью немецкие самолеты бомбили Могилев, Львов, Ровно, Гродно и другие города. Было видно, что гитлеровская пропаганда пытается создать впечатление, будто война эта будет короткой прогулкой...

Снова и снова подходим к приемнику. Оттуда по-прежнему доносятся народная музыка и марши. Только в двенадцать часов по московскому времени мы услышали заявление Советского правительства:

— Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну... Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

...«Победа будет за нами»... «Наше дело правое»... Эти слова доносились с далекой родины к нам, оказавшимся в самом логове врага.

III

В логове врага

Сразу же после нашего возвращения с Вильгельмштрассе сотрудники посольства приступили к уничтожению секретной документации и шифров. С этим нельзя было медлить, так как в любой момент эсэсовцы, оцепившие здание, могли ворваться внутрь и захватить секретную переписку и архивы посольства. Консульские работники занялись уточнением списков советских граждан, находившихся в самой Германии и на территориях европейских стран, оккупированных гитлеровцами.

В первой половине дня 22 июня в посольство смогли добраться только те, кто имел дипломатические карточки, то есть, помимо дипломатов, находившихся в штате посольства, также и некоторые работники торгпредств. Заместитель торгпреда Кормилицын по дороге из дома заезжал в помещение торгпредства — оно находилось на Литценбургерштрассе, — но внутрь его не пустили. Здание торгпредства уже захватили гестаповцы. Он видел, как прямо на улицу они выбрасывают папки с документами. Из окна верхнего этажа валил черный дым. Там шифровальщик торгпредства Лагутин, забаррикадив дверь от ломившихся к нему эсэсовцев, сжигал шифры. Потом мы узнали, что, когда штурмовикам удалось наконец взломать стальную дверь, Лагутин уже успел все уничтожить. Задыхаясь от дыма, в полуобморочном состоянии он лежал на полу. Эсэсовцы его жестоко избili и уволокли в застенки. Только через несколько дней по настоянию посольства он был доставлен к нам — весь в кровоподтеках...

В тот же день, 22 июня, около двух часов дня в канцелярии посольства внезапно зазвонил телефон. Из протокольного отдела министерства иностранных дел сообщили, что впредь до решения вопроса о том, какая страна возьмет на себя защиту интересов Советского Союза в Германии, наше посольство должно выделить лицо для связи с Вильгельмштрассе. Мы сказали, что через минут пятнадцать — двадцать дадим ответ, и попросили разрешения вывезти из клуба советской колонии фильмы и часть библиотеки.

Поддерживать связь с Вильгельмштрассе было поручено мне, и об этом представителю протокольного отдела сообщили через полчаса, когда он снова позвонил в посольство.

Записав мое имя, чиновник германского МИДа сказал:

— В порядке исключения одному представителю посольства разрешается съездить в клуб и увезти то, что посольство считает нужным. Но это должно быть сделано до шести часов вечера. После этого всем находящимся в посольстве лицам категорически воспрещается выходить за пределы территории посольства. Представитель посольства, уполномоченный для связи с Вильгельмштрассе, может выезжать только для переговоров с министерством иностранных дел, каждый раз договариваясь об этом заранее, причем в сопровождении начальника охраны посольства — старшего лейтенанта войск СС Хейнемана. Через Хейнемана посольство в случае необходимости может связаться с министерством иностранных дел...

И он повесил трубку.

Как мы тут же выяснили, телефонная связь была односторонней: когда мы снимали трубку, аппарат по-прежнему безмолвствовал.

Поехать в клуб на посольской машине поручили мне. Мы уговорились, что, поскольку за один рейс удастся вывезти лишь ограниченное количество предметов, следует забрать прежде всего фильмы о Ленине — они были присланы нам из Москвы в апреле, ко дню рождения Владимира Ильича, — а также Собрание сочинений Ленина и некоторые другие работы классиков марксизма. Мы не хотели, чтобы гитлеровцы устроили из этих фильмов и книг костры.

Стоявший у здания клуба полицейский не был предупрежден о моем приезде и отказался меня пустить. Пришлось позвонить на Вильгельмштрассе. Напротив находилась небольшая лавочка, где торговали пивом, сигаретами и всякой мелочью. По пути в клуб мы часто заходили туда, чтобы выпить холодного «мюнхенского» и поболтать с хозяином лавочки, стариком Исидором. Тут я решил воспользоваться телефоном-автоматом. Исидор встретил меня очень приветливо и, понизив голос, сказал, что потрясен известием о нападении на Советский Союз.

— Теперь уж совершенно неизвестно, когда все это кончится. Мы действительно напобеждаемся до могилы, — проворчал Исидор, когда я, разменяв марку на мелочь, направился к телефонной будке.

Набрав номер протокольного отдела министерства иностранных дел, я пожаловался, что, несмотря на договоренность, не могу попасть в помещение клуба, поскольку охраняющий его полицейский не имеет на этот счет указаний.

— Сейчас мы примем меры, очень сожалеем, подождите около клуба, — ответили мне.

Подойдя к стойке, я заказал пива, и у нас с Исидором завязалась беседа, которая, конечно, все время вращалась вокруг войны и связанных с ней бедствий.

Спустя минут пятнадцать сквозь открытую дверь лавочки я увидел, как к подъезду на противоположной стороне улицы подъехал мотоцикл с коляской, в которой сидел эсэсовский офицер. Он что-то сказал полицейскому, и тот, перебежав улицу, зашел в лавочку Исидора и сообщил, что мне теперь можно войти. Тем временем эсэсовский офицер укатил на своем мотоцикле, а полицейский вошел в клуб вместе со мной. Сперва он стоял молча в стороне, наблюдая, как я складываю круглые металлические коробки с фильмами. Но когда я стал упаковывать книги, он, не сказав ни слова, принялся мне помогать: обвязывал стопки книг веревками и сносил их в машину. Я тоже ничего ему не говорил. Так молча мы работали довольно долго. Только когда я сел в машину и завел мотор, полицейский крикнул мне вслед:

— Желаю вам самого лучшего, товарищ...

Обернувшись, я помахал ему рукой. Эти две первые встречи с немцами после разбойничьего нападения гитлеровской Германии на Советский Союз — со старым Исидором и полицейским, караулившим клуб, — показались мне знаменательными. Ни у того, ни у другого не чувствовалось ни злобы, ни отчужденности. Видимо, антисоветская пропаганда Геббельса не на всех оказывала свое действие.

Когда я вернулся в посольство, стрелка часов приближалась к шести — успел вовремя! Двор посольства походил на цыганский табор. С узлами и чемоданами сюда съехались работники посольства с семьями. Вокруг сновали ребятишки. В жилом корпусе места всем не хватило. Многие разместились в служебных кабинетах. Но это была лишь небольшая часть советской колонии, о которой мы должны были позаботиться. По уточненным спискам оказалось, что вместе с членами семей в Германии и на оккупированных ею территориях находится более полутора тысяч советских граждан.

Спор на Вильгельмштрассе

На следующий день утром мне было предложено явиться на Вильгельмштрассе для предварительных переговоров. Об этом сообщил нам обер-лейтенант Хейнеман, который сопровождал меня в машине до министерства. Теперь главный подъезд здания министерства выглядел снова будничным. Принявший меня чиновник протокольного отдела заявил, что ему поручено обсудить вопрос о советских гражданах в Германии и на оккупированных территориях. Он уже подготовил список, который в основном совпадал с нашими данными, и сообщил, что все советские граждане интернированы. Однако, заявил чиновник, проблема заключается в том, что в настоящее время в Советском Союзе находится только сто двадцать германских граждан. Это главным образом сотрудники посольства и других германских учреждений в Москве.

— Германская сторона, — продолжал чиновник, — предлагает обменять этих лиц на такое же число советских граждан. Конкретные кандидатуры посольство может отобрать по своему усмотрению.

Я сразу же заявил решительный протест против подобного подхода к делу. Ведь именно тот факт, что в Советском Союзе осталось лишь сто двадцать германских граждан, тогда как здесь находится свыше полутора тысяч советских граждан, показывает, что не Советский Союз, как это сейчас твердит германская пропаганда, а Германия заранее готовилась к нападению на нашу страну. Решив начать войну против Советского Союза, германские власти позаботились о том, чтобы отправить из Советского Союза в Германию как можно больше своих граждан и членов их семей. Я сказал, что доложу о германском предложении отно-

сительного обмена, но уверен, что мы не тронемся с места, пока всем советским гражданам не будет предоставлена возможность вернуться на родину.

— Дискуссию на этот счет я вести не могу, — заявил чиновник протокольного отдела, — я лишь передал то, что мне было поручено. Должен также сказать, что германское правительство конфисковало в качестве военных трофеев все советские суда, оказавшиеся в германских портах.

Я поинтересовался, о каком числе кораблей идет речь.

— Точно не знаю, — ответил он и тут же, злорадно улыбаясь, добавил: — Кажется, в советских портах нет ни одного германского судна

Впоследствии, уже вернувшись в Москву, мы узнали, что 20 и 21 июня германские суда, стоявшие в советских портах, в срочном порядке, даже не закончив погрузки, ушли из советских территориальных вод. А у нас на это почему-то не обратили внимания и не дали соответствующего указания капитанам советских судов, находившихся в германских портах.

Реакция в нашем посольстве, когда стало известно о предложении гитлеровцев, была единодушной: мы решили категорически отклонить обмен на равное число лиц. При следующей встрече в министерстве мне было поручено заявить, что мы решительно настаиваем на том, чтобы всем советским гражданам было разрешено покинуть Германию. Лица, интернированные вне германской столицы, должны быть доставлены в Берлин и представлены нашему консулу.

Нас беспокоило только одно: как бы персонал германского посольства в Москве во главе с Шуленбургом не был еще до этого выпущен за пределы Советского Союза. Но связаться с Москвой мы не могли. На протяжении нескольких дней оставалось невыясненным, какая страна будет представлять интересы Советского Союза в Берлине. Между тем нельзя было терять времени, так как мы прекрасно понимали, какая трагическая судьба постигнет советских граждан, если им не удастся вернуться на родину вместе с дипломатическим составом посольства. Надо было найти пути, чтобы связаться с Москвой.

У некоторых из сотрудников посольства были среди немецких антифашистов хорошие друзья. Через них можно было передать информацию о создавшемся положении советскому посольству в какой-либо нейтральной стране. Но как это осуществить? Ведь теперь наше посольство было наглухо отрезано от внешнего мира. Ни одному человеку не разрешалось выйти за ворота. А за мной неотступно следовал обер-лейтенант Хейнеман, да и вообще я мог выезжать из здания посольства только по вызову с Вильгельмштрассе.

Мы долго ломали себе голову над тем, каким образом кто-либо из нас мог бы прорваться сквозь заслон эсэсовцев, окруживших здание посольства. Разведав обстановку, мы убедились, что попытка выбраться из посольства тайком, под покровом ночи, тоже не сулит успеха. К вечеру охрана усиливалась и фасад здания ярко освещался прожектором. За стеной дома, примыкавшего к нам с противоположной стороны, патрулировали эсэсовцы с овчарками. Но все же надо было найти какой-то выход...

Эсэсовский офицер помогает большевикам

Обер-лейтенант войск СС Хейнеман был уже немолодой человек, высокий и грузный. Он оказался на редкость разговорчивым. На второй день нашего знакомства я уже знал, что у него большая жена, что брат его состоит в охране имперской канцелярии, а сын Эрих заканчивает офицерскую школу, после чего должен отправиться на фронт: оказывается, это не очень-то устраивает Хейнемана и он просил брата пристроить молодого Хейнемана где-нибудь в тылу.

Такие высказывания эсэсовского офицера, да к тому же еще в разговоре с работником посольства в условиях войны несколько настораживали. Не хотел ли Хейнеман спровоцировать нас? А может быть, он в глубине души не относится к нам враждебно и — кто знает, — возможно, даже готов нам помочь? Во

всяком случае стоило к нему повнимательней присмотреться. Посоветовавшись, мы решили, что надо попытаться наладить «дружеские» отношения с Хейнеманом, проявляя при этом величайшую осторожность, так как любой неверный шаг мог бы лишь осложнить положение посольства и дать повод гитлеровцам для любой провокации.

Как-то вечером, когда Хейнеман, обойдя вверенные ему посты и зайдя в посольство, спросил, не хотим ли мы что-либо передать на Вильгельмпатрассе, я пригласил его отдохнуть в гостиной.

— Не согласитесь ли немного перекусить, — обратился я к Хейнеману, — за день вы, верно, устали, да и после обеда прошло много времени.

Хейнеман, у которого при виде приготовленного на столе угощения заблестели глаза, стал, однако, отказываться, ссылаясь на то, что это не положено при несении службы, но затем сказал, что, пожалуй, на несколько минут задержится и посидит со мной.

В тот вечер у нас завязалась довольно откровенная беседа. После нескольких рюмок Хейнеман стал рассказывать, что, по сведениям его брата, в имперской канцелярии Гитлера весьма озабочены тем неожиданным сопротивлением, на которое германские войска наталкиваются в Советском Союзе. Во многих местах советские солдаты обороняются до последнего патрона, а затем идут врукопашную. Нигде еще за годы этой войны германские войска не встречали такого отпора и не несли таких больших потерь. На Западе, продолжал Хейнеман, все обстояло совсем по-другому — там была не война, а прогулка. В России не то, и даже в имперской канцелярии кое-кто начинает задумываться над тем, стоило ли начинать войну против Советского Союза.

Это уже походило на оппозицию, чего никак нельзя было ожидать от эсэсовского офицера. Может быть, подумалось мне, Хейнеман не до конца отравлен нацистским фанатизмом?

Не скрывал мой собеседник и того, что в связи с сообщениями с восточного фронта его особенно беспокоила судьба сына.

— Если его отправят на восточный фронт, — несколько раз повторил Хейнеман, — мало шансов, что он выберется оттуда живым...

Еще не уверенный в Хейнемане, я молча слушал. Лишь когда он заговорил о своем сыне, я заметил, что этой войны могло бы вообще не быть и что тогда была бы сохранена жизнь не только его Эриху, но и многим другим немцам.

— Вы совершенно правы, — ответил Хейнеман, — зачем эта война?..

Вместо нескольких минут наш ужин продолжался около двух часов.

На следующий день я пригласил Хейнемана позавтракать. Мне хотелось выяснить, насколько он будет готов нам помочь. Нужно было лишь найти такой повод, который в случае отрицательной реакции можно было бы обратить в шутку.

Порассуждав по поводу сообщений с фронта, Хейнеман снова коснулся большой для него темы — о своем сыне.

— В ближайшие дни, — начал он, — Эрих закончит офицерскую школу, а по существующему в Германии обычаю мне придется за свой счет сшить ему парадную форму и приобрести личное оружие. А тут еще болезнь жены, пришлось истратить почти все сбережения...

Заговорив о деньгах, Хейнеман сам сделал первый шаг в нужном направлении. Я решил этим воспользоваться. Конечно, тут был немалый риск. Если Хейнеман понял, что мы хотим получить от него какую-то услугу, то, естественно, должен был возникнуть вопрос о вознаграждении. И он мог заговорить о деньгах, чтобы прощупать нас. Не провокация ли это? Ведь «попытка подкупа» начальника охраны советского посольства оказалась бы для гитлеровской пропаганды как нельзя кстати. Но решение надо было принимать немедленно. Такой случай мог больше не представиться, а нам необходимо было как можно скорее прорваться сквозь эсэсовский кордон.

— Я был бы рад вам помочь, господин Хейнеман,— заметил я небрежным тоном,— я довольно долго работаю в Берлине и откладывал деньги, чтобы купить радиолу. Но теперь это не имеет смысла и деньги все равно пропадут. Нам не разрешили ничего вывозить, кроме небольшой суммы на карманные расходы. Мне неловко вам делать такое предложение, но, если хотите, я могу вам дать тысячу марок...

Хейнеман пристально посмотрел на меня и промолчал. Видимо, он тоже думал над тем, стоит ли сделать следующий шаг. Я как ни в чем не бывало подлил в его рюмку коньяку и придвинул к нему серебряное ведро, в котором на льду лежала зернистая икра.

Помолчав еще несколько минут, Хейнеман сказал:

— Я очень благодарен за ваше предложение. Но как же я могу так, ни с того ни с сего, взять столь крупную сумму?

— Ведь я вам сказал, что деньги эти все равно пропадут. Вывезти их не разрешат. Их конфискует ваше правительство вместе с другими деньгами, имеющимися в посольстве. Для третьего рейха какая-то тысяча марок не имеет никакого значения, а вам она может пригодиться. Впрочем, решайте сами, мне в конце концов все равно, кому достанутся эти деньги...

Хейнеман закурил и, откинувшись на спинку кресла, несколько раз глубоко затахнул. Чувствовалось, что в нем происходит внутренняя борьба.

— Что ж, пожалуй, я соглашусь,— сказал он наконец.— Но вы понимаете, что ни одна живая душа не должна об этом знать!

— Это мои личные сбережения,— успокоил я Хейнемана.— Никто не знает, что они у меня есть. Я их вам передам — и дело с концом.

Я вынул бумажник и, отсчитав тысячу марок, положил их на стол. Хейнеман медленно вынул из заднего кармана брюк большое портмоне и, аккуратно расправив банкноты, спрятал их в одно из отделений.

Итак, еще один шаг сделан.

Хейнеман заговорил первый:

— Еще раз хочу поблагодарить вас за эту услугу. Я был бы рад, если бы имел возможность чем-либо помочь вам...

Можно было бы тут же воспользоваться этим предложением, но, подумав, я решил, что на сегодня хватит. Лучше сейчас не делать следующего шага, а просто закрепить завоеванные позиции.

— Мне ничего не нужно,— ответил я.— Вы просто мне симпатичны, и я рад вам помочь. Тем более что фактически мне это ничего не стоит: все равно воспользоваться деньгами я не могу.

Мы посидели еще немного, а когда Хейнеман стал прощаться, я пригласил его зайти днем, чтобы вместе пообедать.

В течение десяти дней нашей жизни в Берлине на положении интернированных посольство снабжал всем необходимым хозяин небольшой универсальной лавки, у которого мы и раньше покупали продукты. Флегматичный, толстый и ворчливый, он неизменно стоял за прилавком в своем засаленном фартуке. Теперь он каждое утро приезжал к нам на своем автофургоне в коричневой форме СА. Жены сотрудников посольства организовали кулинарную бригаду и под руководством повара Лакомова готовили завтраки, обеды и ужины для всех, кто оказался в посольстве. Но на этот раз Лакомов был всецело занят обедом для Хейнемана. К его приходу стол в небольшой гостиной на первом этаже был накрыт. Продукты, привезенные лавочником, дополняли русские закуски. Я был вполне готов не только хорошо угостить Хейнемана, но и сделать ему соответствующее предложение. Об этом мы заранее уговорились и разработали план действий. Когда за десертом Хейнеман вернулся к утреннему разговору и вновь высказал пожелание оказать мне какую-нибудь услугу, я ответил:

— Видите ли, господин Хейнеман, мне лично ничего не нужно. Но один из работников посольства, мой приятель, просил меня помочь ему в одном деле.

Дело это чисто личное. И я, кстати, даже ничего не обещал ему. Ведь он ничего не знает о наших отношениях, — успокоил я Хейнемана.

— А о чем идет речь? — поинтересовался Хейнеман. — Может быть, мы вместе подумаем, как помочь вашему приятелю.

— Он дружил тут с одной немецкой девушкой, а война началась так внезапно, что ему даже не удалось с ней попрощаться. Ему так хочется хоть на часок выбраться из посольства, чтобы увидеть ее в последний раз. Ведь вы сами понимаете, что означает война. Эти молодые люди, возможно, больше никогда не увидятся. Вот он и просил меня помочь. Но ведь нам строго запрещено покидать посольство.

— Надо все же подумать, — возразил Хейнеман.

Закурив сигарету, он задумался. Несколько минут молчал. Затем, как бы рассуждая вслух, сказал:

— Мои ребята, охраняющие посольство, знают, что я выезжаю вместе с вами, когда надо ехать на Вильгельмштрассе. Они уже привыкли к тому, что мы выезжаем вместе. Это для них обычное дело. Вряд ли они обратят внимание, если мы посадим сзади вашего товарища, выедем в город и где-либо высадим его, а затем через час подберем и возвратимся все вместе в посольство. Пожалуй, такой вариант вполне реален, как вы думаете?

Из соображений предосторожности я сперва принялся уверять Хейнемана, что ему нет смысла идти на риск из-за такого пустячного дела. В конце концов мой приятель как-нибудь смирится с тем, что не попрощался со своей девушкой. Но Хейнеман все более энергично настаивал на своем плане, и в конце концов я дал себя убедить в том, что эту «операцию» можно осуществить.

— Если все хорошо продумать и заранее подготовить, — убеждал меня Хейнеман, — то операция пройдет благополучно...

Конечно, полной уверенности в том, что эсэсовский обер-лейтенант искренне согласился помочь большевикам, у нас не было. Оказавшись с вами за воротами посольства, он запросто мог арестовать нас, препроводить в гестапо, и тогда поднялась бы шумиха вокруг «подкупа» офицера войск СС. Надо было по-прежнему проявлять осторожность, и, прощаясь с Хейнеманом, я сказал, что все еще не уверен, стоит ли осуществлять его предложение. Я пригласил обер-лейтенанта зайти вечером, чтобы вместе поужинать.

Когда Хейнеман ушел, мы стали совещаться: как быть? Ведь это был для нас большой риск. В то же время перед нами открывалась возможность через нейтралов связаться с Москвой. После долгой дискуссии и взвешивания всех «за» и «против» было все же решено пойти на это.

Ужин сервировали на троих: помимо меня, в нем участвовал атташе нашего посольства, которого и надо было вывезти за ворота посольства.

Обер-лейтенант Хейнеман был, как всегда, точен.

— Знакомьтесь, это мой друг Саша, о котором я вам говорил.

Они поздоровались, и Хейнеман сказал:

— Так это вас так обворожила наша девушка? Что же, я рад вам помочь...

Мы сели за стол. Хейнеман был в отличном расположении духа. Он много шутил, рассказывал о своем сыне, о том, как они до войны ездили на лето в Баварские Альпы, где весело проводили время. Хейнеман подтрунивал над Сашей, вспоминая о том, как после первой мировой войны он, оказавшись в плену во Франции, влюбился в одну француженку, а потом должен был с ней расстаться.

— Хотя я уже и не молод, — сказал Хейнеман, — но я понимаю, что для вас означает возможность еще раз увидеться с этой девушкой...

Условились, что проведем эту «операцию» на следующее утро в 11 часов, когда Хейнеман после обхода караула зайдет в посольство. Решили воспользоваться автомобилем «опель-олимпия», чтобы не привлекать к себе внимания на улицах Берлина. Хейнеман сказал, что заранее свяжется с министерством иностранных дел, чтобы выяснить, не собираются ли меня вызвать в утренние часы на Вильгельмштрассе. Все выглядело так, будто речь идет о невинном воскресном

пикнике. Может быть, Хейнеман и в самом деле поверил в нашу версию о девушке, а если нет, то он умело делал вид, что помогает устроить свидание влюбленных. Но у нас на душе все же скребли кошки. Мы распрощались с Хейнеманом поздно, все еще не будучи уверенными в том, как он поведет себя утром и что вообще принесет нам следующий день.

Окно на волю

Утром в назначенное время Хейнеман не появился. Это нас встревожило. Что будет, если Хейнеман нас спровоцировал или гестапо каким-то образом узнало о нашей с ним договоренности? Легко понять то нервное напряжение, в котором все мы находились, когда около двух часов дня у ворот раздался звонок. То был Хейнеман. Он извинился за опоздание: внезапно ухудшилось состояние здоровья его жены и он был вынужден задержаться дома. Зато он договорился с министерством иностранных дел о том, чтобы, учитывая его домашние дела, сегодня никаких встреч на Вильгельмштрассе не назначали. Таким образом, мы можем спокойно осуществить наш план.

Мы зашли в приемную, где уже был Саша, предложивший Хейнеману рюмку водки. Я отправился в гараж, выкатил к подъезду «опель». Хейнеман с трудом уместил свое грузное тело на переднем сиденье рядом со мной, к тому же ему мешал болтавшийся на боку длинный палаш. В конце концов, отстегнув пряжку, он бросил палаш на заднее сиденье, где уже находился Саша. Курьер охраны распахнул ворота. Хейнеман козырнул эсэсовцам, и мы оказались на воле. Посмотрев в зеркало, я убедился, что за нами никто не увязался.

Все эти дни мы ездили только в министерство иностранных дел. Чтобы не вызвать подозрения, я и на этот раз повернул влево у Бранденбургских ворот и проехал несколько кварталов по Вильгельмштрассе. Затем наш «опель» помчался дальше по берлинским улицам. Они производили странное впечатление. Было пасмурно, но тепло и сухо. Блестели зеркальные стекла витрин, не торопясь, шли прохожие, на углах продавали цветы, дамы прогуливали собак — как будто ничего не изменилось. И в то же время сознание того, что на востоке уже несколько дней бушует пожар войны, что мы находимся в стане нашего смертельного врага, налагало свою печать на казавшиеся мирными картинками жизни Берлина.

Мы заранее условились, что высадим Сашу у большого универсального магазина «КДВ» (Кауфхауз дес Вестенс). Там было легко затеряться в людском потоке. К тому же поблизости находился вход в «подземку». Спустя два часа мы должны были подобрать его в другом месте, у станции метро Ноллендорфплатц.

Когда машина остановилась, наш пассажир быстро вышел и тут же исчез в толпе. Мы сразу же двинулись дальше и долго кружили по улицам без всякой цели. Вспомнив, что у меня кончаются лезвия для безопасной бритвы, я подъехал к первому попавшемуся галантерейному магазину. Пока я выбирал лезвия, Хейнеман рассматривал роскошную кисточку для бритья.

— Вот это вещь! — с завистью сказал он. — Но приобрести ее могут только состоятельные люди...

Я предложил ему принять ее в подарок. Он не заставил себя уговаривать и, когда я расплатился, спрятал пакетик в карман кителя.

По Шарлоттенбургскому шоссе мы направились к знаменитому берлинскому «Функтурму» — радиомачте. Это излюбленное место для вечерних прогулок берлинцев, но днем здесь обычно пустынно, и мы решили тут скоротать время.

Сначала немного погуляли в парке, окружавшем радиомачту. В одном из его отдаленных уголков, около ящика для отходов, стояли две скамейки, выкрашенные в ядовито-желтый цвет. На спинках скамеек ярко выделялась черная буква «J» — первая буква слова «jude» (еврей). Как и во всех скверах и парках гитлеровской Германии, скамейки около мусорных ящиков были специально отведены

для евреев. Когда мы с Хейнеманом прошли мимо скорбной фигуры женщины в черном, сидевшей согнув спину и опустив голову на краешке одной из скамеек, меня передернуло.

— Я вас понимаю, — тихо сказал Хейнеман. — Хотите, я вам расскажу анекдот, который ходит сейчас в Берлине? — продолжал он, когда мы отошли подальше. — В вагоне метро сидит старушка с нашитой на груди желтой «звездой Давида». Рядом с ней место свободно. Входит немка с девочкой. Немка садится рядом со старухой, и та сразу же поднимается, чтобы уступить место арийскому ребенку. Девочка садится, но мать дергает ее за руку и заставляет встать. «Как ты смеешь, Мальвина, — возмущенно говорит она. — Ведь ты взобралась на место, где только что сидела еврейка»... Тогда поднимается сидящая напротив пожилой рабочий и садится на место, с которого встала старуха еврейка. Он усиленно ерзает задом по сиденью. Потом, встав, говорит, обращаясь к немке: «Прошу покорно, сударыня, теперь ваша дочка может сесть, ничего не опасаясь. Это место опять стало чисто арийским...» Это, кажется, даже не анекдот, а быль, — добавляет Хейнеман, улыбаясь.

Мы сели за столик на террасе летнего кафе, расположенного у подножья радиомачты. Теперь Хейнеман решил проявить ко мне внимание и заказал две кружки мюнхенского пива. Он почти все время молчал в машине после того, как мы выехали из посольства, — видимо, тоже нервничал. Но теперь к нему вернулась болтливость, и он без умолку рассказывал всякие забавные истории из своей школьной жизни. Я слушал его рассеянно, думая о том, все ли сложится благополучно у Саши.

Наконец настало время отправляться в условленное место. Подъезжая к Ноллендорфплатц, я уже издали увидел Сашу. Он стоял у витрины и, казалось, был всецело поглощен разложенными там товарами. Но краем глаза он следил за нами. Когда машина притормозила, он подошел к краю тротуара, непринужденно помахал нам рукой и не спеша забрался в машину. Если кто и наблюдал за ним, то должен был подумать, что произошла случайная встреча друзей. Усаживаясь на заднее сиденье, Саша крепко сжал мое плечо. У меня весело екнуло сердце — значит, его миссия увенчалась успехом.

— Ну как девушка? — спросил Хейнеман.

— Все в порядке, благодарю вас, она была очень рада меня увидеть, — последовал ответ.

Хейнеман стал отпускать какие-то шуточки, но мы его не слушали. Покружив немного по улицам, я подъехал к зданию посольства и коротко посигналил. Ворота открылись. Оказавшись во дворе, мы вздохнули с облегчением.

В посольстве уже был приготовлен ужин. Нам хотелось поскорее избавиться от Хейнемана, но все же пришлось посидеть с ним более часа. Нас охватила какая-то апатия. Давала себя знать разрядка после нервного напряжения.

Когда Хейнеман ушел, мы информировали посвященных. «Операция» прошла успешно: Саша передал по назначению короткое сообщение о сложившейся обстановке. Если не произойдет что-либо непредвиденное, то уже к вечеру наше послание будет в Москве. Но нам важно было знать это на верное, а также получить из Москвы подтверждение правильности нашей позиции. Поэтому было решено еще раз сделать вылазку, воспользовавшись лазейкой на волю, открытой для нас обер-лейтенантом Хейнеманом.

Тост за победу

На следующий день мы вместе с Сашей принимали Хейнемана. За завтраком он сообщил нам последние новости с фронта, циркулировавшие в имперской канцелярии и резко отличавшиеся от победных реляций немецких газет. Положение на советско-германском фронте складывалось совсем не так, как это изображала геббельсовская пропаганда. Советские части оказывали ожесточенное сопротивление. Многие укрепленные районы, в том числе Брестская крепость, продолжа-

ли стойко держаться, германские войска несли огромные потери. Все это, по словам Хейнемана, вызывает серьезную озабоченность в имперской канцелярии.

Затем разговор зашел о нашей вчерашней вылазке в город. Хейнеман шутил, спросил, не хочет ли Саша еще раз повидать свою приятельницу. Это нам только и было нужно.

— Конечно, хотел бы,— сказал Саша.— Но мне неловко снова утруждать вас...

Хейнеман заметил, что это, конечно, связано с риском, но еще разок, пожалуйста, можно.

— Если уж вы соглашаетесь,— сказал Саша,— то мне бы хотелось на этот раз иметь немного больше времени, скажем, часа три или четыре...

— Вижу, у вас, как говорят французы, аппетит приходит во время еды,— сказал Хейнеман.— Но я вас понимаю. Завтра воскресенье, министерство иностранных дел закрыто, туда не вызовут, и весь день в нашем распоряжении. Давайте выедем часов в десять и к обеду вернемся...

На следующее утро к назначенному часу «опель» уже стоял у ворот во внутреннем дворе посольства. Хейнеман пришел на десять минут раньше. Здороваясь с ним, я заметил, что у него на этот раз нет палаша. На широком поясе, стянутом поверх гимнастерки, была прикреплена кобура, из которой тускло поблескивала вороненая сталь ручки «вальтера». Мне стало не по себе. Снова возникли сомнения. Надо полагать, Хейнеман и раньше имел при себе пистолет, возможно, он держал его в кармане брюк, но я его никогда не видел. Теперь же он был на виду, его можно было достать легким движением руки. Это наводило на неприятные мысли. Что, если Хейнеман решил нас поймать «на месте преступления»? Что, если он, едва мы выедем за ворота, вытащит свой «вальтер» и прикажет ехать в гестапо? Я бросил быстрый взгляд на Сашу. Видно, он думал о том же. Как быть? Отказаться от поездки? **Надо как-то прощупать** Хейнемана, может быть, **он себя выдаст.**

— Что-то вы сегодня без палаша, а он вам очень идет,— заметил я, выдавливая из себя улыбку.

Хейнеман ответил сразу же, причем совершенно непринужденно:

— Видите ли, в прошлый раз я заметил, что палаш мне мешает в маленьком «опеле». Зная, что мы сегодня снова поедем, я решил оставить его дома. По уставу, если нет палаша, надо иметь на поясе пистолет...

Мы вышли во двор и расселись в машине в том же порядке, что и в прошлый раз.

Выехав за ворота, мы направились к метро на Уланштрассе. Там тоже всегда было людно. Я притормозил. Саша вышел из машины и исчез в «подземке». Здесь же мы должны были встретиться без четверти два. Времени было много, и мы решили выехать на кольцевую автостраду. Остановились в лесу и, немного погуляв, вернулись в город. Хейнеман предложил куда-нибудь зайти перекусить. Остановив машину у ресторана напротив Гедехтнискирхе, мы прошли в просторный зал сквозь блестящие вращающиеся двери и стали подбирать подходящий столик. Вдруг раздался возглас:

— Эй, Хейнеман! Иди сюда.

За большим круглым столом сидело шестеро офицеров-эсэсовцев. Стол был уставлен большими пивными кружками. Компания сидела долго, так как на краю стола возвышалась целая стопка картонных кружочков, которые подставляют под кружки и по которым официант в конце трапезы подсчитывает количество выпитого пива. Видно, эта компания хорошо знала Хейнемана. Эсэсовцы махали ему, приглашая за их столик. Что же делать? Не очень-то будет приятно, если обнаружится, что по Берлину разгуливает **интернированный советский гражданин. Но тут я услышал шепот Хейнемана:**

— **Я вас представлю как родственника жены из Мюнхена.** Вы работаете на военном заводе и потому не распространяетесь о делах. Вас зовут Курт Хюскер. Будьте осторожны. Пойдемте...

Мы подошли к столу, где эсэсовцы — кто поднявшись во весь рост, а кто только едва привстав со стула — приветствовали нас возгласами «Хайль Гитлер!». Хейнеман ответил им зычным голосом, а я пробормотал невнятное.

После того как Хейнеман представил меня, мы расселись и заказали всем по кружке пива. Разговор шел, конечно, о военных действиях на советско-германском фронте, о ночных налетах на Берлин, которые возобновила английская авиация. Эсэсовцы говорили об ожесточенных боях на советско-германском фронте, о сопротивлении, оказываемом советскими войсками, таком ожесточенном, какого немцы еще ни разу не встречали за всю войну. Я не сомневался, что знание языка, закрепленное за время работы в Германии, меня не подведет, и был благодарен Хейнеману за его выдумку насчет военного завода в Мюнхене. Это давало мне повод отмалчиваться. Во всяком случае никто из эсэсовцев не заподозрил, что я не тот, за кого себя выдаю.

Один из них произнес короткую речь во славу Великогермании, фюрера и немецкого оружия, закончив ее словами:

— За нашу победу...

Все встали. Я тоже поднялся с мыслью о победе, но о нашей победе над гитлеровцами. И, ставя кружку на стол, сказал:

— За нашу победу...

Хейнеман посмотрел на часы: пора ехать. Но нас никак не хотели отпустить. Мы выбрались только в два часа, и пришлось выжать из маленького «опеля» все, чтобы побыстрее добраться до Уланштрассе. Саша уже ждал нас. Он явно беспокоился, но снова пожал мне плечо, и я понял, что его вылазка и на этот раз прошла успешно. Мы без помехи вернулись в посольство...

Последняя встреча с Хейнеманом произошла 2 июля, в день, когда мы покинули Берлин. Прощаясь, он довольно откровенно дал понять, что догадывается о подлинном смысле наших поездок.

— Возможно, — сказал он, — когда-либо случится так, что мне придется сослаться на эту услугу, оказанную советскому посольству. Надеюсь, что это не будет забыто...

Что потом случилось с Хейнеманом, мне неизвестно. Может быть, он погиб на войне, а может, остался невредим и сейчас где-то доживает свой век. Может быть, он, как эсэсовский офицер, замятил себя кровью невинных жертв на оккупированных гитлеровцами территориях и теперь скрывается от руки правосудия или уже понес заслуженную кару. А может, сумел остаться в стороне от участия в зверствах гестапо — все может быть. Но справедливости ради надо сказать, что в те дни он, пусть и не вполне бескорыстно, оказал нам немалую услугу...

Рейс через оккупированную Европу

Теперь мы уже твердо настаивали на эвакуации всей советской колонии. Нажим, который продолжали на нас оказывать представители Вильгельмштрассе, ни к чему не приводил, так как мы знали: немецких дипломатов не выпустят из Москвы, пока наше требование не будет выполнено. Так проходили день за днем, а вопрос об эвакуации оставался открытым.

Когда в следующий раз меня вызвали на Вильгельмштрассе, я заметил, что чиновник протокольного отдела чем-то очень раздражен.

— Ну как, вы отобрали наконец тех, кому хотите дать возможность эвакуироваться? — спросил он резким тоном.

Я ответил отрицательно.

— Напрасно вы с этим тянете. Рейхсминистр Риббентроп очень недоволен. Мы не можем допустить дальнейших проволочек. К тому же мы заинтересованы в скорейшем выезде из Москвы персонала немецкого посольства...

«Ага, — подумал я, — значит, Шуленбург и его сотрудники не выехали из Москвы. И раздраженный тон риббентроповского чиновника — еще одно под-

тверждение того, что в Москве не собираются приступать к эвакуации германской колонии. Из всего этого можно сделать только один вывод: надо держаться твердо и настаивать на своем». И я спокойно ответил:

— Никого отбирать мы не собираемся. Наша позиция неизменна: всем советским гражданам должен быть разрешен выезд на родину. Ни на какую сделку мы в этом вопросе не пойдем, и если вы будете снова нас уговаривать, то зря потеряете время. Мы не тронемся с места, пока наше требование не будет выполнено...

Но мой собеседник вновь стал уверять, что германская сторона на это не согласится, что в Советский Союз должно быть возвращено столько же советских граждан, сколько германских граждан находится в настоящее время в Москве. Их там сто двадцать. Следовательно, из Берлина смогут выехать тоже только сто двадцать советских граждан. Их список советское посольство должно без промедления представить в министерство, и тогда можно будет договориться о деталях эвакуации.

Мне ничего не оставалось, как вновь повторить, что посольство придерживается своей точки зрения: все советские граждане должны вернуться на родину. Наша обязанность — позаботиться обо всех советских гражданах, и мы не собираемся бросить на произвол судьбы почти полторы тысячи человек. Все они находились здесь в служебных командировках в соответствии с советско-германскими соглашениями. Мы требуем отправить их на родину.

Каждый из нас еще раз повторил свои аргументы, но мы не продвинулись ни на шаг. Чиновник угрожал, что если посольство не согласится с германским требованием, то германские власти сами составят список из ста двадцати человек, подлежащих эвакуации, и найдут способ заставить нас подчиниться.

Тут я порекомендовал немцу не забывать о том, что соответствующие меры могут быть приняты и в отношении германских представителей, находящихся в Москве. Так мы и расстались, ни о чем не договорившись.

Возвращаясь после этого разговора, я думал о том, что дело может принять неприятный оборот и что нам нелегко будет добиться своего, особенно в условиях отсутствия постоянной связи с Москвой. Но в посольстве меня ждало приятное известие. Товарищи, слушавшие английское радио, узнали, что достигнута договоренность относительно того, что советские интересы в Германии будет представлять Швеция, а германские в Москве — Болгария. Любопытно, что чиновник протокольного отдела, безусловно уже знавший об этой договоренности, ни словом не обмолвился о ней. Может быть, он потому и оказывал на меня такое давление: ведь когда посредники приступят к своим обязанностям, нам будет легче настаивать на своем.

Шифры и вся секретная документация были уничтожены еще в первый день войны. По черному дыму, который валил тогда из труб нашего дома, несомненно, догадались об этом и германские власти. Тем не менее нельзя было исключить возможности нарушения экстерриториальности посольства и вторжения агентов гестапо. Поэтому мы всегда были начеку. Все работники посольства по очереди несли круглосуточное дежурство, ворота тщательно запирались изнутри, и когда у входа раздавался звонок, дежурный, прежде чем открывать дверь, смотрел из окошка привратника, нет ли чего подозрительного на улице.

Как-то ночью у ворот раздался звонок — настойчивый, непрекращающийся. Дежурный выглянул на улицу, но ничего не смог разглядеть. Он спросил: «Кто там?» Никто не ответил, а между тем звонок продолжал дребезжать. Мы стали совещаться, как поступить. Если открыть ворота — могут ворваться гитлеровцы. Не открывать — тоже невозможно. Непрекращающийся звонок переполошил всех. Во дворе посольства уже собралось много народа. Люди нервничали. Надо было что-то делать.

В конце концов мы все-таки решили приоткрыть калитку. Высунувшись в щелку на улицу, я увидел, что вокруг было пусто. Только у ворот, прислонившись к стене, дремал эсэсовец. Во сне он случайно нажал плечом на кнопку звонка. Я

тронул его за локоть. Звонок перестал звонить, как только эсэсовец выпрямился. Я указал ему на его оплошность и снова закрыл калитку.

Этот небольшой трагикомический эпизод характерен для атмосферы напряженности, в которой мы все находились в то время. Однако за все десять дней нашего пребывания в Берлине на положении интернированных гитлеровцы не спровоцировали против нас ни одного инцидента. Возможно, тут сыграло роль то, что германские дипломаты находились в Москве и нацисты опасались ответных мер.

Но всей этой сравнительной безопасностью пользовались, помимо дипломатического персонала, только те из советских работников, которые еще в первый день войны сумели укрыться в посольстве. С совсем по-иному гитлеровцы отнеслись к остальным советским гражданам в Германии и на оккупированных территориях. Но об этом мы узнали лишь через несколько дней.

Когда в посольство явился шведский представитель, мы вручили ему текст телеграммы для передачи в Москву. Там говорилось о предпринятых нами шагах с целью добиться стопроцентной эвакуации из Германии советских граждан. К вечеру был получен ответ. Нам сообщили, что мы поступили правильно, настаивая на возвращении всех советских граждан в обмен на немецкую колонию, находящуюся в Советском Союзе. Как мы узнали из переданных нам шведским представителем газет, уже на следующий день в нейтральной прессе появились весьма нелестные для Берлина сообщения о попытке немцев задержать часть советской колонии. Теперь уже гитлеровцам стало ясно, что придется уступить. В министерстве иностранных дел согласились наконец принять составленные посольством списки советских работников и членов их семей, интернированных в Германии и на оккупированных территориях: Нам сообщили также, что все они, включая и шофера, задержанного в первый день войны, будут в ближайшие день-два доставлены в район Берлина, где их сможет посетить советский консул в сопровождении шведского представителя.

Это обещание было выполнено. Всех интернированных мы увидели в лагере на окраине Берлина. Размещенные в бараках, окруженных колючей проволокой, они были голодны и плохо одеты — большей частью только в пижамах, в шлепанцах на ногах, а то и вовсе босые. В ночь на 22 июня гестаповцы повсюду вторгались в квартиры советских граждан, вытаскивая их прямо из постелей. Им не разрешили брать с собой никаких вещей. Под конвоем они сразу же были отправлены в концентрационный лагерь. Мы обеспечили интернированных советских граждан питанием, но экипировать их гитлеровцы не разрешили. Так, полуодетые, они и были погружены в общие сидячие вагоны поезда, который, как нас заверили немцы, должен был следовать за специальным составом с советскими дипломатами. Условия в поезде интернированных были очень тяжелые. Люди терпели неудобства прежде всего из-за страшной скученности. Один мог прилечь, только когда остальные трое, располагавшиеся на этой же скамейке, стояли. Питание было крайне скудное. Из-за отсутствия теплой одежды многие простудились: временами — особенно при переезде через Альпы — в вагонах было очень холодно.

При уточнении списков на месте мы обнаружили в лагере трех лишних людей — женщину и двух мужчин. Они не были зарегистрированы в нашем консульстве, их никто не знал, но все трое уверяли, что они — советские граждане и возвращаются на родину. Представитель Вильгельмштрассе также уверял, что эти трое работали в Голландии и якобы всегда были советскими гражданами и числились в немецких официальных списках советских граждан, подлежащих эвакуации. Несмотря на наши протесты, они так и остались среди интернированных советских граждан. Только потом выяснилось, зачем понадобились немцам эти люди: перед переездом нашей колонии через болгаро-турецкую границу все трое заявили, что отказываются вернуться в Советский Союз. Они, дескать, «избрали свободу» и решили остаться в третьем рейхе. Гитлеровская пропаганда подняла по этому поводу невероятный шум. Газеты и радио в подробностях расписывали,

как «три члена советской колонии» отказались вернуться в большевистскую Россию и просят политического убежища в германской империи.

По прибытии в Стамбул мы сделали специальное заявление и разоблачили эту очередную нацистскую провокацию. Мы также сообщили в Москву, что речь шла вовсе не о советских гражданах, а о каких-то подозрительных субъектах, которых гитлеровцы специально нам подсунули, чтобы затем инсценировать их «погоню за свободой».

Выезд советской колонии из Берлина был, по соглашению, достигнутому через посредничество шведов, назначен на 2 июля. Дипломаты и сотрудники посольства эвакуировались в нормальных условиях. Им был предоставлен специальный поезд из спальных вагонов с мягкими двухместными купе. Наш маршрут шел через Прагу, Вену, Белград, Софию.

Обмен осуществлялся в следующем порядке: советская колония должна была перейти из Болгарии в Турцию, а немецкая — из советского Закавказья также на турецкую территорию. Это должно было осуществиться одновременно и под наблюдением посредников. Но когда мы проехали Югославию и были уже на болгарской территории, представитель протокольного отдела германского МИДа барон фон Ботман (он, так же как и большая группа вооруженных эсэсовцев, сопровождал нас на всем пути) сообщил нам, что получил из Берлина указание производить обмен не на болгаро-турецкой, а на югославо-болгарской границе.

— Ведь Болгария, — сказал он, — не является оккупированной страной, она находится в союзе с Германией. Поэтому, переезжая в Болгарию, советская колония покидает контролируемую рейхом территорию. Поскольку, однако, поезд с германскими представителями, эвакуирующимися из Москвы, еще не прибыл на советско-турецкую границу, оба состава с советскими гражданами не будут следовать дальше. Их возвращают назад, в югославский город Ниш, где они будут находиться в ожидании дальнейших указаний...

Вскоре поезд остановился на каком-то полустанке, паровоз прицепили с противоположной стороны, и состав двинулся в обратном направлении. На подъездных путях всех станций к приходу нашего поезда выстраивались вооруженные эсэсовцы. Они же нас встретили и по прибытии в Ниш. Эсэсовцы в стальных шлемах и с автоматами в руках стояли лицом к поезду. А за их спиной югославские железнодорожники потихоньку приветствовали нас, помахая красными флажками...

В Нише наш состав загнали на один из запасных путей. Выходить из вагонов не разрешали. Вскоре мы узнали, что в Ниш прибыл и второй состав с советскими гражданами. Его пассажиров переправили в концентрационный лагерь, расположенный в помещении старой казармы. Только через несколько дней советскому консулу и еще двум сотрудникам посольства разрешили навестить интернированных в этом лагере. За пять дней пути люди еще больше похудели, одни были простужены, другие страдали от желудочных заболеваний. Никакой медицинской помощи им не оказывали. После наших настойчивых требований посольскому врачу разрешили посетить лагерь и осмотреть больных. Нам также удалось добиться некоторого улучшения питания интернированных.

Пробные шары барона Ботмана

В Нише нас особенно беспокоило отсутствие связи с Москвой. Поскольку в этом городе не было шведских представителей, мы не могли рассчитывать на их посредничество. Мы опасались, как бы по какому-либо недосмотру немецкая колония не была выпущена в Турцию. Она оказалась бы на нейтральной территории, тогда как мы при переезде из Югославии в Болгарию фактически по-прежнему оставались бы в руках гитлеровцев: Болгария, будучи в то время союзницей гитлеровской Германии, фактически находилась на положении оккупированной страны, там были размещены крупные контингенты германских войск.

Мне было поручено отправиться в вагон представителя протокольного отдела германского МИДа барона Ботмана и заявить ему протест против намерения немцев произвести обмен нашей колонии на югославо-болгарской границе. Мы потребовали также, чтобы к нам из Белграда или Софии был приглашен шведский представитель, через которого мы могли бы связаться с Москвой.

Барон Ботман — высокий, поджарый человек преклонного возраста, с моноклем в правом глазу — был чрезвычайно любезен. Выслушав меня, он сказал, что немедленно передаст наше заявление в Берлин и запросит новых инструкций. Что же касается шведского представителя, то организовать здесь с ним встречу вряд ли удастся. В Нише шведского представительства нет, и он не сможет сюда приехать из Белграда или Софии. Ботман также заявил, что он лично понимает наше беспокойство, но вынужден действовать в соответствии с полученными из Берлина инструкциями. Попросив меня немного задержаться, Ботман вынул из шкафчика бутылку рейнского и два бокала.

— Я давно искал возможности поговорить с вами, но все как-то не получалось; — сказал он, разливая вино. — Может быть, мы посидим немного? Все равно делать нечего...

Поскольку было ясно, что Ботман собирался мне что-то сообщить, я согласился задержаться. Стоило узнать, чем вызвана его необычная любезность. Начал он издалека. Говорил о трудностях и сложностях нашего путешествия, убеждал, что он лично всячески старается облегчить наше положение. Он охотно помог бы и тем интернированным советским гражданам, которые едут во втором эшелоне, но сталкивается с упорством эсэсовского офицера, который командует охраной. Поэтому ему не удалось пока что облегчить участь советских граждан, которые едут не в дипломатическом поезде.

Затем Ботман стал говорить о последних сообщениях с фронта и сказал, что германские войска встречают сильное сопротивление со стороны советских армий. Затем он спросил:

— Могу ли я быть с вами откровенным?

— Конечно, — ответил я.

— Я всегда считал, — сказал Ботман, — что и для Германии, и для России лучше жить в мире, чем воевать. Войны между нами всегда приносили выгоду лишь другим, а наши страны от этого только теряли...

Я сказал, что придерживаюсь такого же мнения и что Советское правительство делало все, чтобы предотвратить конфликт. Агрессию совершила Германия, и на нее ложится вся ответственность.

— Не будем сейчас спорить об ответственности, — возразил Ботман. — Я хотел вам сказать о другом. В Германии есть люди, причем весьма влиятельные, которые не хотят этой войны. Сейчас, когда на фронте идут ожесточенные бои, подобные рассуждения могут показаться странными. Но в конце концов надо смотреть не назад, а вперед и думать о том, что будет дальше. Может настать такой момент, когда для обеих сторон будет лучше прекратить военные действия и полюбовно договориться...

Я повторил, что Советский Союз не несет ответственности за происходящую сейчас войну. Германия напала на нашу страну. И нам ничего не остается, как дать ей отпор. Мы уверены, что победим в этой войне, а те, кто совершил нападение на Советский Союз, горько об этом пожалеют. Поэтому мне непонятно, о каком мирном урегулировании можно говорить сейчас.

— Я говорю о таком моменте, — продолжал Ботман, — который еще не наступил, но который может наступить. Вы заявляете, что уверены в победе. А фюрер считает, что быстро справится с Советским Союзом. В то же время в Германии есть влиятельные круги, которые думают по-иному: они полагают, что ни та, ни другая сторона не сможет одержать победу. Тогда наступит момент, и, возможно, это будет не так уж нескоро, когда обе стороны сочтут целесообразным мирно урегулировать конфликт на определенных условиях. Эти германские круги хотели бы, чтобы их точка зрения стала известна в Москве...

В ответ на эти рассуждения я сказал, что, как мне представляется, никакого

серьезного разговора на затронутую им тему быть не может, пока германские войска не покинут советскую территорию, а на это вряд ли сейчас можно рассчитывать. Так что разговор, который он затеял, мне кажется совершенно беспредметным. На том мы и расстались с Ботманом.

Но я, конечно, сообщил руководству о пробных шарах Ботмана, и по возвращении в Москву об этом было доложено правительству.

Разговоры с бароном Ботманом на эту тему происходили еще несколько раз за время нашего путешествия. Он вновь и вновь уверял, что не одобряет нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, и подчеркивал, что это не только его личное мнение, но и точка зрения влиятельных кругов в Берлине.

По-видимому, Ботман действительно выполнял поручение каких-то кругов в Германии. Иначе трудно объяснить те рискованные разговоры, которые он вел.

Тот факт, что уже в первые недели войны какие-то «влиятельные» немцы решили через барона Ботмана пустить эти пробные шары, мне представлялся весьма знаменательным.

* * *

Простояв в Нише несколько дней, мы наконец снова двинулись в путь. Гитлеровцам не удалось осуществить свой маневр. Им пришлось вернуться к первоначальному варианту обмена советской колонии на болгаро-турецкой границе. Детали этого обмена мы обсудили с шведскими представителями, пока наш поезд находился в Софии.

Затем наш состав двинулся в сторону Турции, к болгарскому пограничному городу Свиленграду. Здесь мы еще простояли два дня. Спустя сутки после нашего прибытия в Свиленград подошел второй состав с членами советской колонии. Мы вновь уточнили списки, после чего переправились на турецкую территорию. В городе Эдирне нас ожидали новые железнодорожные составы. Здесь же нас встречали представители советского посольства в Турции и консульства в Стамбуле. Советскую колонию приветствовал местный губернатор. Вечером он устроил прием в честь советских дипломатов. На следующее утро из Стамбула была доставлена одежда для тех, кто в ней нуждался.

Небольшая группа дипломатов в середине дня отправилась на машинах в Стамбул, а вся советская колония выехала туда поездом.

В Стамбул мы прибыли поздно вечером. Уже стемнело, улицы были пустыньны. Освещенные яркой луной, блестели минареты мечетей. Остановились мы в помещении советского консульства, здание которого окружено старинным парком.

Следующий день был посвящен последним формальностям, связанным с эвакуацией советских граждан на родину. В порту Стамбула стоял теплоход «Сванетия», который служил местом отдыха для прибывших из Германии советских граждан. Мы же — группа советских дипломатов — выехали поездом в Анкару, чтобы оттуда вылететь в Москву. Прежде чем сесть на ночной экспресс, нам надо было пересечь на катере Босфор. Заходящее солнце освещало воды пролива, окрашивая их в розовато-свинцовый цвет. Все было так мирно, спокойно, трудно было даже представить, что совсем недалеко отсюда на гигантском фронте от Черного до Баренцева моря бушует жестокая, кровопролитная война...



Академик И. М. МАЙСКИЙ

★

БОРЬБА ЗА ВТОРОЙ ФРОНТ*

Из записок посла

8

В своих военных мемуарах Черчилль пишет: «Так много говорилось о моей глубоко укоренившейся антипатии к крупным операциям на континенте, что очень важно в этом вопросе восстановить истину... Когда я пересчитываю число книг, ложно изображающих мою позицию по данному вопросу, я чувствую, что мне нужно привлечь внимание читателя к аутентичным и ответственным документам, составленным в то время, о котором идет речь»¹.

Что ж, последуем приглашению Черчилля, ознакомимся с документами, которые он приводит в мемуарах как доказательство своей «невиновности» в антипатии к второму фронту в Северной Франции.

Восемнадцатого декабря 1941 года, через одиннадцать дней после нападения Японии на Пирл-Харбор, Черчилль развил свой план ведения войны. В особом меморандуме он детально рассматривал шаги, которые Англия и США должны были предпринять в Атлантике и на Тихом океане, а затем, переходя к сухопутным операциям, набрасывал условия, при которых можно всерьез говорить об открытии второго фронта в Северной Франции. Условий этих было очень много. Вот они:

- 1) если действия англо-американцев на Тихом океане и в Атлантике будут успешны;
- 2) если британские острова останутся целыми и будут превосходно защищены от опасности вторжения;
- 3) если все побережье Африки от Дакара до Суэцкого канала и дальше — побережье Малой Азии вплоть до турецкой границы — окажется в англо-американских руках;
- 4) если Турция, хотя бы и не воюя, окончательно включится в англо-американо-советский фронт;
- 5) если Англия, США и СССР будут иметь в воздухе решительный перевес над врагом;
- 6) если позиции СССР будут надежно стабилизированы;
- 7) если англо-американские войска станут прочной ногой в Сицилии и Италии.

Вот если все это случится, тогда можно будет нанести врагу удар в Северной Франции, да и то не раньше лета 1943 года².

* Продолжение. Начало см в № 6 с. г.

¹ W. Churchill. The second world war, v. III, p. 581 (У. Черчилль. Вторая мировая война, т. III, стр. 581).

² Там же, стр. 582--584.

Невольно возникает мысль: странный способ доказывать свою «невиновность»! Ибо мыслимо ли было вообще одновременное совпадение всех указанных условий даже к лету 1943 года? По существу Черчилль отвергал второй фронт в Северной Франции и только вуалировал свой замысел нагромождением многочисленных предварительных условий.

После тщательного обсуждения в Вашингтоне меморандума Черчилля был выработан «американский план» ведения войны на ближайшие два года, который значительно отличался от британского. Сущность его сводилась к тому, что весной 1943 года должно последовать англо-американское вторжение в Северную Францию силами дивизий (в том числе девять механизированных), из которых тридцать дадут США и восемнадцать — Англия. Вторжение будет поддержано воздушным флотом в 5800 самолетов, из них 3250 американских и 2550 английских.

Американский план предусматривал еще одну вспомогательную операцию, получившую кодовое название «Большой молот», — а именно высадку осенью 1942 года на французском берегу Ла-Манша десанта в пять-шесть дивизий, но только в одном из двух случаев: если в Германии неожиданно обнаружится глубокий внутренний развал или если ситуация на советском фронте резко ухудшится¹.

Этот план, получивший в дальнейшем кодовое наименование «Оверлорд», начальник американского генштаба генерал Маршалл аргументировал так: первое большое наступление союзников должно произойти в Западной Европе; здесь такое наступление можно организовать быстрее, чем в каком-либо другом месте; здесь союзники могут обеспечить себе локальное превосходство в воздухе; здесь Англия и США легче, чем где бы то ни было, могут сконцентрировать необходимые сухопутные силы; здесь благодаря близости расстояния от базы наступления (Англии) до фронта потребуются меньше всего тоннажа; здесь США, Англия и СССР могут легче объединить свои усилия в совместном наступлении на общего врага; здесь наконец можно оказать максимум помощи СССР и облегчить положение на советском фронте.

Как видим, в аргументах Маршалла не было сентиментальности. Они носили строго деловой характер. Не случайно также оказание помощи СССР упоминалось здесь в последнюю очередь. План, выработанный американскими генералами, получил одобрение Рузвельта и был энергично поддержан Гопкинсом.

При сравнении меморандума Черчилля и американского плана становится ясным, что Рузвельт и Маршалл, хотя и отбросили некоторые из многочисленных «если» английского премьера и признали желательность операции «Оверлорд», все-таки сохранили главный тезис черчиллевского меморандума — а именно организацию второго фронта только в 1943 году.

Восьмого апреля 1942 года Гопкинс и Маршалл прибыли в Лондон и неделю вели с британскими представителями переговоры о выработке англо-американского плана ведения войны. Черчилль вначале рассыпался в комплиментах по адресу «американского плана» и заявил о своем полном согласии с ним, но в дальнейшем открыл против него систематическую кампанию саботажа.

Он пытался доказать, что наиболее неотложной задачей является не помощь СССР, а предупреждение смычки германских и японских сил на Среднем Востоке и что именно сюда в первую очередь должны быть брошены англо-американские армии. Так как, однако, это предложение британского премьера встретило сильную оппозицию со стороны не только американцев, но и части английских деятелей, то Черчиллю пришлось пойти на попятный и торжественно объявить, что «британское правительство и британский народ в полной мере и безоговорочно сделают свой вклад в успех великого предприятия», то есть вторжения союзников в Северную Францию. Это дало основание Гопкинсу послать Рузвельту вос-

¹ R. S h e r w o o d. The White House Papers of Harry Hopkins. London. 1949, vol. II, p. 523—524.

торженную телеграмму о том, что британское правительство в основном согласно с американскими предложениями¹.

Радость Гопкина была, однако, преждевременной. Заявление Черчилля, сделанное перед концом конференции, являлось с его стороны лишь лицемерным маневром.

Двадцать первого мая в Лондон прибыл нарком иностранных дел В. М. Молотов. Наряду с заключением англо-советского договора, о чем речь шла выше, его главной задачей было добиться открытия второго фронта в 1942 году. 22 мая между Черчиллем и Молотовым состоялся большой разговор на эту тему, во время которого я также присутствовал в кабинете британского премьера.

Кратко изложив положение на советском фронте, Молотов требовал скорейшей высадки в Северной Франции с тем, чтобы этим было отвлечено с советского фронта по крайней мере сорок германских дивизий.

Черчилль отвечал очень подробно, с множеством различных деталей и историко-философскими отступлениями, но суть того, что он сказал, была очень проста: Англия, даже вместе с США, в 1942 году не в состоянии организовать эффективный второй фронт в Северной Франции, так как еще нет для этого достаточного количества самолетов, десантных судов и всякого иного военного снаряжения. Все, что могут западные союзники сделать в 1942 году, — это усилить воздушные бомбардировки Германии, готовясь к вторжению в Северную Францию в 1943 году. Черчилль подкреплял свою позицию еще тем, что уже сейчас в Голландии, Бельгии, Франции, Норвегии, а также в Северной Африке сковано свыше сорока немецких дивизий: разве это не является существенным вкладом Англии в дело облегчения положения СССР?

Оставалась известная надежда на США, куда Молотов отправился из Лондона. 29 мая он прибыл в Вашингтон и имел беседы с президентом Рузвельтом по разным вопросам, но главным образом о втором фронте. Рузвельт оказался как будто бы более податливым, чем Черчилль, и в результате между американской и советской сторонами было согласовано коммюнике, в котором имела фраза: «При переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». На обратном пути из США в Москву Молотов еще раз остановился в Лондоне и продолжил переговоры с Черчиллем. Последний согласился внести в англо-советское коммюнике о визите Молотова в Англию ту же фразу о втором фронте в 1942 году, которая содержалась в американско-советском коммюнике. 12 июня 1942 года оба коммюнике были опубликованы в Москве, Лондоне и Вашингтоне. Однако в самый момент подписания англо-советского коммюнике Черчилль сунул Молотову в руку небольшой меморандум, в котором говорилось:

«Мы делаем приготовления к высадке на континенте в августе или сентябре 1942 года. Как уже указывалось, главным лимитирующим фактором в отношении размеров сил, которые будут высажены, является недостаток в нашем распоряжении десантных судов... Заранее нельзя сказать, окажется ли данная операция возможной, когда придет момент ее осуществления. Поэтому мы не можем дать обещания в этом деле. Однако, если такая операция будет признана нами разумной и правильной, мы без промедления реализуем ее на практике».

Достаточно было просмотреть меморандум там же, в кабинете Черчилля, чтобы понять: «Ну, значит, второго фронта в 1942 году не будет».

Молотов улетел в Москву, а я с удвоенным вниманием стал присматриваться к тому, что делалось вокруг. Созвал всех наших наиболее ответственных военных и торгпредских работников и, разъяснив им создавшуюся ситуацию, настоятельно просил следить за тем, ведут ли англичане подготовку к вторжению в Северную Францию осенью 1942 года. Такая операция не может быть импровизированной, она требует большой предварительной работы как в военной, так и в экономической областях и не может быть полностью секретной, проявления ее не-

¹ R. Sherwood. Vol. II, p. 542—543.

трудно наблюдать. К середине июля стало совершенно ясно, что британское правительство никакой подготовки к высадке крупного десанта на французском берегу не ведет. Затем сведения, полученные от товарищей, были проверены осторожными беседами с несколькими членами правительства. Конечный итог не мог подлежать ни малейшему сомнению. Он сводился к следующему.

1. Второго фронта в 1942 году не будет.

2. Снабжение СССР со стороны Англии и США будет сокращено (из-за трудности проводить северные конвои).

3. Возможны: северная операция (Петсамо и т. д.), десант на противоположном берегу Ла-Манша, о котором речь шла во время визита Молотова (но гарантировать его реализацию я не рискнул бы), усиление воздушных бомбардировок Германии и рейдов на французский берег (при наличии нашего серьезного нажима), переброска части британских воздушных сил с Среднего Востока на наш Южный фронт (особенно, если дела в Египте повернутся в благоприятную для англичан сторону).

Это значило, что в 1942 году мы должны были рассчитывать только на себя...

В таком духе я послал в середине июля телеграмму в Москву, не сомневаясь, что она вызовет взрыв крайнего и вполне законного раздражения у Сталина. (На этот раз, впрочем, недовольство Сталина ограничилось лишь незаслуженно грубым окриком в мой адрес по совсем другому поводу.)

Моя телеграмма о том, что в 1942 году второго фронта не будет, была более чем обоснованна. Не успели высохнуть чернила, которыми было подписано коммюнике 12 июня, как Англия стала готовить срыв второго фронта не только в 1942, но и в 1943 году.

Девятнадцатого июня, через неделю после опубликования этого коммюнике, в Вашингтон прибыл Черчилль со своими советниками. Он сразу же вручил Рузвельту меморандум, в котором заявлялось, что британский кабинет высказывается против операции «Оверлорд» в 1942 году по двум соображениям: он не верит в успех такой операции и считает, что попытка ее осуществления помешает реализации операции «Оверлорд» в 1943 году. Далее Черчилль ставил вопрос: могут ли США и Англия оставаться пассивными в течение тех двенадцати месяцев, которые отделяют их от начала «Оверлорда»? И отвечал: нет, не могут. И тут же предлагал изучить возможность военной операции, в дальнейшем получившей кодовое название «Факел» и имевшей целью завоевание французской Северной Африки. Стимсон и Маршалл возражали против «Факела», ибо осуществление его потребовало бы такого количества времени, сил и средств, что одновременная подготовка «Оверлорда» становилась просто невозможной; надо было выбирать между той или иной операцией.

Как раз во время этих переговоров пришла телеграмма с сообщением о падении Тобрука (20 июня). Черчилль весьма ловко раздул военно-политическое значение этого факта и создал в Америке впечатление, что надо принимать срочные меры, чтобы спасти положение в Северной Африке. Решимость Рузвельта была этим сильно поколеблена. 8 июля вернувшийся в Лондон Черчилль послал президенту США длинную телеграмму, существо которой будет ясно из следующего отрывка: «Ни один ответственный английский генерал, адмирал или маршал авиации не считает возможным рекомендовать «Оверлорд» в качестве практически осуществимой операции в 1942 году. Лично я уверен, что оккупация французской Северной Африки является лучшим способом облегчить положение на русском фронте в 1942 году».

Ситуация создавалась очень острая. Чтобы найти выход из затруднения, в Лондоне между 16 и 24 июля состоялось новое совещание английских и американских представителей. Основным вопросом было: «Факел» или «Оверлорд»? К 22 июля переговоры зашли в тупик. Тогда Гопкинс, который, по его собственному признанию, был «дьявольски обескуражен» решительным упорством англичан, апеллировал к Рузвельту.

Что же Рузвельт?

Рузвельт не сделал попытки спасти «американский план», принятый в апреле, он даже не обратился по этому поводу непосредственно к Черчиллю, а просто телеграфировал Гопкинсу и Маршаллу, что надо найти какие-либо другие наземные операции против немецких войск, в которых американские солдаты приняли бы активное участие обязательно в 1942 году. В качестве возможных «других операций» президент намечал в порядке убывающей желательности: наступление в Алжире или Марокко; «Факел»; военные действия в Северной Норвегии; поддержку британских операций в Египте; американские операции в Иране и на Кавказе. После таких директив Гопкинсу и Маршаллу было уже нетрудно договориться в Лондоне с англичанами: победу одержал Черчилль, и было решено, что в 1942 году англо-американцы проведут операцию «Факел».

Одновременно было заявлено, что подготовка к осуществлению «Оверлорда» весной 1943 года будет продолжаться, но это была уже ханжеская отписка.

Черчилль говорит в своих мемуарах: «Общее мнение американских военных... сводилось к тому, что решение в пользу «Факела» исключает всякую возможность крупной трансламаншской операции для оккупации Франции в 1943 году. Я еще не мог тогда согласиться с этим»¹. Но Черчилль здесь явно отступает от истины.

Английский фельдмаршал Монтгомери пишет в своих воспоминаниях: «Когда северо-африканский проект был одобрен, все понимали, что его стоимость в объединенных ресурсах будет означать не только отказ от всяких операций в Западной Европе в 1942 году, но также невозможность закончить подготовку сил в Англии для крупной трансламаншской атаки в 1943 году»².

Если это «все понимали», то можно ли допустить, что этого не понимал Черчилль?

Невольно возникает вопрос: чем объяснялось столь странное, казалось бы, поведение Рузвельта в англо-американских переговорах о втором фронте?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь более ясное представление о самой личности американского президента.

С Рузвельтом мне пришлось встретиться на Крымской конференции глав трех держав в феврале 1945 года и в течение почти десяти дней близко его наблюдать. Я имел с ним также несколько разговоров в кулуарах конференции. Суммируя свои тогдашние впечатления и все то, что мне случалось в разное время слышать и читать о нем, я составил себе такое общее представление.

Рузвельт являл собой своеобразную амальгаму очень крупного государственного деятеля (конечно, буржуазного толка) и типично американского «профессионального политика». У него был острый ум, широкий размах, громадная энергия — и вместе с тем излишне большая чувствительность к малейшим колебаниям американской политической биржи. По своему мировоззрению Рузвельт был заокеанским воплощением того, что в Европе именуется либералом (в этом отношении он сильно отличался от консерватора Черчилля), но под влиянием быстро меняющихся конъюнктур не раз допускал в своей карьере расхождение между словом и делом.

Как крупный государственный человек, Рузвельт видел гораздо дальше, чем более рядовые члены американского господствующего класса. Так, он понимал, что в обстановке тридцатых — сороковых годов XX столетия защита существующего строя требовала не совсем обычных средств, и он решительно применял их, нередко вызывая шумное сопротивление со стороны консервативных кругов заокеанской буржуазии. Вопреки их воле Рузвельт во время мирового кризиса 1929—1933 годов прибегал к мерам, выглядевшим весьма радикально. На это ловились в свое время многие лево настроенные люди. Помню, как в 1934 году Герберт Уэллс доказывал мне, что так называемый «новый курс» Рузвельта прокладывает

¹ W. Churchill. The second world war, v. IV, p. 581.

² Field-marshal Montgomery. Normandy to the Baltic. London, 1947, p. 1.

путь к социализму. На самом деле «новый курс» прокладывал путь к сращиванию монополий и государственного аппарата, отчего власть американского капитала только увеличивалась.

Буржуазная сущность Рузвельта ярко выявлялась и в области внешней политики. Он провозгласил в отношении латиноамериканских стран «политику доброго соседа», но на практике это вовсе не означало признание за ними равноправия, а лишь замену провозглашенной его тезкой президентом Теодором Рузвельтом (1901—1909) и пережившей себя «политики большой дубины» более гибкими путями финансово-экономического порядка.

Как либерал, Рузвельт был противником фашизма, особенно его военной агрессии в отношении других стран. В предвоенные годы он неоднократно и открыто выступал против Гитлера и Муссолини и даже призывал мир объявить «карантин» против агрессоров — и одновременно под нажимом «изоляционистов» он подписал в 1935 году пресловутый закон о нейтралитете, который являлся настоящим подарком для агрессоров, ибо этот закон запрещал американским гражданам продавать оружие воюющим государствам, независимо от того, кто агрессор, а кто жертва агрессии. Именно в силу этого закона США отказали Эфиопии в продаже оружия, когда на нее напал Муссолини. Точно так же в годы испанской войны 1936—1939 годов США поддерживали англо-французскую политику «невмешательства», являвшуюся лишь слегка завуалированной помощью генералу Франко, и решительно отказывались продавать оружие Испанской республике.

Конечно, Рузвельт, как крупный государственный деятель, раньше своих коллег понял опасность гитлеризма для мировых позиций США и сделал отсюда необходимые практические выводы — к сожалению, все-таки с опозданием. Он пошел даже на столь беспрецедентный акт, как участие в антигитлеровской коалиции вместе с Советским Союзом — этого ему до сих пор не могут простить американские мракобесы. Однако у Рузвельта не хватило решимости в предвоенные годы поддержать стремление СССР к созданию блока взаимопомощи против гитлеровской агрессии из Англии, Франции, США и Советского Союза, блока, который, если бы он осуществился, вообще предупредил бы войну.

Верен своей сущности Рузвельт оставался и в вопросе о втором фронте.

Выше говорилось, что «американский план» ведения войны (который с санкции президента был выдвинут Гопкинсом и Маршаллом на англо-американском совещании в апреле 1942 года) исходил из чисто военных соображений. Рузвельт считал врагом № 1 Германию и хотел ее разгромить прежде всего. Япония была для него врагом № 2, и, с точки зрения общей стратегии войны, это было правильно. Однако в США тогда имелась влиятельная группировка, возглавляемая командующим американскими военно-морскими силами адмиралом Кингом, которая считала, что врагом № 1 является Япония. Когда летом 1942 года благодаря сопротивлению Черчилля плану «Оверлорд» выяснилось, что потребуется двенадцать месяцев подготовительной работы, то есть двенадцать месяцев внешней пассивности на фронтах, Рузвельт испугался: а не использует ли группировка Кинга эту пассивность в своих интересах? Бороться против такой опасности он мог двумя путями: надо было или оказать сопротивление Черчиллю и добиться осуществления «Оверлорда» в 1942 году (что, учитывая разницу в соотношении сил между США и Англией, было, по моему мнению, вполне возможно), или же надо было, отказавшись от «Оверлорда» в 1942 году, поискать какого-либо другого фронта в Европе или Африке. Рузвельт выбрал второй путь.

Так получилось, что летом 1942 года в вопросе о втором фронте победу одержал Черчилль.

Черчилль не раз говорил:

— Врага надо всегда обманывать, широкую публику иногда можно обманывать для ее же пользы, но союзника никогда нельзя обманывать...

Сейчас, много лет спустя, перебирая в памяти все подробности борьбы вокруг открытия второго фронта в те далекие дни, я снова и снова задаю вопросом: как могли Рузвельт и Черчилль подписывать в июне коммюнике об открытии

второго фронта в 1942 году, зная, что накануне, в апреле, они решили организовать второй фронт только в 1943 году? Как могли они заверять нас в открытии второго фронта в 1943 году, когда они начинали операцию «Факел» осенью 1942 года?

Переговоры о втором фронте служат прекрасной иллюстрацией того, как буржуазные государственные люди не на словах, а на деле понимали свои обязанности по отношению к советскому союзнику в войне против фашизма.

9

С середины июля 1942 года немцы начали наступление на Сталинград. Германские успехи вызвали громадную тревогу в Советской стране и за ее пределами. В Англии вновь подняли голову всевозможные Кассандры, которые опять на все лады доказывали, что русские не смогут устоять, что это поражение окончательно подорвет силу их сопротивления и что, пожалуй, они могут начать переговоры с Германией о заключении сепаратного мира.

В такой обстановке невозможно было сидеть сложа руки. Все время я задавался вопросом, что сделать, чтобы прервать опасную летаргию, сковывающую сейчас британскую правящую верхушку, чтобы привести в движение не используемые здесь силы, чтобы облегчить нарождение второго фронта?

И вот к 21 июля надумал такой план:

1. Нужно крепко поставить перед Черчиллем вопрос о конвоях и втором фронте, подчеркнув, что наш народ не понимает пассивности Англии в такой грозный час и что если второго фронта в 1942 году не будет, то война может быть проиграна или, как минимум, СССР в дальнейшем не сможет принимать достаточно активного участия в борьбе.

2. После этого следует выступить в том же духе перед частным собранием депутатов парламента и перед редакторами лондонских газет.

Особое значение имело выступление перед парламентариями. До сих пор мы апеллировали к Англии через ее правительство, и результаты получались для нас мало благоприятные. Теперь мы обратимся к Англии через ее более широкий и представительный орган. Конечно, такой метод разговора несколько необычен (хотя прецеденты подобного рода сохранились в политической истории Британии) и мог создать дипломатические осложнения; однако момент был слишком грозный, и я решил рискнуть.

Этот план Москвой был принят, и 24 июля пришло послание Сталина (помеченное 23 июля), в котором очень резко ставился вопрос о конвоях, а по вопросу о втором фронте говорилось:

«...Боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер. Исходя из создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что Советское Правительство не может примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год»¹.

Послание Сталина было выдержано в несколько более мягких тонах, чем я ожидал, однако оно возымело сильный эффект. Когда я приехал к Черчиллю, чтобы вручить это послание, он был в плохом настроении. Как выяснилось из дальнейшего, он только что получил неутешительные вести из Египта... С горя Черчилль, видимо, немножко перехватил виски. Моментами у него как-то странно дергалась голова, и тогда чувствовалось, что, в сущности, он уже старик и что только страшное напряжение воли и сознания поддерживает Черчилля в состоянии дее- и боеспособности.

¹ «Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». М. 1957, т. I, стр. 54.

Послание Сталина произвело на премьера сильное впечатление. Он был подавлен и обижен (особенно обвинением в неисполнении взятых на себя обязательств). У него даже как будто бы мелькнула мысль о возможности выхода СССР из войны, потому что он совершенно неожиданно заявил:

— Что ж, мы уже были одни... Мы боролись... Надо удивляться, как это еще наш маленький остров устоял... Но...

— Бросьте думать об этом! — резко прервал я его. — Никому у нас в голову не приходит прекратить борьбу. Наш путь определен раз навсегда — борьба до конца. Однако надо ведь считаться с реальностью...

Черчилль успокоился, но долго еще доказывал, что он делает все возможное и что по вопросу о втором фронте остается в силе его меморандум, врученный Молотову при подписании коммюнике 12 июня.

Теперь нужно было осуществить вторую часть плана — выступить перед парламентариями. Англо-русский Парламентский Комитет взял на себя роль организатора 30 июля в одном из больших залов в здании парламента (но не в официальном зале заседаний палаты общин) в три часа дня состоялась моя встреча с депутатами.

Народу было до трехсот человек — факт еще небывалый в истории такого рода собраний, как заверяют «старожилы»¹. Председательствовал сэр Перси Харрис (либерал). Среди присутствующих было немало имен: Эллиот, Хор-Белиша, Мандер, Анейрин Беван, Эрскин Хилл и другие. Были также все три «плетки»². Но главное — за столом президиума сидел старик Ллойд-Джордж... Это «создало атмосферу», как выразился Сильвестер³.

Я начал с того, что в ходе войны «наступил чрезвычайно опасный момент, когда союзники должны искренно и честно, не боясь слов, обменяться мнениями и найти общими силами пути для спасения ситуации». Я вкратце описал ход операций на Сталинградском фронте и подчеркнул, что эти события имеют величайшее значение для всех союзников.

Чем объясняется такое неудовлетворительное положение вещей на германосоветском фронте?

Я отвечал:

— Позвольте сделать интересное сопоставление. В войне 1914—1918 годов Германия никогда не держала на русском фронте больше трети своих вооруженных сил, остальные две трети были прикованы к англо-французскому фронту. Вдобавок Германия того времени была просто Германией с небольшим числом союзников, которые были для нее скорее обузой, чем помощью. России тех лет также не приходилось беспокоиться о защите других частей своего государства. И тем не менее известно, какова была судьба России в первой мировой войне. Сейчас положение совсем иное. Россия наших дней — Союз Советских Социалистических Республик — вот уже второй год выдерживает давление восьмидесяти процентов всех германских вооруженных сил. Вдобавок она вынуждена охранять крупными воинскими соединениями некоторые другие границы своей территории. И дальше, с кем ведет войну нынешняя Россия? С Германией? Нет, не с одной Германией, а фактически со всей континентальной Европой! Слишком часто упускается из виду, что Германия контролирует судьбы и ресурсы свыше трехсот миллионов человек в оккупированных ею и так называемых союзных с ней странах. Конечно, внутри этих стран имеется оппозиция, нередко практикуется сабо-

¹ На обычных заседаниях палаты общин редко бывает больше ста депутатов. Только в «большие дни», по случаю каких-либо важных okazji, собирается триста—четыреста человек, если не предостоят голосование, от которого зависит судьба правительства. Если такое решающее голосование ожидается, каждая партия стремится привести на заседание по возможности всех своих членов. Кворум в палате общин — сорок депутатов при общем количестве их свыше шестисот.

² «Плеткой» (whip) в парламенте называются главные организаторы политических партий — консервативной, лейбористской и либеральной.

³ Главный секретарь Ллойд-Джорджа.

таж, но все-таки Советскому Союзу сейчас приходится вести борьбу против громадной концентрации силы, далеко превосходящей силы старой империи кайзера. Вот где лежит основная причина того, что в ходе войны наступил столь опасный момент!

Отсюда делался естественный вывод: чтобы выправить положение, чтобы выйти из зоны опасности не только для СССР, но и для всех союзников, необходимо создать в 1942-м, а не в 1943 году эффективный второй фронт во Франции. Необходимо создание единой стратегии всех союзников и немедленная мобилизация всех их ресурсов. Пора снять с советского народа хотя бы часть той непомерной тяжести, которую ему приходилось нести в течение минувших тринадцати месяцев¹.

Во время речи в зале царило напряженное молчание. Местами меня прерывали бурными аплодисментами — например, когда я сказал, что союзникам больше всего нужна единая стратегия. То же самое было, когда я заметил, что упование на громадные цифры потенциальных, а не мобилизованных ресурсов союзников является одной из самых опасных форм самоуспокоенности. Когда же я упомянул, что вопрос о втором фронте впервые был нами поставлен в июле 1941 года, по аудитории прошел точно ток.

Потом последовали вопросы. Их было много, и враждебных почти не было. Затем Ллойд-Джордж увел меня в свою комнату в парламенте. Пришла Меган². Было уже четверть пятого. Собрание продолжалось немногим больше часа. Подали чай. Мы пили и беседовали. Старик говорил, что за всю свою долгую парламентскую жизнь он не много запомнит собраний, подобных сегодняшнему — по количеству присутствующих, по напряженному вниманию аудитории, по впечатлению, произведенному на слушателей моим сообщением.

— Хорошо, что вы были «frank» («откровенны»), почти «brutal» («грубы»). Это подействовало... Вы пошли достаточно далеко и все-таки не переступили дипломатических рамок. От вас депутаты узнали правду. Правительство ведь их кормит сахарным сиропом...

— Но каков может быть практический результат?— спросил я.

Ллойд-Джордж пожал плечами. Сам-то он прекрасно понимал всю важность второго фронта именно в 1942 году...

Скептицизм Ллойд-Джорджа подтверждал мои опасения.

В половине первого ночи неожиданно раздался звонок от премьеры. Секретарь просил меня немедленно приехать на Даунинг-стрит, 10.

Я встревожился. Что случилось? Возможно, ночное приглашение к Черчиллю как-то связано с собранием в парламенте, но как? Я не сомневался с самого начала, что мое выступление перед депутатами вызовет неудовольствие и, возможно, даже раздражение в правительстве, в частности у Черчилля... Неужели премьер хочет высказать мне свое неодобрение? И неужели это такая неотложная вещь, чтобы звать посла в первом часу ночи?..

Когда я вошел в кабинет премьеры, Черчилль сидел за столом заседаний правительства. Он был в своем неизменном «костюме сирены», поверх которого был накинут пестро затканый черно-серый халат. Рядом сидел Иден в туфлях и зеленой бархатной куртке, которую он надевает дома по вечерам. Оба выглядели утомленными, но возбужденными.

— Вот посмотрите, стоит ли это чего-нибудь?— с усмешкой бросил Черчилль, протягивая мне какую-то бумажку.

Я быстро пробежал написанное на ней. Это был текст послания премьеры к Сталину, который начинался словами: «Я хотел бы, чтобы Вы пригласили меня встретиться с Вами лично в Астрахани, на Кавказе или в каком-либо другом под-

¹ Цитирую по сохранившемуся английскому тексту моей речи.

² Дочь Ллойд-Джорджа, депутат парламента.

ходящем месте. Мы могли бы совместно обсудить вопросы, связанные с войной, и в дружеском контакте принять совместные решения»¹.

— Конечно, стёбит, и стóбит многого!— откликнулся я по прочтении послания. Еще бы! Встреча Черчилля со Сталиным могла иметь большие последствия.

Я поинтересовался, поехал ли бы Черчилль в Москву, если бы Сталин не смог приехать на юг? Премьер заколебался, но дал понять, что в крайнем случае он согласился бы и на Москву.

Я обещал немедленно снести с моим правительством, так как Черчилль собирался 1 августа улететь в Каир — у него там были срочные дела — и уже отсюда продолжить путь в СССР...

Иден провожал меня до двери.

О собрании в парламенте ни он, ни Черчилль не обмолвились ни звуком. И все-таки у меня осталось неясное ощущение, что послание Черчилля каким-то образом связано с этим собранием.

Послание Черчилля в ту же ночь ушло в Москву, а 1 августа уже был получен ответ Сталина, который я немедленно же передал премьер-министру. В нем Сталин официально приглашал Черчилля приехать в Москву в удобное для него время «для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитлера, угроза со стороны которого в отношении Англии, США и СССР теперь достигла особой силы»².

10

Итак, вопрос о свидании Черчилля со Сталиным был решен. Началось практическое осуществление согласованного шага. Иден мне сообщил: Черчилль надеется, что я буду его сопровождать во время поездки в Москву. Мне самому это очень хотелось — так интересно было бы участвовать в столь знаменательном историческом событии,— однако Москва предложила мне оставаться в Лондоне. То была явная демонстрация недовольствия Советского правительства поведением Англии в вопросе о втором фронте. Иден и Черчилль так это и поняли.

Тройственная коалиция, несмотря на все трудности и разочарования, должна была оставаться основой нашей военно-политической стратегии. Я отправил в Москву длинную телеграмму, в которой подробно описывал темперамент, манеры, вкусы, навыки британского премьера и, в частности, подчеркивал, что, помимо официальных переговоров, он любит беседы на самые разнообразные темы «в частном порядке» и во время таких бесед склонен устанавливать более близкие взаимопонимание и контакты со своими партнерами. Как будет ясно из дальнейшего, положение, возникшее во время встречи Черчилля и Сталина, в последнем счете было спасено именно такой «частной беседой».

Вспоминая сейчас обстоятельства поездки Черчилля в Москву, я хочу лучше понять мотивы, толкнувшие его на столь необычный шаг. В своих мемуарах он писал:

«Мы все были озабочены реакцией советского правительства на неприятное, хотя и неизбежное сообщение о том, что в 1942 году мы не сможем развернуть операций по ту сторону Ла-Манша».

В переводе на более простой язык это означало, что англо-американцы опасались, как бы это разочарование, вызванное их отказом создать второй фронт в 1942 году, не внесло слишком глубокого раскола в коалицию и не повело в конечном счете к сепаратному миру между СССР и Германией. Правильность моей интерпретации вышеприведенной фразы, в сущности, подтверждает сам Черчилль. Не случайно в своей телеграмме британскому военному кабинету от 14 августа, посланной из Москвы, он, между прочим, говорит: «На протяжении всех переговоров не было ни одного, даже самого легкого намека на то,

¹ «Переписка». т. I, стр. 55.

² Там же, стр. 56.

что они (то есть Советское правительство. — *И. М.*) могут прекратить войну». А в своем отчете Рузвельту и военному кабинету от 16—17 августа Черчилль суммирует свои выводы так: «В общем и целом я очень доволен своим визитом в Москву. Я не сомневаюсь, что, если бы мои неприятные сообщения не были доведены до советских руководителей мною лично, результатом было бы очень серьезное расхождение между сторонами».

Однако была еще одна существенная причина, которая побудила Черчилля проявить инициативу и искать свидания со Сталиным (да еще в столь необычной форме: «Я хотел бы, чтобы Вы пригласили меня»). Британский премьер ничего не говорит об этой причине в своих мемуарах, но тем не менее она была весьма реальна и настоятельна.

События на советско-германском фронте находили широкий и сочувственный отклик в Англии, исходящий из двух источников — эмоционального и политического.

Британский народ был восхищен героизмом советских армий и советского народа, стоявших насмерть против страшного врага. Повсюду с величайшим вниманием следили за каждым событием на советско-германском фронте, с волнением гадали о конечном исходе гигантской битвы. Радио по многу раз в день сообщало фронтовые сводки, дополняя их комментариями военных обозревателей. Советских людей в Лондоне — работников посольства, торгпредства, нашей военной миссии — засыпали бесчисленными вопросами, но их суть по существу сводилась к вопросу всех вопросов: устоите вы или не устоите?

Помню, в конце июня 1942 года отмечалась первая годовщина нападения Гитлера на Советский Союз. Правящая Англия, Сити выражали нам симпатию и сочувствие — но «в меру». Так же вела себя и большая пресса, которая в основном отражала их настроение. Зато массы, широчайшие массы, дали волю своей горячности, своему энтузиазму. По всей стране прокатилась волна больших митингов, посвященных проблеме второго фронта. Я присутствовал в качестве почетного гостя на десяти тысячном митинге в «Эмпресс Холл» в Лондоне, где главным оратором был левый лейборист и тогдашний член военного кабинета Стаффорд Криппс. Самые шумные аплодисменты он сорвал там, где дал понять, что Англия готовит второй фронт в 1942 году. По настроению, по выступлениям, по оглашенным телеграммам митинг был изумительный. Приветствие пришло даже от архиепископа Кентерберийского.

В других городах было то же самое. В качестве почетных гостей отправились в провинцию на митинги все ответственные работники посольства — в частности, мой заместитель, советник К. В. Новиков, в Бирмингем, где должен был выступать лорд Бивербрук. Этот митинг был особенно удачен: он происходил под открытым небом и собрал свыше пятидесяти тысяч человек. Бивербрук резко ставил вопрос о втором фронте. Митинг встретил это громовыми рукоплесканиями.

Но, пожалуй, еще характернее был такой эпизод. Председатель митинга — бирмингемский лорд-мэр Типтафт — во вступительном слове, между прочим, бросил:

— Вот говорят о коммунизме... Да если бы сейчас провести у нас голосование по этому вопросу, большинство страны, пожалуй, оказалось бы в коммунистах!

Митинг откликнулся громовыми криками «Да! Да!» и покрыл слова лорд-мэра бурными аплодисментами.

Разумеется, слова Типтафта приходилось понимать далеко не буквально, но все-таки... Какова же должна была быть общественная атмосфера, чтобы с подобным заявлением выступил лорд-мэр Бирмингема, твердыни металлургических компаний и гнезда чемберленовцев!

Такие настроения держались и позднее. Так, 12 августа в Глазго состоялся большой митинг под открытым небом, на котором свыше двадцати тысяч человек потребовали безотлагательного открытия второго фронта. Того же требовали многие британские тред-юнионы — горняки Южного Уэльса, машиностроители Лондо-

на, текстильщики Ланкашира и другие. 25 октября пятьдесят тысяч человек, собравшихся на митинг на Трафальгарской площади в Лондоне, потребовали от правительства немедленной организации второго фронта.

Чрезвычайно характерны были также сценки, ежедневно происходившие в самых обыкновенных английских «пабах» (пивных), так охотно посещаемых английскими рабочими. Друзья и товарищи попивают, перешучиваются, толкуют о всяких текущих делах. Но вот подходит момент, когда объявляются военные новости. Все вдруг замолкают и настораживаются. Включается радио. Сообщается сводка с советско-германского фронта... Люди с напряженным вниманием, насупившись, слушают ее. Потом радио сразу выключают — остальной информацией никто не интересуется. Те англичане, которых в Англии именуют «человек с улицы», не посвященные в тайны «высокой политики», здоровым массовым чутьем улавливали все историческое значение битвы на Волге как решающего момента в ходе второй мировой войны.

Одновременно широкая кампания в пользу открытия второго фронта развертывалась за океаном. В начале августа по городам США прокатилась волна массовых митингов с этим требованием (в Нью-Йорке присутствовало семьдесят пять тысяч, в Детройте — двадцать тысяч и т. д.). Те же требования выдвинули съезд профсоюза автомобильной промышленности (10 августа) и съезд Конгресса производственных профсоюзов США (15 ноября), а также ряд отдельных американских профорганизаций. На скорейшем открытии второго фронта энергично настаивали многие общественные организации и видные политические и культурные деятели страны.

Особенно показательным было поведение республиканского кандидата в президенты Уэнделла Уилки. В качестве личного представителя Рузвельта он побывал в конце сентября 1942 года в Москве и в интервью корреспонденту «Известий» заявил, что, по его мнению, наиболее эффективным способом, каким можно выиграть войну, оказывая помощь Советскому Союзу, является установление Соединенными Штатами вместе с Великобританией «подлинного второго фронта в Европе и в кратчайший срок, какой одобряют наши военные руководители». По возвращении в Вашингтон Уэнделл Уилки в интервью американской печати 14 октября еще раз подтвердил свое московское заявление.

В такой обстановке мое выступление 30 июля перед многочисленным собранием парламентариев, а главное, то сочувствие, с которым оно было встречено столь ответственной аудиторией, показали Черчиллю, что требование скорейшего открытия второго фронта становится популярным уже в таких кругах, с которыми ему необходимо серьезно считаться. Надо было срочно принять меры для успокоения взволнованных умов, для предупреждения дальнейшего роста советофильской волны, которая могла поставить под угрозу военную политику правительства. Поездка премьера в Москву, встреча и переговоры его со Сталиным являлись прекрасным «горчичником» для отвлечения общественных страстей от лозунга: «Второй фронт немедленно!» Этот мотив в дополнение к другим выше охарактеризованным сыграл, как мне кажется, немалую роль в решении военного кабинета санкционировать визит премьера в Москву.

На следующий день, 31 июля, состоялась важная беседа с руководителями наиболее крупных английских газет. Поскольку эта встреча с парламентариями носила «закрытый характер», нельзя было дать сведения о ней в печать. Чтобы обойти эту трудность, я пригласил в посольство главных редакторов лондонской прессы и по существу повторил перед ними речь, произнесенную накануне в здании палаты общин. Несколько позднее, уже в сентябре, я имел большую беседу на тему о втором фронте в 1942 году с группой лондонских корреспондентов американских газет. Эта встреча также имела полезные для нас последствия¹.

¹ В работе Вудворда «Британская внешняя политика во второй мировой войне» (Sir Llewelin Woodward. British foreign policy in the second world war. London. 1962) имеется следующий абзац: «Русская пропаганда в пользу второго фронта продолжалась, и мистер Майский неоднократно указывал мистеру Идену, что русская армия и русский

Возвратимся, однако, к поездке Черчилля в Москву. Хотя я в ней не участвовал и никаких личных воспоминаний о ней у меня быть не могло, необходимо все-таки хотя бы вкратце напомнить об ее истории.

Первая встреча Черчилля и Сталина состоялась 12 августа. (Присутствовал здесь и Гарриман в качестве представителя Рузвельта.) Она продолжалась четыре часа. Настроение у всех присутствующих было крайне напряженное. Да и неудивительно: Черчилль подробно обосновывал причины, побудившие англо-американцев отказаться от устройства второго фронта в 1942 году. Его аргументы, как и следовало ожидать, не убедили Сталина, который в ответ заявил, что англо-американцы, видимо, просто боятся схватиться лицом к лицу с германской армией. Черчилля это задело, и он стал доказывать, что русские, как люди «сухопутные», плохо понимают всю сложность и трудность морских десантов. Соглашения между сторонами не произошло, и каждая осталась при своем мнении.

Тринадцатого августа Сталин вручил британскому премьеру меморандум, в котором говорилось: «В результате обмена мнений в Москве, имевшего место 12 августа с. г., я установил, что Премьер-Министр Великобритании г. Черчилль считает невозможной организацию второго фронта в Европе в 1942 году».

Указав далее, что открытие второго фронта в 1942 году было предусмотрено англо-советским коммюнике от 12 июня 1942 года, что советское командование строило план своих летних и осенних операций в расчете на наличие второго фронта и что отказ от создания его наносит моральный удар всей советской общественности, осложняет положение Красной Армии и выполнение планов советского командования, меморандум продолжал:

«Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом худших сил. Неизвестно, будет ли представлять 1943 год такие же благоприятные условия для создания второго фронта, как 1942 год... Но мне, к сожалению, не удалось убедить в этом господина Премьер-Министра Великобритании, а г. Гарриман, представитель Президента США при переговорах в Москве, целиком поддержал господина Премьер-Министра»¹.

Четырнадцатого августа Черчилль ответил Сталину своим контрмеморандумом, в котором заявил, что единственным возможным в 1942 году вторым фронтом является операция «Факел». После обмена такими документами атмосфера, конечно, не могла быть особенно теплой. Даже большой официальный обед, устроенный для английских гостей в Кремле, со множеством тостов и добрых пожеланий оказался не в состоянии согреть атмосферу. Расставание грозило произойти на острой дисгармонии, если бы в самый последний момент Сталин не вспомнил о любви британского премьера к беседам «в частном порядке». 15 августа вечером он пригласил Черчилля к себе на квартиру выпить по рюмочке. Оба премьера просидели за этой «рюмочкой» почти всю ночь с 15-го на 16-е, чуть не до самого момента отлета Черчилля из Москвы. Деловые разговоры — о конвоях, о коммюнике и другие — здесь причудливо перемешивались с беседами на самые разнообразные философско-исторические и личные темы.

На обратном пути из Москвы в Англию премьер еще раз задержался на несколько дней на Среднем Востоке и вернулся домой лишь в конце августа.

народ имеют все основания ожидать второго фронта в 1942 году. Сам мистер Майский, как то стало известно Форейн-оффису, старался убедить редакторов лондонских газет оказать соответственное воздействие на правительство. Форейн-оффис, однако, считал (как то бывало и раньше) наиболее целесообразным не обращать внимания на эти действия мистера Майского, пока они не выйдут целиком за пределы того, что допустимо для посла. 18 сентября Иден увидел себя вынужденным поговорить с мистером Майским об его встрече с американскими журналистами, во время которой он утверждал, что второй фронт в 1942 году не только необходим, но и «вполне возможен». Объяснения мистера Майского не удвлекли Идена» (стр. 198—199).

¹ «Переписка», т. I, стр. 58—59.

Почти целый месяц демократические элементы страны, бурно требовавшие немедленного открытия второго фронта, жили в ожидании, что главы обоих правительств договорятся по столь важному вопросу. Вскоре по приезде Черчилля английская пропаганда стала широко популяризовать следующие слова коммюнике, которым был закончен визит британского премьера в СССР:

«Эту справедливую освободительную войну оба правительства исполнены решимости вести со всей силой и энергией до полного уничтожения гитлеризма и всякой подобной тирании. Беседы, происходившие в атмосфере сердечности и полной откровенности, дали возможность еще раз констатировать наличие тесного сотрудничества и взаимопонимания между Советским Союзом, Великобританией и США в полном соответствии с существующими между ними союзными отношениями»¹.

Эти слова толковались сторонниками Черчилля как свидетельство того, что между СССР и Англией теперь нет никаких расхождений и по второму фронту. Наше посольство давало необходимые коррективы к этой тенденциозной интерпретации. Тем не менее в сознание широких масс были внесены путаница и смятение, и борьба за немедленное открытие второго фронта потеряла часть своей энергии. Поездка Черчилля в Москву облегчила британскому правительству маневрирование в течение ближайших двух-трех месяцев. А там пришла великая битва на Волге, которая явилась переломным моментом в ходе всей второй мировой войны.

11

Отношения между союзниками летом и осенью 1942 года, помимо вопроса о втором фронте, сильно портила еще обострившаяся как раз тогда проблема конвоев.

Первого октября 1941 года в Москве было подписано соглашение о поставке США и Англией различного рода военного снабжения Советскому Союзу. Содержание этого соглашения (то есть количество, качество, номенклатура) было, с советской точки зрения, в общем удовлетворительным, однако его реализация упиралась прежде всего в проблему транспорта. Из Англии и США имелись два возможных пути в СССР — северный, на Мурманск и Архангельск, и южный, через Иран². Первый был короче и доставлял грузы к головным пунктам сравнительно развитой сети железных дорог. Второй был гораздо длиннее и доставлял грузы к головному участку железной дороги с малой пропускной способностью. Естественно, что и англичане и американцы первоначально использовали до максимума северный путь. В течение четырех-пяти месяцев после подписания соглашения (по март 1942 года) все снабжение СССР из Великобритании и США шло через Мурманск и Архангельск. Обычно караваны торговых судов составлялись в Исландии или поблизости от нее и затем, под охраной военных судов — одних британских или британских и американских, — направлялись в два северных советских порта, где разгружались и после небольшого отдыха тем же путем возвращались назад. Темнота, господствующая в столь высоких широтах зимой, сильно облегчала проведение этих морских операций. К тому же немцы, слишком занятые блокадой Англии, тогда еще не успели выделить необходимые силы для перехвата снабжения СССР из западных стран. В результате конвои в первые месяцы почти не имели потерь и трансиранский путь использовался очень мало.

Но с марта 1942 года положение стало меняться. В норвежском порту Нарвике немцы устроили базу своего надводного и подводного флота, суда которого начали бороздить воды Баренцева моря в районе Нордкапа и Мурманска. В Нар-

¹ «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны». М., т. I, 1944, стр. 269.

² Был еще третий путь — через Владивосток, которым могли бы пользоваться США, но, во-первых, он был неудобен, так как требовал транспортировки грузов через всю Сибирь, а во-вторых, спустя полгода после нападения Германии на СССР он прервался в связи с вступлением Японии в войну.

вике же появились знаменитый линкор «Тирпиц» (40 тысяч тонн) и крейсера «Шеер» (13 тысяч тонн) и «Хиппер» (13 тысяч тонн). В районе Нордкапа, на норвежской земле, была создана мощная воздушная база. Немцы открыли систематический и жестокий поход против шедших в СССР конвоев. Излюбленным местом для нападений стал сравнительно узкий проход между Нордкапом и островом Медвежьим (около 350 км). Охота на конвой обычно производилась средствами авиации и подводного флота. Однако в резерве находились крупные надводные суда, которые имели большой психологический эффект. В силу указанных перемен проведение англо-американских караванов в Мурманск и Архангельск стало превращаться во все более сложную операцию, тем более что как раз в это время полярная ночь стала сменяться бесконечным полярным днем.

Первого марта 1942 года из Исландии вышел очередной караван в СССР. Это был, употребляя кодовое наименование, PQ-12. Он имел собственную охрану из английских военных судов, а сверх того его прикрывали основные силы британского флота во главе с линкором «Король Георг V» и авианосцем «Викториос». Как сообщало британское адмиралтейство, руководителем которого в это время был адмирал сэр Дадли Паунд, «Тирпиц» вышел из Западного Фиорда, в котором он укрывался, и намеревался перехватить PQ-12. Однако он был замечен английской подводной лодкой, и 9 марта авианосец «Викториос» обрушился на него с воздушными торпедами. «Тирпиц» сумел избежать повреждений, но вынужден был вернуться не солоно хлебавши в Западный Фиорд. В конечном счете PQ-12 добрался до своей цели без всяких потерь.

Гораздо хуже вышло со следующими четырьмя конвоями, проходившими зону опасности в апреле и мае 1942 года. PQ-13 подвергся сильной атаке со стороны германской авиации и эсминцев и потерял пять судов из девятнадцати. Кроме того, погиб английский крейсер «Тринидад», находившийся в охране каравана. PQ-14 севернее Исландии был затерт тяжелыми льдами, в результате из его двадцати трех судов четырнадцати пришлось вернуться в Исландию, одно судно погибло и только восемь пришли в советский порт. В PQ-15 и 16 насчитывалось шестьдесят судов, из них десять стали жертвой немецких атак. С ними погиб и британский крейсер «Эдинбург», участвовавший в охране каравана.

Разумеется, война есть война, и надо было считать нормальным, что транспортная военная снабжения в СССР не может обойтись без потерь; задача состояла в том, чтобы свести эти потери к минимуму. Однако Черчилль пошел по иному пути. Мы знаем уже, что весной и летом 1942 года он вел отчаянную борьбу против немедленного открытия второго фронта в Северной Франции, — борьбу, в которой Рузвельт вначале пытался ему сопротивляться, но потом спавал. Черчилль не ограничился этим. В апреле 1942 года, ссылаясь на потери, понесенные PQ-13 (пять судов из девятнадцати), он начал поход против посылки в СССР конвоев — по крайней мере на весь период полярного дня, то есть почти на полгода, и это в то время, когда Советский Союз стоял накануне большого германского наступления, закончившегося, как известно, у Сталинграда!

Черчилль совещался по данному поводу с Рузвельтом. Американский президент первоначально решительно возражал против намерения британского премьера, подчеркивая опасность политического эффекта, который произведет подобный шаг в Советской стране. Одновременно Сталин в послании от 6 мая обратился к Черчиллю с настоятельной просьбой продвинуть в СССР в течение мая девяносто судов, скопившихся в тот момент в портах Исландии. Британский премьер вынужден был временно отступить, и в мае были отправлены еще три конвоя (PQ-14, 15 и 16). Но печальная судьба следующего конвоя PQ-17 дала Черчиллю повод вновь поднять шум о временном прекращении конвоев и в конце концов настоять на своем.

В PQ-17 было тридцать четыре торговых судна, и он отплыл из Исландии 27 июня. Охрана состояла из шести эсминцев, двух подводных лодок, двух судов с противовоздушной защитой и одиннадцати других судов меньшего значения. Прикрытие состояло из двух английских, двух американских крейсеров и трех

эсминцев под командой адмирала Гамильтона. Девять британских и две советских подлодки крейсировали вдоль норвежского берега на случай появления «Тирпица». Дальше к западу под командой адмирала Тovej находились главные военноморские силы, включавшие английский линкор «Герцог Йоркский» и американский линкор «Вашингтон», авианосец «Викториос», три крейсера и флотилию эсминцев. Как видим, в районе прохождения PQ-17 была сконцентрирована мощная армада, способная сокрушить не один «Тирпиц». И что же произошло?

Черчилль, крайне заинтересованный в том, чтобы обелить британское правительство, в своих мемуарах так изображает ход событий: тяжелые льды заставили конвой пройти севернее острова Медвежий; адмиралтейство дало адмиралу Гамильтону инструкцию, которая запрещала его крейсерам продвигаться к востоку от этого острова, «если только конвою не будут угрожать надводные суда такой мощи, что он не будет в состоянии вести против них борьбу»; адмирал Тovej с главными силами находился в ста пятидесяти милях к северо-западу от острова Медвежий, имея своей главной задачей атаковать «Тирпиц», если он появится. 1 июля немцы нащупали конвой и 4 июля примерно в ста пятидесяти милях к востоку от острова Медвежий потопили четыре судна; адмирал Гамильтон со своими крейсерами еще продолжал держаться поблизости от конвоя; в это время были получены сведения о том, что 3 июля «Тирпиц» вышел из Тронхейма, но куда именно он направился — оставалось неясным; адмиралтейство считало, что «Тирпиц» ставит своей задачей разгромить конвой и что он достигнет его к вечеру 4 июля. Так как крейсера адмирала Гамильтона против «Тирпица» были бессильны, то, по мнению адмиралтейства, единственной мерой для спасения хотя бы части конвоя являлось его спешное рассредоточение; поэтому 4 июля вечером адмиралтейство под личную ответственность своего главы, начальника военно-морского штаба адмирала Паунда, отдало адмиралу Гамильтону приказ: 1) крейсера на полной скорости отправить на запад, 2) конвою рассредоточиться и самостоятельно идти в советские порты. Адмирал Гамильтон действовал со стремительностью и усердием, даже излишним: он не только сразу же направил крейсера на запад, но приказал сделать то же самое эсминцам и другим судам, сопровождавшим караван; таким образом этот караван, состоявший из тихоходов в шесть-семь узлов в час, был брошен военными судами на произвол судьбы в самый критический момент. «Тирпиц» на сцене так и не появился, но зато немецкие подводные лодки и самолеты с яростью накнулись на беззащитные транспорты. Результат понятен: двадцать три судна из тридцати четырех погибли, остальные после величайших усилий и страданий добрались в конце концов до советских портов круглым путем (некоторые через Новую Землю).

Так выглядит эта возмутительная история даже в явно пристрастном изложении Черчилля¹. Понимая, что поведение адмиралтейства дает серьезные основания для обвинений против адмирала Паунда, премьер пытался найти «смягчающие вину обстоятельства». Он пишет, что решение начальника военно-морского штаба отозвать эскадру крейсеров под командой адмирала Гамильтона из района прохождения конвоя объяснялось боязнью, как бы в столкновении с «Тирпицем» не погибли два американских судна, входивших в состав этой эскадры, что могло бы иметь неблагоприятные политические последствия. Отзыв же эсминцев и других судов из охраны каравана, который Черчилль считает неправильным, он объясняет самочинными действиями адмирала Гамильтона, за которые Паунд не несет ответственности. Однако никакие оговорки не могут существенно изменить оценку истории с PQ-17, как одного из крупнейших провалов военно-морских сил Великобритании в ходе второй мировой войны.

Естественно, что разгром этого каравана вызвал очень резкую реакцию со стороны СССР. 18 июля Черчилль уведомил Сталина о судьбе PQ-17 и, подробно изложив все трудности проведения северных конвоев в период полярного дня,

¹ W. Churchill. The second world war, v. IV, p. 234—238.

сообщил, что британское и американское правительства пришли к выводу о нецелесообразности посылки в ближайшее время в СССР PQ-18. Вместо этого Черчилль обещал всемерно усилить снабжение СССР трансиранским путем. 23 июля Сталин весьма резко ответил Черчиллю, что «приказ Английского Адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорты и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым». Далее Сталин указывал, что подвоз через иранские порты никак не может компенсировать прекращение северных конвоев и что «в обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и потерь»¹.

Очень отрицательную оценку всего происшедшего высказывали наше посольство и советская военная миссия в Лондоне. Все мы, и руководитель миссии адмирал Н. М. Харламов, и наши ближайшие сотрудники не скрывали своего негодования в разговорах с английскими политиками, журналистами, моряками, военными. В конце концов в столице создалась такая атмосфера, что Черчилль увидел себя вынужденным как-то реагировать. Он поручил Идену устроить совещание из представителей адмиралтейства и советской стороны с тем, чтобы адмирал Паунд разъяснил нам мотивы своих действий и убедил нас в их обоснованности. Такое совещание действительно состоялось 28 июля в кабинете Идена в парламенте. С английской стороны на нем присутствовали Иден, Александер (морской министр) и адмирал Паунд, с советской — я, адмирал Н. М. Харламов и его помощник Н. Г. Морозовский.

Настроение на совещании было очень напряженное, и это сразу же отразилось на происходивших за столом прениях.

Иден предложил, чтобы первое слово было предоставлено Паунду для объяснения всего происшедшего. Однако, прежде чем Паунд успел произнести хотя бы слово, я сказал:

— Вопрос стоит так: когда может быть отправлен ближайший конвой? Было бы желательно получить от адмирала Паунда ответ на этот вопрос.

Паунду такая постановка вопроса была явно не по вкусу. Поэтому он прикинулся казанской сиротой и заявил, что в последнем послании премьера к Сталину (от 18 июля) было предложено отправить в Советский Союз одного из высших офицеров воздушного флота как раз для сохранения возможности конвоев, но, к сожалению, в ответе Сталина (от 23 июля) данный пункт «остался без всякой реакции». А между тем он имеет исключительное значение: возможность конвоев, по мнению Паунда, целиком зависит от возможности... «сделать Баренцево море опасным для «Тирпица»... Надо иметь в районе Мурманска сильную воздушную охрану».

Было ясно, что посылка офицера — это лишь предлог для того, чтобы оттянуть время, поэтому я предложил Паунду сказать сейчас, на сегодняшнем заседании, сколько, по его мнению, нужно иметь в районе Мурманска самолетов и какого типа для того, чтобы сделать Баренцево море опасным для «Тирпица». Я сразу протелеграфирую это в Москву, через два-три дня буду иметь ответ, все окажется улаженным и конвой можно будет отправлять без промедления.

Паунду мое предложение не понравилось, и он продолжал настаивать на посылке английского офицера. Я возразил, что в Москве имеется британская военная миссия, во главе которой стоит адмирал Майлс, у него имеется помощник, воздушный вице-маршал Кольер, — почему бы Паунду не использовать их для получения необходимых ему сведений? Но Паунд отверг и это предложение. Ему обязательно нужно было послать в СССР специального человека: иначе нельзя было создать проволочки. Тогда я сделал еще одно предложение: пусть Паунд посылает в Москву своего человека, но не будем ставить в зависимость от этого отправку ближайшего конвоя. Для установления же даты такой отправки используем телеграф — я по своей линии, а Паунд по своей линии.

¹ «Переписка», т. I, стр. 54.

Паунд все-таки продолжал упорствовать и что-то ворчал себе под нос. Это меня взорвало, и я с раздражением воскликнул:

— Прошу вас, адмирал, сказать, сколько все-таки самолетов надо иметь в Мурманске? Или вы не знаете?

Это задело адмирала, и он, покраснев, хмуро ответил:

— Надо шесть эскадрилий бомбардировщиков и четыре эскадрильи торпедоносцев.

— Очень хорошо, — откликнулся я, — сегодня же я запрошу свое правительство, и после получения его ответа можно будет уже окончательно фиксировать дату ближайшего конвоя...

Иден поддержал предложенный мной метод выяснения вопроса, Александер не возражал. Паунду скрепя сердце пришлось примириться...

Теперь, когда вопрос о PQ-18 был исчерпан, мы перешли к PQ-17. Харламов как моряк считал нужным серьезно поговорить с Паундом о наилучшем методе проведения конвоев через опасную зону. Речь неизбежно зашла о причинах разгрома последнего конвоя, и Харламов в тактичных, но достаточно определенных выражениях заявил, что в данном случае британским адмиралтейством была допущена ошибка. Основа этой ошибки состояла в том, что «Тирпиц», если бы он даже вышел из фьорда, в котором находился, все равно не мог нагнать конвоя, так как расстояние от фьорда до конвоя было слишком велико. Стало быть, не было оснований отзывать крейсера, а тем менее эсминцы.

Паунд слушал Харламова с явным нетерпением. Лицо Паунда все больше покрывалось краской. Весь вид его говорил: «Яйца курицу не учат! Ха! Какой-то зеленый советский адмирал хочет давать советы мне, британскому адмиралу! Не выйдет!»

— Как допущена ошибка? — вдруг взорвался Паунд. — Этот приказ давал я! Я! А что другое надо было сделать?..

Тут вмешался Александер и произнес горячую речь с апологией Паунда и адмиралтейства...

— Никто не отрицает больших заслуг британского флота в этой войне, но... но даже английские адмиралы не безгрешны, — ответил я.

Паунд еще более вскипел и с раздражением бросил:

— Завтра же я буду просить премьер-министра, чтобы он назначил вас вместо меня командовать британским флотом!

Я рассмеялся и сказал, что не претендую на столь высокую честь. По лицу Паунда продолжали ходить красные пятна.

Вмешался Иден и стал просить «обе стороны» не поддаваться излишнему волнению. Погом он прибавил:

— Итак, посол запросит свое правительство, а дальше мы посмотрим, что делать.

На этом совещание кончилось.

Дня через два я встретился с Ванситартом и рассказал ему о PQ-17 и о заседании у Идена. Он не без ехидства заметил:

— Чему вы удивляетесь? Кто такой Паунд? Трус и лентяй... Если ему нужно предпринять какое-либо действие, он найдет десять аргументов за то, чтобы от него воздержаться... А то вдруг, не дай боже, что-нибудь выйдет не так... Это качество Паунда хорошо известно на флоте. Вы знаете, какая у него кличка «на нижней палубе», как говорят моряки? «Do'nt do it, Dudley!» («Не делай этого, Дадли!»)... Здесь весь Паунд.

Протесты из Москвы, протесты со стороны советских представителей в Лондоне, отрицательное отношение Рузвельта к прекращению северных конвоев возымели свое действие, и в начале сентября из Исландии в СССР вышел PQ-18 в составе сорока судов. На этот раз охрана каравана была реорганизована: помимо общего прикрытия главными силами военно-морского флота, его сопровождали шестнадцать эсминцев и небольшой авианосец с двенадцатью истребителями.

Кроме того, по просьбе Черчилля Советское правительство направило на север крупные воздушные силы для охраны каравана в Баренцевом море. Немцы атаковали конвой главным образом с помощью авиации, но все-таки двадцать семь судов из сорока благополучно прибыли в советские порты.

Далее снова наступил перерыв в отправке конвоев. В течение октября—декабря 1942 года англичане и американцы, пользуясь наступившей в северных широтах ночью, стали отправлять в Мурманск и Архангельск единичные суда без всякой охраны: они посылали их одно за другим с расчетом, чтобы между двумя судами расстояние было не меньше трехсот километров. Только 22 декабря 1942 года из Исландии вышел PQ-19, состоявший из тридцати судов, и после острой морской битвы в районе Нордкапа, не потеряв ни одного транспорта, благополучно прибыл в советский порт.

В своих воспоминаниях Черчилль приводит любопытную таблицу движения северных конвоев в 1941—1942 годах¹. За пятнадцать месяцев (конвои начались после 1 октября 1941 года) в СССР было направлено всего 283 транспорта (124 английских и 159 американских), из которых благополучно прибыли к месту назначения 219. Погибло в пути 64 судна, или 23 процента их общего числа. Как видим, потери были серьезные, но не делающие нецелесообразной посылку конвоев. Так обстояло дело в самый тяжелый период войны, когда немцы рвались к Сталинграду, а США еще не успели полностью развернуть свой военно-промышленный потенциал. В 1943 году проведение северных конвоев стало постепенно облегчаться и в 1944 году перестало быть серьезной проблемой. К тому же в это время открылись более широкие возможности использования южного пути через Персидский залив, ибо благодаря усилиям англичан и особенно американцев была значительно увеличена пропускная способность трансиранской железной дороги.

В заключение этой главы мне хочется воздать должное тем тысячам и тысячам иностранных, главным образом английских и американских, моряков, которые приняли участие в северных конвоях. Это была трудная и опасная работа. Уже сама природа делала рейсы судов в Мурманск и Архангельск, особенно в зимнее время, суровым испытанием. В обстановке же войны, когда к холоду, мраку, туманам и бурям Арктики присоединялись еще немецкие снаряды, бомбы и торпеды, подобные путешествия становились вдвойне тяжелыми. Надо было обладать большими мужеством, решительностью, выносливостью, чтобы пускаться в такое рискованное приключение. Конечно, далеко не все моряки шли в северные конвои из чувства долга и патриотизма. Но все-таки было среди них немало число таких людей, которые руководились в своих действиях благородными мотивами, и наиболее заслуженные из них были награждены орденами и медалями Советского Союза. Если взять всю массу иностранных моряков в целом, то нужно прямо сказать, что они оказали немалую помощь нашей стране в годину бедствий и страданий, а стало быть, и делу великой исторической борьбы свободолюбивых народов против фашистских агрессоров и изуверов.

12

Это было похоже на мощный стихийный прилив, внезапно хлынувший в двери советского посольства.

Уже спустя несколько дней после нападения Германии на СССР пришел на мое имя перевод в шестьдесят тысяч фунтов от Федерации британских горняков. Держа в руках сопроводительное письмо, в котором руководители этого знаменитого профсоюза от имени сотен тысяч своих членов выражали свое возмущение германским фашизмом и свое сочувствие советскому народу, я невольно подумал: «Красин был прав». И вот что мне вспомнилось.

¹ W. Churchill. The second world war, v. IV, p. 245.

1926 год. Всеобщая забастовка английских горняков, требующих повышения своего жизненного уровня. Ею руководит исполком Федерации горняков во главе с генеральным секретарем А. Куком — молодым, энергичным левым тред-юнионистским лидером. Генеральный совет тред-юнионов пробует поддержать горняков всеобщей забастовкой, но из-за половинчатости и трусости своих лидеров не доводит ее до конца и спустя девять дней капитулирует. Горняки, однако, не хотят идти на поклон шахтовладельцам. Они решают продолжать борьбу одни. Их сопротивление превращается в подлинно героическую борьбу. В течение целого полугодя шестьсот тысяч горняков стоят со скрещенными руками и настаивают на удовлетворении своих требований. Однако предприниматели, поддерживаемые консервативным правительством Болдуина, упорно отказываются идти на уступки. Положение горняков становится с каждым днем все труднее. Денежные средства собственного профсоюза постепенно все больше иссякают. Помощь, оказываемая горнякам другими тред-юнионами, не может покрыть расходов на выдачу стачечных пособий. Бастующие распродают свои пожитки, влезают в долги, голодают. Их детей на время стачки разбирают товарищи из других отраслей труда. В горняцких поселках мрак и гнев. Правительство, шахтовладельцы, печать травят бастующих, объявляют их бунтовщиками, изменниками родине. Но горняки не сдаются. Однако «в мире есть царь: этот царь беспощаден, голод названье ему»...

И вдруг в жестокой борьбе появляется новый фактор. Среди советских рабочих открываются широкие сборы пожертвований в пользу британских углекопов. Советские профсоюзы ассигнуют крупные средства также из своих фондов. ВЦСПС через известные промежутки времени переводит собираемые суммы Федерации британских горняков. Всего за время стачки из СССР в Англию было послано около миллиона фунтов. Это позволило британским горнякам продолжить свою борьбу и в конечном счете избежать капитуляции (но не одержать победу — слишком невыгодным для них тогда было соотношение сил).

Осенью 1926 года в кабинете Красина, который тогда был полпредом СССР в Англии, я присутствовал при одной любопытной дискуссии. Двое работников нашего лондонского торгпредства говорили:

— У нас самих так много потребностей и так мало иностранной валюты... Правильно ли делают московские товарищи, тратя столь крупные суммы на помощь британским горнякам?

Леонид Борисович усмехнулся и сказал:

— Нельзя так подходить к этому вопросу. Надо смотреть шире и дальше. Советская помощь завоевывает в нашу пользу сердца сотен тысяч и миллионов английских рабочих. Сейчас это затрудняет твердолобым организацию крестового похода против Советской страны. В дальнейшем эти рабочие могут прийти нам на помощь в трудную для нас минуту... Кто знает, что скрывает в себе будущее?

И вот теперь, пятнадцать лет спустя, слова Красина оправдались, и первое — да, первое! — жертвование после нападения Германии на СССР пришло от Федерации британских горняков.

А за ним пошли другие, пошли непрерывной и все ширящейся волной от самых разнообразных организаций, учреждений, групп, отдельных лиц. Тут были и профсоюзы, и кооперативы, и школы, и фабрики, и мастерские, и редакции газет, и артистические лиги, и служащие кинотеатров, и чиновники различных министерств. Я хорошо помню, как в посольство однажды явился консервативный министр продовольствия лорд Вултон с чеком на тысячу пятьсот фунтов, собранных среди работников его ведомства. А немного спустя такое же жертвование в тысячу пятьсот фунтов принес министр авиации либерал Синклер.

Наряду с этими коллективными жертвованиями было несметное количество индивидуальных. Рабочие, фермеры, мелкие лавочники, интеллигенты, шоферы, грузчики, трамвайные служащие, домашние хозяйки, матросы, полисмены, школьники — все, все слали в посольство свою лепту: кто сколько мог. Иногда точно указывали, на что должны быть израсходованы деньги — на медикаменты

для раненых, или на приобретение санитарного автомобиля, или на помощь сиротам, или на теплую одежду для семей мобилизованных и т. п., — но большей частью люди жертвовали на нужды краснокрестного характера, без специального целевого назначения. Были случаи просто трогательные. Так, например, два шофера такси каждый месяц присылали по несколько шиллингов, каждый раз сопровождая их письмами с пожеланием Красной Армии скорых и решительных побед. Вспоминаю и другую замечательную историю.

В годы второй пятилетки в Грозном на нефтяных промыслах работал английский инженер-нефтяник Брайан Монтею Гровер (тогда подобные случаи были нередки). Он влюбился там в советскую девушку, дочь местного аптекаря, и хотел на ней жениться, но кончился его контракт, и он с болью в сердце вернулся в Англию. Все его попытки получить для любимой им женщины разрешение на выезд за границу не увенчались успехом. Визы ему для въезда в СССР также не давали. Тогда Гровер поступил как настоящий Ромео XX века. Он выучился пилотировать самолет, купил подержанную спортивную машину и в ноябре 1938 года нелегально прилетел через Стокгольм в СССР, чтобы добиваться здесь возможности жениться на любимой женщине и увезти ее с собой. Через советскую границу Гровер перелетел благополучно, но ему не хватило бензина, и он вынужден был снизиться на колхозном поле где-то около Калинина. Тут его арестовали и вместе с его самолетом доставили в Москву. Началось следствие. Гровер вполне откровенно рассказал о причинах, побудивших его к нарушению советских законов. Случай был исключительный, о нем доложили высокому начальству, и там он, видимо, произвел сильное впечатление. Гровер был освобожден и получил разрешение жениться и увезти свою жену в Англию. По прибытии в Лондон оба супруга посетили меня и просили передать Советскому правительству благодарность за проявленное к ним отношение. Они дали также прессе весьма дружественное для нас интервью. Потом я потерял супругов из вида. Слышал только, что Гровер уехал на работу в одну из африканских колоний Англии — в Кению.

И вдруг эта замечательная пара вновь появилась на моем горизонте вскоре после нападения Германии на СССР. Я получил от супругов Гровер очень теплое письмо, в котором они выражали глубокое сочувствие к СССР и сообщали, что организовали у себя на месте жительства денежные сборы в пользу советского Красного Креста. Действительно, в дальнейшем мы несколько раз получали от них денежные переводы, которые вливались в общий поток наших краснокрестных сборов, превысивших за первые два года советско-германской войны шестьсот тысяч фунтов¹.

Стихийный прилив пожертвований поставил перед посольством целый ряд вопросов.

Первый вопрос был организационный. С самого начала стало ясно, что поток пожертвований будет широкий, длительный и все более возрастающий, — кто должен был возглавить эту совершенно новую отрасль посольской работы? В то время центральный Красный Крест в Москве еще не имел ни опыта, ни разработанных форм для освоения подобных явлений. (Устав о зарубежных представительствах Красного Креста был опубликован только два года спустя, в 1943 году.) Можно было, конечно, возложить краснокрестные дела на одного из секретарей посольства, но это значило бы сразу бюрократизировать все дело и сильно приглушить скрывающиеся в нем общественные возможности. Мне казалось более правильным пойти иным путем. В Англии очень принято, чтобы во главе всякого рода фондов краснокрестного типа стояли женщины. Президентом британского Красного Креста (его официальное наименование гласит: «Общество Британского Красного Креста и Ордена Святого Иоанна в Иерусалиме») является не король, а коро-

¹ Много позднее я узнал, что Гровер не смог в Кении найти работу по специальности и превратился в довольно преуспевающего фермера. Семейная жизнь его протекала счастливо.

лева. Перед войной фонд помощи борющемуся Китаю возглавляла леди Криппс (жена Стаффорда Криппса). Во время войны, как подробнее будет рассказано ниже, самый большой фонд помощи России имел во главе миссис Черчилль. Представлялось поэтому целесообразным образовать при посольстве краснокрестный фонд помощи СССР и поставить во главе его мою жену; это очень соответствовало бы английским нравам и открывало бы перед фондом самые широкие возможности, ибо жена посла, естественно, имела такие связи и знакомства, какие были недоступны ни секретарю, ни даже советнику посольства. Этот расчет в дальнейшем полностью оправдался.

Итак, А. А. Майская была «оформлена» в качестве главы краснокрестного фонда сначала приказом по посольству, а затем получила санкцию Красного Креста в Москве. Был создан маленький «аппарат» — на первых порах один, потом два и наконец три человека. Много сделал для налаживания внутренней работы фонда один из работников посольства — Надеждин. Неумоима была в поддержании обширной переписки Красного Креста английская секретарша посольства мисс Эйрес.

Так обстояло дело до середины 1943 года, когда после издания Устава о заграничных представительствах Красного Креста в Англию в качестве такого представителя прибыл профессор С. А. Саркисов.

Во всей лондонской советской колонии каждый старался что-нибудь сделать, чем-нибудь помочь Красному Кресту. Женская часть колонии вязала, шила, паковала и отправляла теплые вещи для Красной Армии и гражданского населения. Мужская часть, в основном заполнявшая аппарат посольства и других советских учреждений в Англии, оказывала содействие Красному Кресту по-иному: адмирал Морозовский заботился о «проталкивании» его грузов на идущие в СССР конвои, посольский бухгалтер Кулешов вел огромную работу по приходованию и расходованию пожертвований фонда, торгпредские работники Качуров, Дубносов, Механтьев и другие являлись техническими советниками фонда при размещении им заказов на рынке и т. д. Ценную помощь фонд получал от работника посольства В. С. Гражуля, врача по образованию; он был ценным советником и устанавливал связи с английскими медицинскими учреждениями.

Были у фонда искренние друзья и среди англичан, из которых мне хочется упомянуть здесь доктора Джофррей Виверса, заместителя председателя лондонского Зоологического общества. В первую мировую войну он был врачом при британской армии во Франции. В дальнейшем Виверс больше занимался вопросами паразитологии и напечатал целый ряд научных работ. Позднее Виверс перешел в лондонское Зоологическое общество. Еще задолго до войны он стал другом Советского Союза и раза два бывал в нашей стране. С первых дней нападения Германии на СССР Виверс с необыкновенным жаром отдался делу краснокрестной помощи Советской Армии и советскому народу. Он очень много помогал фонду в налаживании связей с различными поставщиками медикаментов, медицинских инструментов, материалов и т. д. Он контролировал также качество получаемых заказов и вел неустанную пропаганду в пользу краснокрестной помощи СССР среди английских научных кругов.

Второй вопрос, который стал перед посольством, был вопрос о подтверждении получаемых пожертвований. Поскольку речь шла о деньгах, наш краснокрестный фонд должен был с величайшей аккуратностью немедленно высылать каждому даятелю расписку в сопровождении нескольких благодарственных строк. Эти благодарственные строки можно было сделать формально-трафаретными, говорящими лишь о том, что пожертвование дошло по назначению, но их можно было наполнить и каким-либо более серьезным содержанием, способным укрепить веру даятеля в конечную победу нашей страны (что в те дни было особенно важно). Мы решили пойти по второму пути.

В каждое благодарственное письмо старались внести (конечно, в тактичной форме) что-либо могущее прямо или косвенно содействовать лучшему пониманию

событий, совершающихся в СССР, героизма советских людей на фронте и в тылу, твердой решимости их довести войну до конца, то есть до полного разгрома фашизма.

Конечно, в отсылаемых письмах нельзя было повторяться. Надо было в каждом случае учитывать социальное положение, профессию, индивидуальные свойства даятеля. Это была очень сложная, тонкая, деликатная работа, но фонд ее успешно выполнял, тем самым сильно помогая посольству в борьбе с песимистическими настроениями в отношении перспектив СССР. Насколько серьезен был этот канал антипораженческой пропаганды, можно судить по тому, что за первые два года войны наш краснокрестный фонд разослал свыше десяти тысяч ответных писем. Его корреспонденция во много раз превысила всю остальную переписку посольства. А ведь каждое письмо читалось не только адресатом, но и перечитывалось его друзьями, знакомыми, коллегами, сослуживцами!

Агитационная работа с помощью писем дополнялась обширным использованием для тех же целей устного слова. Многие жертвователи предпочитали не посылать свои деньги почтой, а лично приносить их в посольство. За два года наш краснокрестный фонд посетили сотни делегаций самого разнообразного рода. Разговаривая с ними, надо было рассеивать их предубеждения или невежество, рассказывать правду о Советской стране и Красной Армии, а главное, укреплять веру в нашу непобедимость.

В те дни, чтобы укрепить связь между советскими и английскими людьми, практиковался обмен посланиями между советским и английским городом, между определенной группой советских и определенной группой английских людей и т. д. И вот в ответ на послания женщины разных районов Великобритании женщины разных районов СССР слали своим далеким сестрам теплые приветы, лучшие пожелания, а главное, горячие призывы общими усилиями возможно скорее сокрушить хребет гитлеровской Германии. Эти послания советских женщин присылались с просьбой вручить их по назначению. Обычно то был альбом с текстом послания и сотнями и тысячами имен подписавших его женщин.

Третий вопрос, с которым столкнулось посольство, был вопрос об использовании собранных денег. По этому поводу возникла большая переписка с Москвой (Красным Крестом, Военно-медицинским управлением и т. д.), отсюда поступали длинные списки потребных для фронта и тыла предметов. На первом месте стояли, конечно, нужды Красной Армии. По полученным спискам размещались заказы среди различных английских фирм, ибо производство лекарств, медицинских инструментов и аппаратов здесь находилось (да и сейчас находится) в частных руках. При этом нередко происходили серьезные осложнения. Нашему фонду приходилось сталкиваться с конкуренцией ряда других «фондов помощи России» (о которых речь будет ниже), а также с заказами британских медицинских учреждений. Вот тут-то особенно пригодилось общественное положение и широкий круг знакомств жены посла. В случае каких-либо затруднений она апеллировала к миссис Черчилль, которая всегда охотно ей помогала, или к членам правительства, или к лидерам тред-юнионов и в конце концов добивалась нужного результата.

Краснокрестный фонд при советском посольстве был первым начинанием подобного рода. Он дал толчок для создания целого ряда других «Фондов помощи России», сыгравших крупную роль в облегчении краснокрестных нужд СССР и в общем укреплении отношений между обеими странами.

Прежде всего в конце июля 1941 года возник «Национальный англо-советский фонд медицинской помощи» во главе с известным другом СССР доктором Хьюлеттом Джонсоном. В него входили такие люди, как коммунист профессор Холден, писатель Д. Пристли, либеральный лидер Д. Ллойд-Джордж, известный скульптор Джекоб Эпстейн, лейбористские теоретики Сидней и Беатриса Вебб, левый лейборист Д. Н. Притт и другие.

Почти одновременно с фондом медицинской помощи в том же июле 1941 года в городе-саде Велвин организовался «Комитет англо-советской дружбы», тесно связанный с разнообразными рабочими организациями — профсоюзными, кооперативными и т. д.

В сентябре 1941 года образовался «Женский англо-советский комитет» во главе с Беатрисой Кинг и с участием известной писательницы Сесиль Честертон, лейбористок Барбары Драк, Эдит Сомерскилл, леди Листоуэл и других.

В октябре 1941 года был создан «Фонд для облегчения положения женщин и детей Советской России» во главе с графиней Аттольской (последовательницей Черчилля) и с руководящим участием известного лорда Хордера, лечащего врача всей правящей верхушки Англии. Наиболее активную роль здесь играла миссис Генри Мартин.

В самом конце 1941 года появился «Фонд пяти искусств для подарков Красной Армии», президентом которого являлась известная артистка Сибил Торндайк, а среди вице-президентов и покровителей имелся целый ряд крупнейших представителей различных родов искусства — артистки Лаура Найт, Валери Гобсон, Пэгги Ашкрофт, Вивьен Ли, прима-балерина Марго Фонтейн, артисты Лоуренс Оливье и Майкл Рэдгрэв, писатели Шон О'Кэйси, Сэвилл Уэст, Пристли и другие.

Причина такой раздробленности общественных усилий в деле краснокрестной помощи Советскому Союзу лежала в различии политических взглядов между отдельными группами инициаторов, а отчасти в английском индивидуализме. Однако практика жизни очень скоро показала неудобства подобного распыления сил, и все эти пять фондов: объединились под руководством доктора Хьюлетта Джонсона в «Объединенный комитет помощи Советам», но с сохранением автономного существования каждой из его составных частей. Глава комитета стремился — и не без успеха — внести известное разделение труда между участвующими в нем организациями. Так, «Национальный англо-советский фонд медицинской помощи» занимался главным образом отправкой в СССР медикаментов и рентгеновских аппаратов, «Фонд пяти искусств» специализировался на посылке красноармейцам индивидуальных посылок с теплыми вещами и письменными принадлежностями, «Женский англо-советский комитет» сосредоточил свое главное внимание на помощи советским школьникам и т. д. Общая сумма средств, собранных «Объединенным комитетом» за первые два года войны, достигала двухсот тысяч фунтов. Однако еще важнее было то политико-психологическое воздействие на английскую общественность, которое оказывала деятельность комитета и входящих в него организаций.

Несомненно, под влиянием советского фонда во второй половине 1941 года возник «Фонд тред-юнионов». Шестьдесят тысяч фунтов, присланных Федерацией горняков в советское посольство, не давали спать Ситрину и некоторым другим профсоюзным лидерам. Они не могли стоять в стороне, когда волна массовой симпатии к СССР и к страданиям его народа вздымалась так высоко. Они должны были направить энтузиазм рабочих масс в «конституционное русло». Вот что привело к возникновению этого фонда. Он занимался главным образом посылкой в СССР теплых вещей для гражданского населения и принял решение о постройке двух госпиталей в Сталинграде. За первые два года войны «Фонд тред-юнионов» собрал около пятисот тысяч фунтов — сумму довольно скромную, если принять во внимание, что Конгресс тред-юнионов представлял собой чрезвычайно мощную и богатую организацию. Но... ее возглавлял Ситрин, и это объясняет многое.

Каждый из перечисленных фондов хотел вести краснокрестную работу по-своему. Иногда это выходило удачно, а иногда было бесполезно или даже вредно. На А. А. Майскую как-то само собой выпала задача по возможности направлять их деятельность с таким расчетом, чтобы они концентрировали свою энергию на том, что в данный момент было нам всего нужнее. Это было делом нелегким, и не всегда оно удавалось.

Надо прямо сказать, что официальный британский Красный Крест сперва, видимо, собирался подойти к начавшейся на востоке войне формально-бюрократически. Вскоре после 22 июня он направил в посольство пожертвование в размере семидесяти пяти тысяч фунтов, и на этом его активность надолго замерла. По его примеру пожертвования прислали также Красные Кресты Канады, Норвегии и Бельгии. В течение последующих трех месяцев ничего не происходило. Только в конце октября положение резко изменилось: с большой помпой было объявлено, что при британском Красном Кресте создается специальный «Фонд помощи России», во главе которого станет жена премьер-министра миссис Черчилль. Почему это произошло?

Думаю, известное влияние на правительство оказал широкий разворот общественной помощи России, к этому времени резко обозначившийся. Но была к тому и другая, гораздо более важная причина. Миссис Черчилль во время визита ее в СССР весной 1945 года так рассказывала мне об обстоятельствах, при которых возник ее фонд.

— Меня страшно волновала, — говорила она, — та великая драма, которая разыгрывалась в вашей стране сразу после нападения Гитлера. Я все думала, чем бы мы могли вам помочь. В то время широко обсуждался в Англии вопрос о втором фронте. Как-то я получила письмо от группы жен и матерей, мужа и сыновья которых служили в английской армии. Они настаивали на открытии второго фронта. Я тогда подумала: «Если эти женщины требуют второго фронта, то есть готовы рисковать жизнью своих любимых, — значит, мы должны немедленно помочь России». Я показала полученное письмо моему мужу. Он ответил, что до второго фронта еще очень далеко. Тут мне пришла в голову мысль о краснокрестном фонде...

Я не имею оснований сомневаться в субъективной искренности миссис Черчилль. Но ее порыв не противоречил господствовавшим тогда в правящей Англии настроениям. Я уже писал, что осенью 1941 года британские министры и политики, отказывая Советскому Союзу в немедленном открытии второго фронта, в виде известной компенсации готовы были оказывать помощь союзнику в разных других формах. Не удивительно, что мысль миссис Черчилль о «Фонде помощи России» встретила живейшее сочувствие со стороны ее супруга и очень быстро превратилась в реальность. Весь административный и пропагандистский аппарат правительства был сразу же поставлен к услугам миссис Черчилль, и деятельность нового фонда пошла быстрыми шагами вперед. За первые два года войны, до нашего отъезда из Англии, этот фонд собрал около трех миллионов фунтов, а всего за время войны — около восьми миллионов фунтов.

Два параллельных фонда — «посольский» и «премьерский» — работали, в общем, без взаимной борьбы и конкуренции. Помощь миссис Черчилль посольскому фонду была особенно ценна при приобретении медикаментов, которых на рынке вообще было недостаточно, и при транспортировке наших краснокрестных грузов в СССР, ибо на судах, шедших в Мурманск или Архангельск, военно-морские власти оккупировали обычно всю их «территорию» для оружия и чисто военного снабжения; Красному Кресту приходилось с трудом урывать место для своих посылок. Первоначально под влиянием своего окружения, вербовавшегося главным образом из британского Красного Креста, миссис Черчилль слишком сильно увлеклась отправкой в СССР теплых вещей для гражданского населения; конечно, это была важная и нужная задача, но все-таки на первом месте тогда стояло удовлетворение нужд в медикаментах и медицинском оборудовании для Красной Армии. В дальнейшем, однако, деятельность фонда приняла направленные, более соответствовавшее нашим желаниям.

Вспоминая те дни, я должен сказать, что, каковы бы ни были политические расчеты премьера, не подлежит сомнению, что миссис Черчилль была искренно увлечена работой своего фонда и делала все, что могла, для оказания краснокрестной помощи СССР. Как-то раз Черчилль с усмешкой сказал:

— До чего дошло дело! Моя собственная жена совершенно советизирована... Только и говорит что о советском Красном Кресте, о Советской Армии, о жене советского посла, которой она пишет, с которой разговаривает по телефону или выступает вместе на демонстрациях! — И затем с лукавой искоркой в глазу Черчилль бросил: — Не можете ли вы выбрать ее в какой-либо из ваших Советов? Право, она этого заслуживает.

В «совет» миссис Черчилль, конечно, избрана не была, но когда весной 1945 года она прилетела в СССР, ее принял Сталин, она совершила большое путешествие по Советской стране и была награждена орденом Трудового Красного Знамени. И надо сказать, она вполне заслужила эти знаки внимания с нашей стороны.

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

О БУНИНЕ

I

Русский писатель Иван Алексеевич Бунин, умерший в Париже в 1953 году в возрасте восьмидесяти трех лет, при жизни не был знаменитым писателем. Имя его никогда не становилось знаменем литературного направления, «школы» или просто моды. Присвоение И. А. Бунину в 1909 году звания почетного академика императорской Академии наук в глазах передовых читателей само по себе в то время не могло вызвать к нему симпатии. В среде демократической интеллигенции еще памятен был исполненный достоинства отказ Чехова и Короленко от этого почетного звания в связи с отменой Николаем вторым решения Академии о присвоении такого же звания М. Горькому. Точно так же и Нобелевская премия, присужденная Бунину в 1933 году, — акция, носившая, конечно, недвусмысленно тенденциозный, политический характер, — художественная ценность творений Бунина была там лишь поводом, — естественно, не могла способствовать популярности имени писателя на его родине.

За всю долгую писательскую жизнь Бунина был только один период, когда внимание к нему вышло за пределы внутрিলитературных толков, — при появлении в 1910 году его повести «Деревня». О «Деревне» писали много, как ни об одной из книг Бунина ни до, ни после этой повести. Но нельзя переоценивать и этого исключительного в

бунинской биографии случая. Отсюда еще далеко было до того, что называется славой писателя, подразумевая не полулегендарную прижизненную славу Толстого или Горького, но хотя бы тот обширный и шумный интерес в читательской среде, какой получали в свое время произведения литературных сверстников Бунина — Л. Андреева или А. Куприна.

Бунин только теперь обретает у нас того большого читателя, которого достоин его поистине редкостный дар, хотя идеи, проблемы и самый материал действительности, послуживший основой его стихов и прозы, уже принадлежат истории.

Вышедшее несколько лет назад пятитомное собрание сочинений И. А. Бунина (весьма неполное и несовершенное) тиражом в двести пятьдесят тысяч экземпляров — цифра космическая в сравнении с заграничными тиражами бунинских изданий — давно разошлось. Кроме того, выходили однотомники прозы, выходили «Стихотворения» Бунина в большой и малой сериях «Библиотеки поэта», отдельные издания лонгфелловской поэмы «Гайавата» в его классическом переводе — их уже не найти в книжных магазинах. Все это говорит, конечно, прежде всего о небывалом, в смысле не только количественном, росте читательской армии на родине поэта, покинутой им когда-то в страхе перед разрушительной силой революции, перед мыслившимся ему поправлением ею святынь культуры и искусства, всеобщим одичанием. И еще эти факты свидетельствуют о принципах новой, социалистической культуры, исключаяющей в отношении к подлинным произведениям искусства какое-либо подобие мстительного чувства к их авто-

Статья А. Т. Твардовского написана в качестве предисловия к собранию сочинений И. А. Бунина, выпускаемому издательством «Художественная литература».

рам, некогда отвернувшись от нее и даже ронявшим себя до мелочных, обывательски озлобленных суждений о ней.

То, что, как сказано, слава не пришла к Бунину при жизни, не означает, однако, что он не имел своих читателей и почитателей. Нынешнее признание его огромного таланта, значительности его вклада и заслуг в развитии русской прозы и поэзии не является открытием нашего времени. И при жизни Бунин пользовался уважением даже таких его современников, как Блок и Брюсов, чьи эстетические взгляды и творческую практику он начисто отвергал. Обожаемый Буниным Чехов со свойственной ему сдержанностью, но очень благожелательно оценивал еще совсем молодого Бунина и дарил его дружеским расположением. Но совершенно исключительным вниманием Бунин пользовался со стороны М. Горького. М. Горькому принадлежат самые высокие оценки, самые щедрые похвалы таланту Бунина, какие когда-либо к нему относились.

До конца дней М. Горький в своих печатных и изустных высказываниях неизменно называл имя Бунина в ряду крупнейших имен русской литературы, настоятельно советовал молодым писателям учиться у него. Он попросту очень любил Бунина, хотя и знал за ним «барскую неврастению» и огорчался неспособностью его направить свой талант «куда нужно».

В письмах Горького к Бунину то и дело проявляется что-то глубоко трогательное, подобное бережливой нежности и восхищению — вплоть до самоотверженной готовности признать за ним первенство в искусстве. «Вы только знайте, что Ваши стихи, Ваша проза — для «Летописи» и для меня — праздник, — писал ему Горький в 1916 году. — Это не пустое слово. Я Вас люблю — не смейтесь, пожалуйста. Я люблю читать Ваши вещи, думать и говорить о Вас. В моей очень суетной и очень тяжелой жизни Вы — может быть, и даже наверное — самое лучшее, самое значительное... Вы для меня великий поэт, первый поэт наших дней».

Пусть некая степень этих оценок может быть отнесена за счет широты натуры и склонности к увлечениям великого собирателя и воспитателя литературных сил. Но, пожалуй, ни одно из многочисленных «увлечений» Горького не было таким длительным и прочным.

Бунин отвечал ему выражением чувств признательности и дружеской преданности:

«Мы в отношениях, во встречах с Вами чувствовали эти минуты — то настоящее, чем люди живы и что дает незабываемую радость. Обнимаю Вас и целую крепко — поцелуем верности, дружбы и благодарности, которые навсегда останутся во мне, и очень прошу верить правде этих плохо сказанных слов!»

Только спустя много лет после того, как в 1917 году их дороги навсегда разошлись, Бунин назовет свою дружбу с Горьким «странной», а в своем литературном завещании, прося не печатать, не издавать его писем, сделает неожиданное признание: «Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал, — в силу разных обстоятельств (один из многих примеров — письма к Горькому...)».

Но это уже особая черта старого Бунина, поправлявшего Бунина прежнего и отрекавшегося от связей и симпатий своей лучшей поры.

У нас, к сожалению, еще не выпущено в свет ни одной значительной монографической работы, посвященной И. А. Бунину, его художественному опыту, в немалой степени сказавшемуся на культуре современной русской прозы и стиха. Но можно утверждать, что опыт этот не прошел даром для многих наших мастеров, отмеченных — каждый по-своему — верностью классическим традициям русского реализма. Разумеется, ни Шолохов, ни Федин, ни Паустовский, ни Соколов-Микитов, осваивая в своей литературной молодости, вкуче со всем богатством классического наследия, опыт Бунина и высоко оценивая искусство этого мастера, не могли разделять его идейных взглядов, его пессимистических настроений.

То же можно сказать и о более молодом поколении советских писателей, в котором прежде всего укажу на Ю. Казакова, на чьих рассказах влияние бунинского письма сказывается, пожалуй, в слишком очевидной степени. Из совсем молодых, начинающих прозаиков, нащупывающих свою дорогу не без помощи Бунина, назову В. Белова и В. Лихоносова. Но круг писателей и поэтов, чье творчество так или иначе отмечено родством с бунинскими эстетическими заветами, конечно, значительно шире. В моей собственной работе я многим обязан

И. А. Бунину, который был одним из самых сильных увлечений моей юности.

Словом, Бунин не есть сегодня некая академическая величина, которой отдается от случая к случаю дань почтения. Он именно в наши дни приобретает все более широкий круг читателей, его наиболее ценные и безусловные художнические принципы — реальная, действенная часть живого и многосложного современного литературного процесса.

II

Говоря о Бунине, нельзя не начать с главного обстоятельства его литературной и житейской судьбы, которое на долгие годы определило и известную скудость высказываний нашей критики об этом художнике, рассматривающей его обычно отдельно, вне ряда классических мастеров русской литературы конца XIX и начала XX веков, и смутность, отрывочность представлений о нем до недавнего времени в среде читателей. Не все помнившие его в двадцатых, в тридцатых годах по книжкам собрания сочинений в приложении к дореволюционной «Ниве» даже знали, что этот писатель еще жив, но живет в эмиграции, и среди написанного им за эти десятилетия есть замечательные произведения, но немало и такого, что может вызывать лишь сожаление о судьбе художника.

Эмиграция стала поистине трагическим рубежом в биографии Бунина, порвавшего навсегда с родной русской землей, которой он был, как редко кто, обязан своим прекрасным даром и к которой он, как редко кто, был привязан «любовью до боли сердечной». За этим рубежом произошла не только довременная и неизбежная убыль его творческой силы, но и само его литературное имя понесло известный моральный ущерб и подернулось ряской забвения, хотя жил он еще долго и писал много.

Был ли этот губительный для художника шаг в данном случае печальным недоразумением, результатом стечения внешних обстоятельств, просто ошибкой? На этот вопрос приходится ответить отрицательно.

Оказавшийся непоправимым поворот личной судьбы Бунина в годы великого исторического перелома в судьбе его родины, еще издали, то более, то менее внятно, поддается строем и духом его творений в первые три десятилетия его писательской жизни, главным образом в период между

двумя революциями. Я не говорю, что такая же «предопределенность» в отношении выбора между родиной, ставшей советской, и чужбиной вынашивалась и Куприным, и Зайцевым, и Шмелевым, и другими русскими писателями, эмигрировавшими в годы революции, — здесь могли быть и были случайности. Но Бунин наиболее яркая и цельная из них писательская индивидуальность — пути и этапы его развития более значительны, его трагедия заслуживает собою сходные трагедии и судьбы.

Расхожие определения и характеристики Бунина как «певца оскудения и запустения» «дворянских гнезд», «усадебной печали», «осенней грусти увядания», которых сам он терпеть не мог, конечно, поверхностны и неполны, но не являются неверными по существу. Эти мотивы поэзии Бунина очень органичны и никак не служат данью литературной моде. Наоборот, передовыми читателями молодого Бунина и многими его литературными современниками они уже воспринимались как старомодные, отзвучавшие до него. «Эта внезапно ожившая элегичность, — писал Короленко в 1904 году, — нам кажется запоздалой и тепличной. Прежде всего — мы уже имели ее так много и в таких сильных образцах. В произведениях Тургенева этот мотив, весь еще трепетавший живым ощущением свежей раны, жадно ловился поколением, которому был близок и родствен... И не странно ли, что теперь, когда целое поколение успешно родиться и умереть после катастрофы, разразившейся над тенистыми садами, уютными парками и задумчивыми аллеями, нас вдруг опять приглашают вздыхать о тенях прошлого, когда-то наполнявших это нынешнее запустение...»

Но именно в этой исторической запоздалости элегических мотивов Бунина, мне кажется, заключена их особливая, индивидуальная природа, не говоря уже о том, что до таких подробностей и крайностей в изображении «запустения» добунинская литература не добиралась. Даже «Оскудение» С. Атавы-Терпигорева живописует еще довольно оживленный и разухабистый, хотя и катастрофический по существу период прожигания и проматывания пореформенными помещиками всяческих «выкупных», «закладных» и деньжонок, вырученных от продажи частично или полностью земель, лесов, а то и наследственных хором, период афер, прожектов и малоуспешных по-

пытках переустройства хозяйства на «образцовый» лад. Еще было не так близко до натурального разорения и самой неприглядной бедности.

Бунин родился спустя почти десять лет после реформы. Детство и юность его были свидетелями надвигающейся на семью безнадежной нужды. Отец поэта, по-барски разгульный, беспечный на самом пороге этой бедности, мастерски поющий под гитару «Где ты закатилось, время золотоел», не только не вызывает в сыне осуждения или упрека, но наполняет его юношеское сердце чувством нежности и обожания. «Не судья тебе я за грехи былого»... О былом благополучии и знатности рода Буниных будущий писатель знает и по семейным преданиям, по «гербовнику», и по литературным источникам. «Я происхожу из старинного дворянского рода,— пишет Бунин в своих автобиографических заметках,— давшего России немало видных деятелей как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи».

То обстоятельство, что среди предков Бунина были известные литераторы, он особо подчеркивает,— это связывало его с истоками дворянской культуры, с предтечами и старшими современниками самого Пушкина, своеобразный культ которого в доме Буниных исходил от матери, любившей читать детям («Певуче и мечтательно, на старомодный лад») стихи великого поэта.

Древний дворянский род, в прошлом оставивший столь заметный след в национальной культуре, и захолустный степной хутор, доведенное до полного упадка хозяйство, заложенные ризы с икон, нависающие сроки уплаты процентов по закладным на имение, унижения перед лицом соседей, местных властей, крестьян. Дети еще при родителях, под родной, хотя и протекающей при каждом дожде крышей, но какая их ждет судьба? Старший брат Юлий, единственный окончивший курс в университете, отбывает дома, после тюрьмы, высылку под гласным надзором за участие в кружках народовольческого толка; Евгений бросил гимназию, женится на дочери управляющего соседним имением; Иван уходит из четвертого класса гимназии.

Бунин с юности живет в мире сладчайших

воспоминаний — и своих воспоминаний детства, еще осененного «старыми липами», еще лелеемого остатками былого помещичьего довольства, и воспоминаний семьи и всей своей среды об этом былом довольстве и красоте, благообразии и гармонии жизни. «Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах»...

Спустя много лет, уже в эмиграции, Бунин забывает, что крушение милого ему мира русской помещичьей усадьбы происходило на его глазах, задолго до Октябрьской революции и большевиков, которым он адресует свои обвинения в разрушении «красы земной», в попрании наследственных святынь его детства, его памяти. Как будто он и не был свидетелем того, как на подворьях этих усадеб запросто въезжали на дрожках «князья во князьях» — Лукьяны Степановичи, Тихоны Красовы, Буравчики и множество подобных им, приторговывали остатный лесок, землю, а то и саму усадьбу. Феноменальная память писателя в иных случаях ему явно изменяла.

Поэзия, литературный труд представились молодому Бунину как единственно надежное убежище от «ужаса» и «низости», ожидавших его, недоучившегося гимназиста, «недоросля из дворян», в перспективе жизни. И не только и не столько в материально-правовом отношении, сколько в смысле избежания духовного убожества и пошлости мира лавочников и мелких службистов.

Великая русская литература, по понятиям Бунина, была знаменем дворянства, его культуры, его роли в исторической жизни общества. Но дворянин Бунин выступает в литературе с большим историческим опозданием: там уже занимает прочное место целая плеяда родившихся не «под старыми липами», не в наследственных усадьбах, а в мещанских, поповских и мелкочиновничьих домах, даже в мужицких избах. А идти по пути Толстого с его отказом от привилегий и предрассудков дворянства — это не было судьбой таланта Бунина.

В своеобразной надменной отчужденности Бунина от «низкой» и «ужасной» среды есть что-то похожее на гонор захудалого шляхтича: чем он беднее, тем больше этого гонора. Смолоду Бунин еще отдает известную дань демократическим настроениям: уважительно отзываясь о поэзии Некрасова, пишет восторженную рецензию на стихотворе-

ния И. С. Никитина, противопоставляя его здоровый, «дворницкий» реализм декадентствующим современникам. Но с годами он все далее отходит от этих настроений своей молодости, правда, до конца дней не отступая от своего резко отрицательного, саркастического отношения ко всякого рода «истам» в русской поэзии, доходя здесь и до крайностей, как, например, в позднейшей оценке Брюсова, Блока, Маяковского, Есенина.

В интервью газете «Голос Москвы» в 1912 году Бунин говорит об эволюции своих идейно-политических взглядов или увлечений молодости: «Пережил я очень долгое народничество, затем толстовство, теперь тяготю больше всего к социал-демократии, хотя сторонюсь всякой партийности»¹.

Конечно, «тяготение к социал-демократам» не следует понимать более глубоко, чем близость его в эти годы к М. Горьким. Самое верное здесь — слова об отстранении от «всякой партийности».

В «Жизни Арсеньева» Бунин пишет: «...Я просто не мог слушать... когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается «в работе на пользу общества», то есть мужика или рабочего. Я из себя выходил: как, я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу, да и Климу-то не живому, а собирательному... в то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуриных Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пыльщику...»

Несомненно, что «своего батуриного Клима» Бунин любит, готов с ним поделиться последней копейкой и даже защитить его — все это не расходится с этикой гуманного помещика, несущего «отеческую» заботу о «своем Климе».

Но было бы неправильным на этом и поставить точку, то есть сказать, что Бунин только и выражает в своих сочинениях это духовное единство помещика и мужика, равно причастных родной земле, национальному укладу, традициям.

Дело в том, что «свой батуриный Клим», изображенный художником в правдивых чертах его бытия и сознания, он уже тем самым становится «собирательным Климом», от этого не уйти, если не уходить от правды

жизни, не фальшивить, не лгать. Подлинный художник менее всего волен искажать реальную действительность в соответствии со своими более или менее прочными, но далекими от истины взглядами и убеждениями.

Бунинские образы крестьян и крестьянок наделены такими чертами индивидуальности, что мы, как это бывает только при соприкосновении с настоящим искусством, забываем, что это литературные персонажи, плод фантазии автора. Это живые «батуриные» мужики и бабы, старики и старухи, батраки и отбившиеся от рук «хозяева», неудачники и несчастные «пустоболты». Но они же — во всем своем единичном «батурином» обличье — теперь уже не только «батуриные» со всеми их бедами и муками, надеждами и отчаянием, уже представители не одного своего Батурина, и не только одного Подстепья, но всей русской деревни начала века.

Когда Анисья Минаева («Веселый двор»), покинув пустую избу, в полуобмороке от истощения бредет в жаркий, цветущий летний день за двадцать верст к сыну, пустоболту и бродяге, пристроившемуся наконец на «место» в лесной караулке, она для нас как бы не литературный персонаж, а именно та, живая Анисья, каким-то чудом из горькой, мученической своей и безгласной, безвестной жизни занесенная на страницы книги. Ее материнская печаль и материнская нежность к беспутному сыну, оставившему мать без крошки хлеба, ее страдания вызывают у нас прежде всего не восхищение мастерски написанным портретом, а просто душевный порыв, страстное желание помочь этой бедной женщине, накормить, приютить ее старость. Но вместе с тем эта женщина, бредущая проселками и полями, шатающаяся от слабости, жующая какие-то травинки («горох еще и не наливался... Кабы налил, наелась бы досыта — и не увидал бы никто»), предстает нам и как образ всей нищей, «оголодавшей» деревенской Руси, бредущей среди своих плодородных полей, плутающей по межам и стежкам.

Эта дорога матери к сыну, к слову сказать, написана так, что остается в памяти как одна из самых потрясающих страниц русской классической прозы, и нечего пытаться пересказать своими словами «основное содержание» таких страниц: в них все так полно, так слитно и незаменимо, что

¹ Здесь и ниже газетные интервью И. А. Бунина цитируются по подготовленной для «Нового мира» публикации А. Нинова.

нет, кажется, ни одной строки, ни одной ноты их музыкального течения вне этого «основного содержания».

В отношении людей мужицкого мира в революционных деревенских вещах Бунина все симпатии и неподдельное сочувствие художника на стороне бедных, изнуренных безнадежной нуждой, голодом (почти все его деревенские герои, между прочим, постоянно хотят есть, мечтают о еде — о краюхе хлеба, луковичке, картошках с солью), унижениями от власти или капитал имущих. В них его особо трогают покорность судьбе, терпение и стоицизм во всех испытаниях голода и холода, нравственная чистота, вера в бога, простодушные сожаления о прошлом. К людям, так или иначе уже порывающим с этим исконным крестьянским миром, узнавшим соблазн отхожих заработков на фабрике, в городе, на железной дороге, недовольным, непоседливым и «вольным на слова» с их идеалом: «не пахать, не косить — девкам жамки носить...» — Бунин беспощаден. Дениска из «Деревни» — один из таких ненавистных Бунину людей. Примечательно, что не у кого другого, а именно у Дениски автор обнаруживает сверток «литературы», где вкупе со всякой лубочной дрянью находится и брошюра «Роль пролетариата», причем автор заставляет Дениску по его безграмотности исказить второе слово этого заглавия — «проталерията», а также называть все это вместе «кляповинкой разной».

Бунин искренне любит своих деревенских героев, людей, придавленных «нуждишкой», забытых, замордованных, но сохраняющих свою исконную безропотность, смиренномудрие, врожденное чувство красоты земли, жизнелюбие, доброту, неприязнательность. Он не унижает их снисходительным — сверху вниз — взглядом и не идеализирует их в сусально-народническом духе, не умиляется по-барски незамысловатостью их понятий — он описывает их так же, как и обитателей усадеб, не подбирая иных, «пейзанских» красок. Но он все же любит их, покамест они остаются «детьми» и в них не пробуждается чувство хотя бы недоумения перед очевидной несправедливостью мироустройства, то есть покамест у них не пробуждается самостоятельное человеческое сознание. Тут они становятся для него чуждыми и ненавистными Денисками или лядьми вроде Аверкиева зятя из «Худой травы».

Бунин любит изображать людей пожилых и старых, близких ему памятью о прошлом, которое они склонны видеть больше с хорошей стороны, забывая обо всем дурном и жестоким, — близких и своей душевной настроенностью, чувством природы, складом речи, куда более поэтичным, чем у молодых с их развязностью на городской манер, непочтительностью и цинизмом.

Светел и трогателен батрак Аверкий, добр и благороден Захар Воробьев, простодушный и милый деревенский богатырь. Замечателен и портрет своего рода сельской знаменитости стовосьмилетнего Таганка, которого в семье уже забывают накормить или сменить ему рубаху.

Образ этой крестьянской старости с ее покинутостью и беззащитностью, с униженной в лице ее самой человеческой природой («За пять-то годов вошь съест. А то пожил бы»), опять же независимо от воли художника, предъясвляет страшный счет обществу, социальному устройству жизни, он взывает к справедливости.

Конечно, это особое пристрастие Бунина к старым людям деревни легко вывести из барского, дворянского представления о гармонических отношениях господ и мужиков в прошлом, которые и ныне, в пору разорения и утраты благобразия деревенской жизни, равно — и мужику и помещику — дороги своей устойчивостью, мудрой простотой, довольством. Но когда перед нами встает со страниц книги исполненный жизни и убедительности образ, мы не обязательно тотчас же «расшифровываем» его «социально-классовую природу» — мы воспринимаем и запоминаем его, он становится частью нашего знания о мире и людях.

Я встречался с героями Бунина как со старыми знакомцами, когда впервые читал его книги, — я их уже видел и запечатлел в памяти моего деревенского детства и ранней юности. Видел их я и среди деревни в незабываемую пору ее великих потрясений и перемен — в канун и в первые годы коллективизации, развезжая по своей Смоленщине с корреспондентским удостоверением от газеты. Видел молчаливых и несколько благодатных Аверкиев в должностях конюхов, скотников, ночных сторожей; безответных колхозных Однодворок, наделенных непостижимой «двуужильностью» и такой ладной бабьей удалью в любой работе и во всех тяготах жизни; беспечных «пустоболтов», табакуров и бездельников

Серых и Егоров Минаевых, вечно околачивающихся в конторе правления, любителей сходок, собраний, толчей и горлодерства на людях; видел «древних деньми» Таганков и Иванушек среди бурного деревенского мира тех лет; видел, конечно, и тех людей новой деревни — энтузиастов, агитаторов и вожakov из самой крестьянской массы, которых Бунин не мог ни видеть, ни предвидеть.

Однако еще в 1903 году Бунин чутким ухом художника хорошо расслышал те новые интонации в крестьянских голосах, которые уже не оставляли сомнений относительно противопомещичьих настроений в то предгрозовое время. Достаточно напомнить о таких рассказах, как «Золотое дно» или «Сны», печатавшихся в сборнике «Знание» под общим заглавием «Чернозем» и очень высоко оцененных скупым на похвалы Чеховым.

Свидетельство художника о назревавших в канун революции настроениях крестьянской массы тем более значительно, что художник этот был не только далек от революционных взглядов, но всей душой связан с тем миром помещичьих усадеб, для которых «красные петухи», упомянутые в «Снах», были грозным, памятным со времен пугачевщины знамением.

Чуткость и острота восприятия Буниным процессов, происходивших в деревне в канун, во время и после революции 1905 года, пожалуй, нигде не сказывается в такой недвусмысленности, как в главном произведении его «деревенского цикла» — повести «Деревня».

«Деревня», написанная в 1909—1910 годах, в период наибольшей близости Бунина с Горьким, означила наивысшую степень сближения бунинской музыки с современной действительностью в ее реальном развороте.

Повесть эта для читателей и критики, в частности марксистской, явилась неожиданностью, опровергнувшей привычные представления и суждения о Бунине.

«Кто бы мог подумать,— писал В. Воровский,— что утонченный поэт, увлекшийся в последнее время столь далекими от нашей современности экзотическими картинами Индии... поэт вообще несколько «не от мира сего», по крайней мере не от болящего мира наших дней,—за что, вероятно, и удостоился академических лавров,— и вдруг чтобы этот поэт написал такую архиреальную, «грубую» на вкус «утонченных» господ, пахнущую

перегноем и прелыми лаптями вещь, как «Деревня».

«Деревня» перенасыщена материалом действительности, современным первой русской революции, отголосками общероссийских политических событий, толками, слухами, предположениями, полными бурных надежд и горьких разочарований тех лет. Здесь все: и пылающие вдалеке помещичьи усадьбы, и попытка мужицкого самоуправления в самой Дурновке, принадлежащей теперь Тихону Красову, правнуку крепостного, затравленного борзыми помещиком Дурново, и «озорство» на дорогах, и бегство помещиков в города, и казачьи сотни, вызванные для защиты их, и конституция, и монополия на водку, и рассказы о хитроумных дипломатических маневрах министра «Вити» (Витте), и ночные страхи имущих, и беспечная, разгульная удаль неимущих, и необозримое половодье народного недовольства, медленно входящее в берега «правопорядка».

Густота и плотность жизненного материала в повести поистине необычная и для самого Бунина, и для того классического, как бы замедленного строя повествования, какого он, при всем очевидном своеобразии его письма, держался ранее. Он всегда предпочитал рассказывать о том, что было вчера, что минуло и чему уже подведен какой-то итог,— на всем у него милый его художническому сердцу элегический отпечаток воспоминания. Здесь он словно бы еще и не выбрался из сумятицы и горячки революционной поры, из ее многолюдства и разногласия, споров и пересудов. Кажется, что повесть написана в те самые дни и месяцы, а не четыре-пять лет спустя.

В «Деревне» не много героев с именами и прямым участием в событиях, развивающихся в ней,—гораздо больше безымянного сельского и уездного люда, мужиков, покупателей в лавке Тихона Красова, нищих, странников, уездных торговцев, девок и баб на поденщине, ночных сторожей,—и почти все они что-то вспоминают, о чем-то рассказывают, называют множество людей, которые в природе не появляются на страницах повести.

Сгущение темных красок в изображении деревенской действительности иногда кажется даже переходящим в крайности, в выборочное экспонирование уродств, жестокости, цинизма и кретнизма. Тут и сходные с нравами диких племен примеры сжигания со свету стариков в семьях как раз не бедных:

и сдирание, мстительной потехи ради, шкуры с живого барского быка; и «уступка» жен мужьям по сходной цене; и дикая похвальба «пустоболта» Серого тем, как он хитро выслеживал дочь, «снюхавшуюся» с парнем Егоркой, да и «прихватил», и «всю поясницу ей изрубил» «кнутиком похоженьким», и Егорку заставил жениться.

Было бы несправедливым сказать, что только Бунин, в силу своей принадлежности к дворянскому классу, видел деревню той поры в таком мрачном свете. Младший его современник, писатель из крестьян Иван Вольнов в своей автобиографической «Повести о днях моей жизни» стремился как бы «перекрыть» Бунина по части всяческих «ужасов» деревенского быта. Конечно, и у Бунина и у Вольнова особая «беспощадность» в показе деревни и мужика в значительной степени была здоровой реакцией на идеализированное и слашавое освещение этого материала в поздненароднической литературе. Но своеобразное полемическое «антибунинское» заострение деревенской темы у Вольнова состояло в утверждении им своих особых прав на эту тему в литературе: не барину, мол, писать о темных сторонах мужицкого мира, мы тут лучше знаем всю, так сказать, подноготную.

Однако сопоставление бунинской «Деревни» и вольновской «Повести» как художественных свидетельств о «правде деревенской жизни» более выгодно для «барина» Бунина, чем для «мужика» Вольнова.

Первый, при всей его «беспощадности», следуя художественному такту, избегает подавать деревенские «ужасы» в непосредственной картине. Живьем ободранный мужиками бык бегаёт у Бунина «за сценой», в изустной молве,— это слух, полулегенда той поры «деревенских беспорядков», но не прямое утверждение автора.

У Вольнова же все мужицкие «художества» — дикое пьянство, избияния жен и детей, истязания животных, смертоубийства и т. п. подаются как зарисовки с натуры, как эпизоды, свидетелем которых был сам автор, ведущий свое повествование от первого лица. И странная вещь: эта «натуральность» ослабляет у читателя впечатление реальности описываемого, подлинности свидетельства. Например, при несомненном соответствии исторической правде в общем смысле, картина погрома барской усадьбы, нагромождения трупов крестьян и охраняющих усадьбу солдат расхоложивает ка-

кой-то своей условностью, неправдоподобием.

Это стремление удивить, поразить читателя необычностью «правды-матки» о деревенской действительности, даже рассмешить его несообразностями и крайней глупостью поступков и речей крестьян долго держалось в приемах изображения деревни нашими так называемыми крестьянскими писателями. Менее других был подвержен этой слабости своеобразного щегольства «мужицким колоритом» суровый и достаточно «беспощадный» С. Подъячев. Но она, эта слабость, с очевидностью сказалась, например, на «Брусках» Панферова с их натуралистическими излишествами описаний, соблазну которых не подвержен автор «Деревни».

Название повести Бунина соответствует «концепции», высказываемой наставником Кузьмы, уездным чудаком и философом Балашкиным, о том, что Россия вся есть деревня, и, таким образом, безнадежно горькие судьбы дикой и нищей деревни — это судьбы России. «Повесть моя,— говорил Бунин в своем интервью «Одесскому листку» в 1910 году,— представляет собою картины деревенской жизни, но, кроме жизни деревни, я хотел нарисовать в ней и картины вообще всей русской жизни».

Глубокий пессимизм повести, безрадостные ее картины и подразумеваемые выводы сейчас представляются в значительной степени уже тогда подготовившими автора к разрыву с родиной. В период после «Деревни» он еще напишет много замечательных по мастерству рассказов и много стихов, но некий свой решающий духовный перелом Бунин пережил и выразил в «Деревне».

В ту пору он еще умеет трезво и резко оценивать политическую современность и неприемлемое для него искусство периода реакции. «Часто думалось мне за эти годы,— пишет он в 1914 году,— будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как бы страдал он, если бы дожил до 3-й, до 4-й Думы, до толков... о Саниных... до гнусавых кликов о солнце, столь великолепных в атмосфере военно-полетных судов, до изломавшихся, изолгавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности, до той свирепой ахины, которая читается теперь писателями по городам, под видом лекций, до дней славы

Пуришкевича, Распутина, Макса Линдера, слона Ямбо и Игоря Северянина».

Позднее, в августе 1917 года, в письме к Горькому он уже склонен себя считать провидцем исторических судеб России под иным знаком: «Чуть не весь день уходит на газеты... И ото всего того, что я узнаю из них и вижу вокруг, ум за разум заходит, хотя только сбывается и подтверждается то, что я уже давно мыслил о святой Руси»...

III

При всем том, что сказано о «деревенских» вещах Бунина, об отразившейся в них ограниченности взглядов автора, они на поверку оказались более долговечными, чем его произведения, посвященные собственно «вечным» темам — любви, смерти. Эта сторона его творчества, получившая преимущественное развитие в эмигрантский период, не составляет в нем того, что принадлежит в литературе исключительно Бунину. Там реализм его делает заметные уступки модернистским поветриям, то есть тому, от чего Бунин в своих высказываниях отрешивался до конца дней и чему противостоит все здоровое, земное в произведениях его наиболее продуктивной творческой поры.

Но и во многих лучших вещах, при всем своем эстетическом здоровье, приверженности реалистическим традициям, богатстве жизненного материала, он не свободен от той несколько эстетизированной философичности, которая невольно сближала его с ненавистным ему «модным» искусством упадка. Уже его ранний рассказ «На край света», посвященный расставанию с родными местами орловских мужиков, переселенцев, отправляющихся с семьями в далекий, неведомый путь на новые земли, заканчивается характернейшей для Бунина апелляцией к бесконечности вселенной и безмолвию исторической древности:

«И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, позабывших во сне свое горе и далекие дороги. Но что им, этим вековым молчаливым курганам, до горя или радости каких-то существ, которые проживут мгновение и уступят место другим таким же — снова волноваться и радоваться и так же бесследно исчезнуть с лица земли? Много ночевавших в степи обозов и станов, много людей, много горя и радости видели эти

курганы. Одни звезды, может быть, знают, как свято человеческое горе!»

Этой красивой концовкой вдруг как бы снимается вся острота ответа на земной вопрос о бедственной крестьянской судьбе, о безмерных народных страданиях.

«Звезды» и «курганы», безмолвно взвешивающие на муравьиные беды и печали людей, становятся неизменными атрибутами всей бунинской поэзии. Своим присутствием они как бы освобождают сознание художника от ответственности за все неустойчивость и бедствия рода человеческого и в том числе за судьбу не только «собирабельного», но и «своего батуринского Клима». В самом деле: о чем толковать, о чем хлопотать и тревожиться перед лицом вселенной и вечности, перед лицом неизбежной смерти?

«Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти,— говорит Бунин в «Жизни Арсеньева».— Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни)... Вот к подобным людям принадлежу и я».

«Обостренное чувство смерти» именно «в силу столь же обостренного чувства жизни» было отнюдь не чуждо и Толстому и Достоевскому. Но оно не освобождало их от обязательств перед «преходящими» бедами и муками людей, от ответственности — пусть своеобразно понимаемой — за судьбы человечества, не служило укрытием для душевного эгоизма, как это было у значительной части русской интеллигенции в годы реакции после революции 1905 года. У Бунина есть немало общего с настроениями и философией этой интеллигенции.

Основное настроение стихотворной лирики Бунина — элегичность, созерцательность, грусть как привычное душевное состояние. И пусть, по Бунину, это чувство грусти не что иное, как желание радости, естественное, здоровое чувство, но у него любая, самая радостная картина мира неизменно вызывает такое состояние души.

Я не знаю ни у кого из русских поэтов такого неотступного чувства возраста «лирического героя». — он не сводит глаз с песочных часов своей жизни, следя за необратимо убегающей струйкой времени. Все ценнейшее, сладчайшее в жизни он видит, только когда оно становится воспоминанием минувшего.

И тебя так нежно я любил,
Как когда-то ты меня любила...

Минуло с той поры
Только шестнадцать лет...

Все как было, только жизнь прошла...

Правда, поэзии Бунина в высшей степени присуще постоянное стремление найти в мире «сочетанье прекрасного и вечного», обрести желанную непреходящность, укрепиться хотя бы в чувстве вселенского и, так сказать, всевременного единства жизни, слиться с этим единством, раствориться в круговороте природы, в смене бесконечной чреды веков.

Пройдет моя весна, и этот день пройдет,
Но весело бродить и знать, что все проходит,
Меж тем, как счастье жить вовеки не уйдет...

В напряженном самовнушении этого чувства слиянности отдельного, личного существования с «вечностью» и «бесконечностью» поэт обращается к образам древности, видит свое «я» обогащенным тысячелетиями, сохранившими на слое пыли в древнеегипетской гробнице следы человеческой ноги...

Смерть и любовь — почти неизменные мотивы бунинской поэзии в стихах и прозе. Любовь — причем любовь земная, телесная, человеческая — может быть, единственное возмещение всех недостатков, всей неполноты, обманчивости и горечи жизни. Но любовь чаще всего непосредственно смыкается со смертью и даже как бы одухотворена ее близостью в своей краткости и обреченности. Любовные сюжеты у Бунина чаще всего разрешаются смертью. Иногда такие развязки любовных историй кажутся даже искусственными, неожиданными эпилогами, как, например, в «Лике».

Бунину представляется пошлым развитие любви в браке, в семье. В той же «Лике» герой со страхом и возмущением думает о возможности появления у них с возлюбленной детей — тут конец любви и вообще «ужас и низость», как в перспективе мелкочиновничьей карьеры, нарисованной поэту в юности старшим братом и заставившей его разрыдаться.

Смерть как завершение любви предпочтительнее «пошлости» возвращения к будничной реальности после «солнечного удара» негаданной встречи или законного брака после первоначальной запретной близости.

Любовь, продолжающуюся в браке, даже в старости, способной на верность и нежность. Бунин замечает только у простых людей — например, у батрака Аверкия и его старухи, на руках которой он умирает.

В чеховской «Даме с собачкой», где в самом заглавии объявлено нечто пошловатое, любовная история начинается с заурядного курортного знакомства, с незамедлительной близости, которая и не предполагает быть не чем иным, как курортным эпизодом. Но этот эпизод вопреки обычной, утвержденной в мировой литературе схеме — в начале красота и восторг зарождающегося чувства, в конце скука и пошлость, — этот эпизод вырастает в настоящее большое чувство, противостоящее пошлости и ханжеству и бросающее им вызов.

Бунину чуждо подобное решение любовной коллизии, у него любовь по самой своей сути обречена в конце концов либо на пошлость, либо на смерть.

Перед лицом любви и смерти, по Бунину, стираются сами собой социальные, классовые, имущественные грани, разделяющие людей, — перед ними все равны. Аверкий из «Худой травы» умирает в углу своей бедной избы; безмянный господин из Сан-Франциско умирает, только что собравшись хорошо пообедать в ресторане первоклассного отеля на побережье теплого моря. Но смерть одинаково ужасна своей неотвратимостью. Между прочим, когда этот наиболее известный из бунинских рассказов толкуют только в смысле обличения капитализма и символического предвестия его гибели, то как бы упускают из виду, что для автора гораздо важнее мысль о подверженности и миллионера общему концу, о ничтожности и эфемерности его могущества перед лицом одинакового для всех смертных итога.

Суходольская дворовая девушка Наталья, безумно влюбившаяся в молодого барина Петра Петровича, крадет принадлежащее ему зеркальце, крадет, не сознавая своего поступка, и, жестоко наказанная этим же Петром Петровичем, остриженная и с позором отправленная на дальний пустынный хутор пасти гусей, до конца жизни преданно обожает его, молится за него. И здесь главное для Бунина не в бесчеловечной жестокости крепостных времен, хотя он и не смягчает ее, а в этой удивительной способности простой крестьянки на такую большую, безответную и самоотверженную

любовь, перед властью которой все равны. Так, барин из «Грамматки любви», влюбленный в свою крепостную и имевший от нее сына, после смерти ее сходит от любви с ума, создает в доме своеобразный культ памяти покойной возлюбленной и умирает с ее именем на устах.

Поздний Бунин в «Митиной любви», «Деле корнета Елагина», в книге «Темные аллен» и многих рассказах уже нередко с заметной болезненностью и чуждой великим образцам русской литературы натуралистической «пряностью» сосредоточивается на этих неизменных мотивах любви и смерти. Тема любви, при всем мастерстве и отточенности стиля, приобретает порой у Бунина уж очень прямолинейно чувственный характер и выступает в форме эротических мечтаний старости. Тема же смерти все более обволакивается религиозно-мистической окраской.

Разумеется, здесь сказывалась не одна только «социально-классовая природа» поэта. Здесь и возраст, обостривший и без того «обостренное чувство смерти», и модные влияния западной литературы, и особые условия жизни вне родины, отрешенности от больших вопросов народной жизни, наконец одиночество.

Если есть люди с «обостренным чувством смерти», причем люди, представляющие не обязательно лишь классы, покидающие историческую сцену, то большинство людей на свете, по условиям своей каждодневной жизни, изнурительного труда, озабоченности прокормлением семьи, сведением концов с концами, не всегда может себе позволить углубленные размышления о таинстве смерти. Мысли о смерти там неотрывны от опасений за судьбу близких и могут нести в себе лишь горечь жизненных тягот, безнадежности усилий, потраченных на то, чтобы прожить по-человечески. Философские углубления в проблемы смерти как таковой чаще занимают тех, у кого нет иных — больших или малых, но более неотложных задач и забот.

Правда, немалое количество людей, даже и свободных от забот о куске хлеба на завтрашний день, с привычной бездумностью на словах, что, мол, все смертно, все там будем, вообще не впускают в круг своих размышлений полной реальности собственного конца или полагают, что если смерть и неизбежна, то к ним она придет, по крайней мере, в удобное для них время.

Не думаю, чтобы эти люди представляли собой социалистический идеал духовного развития. Такая беззаботность в иных случаях, в час испытания реальностью смерти, нередко оборачивается животным трепетом перед ней, готовностью откупиться от нее чем угодно — вплоть до предательства. Я не хочу, конечно, сказать, что люди с обостренным чувством смерти во всех случаях лучше людей, лишенных этого чувства. Но ясное и мужественное сознание пределов, которых не миновать, вместе с жизнелюбием и любовью к людям, чувство ответственности перед обществом и судом собственной совести за все, что делаешь и должен еще успеть сделать на этом свете, — позиция более достойная, чем самообман и бездумная трата скупотушенного на все про все времени.

Никогда смерть не будет безразличной для человеческого сознания, ни при каком идеальном общественном устройстве и самой счастливой личной судьбе. Но нераздельность человека и человечества, между прочим, выражается и в том, что утверждение народной мудростью: на миру и смерть красна. Какую-то долю — большую или меньшую — этого неизбежного бремени отдельного человека берут на себя его близкие и те «далекие», для которых он честно потрудился на земле и выполнил свой долг перед ними.

Наедине с самим собой — понятно, не в смысле физического, а нравственного одиночества — с этим испытанием человеку справляться гораздо труднее. Нужны мостики, которые соединяют одного со всеми или многими, ему подобными, нуждающимися и заслуживающими, как и он, участия и поддержки перед неизбежным порогом — далек ли он, близок ли.

Тема эта сама по себе не только не противопоказана художнику, но можно даже сказать, что ни один из великих так или иначе не обходился без нее в своем творчестве. И раз уж зашла речь об этом предмете, занимающем такое большое место во всей поэзии Бунина, я позволю себе привести здесь две цитаты, может быть, и не обязательные для данного изложения, но запечатлевшиеся в памяти подобно самым дорогим и незабываемым строчкам стихов, произведениям возвышенной поэтической мысли.

В глубокой старости Лев Толстой, всю жизнь проживший в неотступных и напря-

женных размышлениях о смерти, записывает в своем дневнике:

«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный уголь, солнце. Все это над лесом, рожью. Радостно. И подумал: Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить в нем».

Такой же поэтической силы полна мысль Достоевского, когда он, словами одного из своих героев, рисует картину возможного в будущем счастья людей, которое будет способно заменить собою иллюзорное прибежище веры в загробную жизнь:

«Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за друга, заменила бы мысль о загробной встрече».

Замечательно, между прочим, что оба эти мужественные и жизнеутверждающие высказывания двух столь различных в своей гениальной индивидуальности писателей как бы подсвечены этими лучами заходящего солнца — образ, обычно привлекаемый в искусстве для выражения идеи конца, печали, прощания.

Среди написанного Буниным в эмиграции много прекрасных вещей в целом или страниц, ради которых можно принять и менее значительные, и даже просто отмеченные знаком возраста, естественного угасания сил художника. Но когда читаешь подряд его вещи эмигрантского периода, то, при всем их мастерстве, отделанности, доведенной до высшей степени, невозможно отстранить впечатление, что ты это уже читал раньше, что художник извлекает из своей памяти недосказанные прежде подробности, а иногда и просто повторяется.

Конечно, может быть, здесь сказывается особая острота впечатления от первого знакомства с Буниным, которого я читал и усердно перечитывал в молодости

по его «нивскому» собранию сочинений, но все же нельзя не отметить, что заграничные его вещи отличаются некоторой дистиллированностью — это уже не та родниковая вода, выражаясь словами Толстого, от которой зубы ломит. И, в сущности, не удивительно: ведь для него «часы жизни остановились» в смысле пополнения запасов памяти новыми впечатлениями той жизни, которую он только и мог описывать.

Мы, например, еще по дореволюционной автобиографии писателя знаем трогательный эпизод, где юноша Бунин возвращается с почты, перечитывая в полученном там журнале свое первое напечатанное стихотворение, и по дороге через лесок собирает ландыши. Этот же эпизод рассказан с некоторыми изменениями и в «Арсеньеве», и ему же посвящено стихотворение «Ландыш»...

Но это еще не предмет для упрека художнику — могут быть излюбленные мотивы, к которым он не раз и не два возвращается. Хуже, когда он возвращается к написанным вещам, поправляя их в соответствии со своими позднейшими настроениями и взглядами. Так, из рассказа «Астма» (новое заглавие «Белая лошадь») автор спустя двадцать лет вычеркивает большую половину, где было реалистическое объяснение померещившихся больному землемеру в ночной дороге видений белой лошади и самой смерти в образе старухи нищенки. Спору нет, рассказ получился компактнее, выразительнее с точки зрения «чисто художественной», но теперь в нем осталась одна лишь выразительность мистического ужаса в полной его неразгаданности. Так стареющий и оскудевающий в своем мрачном одиночестве Бунин поправляет Бунина молодого.

«Поправок» и купюр такого рода в известных читателю вещах немало в собрании сочинений издательства «Петрополис», вышедшем в тридцатых годах. Иногда это одна опущенная или замененная строка, но часто и такие малые, как бы только стилистические исправления подканы очевидным стремлением вытравить в прошлом Бунине элементы демократических оценок явлений и фактов описываемой действительности.

Что же касается вновь написанного в эмиграции, помимо общеизвестных крупных произведений, как «Жизнь Арсеньева», «Митина любовь», «Дело корнета Елагина»

с их общеизвестными достоинствами и изъянами, помимо таких превосходных рассказов, как «Солнечный удар», там есть вещи, настолько принижающие талант Бунина, что славное литературное имя его обязывает нас оставить их за бортом даже такого вместительного издания, как нынешнее собрание сочинений.

Странно видеть по датам некоторых вещей, что они написаны в сложные, полные драматизма периоды в жизни родины поэта, а посвящены порой бог весть каким далеким от всякой жизни темам: «таинственным» любовным причудам, «страшным случаям», анекдотам ушедшего в небытие времени. Такие темы немало занимают места в книгах «Темные аллеи», «Весной, в Иудее». И надо всем этим — как застоявшийся дым — тоска безнадежная, болезненное переживание старости, страх смерти, неотступная дума о ней.

Небезызвестный В. Набоков, отрасль знатнейшей и богатейшей в России семьи Набоковых, представитель верхушечной «лондонской» части эмиграции, литератор, пишущий на английском языке, в своей автобиографической книге «Другие берега», переведенной им самим на русский, рассказывает, между прочим, о встречах с Буниным. «Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть»... Со снисходительной иронией сноба и космополита Набоков рассказывает, как Бунин пригласил его в ресторан (это было вскоре после Нобелевской премии) «для задушевной беседы». «К сожалению,— пишет Набоков,— я не терплю ресторанов, водочки, закусок, музыки — и задушевных бесед. Беседы и не получилось. К концу обеда нам уже было невыносимо скучно друг с другом».

В заключение В. Набоков незаметно переходит на пародирование бунинского стиля, выказывая, как и положено эпигону, незаурядные способности к имитации: «...в общем до искусства мы с ним никогда не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи».

Легко себе представить, на какой холод и отчужденность натолкнулся старый писа-

тель в лице этого младшего своего современника и бывшего соотечественника. Человеку преуспевающему, довольному собой, рисующемуся тем, что, мол, занятия энтомологией, открытие на земном шаре нового, еще одного вида бабочек, составляют больший предмет его честолюбия, чем литература,— этому человеку, отказавшемуся даже от родного языка, не понять было мучительной тоски настоящего поэта по родной земле, ее степям и речкам, перелескам и овражкам, снегам и ранней весенней зелени.

Это была смертельная тоска, и дело уже представлялось непоправимым — писатель сам углубил разрыв с отчизной.

В своих «Воспоминаниях», где, в частности, представлена целая портретная галерея русских советских писателей, он уже спорит не с нами и не нас критикует, не просто нет,— и обращается не к русскому, хотя бы даже эмигрантскому читателю, а к некоей третьей стороне, способной принять все дурное и злопыхательское, что можно о нас порассказать в ослеплении старческой раздражительности. Это — крайность падения, и потому так тяжело об этом говорить, сохраняя симпатии и уважение к Бунину.

Нет, дело не просто в том, что этот писатель прожил полжизни в эмиграции. В эмиграции смолоду и до конца дней жили и умерли на чужбине Герцен и Огарев, и эта пора была расцветом их талантов, откликнувшаяся славой и почитанием на родине их и во всей Европе. В эмиграции жили целые поколения русских революционеров. В эмиграции много лет жил и работал Ленин.

Все дело в том, что родину можно покидать только ради нее самой, ради ее свободы и всенародного блага. И тогда жизнь вдалеке от нее, самая трудная, не страшна и может давать высочайшее удовлетворение чувством неразрывности с ней. У Бунина такого чувства быть не могло, и последствия этого были губительны для него,— нет надобности быть здесь столь же подробным, как при рассмотрении того Бунина, который остается для нас выдающимся мастером, достойным своих великих предшественников в русской литературе, приобретшим к достояниям нашей национальной культуры свою заметную и незаменимую долю.

Здесь я так или иначе касался тех сторон творчества Бунина, которые могут в

иных случаях вызвать недоумение или внутреннее возражение у нынешнего читателя, особенно у впервые открывающего для себя этого художника. Но даже тогда, когда речь идет не о «мотивах», не об оттенках ущербных настроений Бунина, с наибольшей отчетливостью выступающих в заграничных вещах, но и об отдельных недвусмысленно антидемократических, реакционных его высказываниях, мы не можем теперь просто вычеркнуть их в тексте произведений. Это было бы все равно что вычеркивать, например, в «Воскресении» Толстого цитаты из евангелия, приводимые в конце этой книги, хотя они там представляются достаточно фальшивыми.

Однако всему есть предел. Бунинские писания, подобные его дневникам 1917—1919 годов, «Окаянные дни», где язык искусства, взыскательный реализм, правдивость и достоинство литературного изъяснения просто покидают художника, оставляя в нем лишь иссушающую злобу «его превосходительства, почетного члена императорской Академии наук», застигнутого бурями революции и терпящего от них порядочные бытовые неудобства и лишения,— эти писания мы решительно отвергаем. Я, например, не вижу необходимости останавливаться на этих «Днях», не уступающих в контрреволюционности более известным у нас «Дням» Шульгина.

Здесь мы должны были выбирать: либо, отвергая Бунина — реакционера, белоэмигранта, в политических воззрениях скатывавшегося до самого затхлого монархизма, отвергать и все прекрасное, что было создано его талантом; либо, принимая все лучшее в нем, что составляет достояние нашей национальной культуры, нашей русской литературы, отвергнуть все то темное, эгоистическое и антигуманистическое, что он говорил и писал, когда переставал быть художником. Выбор этот давно сделан, и мы по праву сосредоточиваем внимание и интерес на чудесном поэтическом даре Бунина, который, как всякое подлинное явление этого рода, всегда остается не до конца разгаданным, не полностью истолкованным и оттого не менее пленительным.

IV

Бунин родился, вырос и определился как художническая натура «в том плодородном Подстепье, где московские цари, в целях за-

щиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым...». («Автобиография»).

У него не было возможности явиться в литературе первооткрывателем неизвестных до него этнографических богатств родного края — ландшафта, народных типов, социально-исторических особенностей, как, например, у Мамина-Сибиряка с его горнорудным и заводским Уралом, где новизна жизненного материала сама по себе имела ценность оригинальности даже при более или менее непритязательной форме. Усадебная, полевая и лесная флора Орловщины, типы мужиков и помещиков этой полосы были не в новинку русской литературе уже со времен «Записок охотника». Но это была его родная полоса, он ее по-своему и задолго до знакомства с литературными ее отражениями воспринял, впитал в себя, а этот золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь. Он может многообразно приумножать его накоплением позднейших наблюдений, изучением жизни в природе и по книгам, но заменить эту основу основ поэтического постижения мира невозможно ничем, как невозможно заменить в своей памяти родную мать другой, хотя бы и самой прекрасной женщиной. Тот мир, который с рождения окружал Бунина, наполняя его дорогами и неповторимыми впечатлениями, уже как бы не принадлежал только ему — он уже был широко открыт и утверджен в искусстве художниками, ранее Бунина воспитанными этим миром. Бунин мог только продолжить их, развивать до крайнего и тончайшего совершенства в деталях, частностях и оттенках великого мастерство своих предшественников. На этом пути меньший талант, чем бунинский, почти с неизбежностью должен был «засахариться», утончиться до эпигонства и формализма. Бунину удалось сказать свое слово, которое не прозвучало в литературе повторением сказанных до него слов о его родной земле, о людях, живших на ней, о времени, которое, правда, не могло не быть у него иным по сравнению со временем, отраженным в творениях его учителей в литературе.

Бесспорная и непреходящая художническая заслуга И. А. Бунина прежде всего в

развитии им и доведения до высокого совершенства чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконтуренности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюдаемого художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет «замкнутой» концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы. Возникнув из живой жизни, конечно, преображенной и обобщенной творческой мыслью художника, эти произведения русской прозы в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, «доследования» затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов. Может быть, зарождение этого жанра прослеживается и из большей глубины по времени, но ближайшим классическим образцом его являются, конечно, «Записки охотника».

В наиболее развитом виде эта русская форма связывается с именем Чехова, одного из трех «богов» Бунина в литературе (первые два — Пушкин и Толстой).

Бунин, как и Чехов, в своих рассказах и повестях пленяет читателя иными средствами, чем внешняя занимательность, «загадочность» ситуации, заведомая исключительность персонажей. Он привлекает вдруг наше внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходим, не остановившись и не удивившись, и так бы и не отметили для себя никогда без его, художника, подсказки. И подсказка эта несколько не унижает нас, как на экзамене, — она является в форме нашего собственного, совместного с художником открытия. Отсюда — наше повышающее самооценку чувство равенства с художником в чуткости, прозорливости, тонкой догадке. Словом, это и есть тот контакт читателя с писателем, приобщение некоему волнующему секрету, известному только им двоим, которые означают, что их встреча произошла при посредстве настоящего художественного произведения. Кто из нас бессознательно не ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны Карениной»: «Ах, как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!» Недаром

иногда люди свою способность к восприятию произведений искусства принимают за способность создавать их, и это так нередко бывает жизненной драмой человека.

О взаимоотношениях художника со временем можно сказать, что он никогда не бывает влюблен только в свое, нынешнее время без некоего идеального образца в прошлом. Художнику дороги те черты его времени, которые связывают это время с предшествующим, продолжают традиционную красоту его, сообщают настоящему глубину и прочность. В любой новизне своего времени художник ищет связей с милой его сердцу «старинной». Слабый художник при этом впадает в обычный грех идеализации прошлого и противопоставления его настоящему. У сильного художника лишь обостряется чувство новизны, которая может ему представляться неполноценной, лишенной красоты, уродливой, неправомерной исторически, но она для него — реальность, на которую закрыть глаза он не может.

Идеалом Бунина в прошлом была пора расцвета дворянской культуры, устойчивости усадебного быта, за дымкой времени как бы утрачивавшего характер жестокости, бесчеловечности крепостнических отношений, на которых покоилась вся красота, вся поэзия того времени. Но как бы ни любил он ту эпоху, как бы ни желал родиться и прожить в ней всю свою жизнь, будучи ее плотью и кровью, ее любящим сыном и певцом, как художник он не мог обходиться одним этим миром сладких мечтаний. Он принадлежал своему времени с его неблагообразием, дисгармоничностью и неуютностью, и мало кому давалась такая зоркость на реальные черты действительности, бесповоротно разрушавшей все красоты мира, бесконечно дорогого ему по заветным семейным преданиям и по образцам искусства.

Из всех ценностей того уходящего мира оставалась прелесть природы, менее заметно, чем общественная жизнь, изменяющейся во времени и повторяемостью своих явлений создающей иллюзию «вечности» и непреходящности по крайней мере хоть этой радости жизни. Отсюда — особо обостренное чувство природы и величайшее мастерство изображения ее в поэзии Бунина.

Своих читателей, независимо от того, где они родились и выросли, Бунин делает как бы своими земляками, уроженцами его родных мест с их хлебными полями, синей, черной земной грязью весенне-осенних и белой,

тучной пылью летних степных дорог, с овражками, заросшими дубняком, со степными, покалеченными ветром лозинами (ракидами) вдоль гребель и деревенских улиц, с березовыми и липовыми аллеями усадеб, с травянистыми рошицами в полях и тихими луговыми речками. Особыми чарами обладают его описания времен года со всеми неуловимыми оттенками света на стыках дня и ночи, на утренних и вечерних зорях, в саду, на деревенской улице и в поле.

Когда он выводит нас в раннее весеннее легкоморозное утро на подворье захолустной степной усадьбы, где хрустит ледок, натянутый над вчерашними лужицами, или в открытое поле, где из края в край ходит молодая рожь в серебряно-матовых отливах, или в грустный, поредевший и почерневший осенний сад, полный запахов мокрой листвы и лежалых яблок, или в дымную, крутящуюся ночную вьюгу по дороге, утыканной растрепанными соломенными вешками, — все это приобретает для нас натуральность и остроту лично пережитых мгновений, шемящей сладости личного воспоминания.

Подобно музыке ни одно из самых восхитительных и волнующих явлений природы не усваивается нами, не входит нам в душу с первого раза, покамест не открывается нам повторно, не становится воспоминанием. Если нас трогает нежная игольчатая зелень весенней травки, или впервые в этом году услышанные кукушка и соловей, или тоненькое и печальное кукареку молодых петушков ранней осени; если мы блаженно и растерянно улыбаемся, вдыхая запах черемухи, распутившейся при майском холодке; если отголосок далекой песни в вечернем летнем поле прерывает строй наших привычных забот и размышлений — значит, все это доходит до нас не впервые и вызывает в нашей душе воспоминания, имеющие для нас бесконечную ценность и сладость как бы краткого возвращения в нашу молодость, в годы детства. Собственно, с этой способности к таким мгновенным, но памятным переживаниям начинается человек с его способностью любви к жизни и к людям, к родной земле и самоотверженной готовностью сделать для них что-то нужное и хорошее.

Бунин — не просто мастер необычайно точных и тонких запечатлений природы, он великий знаток «механизма» человеческой памяти, в любую пору года и в любом нашем возрасте властно вызывающий в нашей душе канувшие в небытие часы и мгновения,

сообщающий им новое и новое повторное бытие и тем самым позволяющий нам охватить нашу жизнь на земле в ее полноте и цельности, а не ощущать ее только быстрой, бесследной и безвозвратной пробежкой по годам и десятилетиям...

По части красок, звуков и запахов, «все-го того чувственного, вещественного, из чего создан мир», предшествующая и современная Бунину литература не касалась таких, как у него, тончайших и разительнейших подробностей, деталей, оттенков.

В старости Бунин вспоминал в своей насквозь автобиографической «Жизни Арсеньева»: «...зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги». Поистине «внешние чувства» как средства проникновенного постижения чувственного мира у него были феноменальны от рождения, но еще и необычайно развиты с юных лет постоянным упражнением уже в чисто художественных целях.

Звяканье гайки, ослабшей на конце оси дрожек, — какая это случайная, необязательная мелочь, но из-за этого звука мы запоминаем столь значительный приезд мешанина — арендатора барских садов в разоряющуюся усадьбу, даже забыв его имя. Шум кустов под ветром, «как будто бегущих куда-то», — именно бегущих куда-то, это и нам так всегда казалось, а Бунин только напомнил, — шум, поразительный по выражению глубокой печали какого-то пастушеского полевого одиночества и сиротства. Отличить запах росистого лопуха от запаха сырой травы — это дано далеко не каждому, кто и родился, и вырос, и жизнь прожил у этих лопухов и этой травы, но, услышав о таком различении, тотчас согласится, что оно точно и ему самому памятно.

О запахах в стихах и прозе Бунина стоило бы написать отдельно и подробно — они играют исключительную роль среди других его средств распознавания и живописания мира сущего, места и времени, социальной принадлежности и характера изображаемых людей. Исключительно «душистый», эстетически-раздумчивый рассказ «Антоновские яблоки» как бы непосредственно навеян автору запахом этих плодов осеннего сада, лежащих в ящике письменного стола в кабинете с окнами на шумную городскую улицу. Он полон этих яблочных запахов

«меда и осенней овежести» и поэзии прощания с прошлым, откуда лишь доносится старинная песня подгулявших «на последние деньги» обитателей степных захолустных усадеб.

Помимо густо наполняющих все его сочинения запахов, присущих временам года, деревенскому циклу полевых и иных работ, запахов, знакомых нам и по описаниям других классиков,— талого снега, весенней воды, цветов, травы, листвы, пашни, сена, хлебов, огородов и тому подобного, Бунин слышит и запоминает еще множество запахов, свойственных, так сказать, историческому времени, эпохе. Это запахи венчиков из перекасти-поля, которыми в старину чистили платье; плесени и сырости нетопленного барского дома; курной избы; серных спичек и махорки; вонючей воды из водовозки; москательных товаров, ванили и рогожи в лавках торгового села; воска и дешевого ладана; каменноугольного дыма в хлебных степных просторах, пересеченных железной дорогой... А за выходом из этого деревенского и усадебного мира в города, столицы, заграницы и далекие экзотические моря и земли — еще множество других разительных и памятных запахов.

Эта сторона бунинской выразительности, сообщающая всему, о чем рассказывает писатель, особую натуральность и 'приметность — во всех планах, от тонко лирического до едко саркастического,— прочно прижилась и развивается в нашей современной литературе — у самых разных по природе и таланту писателей.

Правда, можно было бы возразить, что Бунин не является тут первооткрывателем. Уже в восьмидесятых годах прошлого столетия Эдмон Гонкур сетует в «Дневнике» на то, что вслед за «глазом» и «ухом» в литературе появляется «нос» как средство постижения действительности. Он имеет в виду в первую очередь Золя с его «носом охотничьей собаки», принесшего в литературу «антиэстетические» запахи городского рынка и т. п. Однако бунинские «обонятельные» приемы выражения вполне независимы от французского натурализма и никогда не запечатлевают крайностей «неблагоухания».

К слову сказать, современная западная литература, помимо прочих внешних чувств, широко пользуется физиологическим «вкусом» (кажется, это пошло от М. Пруста). Хемингуэй, Ремарк, Генрих Бёль с утончен-

ной детализацией фиксируют ощущения своих героев при разжевывании пищи, питье, курении. Но здесь уж можно говорить о некоторой замене чувств ощущениями. Бунину это чуждо.

Бунин, как, может быть, никто из русских писателей, исключая, конечно, Л. Толстого, знает природу своего Подстепья, видит, и слышит, и обоняет во всех неуловимых перепадах и изменениях времен года и сад, и поле, и пруд, и реку, и лес, и овражек, заросший кустами дубняка и орешника, и проселочную дорогу, и старинный тракт, покинутый пешими и конными, с прокладкой «чугунки». Бунин предельно конкретен и точен в деталях и подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то присел или прилег отдохнуть под деревом — он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета послышатся в рассказе. Он знает все травы, цветы, полевые и садовые, он большой знаток лошадей и их статям, красоте, норову часто уделяет короткие, запоминающиеся характеристики. Все это придает его прозе, да и стихам особо подкупающий характер невыдуманности, подлинности, неувядаемой ценности художнического свидетельства о земле, по которой он ходил.

Но, понятно, если бы его изобразительные возможности ограничивались только этими, пусть самыми точными и артистичными картинками и штрихами, значение его было бы далеко от того, какое он приобрел в русской литературе. Человека с его радостями и страданиями как объект изображения ничто не может заменить в искусстве — никакая прелесть одного только предметно-чувственного мира, никакие «красоты природы» сами по себе.

Когда сам Бунин в большом стихотворении «Листопад», именуемом обычно поэмой, в мастерски развернутой сложной метафоре,— лес — терем вдовы Осени перед зимой,— с яркой и даже щеголеватой живописностью дает все краски осеннего леса («лиловый, золотой, багряный»), но ограничивается безотносительным к человеческим делам и думам этой поры настроением красивого увядания и угасания природы, то как ни хвали эту живопись, она оставляет впечатление какой-то мертвенности, попросту не берет за живое...

Непреодоляющая художественная ценность «Записок охотника» в том, что автор в них

менее всего рассказывает о собственно охотничьих делах и не ограничивается описанием природы. Чаше всего только по возвращении с охоты — на ночлеге — или по пути на охоту происходят те встречи «охотника» и волнующие истории из народной жизни, которые стали таким незаменимым художественным документом целой эпохи. Из охотничьих же рассказов и очерков иного нашего писателя мы ничего или почти ничего не узнаем о жизни и труде деревень или поселков, в окрестностях которых он охотится и ведет свои тончайшие фенологические наблюдения над дневной и ночной жизнью леса и его обитателей, над повадками своих собак и т. п.

Бунин отлично, с детских лет, по крови, так сказать, знал всякую охоту, но не был охотником по призванию. Он редко остается один в лесу или в поле, разве что скачет куда-нибудь верхом или бродит пешком — с ружьем или без ружья — в дни одолевающих его раздумий и смятений. Его тянет и в заброшенную усадьбу, и на деревенскую улицу, и в любую избу, и в сельскую лавку, и в кузницу, и на мельницу, и на ярмарку, и на покос к мужикам, и на гумно, где работает молотилка, и на постоянный двор — словом, туда, где люди, где копошится, поет и плачет, бранится и спорит, пьет и ест, справляет свадьбы и поминки пестрая, взбаламученная жизнь поздней пореформенной поры.

О глубокоом, пристальном, не из третьих рук полученном знании этой жизни Буниным можно сказать примерно то же, что о его знании на слух, на нюх и на глаз всякого растения и цветения, заморозков и метелей, весенних распутиц и летних жаров. Таких подробностей, таких частностей народной жизни литература не касалась, полагая, может быть, их уже лежащими за пределами искусства. Бунин, как мало кто до него в нашей литературе, знает житье-бытье, нужды, житейские расчеты и мечтания и мелкопоместного барина, часто стоящего уже на грани самой настоящей бедности, и «оголодавшего» мужика, и тучнеего, набирающего силу сельского торгаша, и попа с причтом, и мешанина, скупщика или арендатора, шныряющего по деревням в чаянии «оборота», и бедняка учителя, и сельских властей, и барышников, и пришлых с севера. Из еще более оголодавших губерний бродячих портных, шорников, косцов, пильщиков. Он показывает быт, жильё, еду и одежду,

ухватки и повадки всего этого разношерстного люда в наглядности, порой близкой к натурализму, но как истинный художник всегда знает край, меру — у него нет подробностей ради подробностей, они всегда служат основной музыке, настроению и мысли рассказа.

Первый признак настоящей доброй прозы — это когда хочется ее прочесть вслух, как стихи, в кругу друзей или близких, знатоков или, наоборот, людей малоискушенных — реакция таких слушателей иногда особенно показательна. Мы можем только пожалеть, что так редко прочитываем вслух рассказ или хотя бы страничку-другую из рассказа, повести, романа наших современников — в кабинете ли редакции, в кругу ли семьи, или на дружеской вечеринке. Это у нас как-то даже не принято, и сами прозаики, увы, не настаивают на этом. А ведь в былые времена прозу вслух читал, например, Толстой («Питомку» В. Слепцова, «Душечку» Чехова, «Пески» Серафимовича), и не по одному разу! Можно вспомнить еще, что рукопись «Бедных людей» Достоевского Д. Григорович с Белинским прочли в один присест, чтобы в ту же ночь разбудить молодого автора и поздравить с удачей.

Мы же, не успев прочесть в журнале или книге новую вещь видного прозаика, часто вполне удовлетворены бываем пересказом кого-нибудь из читавших ее и сами пересказываем прочитанное, не испытывая потребности прочесть вслух отрывок. Конечно, этого нельзя объяснить только наличием радио, телевизора и кадров профессиональных чтецов. То, что проза наша лишена такой активной, незаменимой формы распространения, как непрофессиональное чтение вслух, объясняется заметным упадком ее культуры. Мы долго придавали мастерству письма лишь второстепенное значение и с готовностью прощали несовершенство формы, если содержание составляло ценность человеческого документа или новизны жизненного материала. Но подтверждается старая истина, что невнимание писателя к форме способно обернуться невниманием читателя к содержанию.

Использование диалогов для изложения обстоятельств действия и характеристик персонажей, неразличимость авторской речи с речью героев, к стилю которой автор подстраивается, наконец растянутость, развергивание повести или романа на материале, способном поместиться в небольшом расска-

зе, и т. д.—где уж тут читать вслух сходные у разных авторов по письму и языку повествования, их амузыкальную, будто с кочки на кочку перескакивающую речь.

Нельзя не остановиться на той отчетливо выраженной у Бунина индивидуальности письма, по какой вообще в русской прозе различаются ее великие мастера,— на особой музыкальной организации, если можно так выразиться, этого письма. Мы знаем эту опознавательную в отношении великих наших мастеров особенность: Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова развитой читатель узнает и отличит на слух с полустраницы, прежде того, как уловит детали содержания. Это та музыка, связующая отдельные слова в предложении, предложения в периоде, периоды в главе, главы в дальнейшем укрупненном членении повествования, которую читатель сознательно или бессознательно принимает и невольно следует ей. Сколько раз случается видеть, как человек, читающий книгу про себя, чуть заметно шевелит губами и чуть заметно покачивает головой, подчиняясь беззвучному ритму, заключенному в раскрытой перед ним странице. Это почти то же, что музыкант, читающий про себя нотную запись какого-либо сочинения, с которым он знакомится впервые или возобновляет его в памяти.

Эта музыкальная осястка большой русской прозы ничего общего не имеет с так называемой ритмизованной прозой, невыносимой для сколько-нибудь взыскательного слуха безотносительно к содержанию—будь то Златовратский или Андрей Белый.

Природа высокой музыкальной организации прозы— в ритмической основе живой человеческой речи со всеми интонациями, соответствующими предмету ее и степени эмоционального наполнения.

В одной из самых ранних вещей Бунина, о которой я уже упоминал в другой связи, в рассказе «На край света», с большим успехом прочитанном автором в Петербурге на литературном вечере в пользу переселенцев, уже с определенностью звучит музыка бунинской прозы.

И главное в этом рассказе, содержащем в себе лишь один-два намека на индивидуальные судьбы,— это вовсе и не рассказ с точки зрения даже свободных понятий жанра,— главное в нем— это негромкая, сдержанная, но густая, глубокая музыка народной трагедии. Его невозможно цитировать,

этот и скорбный и строгий, даже торжественно строгий рассказ, потому что, выбирая из него отдельные строки, прерываешь удивительно целостную его тональность, и сами эти строки, выпадая из нее, утрачивают в своем звучании, деревенеют.

Но это маленький, в три-четыре странички рассказ молодого, в сущности, как мы говорим, начинающего писателя. А вот крупнейшее произведение зрелого таланта— «Деревня». И она ритмически, основной своей музыкой выделяется из всей прозы Бунина. В противоположность различным вариациям лирико-раздумчивой, замедленной и как бы однозвучной интонации других вещей, здесь с первой строки пролога, краткой мужицкой родословной взят строгий и жесткий ритм:

«Прадеда Красовых, прозванного на дворе Цыганом, затравил борзыми барин Дурново...» И вся повесть идет в энергичском, нервном, необычном для прежнего Бунина темпе.

Бунин вошел в русскую литературу со своей музыкой прозаического письма, которую не спутаешь ни с чьей иной. Говорят, что так четко определиться ритмически в прозе помогло ему то, что он еще и поэт-стихотворец, всю жизнь писавший наравне с прозой стихи, переводивший западную поэзию. Но это необязательное условие. У Бунина, превосходного поэта, стихи все же занимают подчиненное положение. Толстой же и Чехов никогда не писали стихов, но кто может отрицать магическую— свою особую у того и другого— музыку их прозаической речи?

Бунин всегда осознавал и в своих суждениях подчеркивал эту музыкальную сторону прозаического письма. В интервью «Московской газете» в 1912 году он говорит, что вообще не принимает «деления художественной литературы на стихи и прозу». Поэтическое единство прозаической и стихотворной речи он видит в сближении их основных особенностей и взаимном обогащении:

«... поэтический язык (в смысле стихотворный.— А. Т.) должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха».

Он и чисто внешним образом подчеркивал принципиальное единство этих двух родов литературы: во многих своих сборниках и даже в «нивском» собрании

сочинений он перемежал повести и рассказы стихами. Это могло выглядеть как лишь выражение независимости от тогдашних общепринятых установлений и традиций. Но для самого Бунина это было и своеобразной декларацией верности пушкинскому и лермонтовскому примеру, являвшим гениальное совершенство в обоих основных родах литературного творчества. И по существу бунинская стихотворная поэзия, по крайней мере непосредственно примыкающая к прозе тематически, близка ей и общим настроением, и сходными средствами образного выражения, и всей словесной фактурой.

Стихи Бунина, при их строгой традиционной форме, густо оснащены элементами, характерными для его прозы: живыми интонациями народной речи, необычными для стихов того времени реалистическими деталями описаний природы, быта деревни и мелкопоместной усадьбы. В них можно встретить такие немислимые по канонам «высокой поэзии» прозаические подробности, как т а з ы, подставляемые под каплю с потолка в запущенном барском доме с дырявой крышей («Дворецкий»), или «ключья шерсти и помет» на месте волчьих свадоб в зимней степи («Сапсан»).

Однако если вообще проза и стихи являются из двух основных источников всякого настоящего художества — из впечатлений живой жизни и опыта самого искусства, то о стихах Бунина можно сказать, что они более наглядно, чем его проза, несут на себе отпечаток традиционной классической формы. Не забудем, что Пушкин, Лермонтов и другие русские поэты пришли к Бунину не через посредство школы и даже не через посредство книги самой по себе, а восприняты и впитаны в раннем ребячестве, может быть, еще до овладения грамотой, из поэтической атмосферы родного дома. Они его застали в детской, были семейными святынями, на их портреты он «смотрел, как на фамильные». Поэзия была частью живой действительности детства, влиявшей на душу ребенка, определявшей его склонности и дорогие на всю жизнь эстетические пристрастия. Образы поэзии имели для него такую же личную, интимную ценность впечатлений детства, как и окружающая его природа и все «открытия мира», сделанные в этом возрасте.

Только самого раннего Бунина коснулись влияния современной ему поэзии. В дальнейшем он наглухо отгораживается от вся-

ческих модных поветрий в поэзии, держась образцов Пушкина и Лермонтова, Баратынского и Тютчева, а также Фета и отчасти Полонского, но оставаясь всегда самобытным.

Конечно, неверно было бы думать, что он так-таки ничего и не воспринял в своем стихе от виднейших поэтов его времени, которых он всю жизнь ругательски ругал, оценивая всех вкуче и как бы не видя различия между Бальмонтом и Северяниным, Брюсовым и Гиппиус, Блоком и Городецким.

В развитии русского стиха после застойно-эпигонской поры «конца века» заслуги символистов бесспорны. Они расширили ритмические возможности стиха, много сделали по части его музыкального оснащения, обновления рифмы и т. п. Бунин не смог бы стать тем, чем он стал в поэзии, если бы только буквально следовал классическим образцам. И неверно, когда говорят, что стихи его будто бы ритмически однообразны, однотонны. Он пользуется по преимуществу основными классическими двусложными, реже трехсложными размерами, но он наполняет их таким интонационным и словарным богатством живой «прозаической» речи, что эти «ходовые» размеры становятся его, бунинскими размерами. Он вовсе не чужд и таким ритмическим поискам, которые выходят далеко за пределы привычных звучаний. например:

Как все спокойно и как все открыто...

Это ближе всего к уникальному в русской поэзии ритму тютчевского «Как хорошо ты, о море ночное...».

Или белые стихи, ритмическим строем овоим как бы предсказывающие, как это ни парадоксально, Пастернака:

Набегают впотьмах
И узорно пеною светится
И лазурным сиянием реет у скал на
песке...

А какая изумительная энергия, краткость и «отрубающая» односложность выражения в балладе «Мушкет»:

Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,
И поплыл в туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток...

Можно было бы еще указать на такие неожиданные ритмические образцы, как своеобразный трехсложный размер «Одиночества» («И ветер, и дождик, и мгла ..»), как

«Старик у хаты веял, подкидывал лопату...», или «Мужичок» («Ельничком, березничком...»), «Аленушка в лесу жила...» и многие другие. Но главное, конечно, не в них, а в том, что поэзия Бунина, долго представлявшаяся его литературным современникам лишь традиционной и даже «консервативной» по форме, живет и звучит, пережив великое множество стихов, выглядевших когда-то по сравнению с его строгой, скромной и исполненной внутреннего достоинства музой сенсационными «открытиями» и заявлявшими о себе шумно до непристойности.

Наиболее жизнестойкая часть стихотворной поэзии Бунина, как и в его прозе, это лирика родных мест, мотивы деревенской и усадебной жизни, тонкая живопись природы.

Уже менее трогают стихи, посвященные темам экзотического Востока, античности, библейским мотивам или сюжетам древних мифологий, былинно-сказочной русской старине, хотя и здесь остается в силе редкостной выразительности бунинский язык.

Без похвал этому языку, как, впрочем, и описаниям природы, не обходится ни одно высказывание о Бунине. И хотя обе эти материи в отдельном их изложении способны вызвать убыль читательского внимания, но без них действительно не обойтись, говоря об этом мастере. Рассказывают, что, слыша похвалы его языку, Бунин обычно отшучивался: «Какой такой особый язык у меня; пишу русским языком, язык, конечно, замечательный, но я-то тут при чем?» И хотя за этой шуткой чувствуется горечь художника, которому всегда обидно, так сказать, выборочное признание его достоинств, но по существу это очень верно, что у писателя не может быть иного языка, чем его родной язык, язык его народа. Однако у писателя не только может, но и должен быть язык иной, чем у других писателей. И сам Бунин умел строго различать и предпочитать язык одним языку других мастеров слова.

«Хороший колоритный язык народа средней полосы России,— говорил он в 1911 году,— я нахожу только у Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов, то это я считаю отвратительным варварством».

Нужно отдать должное его объективности, в данном случае в оценке языка. Он приравнивает чуждого ему по идейной на-

правленности Г. Успенского к одному из своих трех «богов» — Л. Толстому.

Язык Бунина — это язык, сложившийся на основе орловско-курского говора, разработанный и освященный в русской литературе целым созвездием писателей — уроженцев этих мест. Язык этот не поражает нас необычностью звучания — даже местные слова и целые выражения выступают в нем уже узаконенными, как бы искони присущими русской литературной речи. И мы, читатели, уроженцы иных областей, обычно с трудом расстающиеся с привычными с детства словечками и предложениями родных мест и с неприязнью относящиеся к замене их иными, порожденными в другой языковой стихии, легко принимаем особенности речи Бунина, густо, как и у Тургенева и у Толстого, персыпанной областническими словами. Нужно сказать, что после справедливой и своевременной критики М. Горьким языковых неряшеств и крайних увлечений областническим словарем в нашей литературе мы так долго и тщательно ограждали ее от «местных речений», просто сводя дело к нивелированию слога в соответствии с омертвелыми понятиями «правильного языка», что добились той удручающей стерильности, безъязыкости прозы, когда она воспринимается как перевод с иностранного.

Местные слова, употребляемые с тонким уменьем и безошибочным тактом, сообщают стихам и прозе Бунина исключительную земную прелесть и как бы ограждают их от «литературы» — всякого рифмованного и нерифмованного сочинительства, лишеного теплой крови живого народного языка.

«Обломный ливень» — непривычному слуху странен этот эпитет, но сколько в нем выразительной силы, дающей почти физическое впечатление внезапного летнего ливня, что вдруг хлынет потоками на землю точно с обломившегося под ним неба.

«Листва муругая» для большинства читателей как будто бы требует пояснительной сноски — какой это цвет, муругий? Но из целостной картины, нарисованной в небольшом и прекрасном стихотворении «Зазимок», и без пояснений очевидно, что речь идет о поздней, жесткой, хваченной морозами коричневатой листве степных дубняков, гонимой свирепым ветром зазимка.

Точно так же — редкое, почти неизвестное в литературном обиходе слово «глудки»

совершенно не нуждается в пояснении, когда мы его встречаем на своем месте: «смерзшиеся глудки со стуком летели из-под кованых копыт в передок саней». Но слово-то какое звучное, весомое и образное — без него куда беднее было бы описание зимней дороги.

Занятно, что в цейлонском рассказе «Братья» Бунин называет туземную пирогу уж слишком род-русски — дубок, и, однако, это не портит колорита тропического островного побережья: что пирога, что дубок — это долбленная из цельного ствола лодка, и словечко это только как бы напоминает, что этот рассказ, такой далекий по содержанию от орловско-курской земли, пишет русский писатель.

В «Господине из Сан-Франциско» этот певец русских степных просторов, несравненный мастер живописания родной природы, свободно и уверенно ведет за собой читателя по комфортабельным салонам, танцалам и барам океанского парохода, по тем временам являвшего собой чудо техники. Он спускается с ним к «мрачным и знойным недрам преисподней... где глухо гоготали исполинские топки, пожирившие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояса голыми людьми, багровыми от пламени...».

Попробуйте заменить это простонародное, почти вульгарное слово «гоготали» правильным «хохотали» — и сразу ослабевает адское напряжение этих котлов, устрашающая мощь пламени, от которой содрогается подводная часть корпуса парохода-гиганта, сразу утрачивается сила остальных слов о полуголых людях, загружающих топку углем... А слово-то взято опять же из запасов детской и юношеской памяти, из того мира, откуда вышел художник в свои далекие плавания. Эта память в отношении родной речи, картин природы и сельского быта и бездны всяческих подробностей былой жизни у Бунина удивительным образом сохранялась и в течение целых десятилетий, проведенных им вне родины.

Бунина нельзя не любить и не ценить за его строгое мастерство, за дисциплину строки — ни одной пóлой или провисающей — каждая, как струна, — за труд, не оставляющий следов труда на его страницах.

В смысле школы, в смысле культуры письма в стихах и прозе молодому русско-

му, и не только русскому, писателю невозможно миновать Бунина в ряду мастеров, чей опыт попросту обязателен для каждого пишущего. Как бы ни был этот молодой писатель далек от Бунина по своим задаткам и перспективам развития своего дара, в начальной своей поре он должен пройти Бунина. Это научит его постоянному чувству великой ценности родной речи, умению отбирать нужные и незаменимые слова, привычке обходиться малым их числом для достижения наибольшей выразительности — короче, уважению к делу, за которое взялся, к делу, требующему неизменной сосредоточенности, и уважению к тем, ради которых делаешь это дело, — к читателям.

Серьезнейшую тревогу внушает беззаботность относительно формы у наших молодых писателей, отчасти поощряемая критикой, отчасти — примером старших товарищей по роду литературы. С ходу пишутся толстые романы, потому что нет времени написать, довести многократным возвращением к начатому до совершенной отделки, в меру дарования автора, небольшой рассказ. Пишутся огромные поэмы, и чтобы добраться до полноценной строфы или строки, там нужно «перелопачивать» вороха слов, строк и строф необязательных, случайных, подвернувшихся как бы при опыте импровизации, зарифмованных с такой близительностью и верашливостью, что созвучия, как полуоборванные пуговицы, держатся на одной ниточке.

Бунин по времени последний из классиков русской литературы, чей и пример и опыт мы не имеем права забывать, если не хотим сознательно идти на снижение требовательности к мастерству, на культивирование серости, безъязыкости и безличности нашей прозы и поэзии. Перо Бунина — ближайший к нам по времени пример подвижнической взыскательности художника, благородной экономичности русского литературного письма, ясности и высокой простоты, чуждой мелкотравчатым ухищрениям формы ради самой формы. Если уж говорить все до конца, так придется сказать и о том, что Бунин иногда бывает чрезмерно густ, как «неразведенный бульон», по замечанию Чехова о ранних его рассказах. Однако опасность излишней сгущенности прозы и стихов нам меньше всего сейчас угрожает, как раз нехватка сгущенности, сжатости, подобран-

ности, экономичности письма — главная наша беда сегодня.

Нынешнее собрание сочинений И. А. Бунина, наиболее полное из всех вышедших в свет до сих пор, надо полагать, не залежится на складах подписных изданий и полках магазинов и библиотек. Конечно, и оно не может рассчитывать на безусловный прием у всякого читателя. Читательская масса многослойна, пестра, неоднородна. Для людей, прибегающих к печатной странице как средству только отдыха и отвлечения от каждодневных забот и обязанностей, ищущих в книге хитро завязанного сюжетного узелка, причудливых перекрестий любовной интриги, мелодраматических коллизий и успокоительной округленности концовки, то есть всего того, что отстоит поодаль от реальной серьезной жизни, ее вопросов и требований, и широко используется в мировой практике изготовления духовного продукта, который принято называть чтивом, — для таких читателей сочинения Бунина могут и не представить ценной находки, не дошло еще до того. Нужно еще оговориться, что Бунин, конечно, не всегда обладал той магией доходчивости, какая была, скажем, у Чехова, равно пленяющего и самого искушенного, и в самой малой степени «подготовленного» читателя без привлечения примитивных средств «занимательности».

Я не хотел бы здесь быть понятым так, будто я противник вообще занимательности

в художественном произведении, сюжетной собранности и насыщенности действием или будто я не знаю у величайших наших художников страниц, исполненных напряженного драматического характера и просто увлекательности в лучшем смысле этого слова. Но я с детских и юношеских лет знавал страстных читателей книг, с уверенностью ставивших «Князя Серебряного» А. К. Толстого или исторические романы Григория Данилевского выше «Войны и мира», да и теперь еще не такая редкость читатель, предпочитающий «Поджигателей» Н. Шпанова «Тихому Дону», хотя, может быть, не всегда высказывающий это свое предпочтение из опасения быть осмеянным.

Бунин — художник строгий и серьезный, сосредоточенный на своих излюбленных мотивах и мыслях, всякий раз решающий для самого себя некую задачу, а не приходящий к читателю с готовыми и облегченными построениями подобий жизни. Сосредоточенный и углубленно думающий художник, хотя бы он рассказывал о предметах по первой видимости малозначительных, будничных и заурядных, — такой художник вправе рассчитывать и на сосредоточенность, и даже некоторое напряжение, по крайней мере поначалу, со стороны читателя. Но это можно считать необходимым условием плодотворного «контакта» читателя с писателем, имея в виду, конечно, не одного Бунина, но всякого подлинного художника.



И. ВИНОГРАДОВ

★

ПО СТРАНИЦАМ «ДЕРЕВЕНСКОГО ДНЕВНИКА» ЕФИМА ДОРОША

1. «ОБХОДЯ ОКРЕСТНЫЕ СТРАНЫ ОЗЕРА»...

«**В** предлагаемом читателю дневнике нет и строчки вымысла, и это обстоятельство побудило меня изменить имена людей, о которых идет здесь речь, несколько иначе назвать городок и озеро, на котором он стоит, переименовать расположенные вокруг деревеньки и села. Городок я назвал Райгородом отчасти потому, что в таких маленьких городах, как это уже было замечено кем-то из наших писателей, каждое учреждение имеет в своем названии слово «рай», отчасти же потому, что такое имя могли дать ему первые славяне, приплывшие сюда около тысячи лет назад из Великого Новгорода и восхитившиеся «райской» прелестью здешних мест. Говорится же в одной из старинных местных рукописей: «Старейшие людие, обходя окрестные страны озера, видеша яко место то зело красно и мнози бяху ту ловы в дєбрех лесных и во озере, обильные пажити, многочисленныя борти и бобровые гоны, вельми удобно селитися им ту, и начаша жити ту себе»...

И вот теперь, тысячу лет спустя, московский писатель Ефим Дорош, побывав однажды в этих краях, точно так же привязался к ним сердцем — преданно и крепко. Много, конечно, изменилось здесь за века: и «мнози ту ловы в дєбрех лесных» заметно поубавились, и «борти» и «пажити» совсем иначе стали выглядеть, не говоря уж о «бобровых гонах». Но он полюбил это неяркое небо над тихим озером Каово, скромную природу здешних мест, Райгород с его

старинным кремлем и соборами, островерхние леса на дальних холмах, окаймляющих приозерную котловину, здешних людей — сноровистых, быстрых мыслю работников, от века возделывающих землю. Полюбил бродить по окрестным деревням и селам, что стоят на берегах медлительных, все еще богатых рыбой речек, — по всем тем местам, в которых мы без труда узнаем исконный русский край, раскинувшийся вокруг древней столицы Ростово-Суздальской Руси — Ростова Великого. Да автор почти и не скрывает этого за своими прозрачными географическими псевдонимами — как мы только что слышали, они затем лишь и нужны ему, чтобы свободнее чувствовать себя в своем замысле — «ни строчки вымысла». Ибо, «обходя окрестные страны озера», Ефим Дорош стал ежедневно заносить в свою книжку увиденное и услышанное.

Так возник «Деревенский дневник» — книга, из предисловия к которой и взяты приведенные выше строки.

Первые главы «Деревенского дневника», не законченного еще и поныне, писались в середине пятидесятых годов — время, вошедшее в нашу литературу под знаком явственного преобладания деревенской темы. В статье об очерках Валентина Овечкина¹ я говорил уже о причинах, вызвавших к жизни этот бурный расцвет литературы о деревне, и прежде всего деревенского очерка. Говорил и о том, что страстная потребность разобраться в реальном положении дел в стране, возникающая

¹ См. «Новый мир», № 6, 1964.

в годы, непосредственно предшествовавшие XX съезду партии и последовавшие за ним, наложила особый, своеобразный отпечаток на произведения тех лет. Жажда познания, объяснения, обсуждения поставленных временем проблем,— жажда, охватившая не только писателей, но и все общество,— несколько отодвинула в сторону собственно художественные интересы и поставила во главу угла исследование общественного смысла изображаемых явлений. «Преобладание общественных интересов над чисто литературными», социологию над литературой, если воспользоваться формулами Плеханова, стало характерной чертой литературного процесса и давало себя знать не только в очерках, но и в повестях, и в романах, и в рассказах.

«Деревенский дневник» Е. Дороша тоже целиком принадлежит породившему его времени. Эта книга о древнем крае русского земледелия тоже вся — от начала до конца — пронизана страстью поиска, жадной «выяснить себе и другим те или иные стороны наших общественных отношений». «Богатая событиями современность с ее хозяйственными, бытовыми и культурными проблемами», как это сказано в предисловии к «Дневнику», пользуется здесь бесспорным предпочтением, прежде всего владеет вниманием писателя.

И все же в ряду многочисленных его собратьев по очерковой литературе «Деревенский дневник» занимает особое место. Природное ли чутье художника, трезвый ли расчет тонкого аналитического ума, но какой-то внутренний верный голос подсказал Е. Дорошу ту единственную в своем роде форму, где публицистическая страсть не подчиняет себе художественность, и они, как добрые друзья, могут мирно, рука об руку, идти по всей книге, помогая друг другу и ничем не поступаясь.

«Деревенский дневник» — книга действительно гармоничная, цельная. Художественные зарисовки не претендуют в ней на самостоятельное значение, хотя и не унижаются до положения иллюстрации мысли,— они возникают в «Дневнике» естественно, как дневниковые наброски, рядом с которыми, на следующей странице, может быть и размышление автора, и статистическая справка, и экономическая выкладка, связанная с каким-либо жизненным впечатлением, и запись услышанного разговора — словом, все то, что может быть в дневнике. Объединяющим

же началом, придающим книге и цельность и стройность, началом, которое сообщает чтению всего этого разнохарактерного и не объединенного никаким сюжетом «материала» иллюзию именно того самого чтения, когда перед вами разворачивается увлекательный, захватывающий сюжет,— началом этим выступает сама личность автора. Художник и публицист, умелый рассказчик и зоркий наблюдатель, тонкий лирик, чуткий к поэтической стороне жизни, и страстный приверженец трезвого языка фактов и цифр, истовый любитель русской старины и не менее убежденный сторонник цивилизации и прогресса — да просто живой, добрый, интересный и умный человек, он ведет нас за собой по страницам книги, и то, как раскрывается он постепенно перед нами, как, страница за страницей, мы входим в его душевный мир, и осваиваемся в нем, и вбираем его в себя,— это и есть тот «сюжет» книги, который, может быть, увлекательнее иных самых «завлекательных» литературных сюжетов. Ибо с каждой страницей мы действительно обнаруживаем, что нам все интереснее и нужнее быть соучастниками этого неторопливого, непреднамеренного путешествия по жизни, все интереснее и нужнее идти за автором по этим перелескам и проселкам исконной русской земли, по ее градам и весям, заглядывая вместе с ним во все их уголки, в избы, клубы, библиотеки, колхозные конторы, церкви, в учреждения и магазины, останавливаясь, чтобы поразмыслить вместе с ним над увиденным, полюбоваться вместе с ним, его глазами, буйным цветением луга или плывущими в белых облаках, сияющими куполами древнего собора,— пережить и перечувствовать мир какой-то частицей его души, осмыслить его умом...

И только закрыв книгу, до конца вдруг осознаешь, что вся эта исповедь писателя, вылившаяся как будто бы сама собой,— мастерское и строгое создание, несущее нам сложную, но стройную и цельную картину жизни, насквозь пронизанную единой мыслью и вместе с тем обнимающую столько вопросов, что над ними думать и думать...

Из всего сказанного читатель легко заключит, что я, как говорится, «неравнодушен» к этой книге. Что ж, у каждого из нас есть свои привязанности, и «Деревенский дневник» действительно дорог и близок мне. Почему? Да потому же, наверное, почему эта книга дорога и близка и тысячам других

читателей, сроднившихся с ее нравственным миром, с тем способом смотреть на вещи, чувствовать и понимать жизнь, которым озарены ее страницы. Ко многим из них я, как, наверное, и другие читатели, обращался не однажды — и все-таки каждый раз перечитываю их неспокойно, с вновь забирающим волнением...

К ним принадлежат и те страницы из третьей части «Деревенского дневника» («Райгород в феврале», 1957), где Е. Дорош рассказывает о последней своей встрече с некоей Соней из Ужбола — или Сонькой, как все ее зовут. Пусть не посетует на меня читатель за длинную выдержку, но я приведу это место по возможности полно — перескажем тут не обойдемся.

Соньке — «года двадцать три, не меньше, и у нее трехлетний сын, — пишет Е. Дорош. — Ростом она невелика, на ней черная плюшевая жакетка и серый, плотно повязанный платочек. Лицо у нее раскраснелось, нос чуть вздернут, большие серые глаза глядят весело и доброжелательно...

Я знаю Соньку вот уже скоро пять лет.

В девушках Сонька была чуть ли не самая маленькая и худенькая среди своих сверстниц в Ужболе. Она работала на лошадей, как говорят здесь, делая ударение на последнем слогое, была «прикрепленцем» — этим словом, родившимся в колхозные времена, называют работника, за которым закреплены лошади с телегой или санями. Это значит, что каждый день Сонька запрягала и распрягала высокого, могучих статей коня — их не назовешь лошадьми, а именно конями, ужбольских буланых и соловых тяжеловозов, достойных носить на себе богатырей. Я до сих пор не могу понять, как удавалось Соньке дотянуться до него, чтобы надеть большой и нелегкий хомут. Но ей приходилось еще самой нагружать и разгружать воз — соломой ли, навозом ли, мешками с картофелем или зерном. Я помню, однажды она шла в клуб, нарядная, благоухающая какими-то сладкими духами, с лихо откинутой назад прядкой светлых волос над правым ухом. Я остановил ее, начал расспрашивать о работе, и она, проведя ладонью по животу, простодушно сказала, что и у нее, как у матери, наверно будет опущение желудка.

Мне не доводилось слышать, чтобы Соньку кто-нибудь хвалил за ее работу. Да и чем ей было здесь отличиться. Но я никогда не видел ее сидящей без дела или чтобы она

в неполаженное время работала на усадьбе, и не было такого председателя, который не отпустил бы ее с «товаром» в город, а это в известной мере и есть оценка трудового усердия.

Не чужда была Сонька и общественной деятельности. Она заведовала сельским клубом и обязанности свои исполняла исправно, то есть раз в неделю, перед танцами, мыла полы, заправляла керосином и зажигала, когда нужно, лампы, хранила у себя дома за печкой сотни полторы книжек, охотно отзываясь на чье-нибудь желание взять что-нибудь почитать. Едва ли можно требовать большего от девушки, которая не кончила и пяти классов, — у Соньки умер в ту пору отец, а послевоенные годы в Ужболе были голодные.

С точки зрения человека, для которого деревня — это затейливо крытые черепицей фермы с доильными залами, похожими на операционные, где девушки в белых халатах доят коров электрическими аппаратами; прямые, словно вычерченные по линейке поля, по которым раскатывают сияющие красным лаком тракторы; металлическая вышка ветряной установки с веером плоскостей на ее вершине; наконец Дом культуры с классическим фронтоном и колоннами, — с точки зрения такого человека, Соньки нашей как бы даже и не существует, потому что ее не отнесешь ни к одной из тех категорий, какие будто бы только и обитают в современной деревне: доярка, тракторист, электрик...

А я люблю наблюдать Соньку, когда в марте, пробежав рядом с нагруженными навозом санями, одетая в стеганку с фартуком поверх нее, подпоясанная, в резиновых сапогах, она гикнет вдруг, упадет в передок раскатившихся на обледенелом спуске саней, покатит под гору от конюшни. Или как она возвращается с поля в «полоть», кажется, еще больше исхудавшая, пропыленная, с жесткими, перепачканными соком растений руками, с надранной в огурцах или в цикории лебедой и сурепкой в мешке за плечами — для козы.

У Соньки на усадьбе — отличная картошка; облупишь ее, разлوميшь, и она рассыплется крупинками. Сонька сажает картошку не возле дома, где земля чересчур жирная, а на том клочке, что ей отрезали в поле. И капуста у нее всегда тугая, белая; однажды, «для интереса», она и красную посадила...

Спросишь Соньку, отчего у нее все так хорошо родит. От земли, скажет она беззаботно, от семян. А мать прибавит: мы по этому делу сызмала».

В этом простом, непритязательном, но исполненном душевной взволнованности рассказе, в этом живом, сердечном интересе к судьбе ничем как будто бы не примечательной, обычной молодой женщины, «рядовой» колхозницы — весь Дорош. Он может с увлечением рассказывать нам о реставрации древнего райгородского кремля, может заняться экономическими выкладками и расчетами, показывающими, как следовало бы организовать, сообразуясь с экономической выгодой, ту или иную сторону колхозного производства, он подробно записывает свои беседы и с секретарями райкома, и с председателями колхозов, рассказывает о буднях Райгорода, о колхозной торговле, о читательских конференциях — его интересует все, чем живет в наше время этот древний край русского земледельчества, что составляет его сегодняшние заботы и тревоги, радости и горести. И все-таки всегда и прежде всего перед его глазами такие вот, как Сонька, простые труженики колхозных полей — их заботам и тревогам полнее всего отдано его сердце, их судьбы входят в него, как он сам однажды признает, «занозой», не отпускают его ни на минуту, а все остальное и занимает его главным образом именно потому, что так или иначе сказывается на судьбах этих простых, незаметных, дорогих ему людей...

Со страниц «Деревенского дневника» мир сегодняшней нашей деревни встает в более интимном и доверительном своем обращении к нам, чем, пожалуй, в любой другой книге пятидесятих годов, — неприкрашенный, реальный мир в его доподлинном облике, с его поэзией и тяготами, думами и надеждами, каждодневным бытом и действительными, насущными нуждами, — мир, увиденный глазами человека, не постороннего ему, но знающего его изнутри, принявшего в свое сердце его заботы, сроднившегося с ним.

Одна из главных фигур «Деревенского дневника» — Иван Федосеевич, председатель самого крепкого в районе любогостицкого колхоза, вот уже более четверти века отдающий ему все свои силы и умение. Это, можно сказать, любимейший герой Е. Дороша, человек, наиболее близкий ему среди всех остальных добрых знакомых райгород-

ского района, человек, опытом которого он поверяет все свои наблюдения и выводы.

Конечно, Иван Федосеевич — фигура не обычная, не «рядовой человек». Он ярко талантлив, самобытен, чем и вызывает «по меньшей мере раздражение, а то и ярость мелких людишек, которые опекают его, постоянно чему-то учат и зудят, зудят...». Он пример настоящего коммуниста, руководителя, всю свою жизнь работающего «ради «дальних» своих — не ближних, а именно дальних, то есть односельчан, соотечественников». Немало страниц «Деревенского дневника» посвящено его удивительному умению хозяйствовать, его председательским будням, его заботам о том, чтобы сделать жизнь людей, вручивших ему свои судьбы, по возможности более зажиточной и светлой, — страниц, которые дают право Е. Дорошу заметить: «Я полагаю, не учить надо Ивана Федосеевича, а у него учиться».

Но он и сам для Е. Дороша — именно олицетворение народа, его лучших качеств, плоть от плоти и кровь от крови тех простых людей, судьбы которых «занозой» вошли в сердце писателя. И именно поэтому он так и дорог, близок ему. С каким уважением и любовью говорит, например, Е. Дорош о его крестьянской расчетливости, о трезвом взгляде на жизнь, об артистичности этой расчетливой его мысли, постоянно изыскивающей средства к тому, «как наилучшим образом устроить жизнь»... Как дорого ему то, что вся эта земля, по которой идут они с Иваном Федосеевичем, — «вся эта земля, даже довольно отдаленная ее история, неотделима от жизни Ивана Федосеевича. В какую сторону от Райгорода мы бы ни поехали, километров на сто примерно, повсюду встретятся нам черты из крестьянской его родословной»...

Или вот, скажем, такая сцена: Андрей Владимирович, местный мелиоратор, рассказывает автору, что к Ивану Федосеевичу приезжала областная комиссия по проверке выполнения социалистических обязательств и что председатель или заместитель председателя этой самой комиссии, Жугин, возмутился, что Иван Федосеевич до сих пор не выполнил указания о незамедлительном силосовании всей ржи. Жугин — человек известный, председатель знаменитого колхоза, Герой и депутат, хотя давно уже никто не помнит, чем колхоз его прославился в свое время, а сейчас о нем и подавно не слышно. «И вот этот человек, исконный

крестьянин,— передает Е. Дорош рассказ Андрея Владимировича,— понуждал другого крестьянина скосить на силос рожь почти восковой спелости. Он обвинял еще Ивана Федосеевича в том, что тот «не борется за увеличение надоя молока», и при этом приказывал выгонять коров на молодой однолетний луг, засеянный райграсом пастбишным, овсяницей и тимофеевкой».

Ну, а Иван Федосеевич?

Иван Федосеевич же ответил, что силосовать такую рожь считает преступлением — «жара уже ей не страшна, тем более, что посеяна она на осушенном торфянике, где даже сейчас, в засуху, довольно влаги. Поэтому он даст ржи созреть, уберет ее чередом, причем косить станет вручную, чтобы и сантиметра соломы, то есть клетчатки, не потерять, и будет зимой с концентратами — с зерном, мукой, отрубями,— будет и с соломой. Что же до пастбы в молодых лугах, то и это, сказал Иван Федосеевич, вредная глупость — это же не отава, которая отрастет, коровы только выбьют луг, и порядочного травостоя здесь уже не будет».

И еще сказал Иван Федосеевич Жугину, когда тот стал грозить ему всякими карами, что подчиняется не ему, а колхозникам, которые одни только могут его снять, и попросил не мешаться в дела колхоза. «Тогда,— заключает Е. Дорош эту сцену,— Жугин принялся обвинять нашего друга в том, что он зазнался, и это звучало весьма комично, потому что у Жугина вся грудь в орденах, тогда как Иван Федосеевич за тридцать лет удостоился лишь какого-то министерского значка».

Каким спокойным достоинством — достоинством не просто руководителя, чувствующего за своей спиной поддержку колхозников, но и достоинством истинного земледельца, знатока своего дела,— веет от этих слов Ивана Федосеевича, от этой отповеди потерявшему свою крестьянскую совесть орденососу!.. И не забудем, что действие происходит в 1960 году...

Да, Е. Дорош прав: Иван Федосеевич — истый крестьянин, и мудрая трезвость его расчетливого крестьянского отношения к делу сочетается в нем с таким же мудрым и достойным народным сознанием истинной цены человека, его места на земле. Он, замечает автор, «свободен от нехитрой страсти, вызванной мелким честолюбием, увидеть еще при жизни дело свое завершенным. Он понимает всем существом, что и

после него будут люди, будет жизнь, как это было и до него, и надо лишь как можно лучше делать свое дело...».

Таков мир душевных привязанностей Е. Дороша. Сонька из Ужбола, ужбольская же колхозница Наталья Кузьминична, давняя приятельница автора, Иван Федосеевич и многие, многие другие такие же простые, обычные люди, населяющие землю, возделывающие ее, обеспечивающие трудами рук своих жизнь на ней,— вот те, в ком сосредоточено для него самое дорогое и важное в сегодняшней нашей деревне. Удивительно ли, что именно их судьбами и мерит он поэтому цену любого усилия, любого установления, связанного с колхозным производством, с жизнью сельского населения?

Конечно, это критерии общие для всего нашего деревенского очерка, и в предыдущей статье я говорил уже об этом. Но Е. Дороша отличает здесь именно то, что они для него — не просто некий общий принцип, но внутренняя основа и самого непосредственного его отношения к миру — то глубинное естество присущего ему взгляда на вещи, которое определяет само качество его «зрения», чувств, непосредственных реакций на услышанное и увиденное. Другие наши очеркисты тоже соотносят все с благом тех, кто работает на колхозных полях, но по большей части в конечном, так сказать, итоге, в общей перспективе. Критерий этот составляет для них как бы тот общий знаменатель, о котором они помнят и к которому в последнем счете стремятся «привести» все свои социологические и экономические «измерения».

Е. Дорошу не нужно «помнить» о колхознике, не нужно каждый раз прикидывать и соотносить, а как то или иное мероприятие райкома или председателя может отзываться или отзываться на интересах простых людей, работающих на колхозных полях. Понимать это для него так же естественно и просто, как дышать, пить и есть,— это вошло уже, можно сказать, ему в кровь, стало своего рода инстинктом. Он просто смотрит на все глазами этих людей, судит их чувством, и это и есть его суд, его собственный способ смотреть на вещи, в котором нет поэтому ни малейшего оттенка той отвлеченности, что сквозит все же иной раз в суждениях некоторых других наших очеркистов, даже очень известных, искренне, но все же как бы несколько со стороны защищающих интересы крестьянина. И поэтому

там, где, к примеру, какой-нибудь другой автор, возмущенный безхозяйственностью в организации кооперативной торговли на селе, начнет показывать на примерах и цифрах, насколько выгоднее и правильнее было бы скупать у колхозников продукцию с личного участка прямо в деревне, Е. Дорош обратит внимание прежде всего на другую сторону дела. Он увидит, как по пыльной шоссежке, ведущей в город, идут небольшими группами бабы-ягодницы — «в гору, с базара, они идут медленно, с порожними корзинами, в которые воткнуты стеганки, платки с торчащими из них белыми батонами, иногда надломленными. А под гору, на базар, женщины почти бегут, согнув колени, пригнувшись под тяжелой ношей — двумя корзинами с ягодами на коромысле... Ягоды поспевают каждый день, только успевай собирать. Вот и мучаются бабы,— надо и в колхозе работать, на сенокосе, на прополке, надо и домашние дела справить, готовить обед, подоить корову, надо и ягоды продать, да повыгоднее»...

И лишь после этого добавит: «Эти согнувшиеся под тяжестью корзин женщины вызывают злые мысли о здешних деятелях торговли, которые едва ли думают о том, как тяжело приходится такой вот бабе, и о том, что и сено, еще не скошенное или не убранное, и овощи, которые надо полоть, и хлеб, который вот-вот начнут жать,— что все это зависит от их, торговых деятелей, работы. А ведь среди них немало, надо думать, коммунистов»...

Из всего сказанного отнюдь не следует, что Е. Дорош, привыкший на все смотреть с точки зрения простого крестьянина, как бы растворяется в этом взгляде, теряет нужную меру объективности. Привязанности его избирательны, и он умеет заметить и отнюдь не эстетические особенности деревенских праздников, и дикость иных нравов, и некоторые не совсем привлекательные черты у любимейшего своего Ивана Федосеевича в его отношениях с колхозниками, и многое другое. Он, городской человек, всегда готов поучиться у крестьянина тому, чего не знает, но не станет скрывать, что в иных случаях знает больше и даже лучше понимает его самого, чем он сам.

Однако и здесь он думает и судит не со стороны, а как близкий этим людям человек, понимающий, откуда происходят те или иные неурядицы в судьбах его знакомых или известные изъяны в их харак-

терах. Он умеет относиться к людям с настоящим, ненаигранным уважением.

Именно поэтому-то он и чужд всякой их идеализации и «живописания». Ни одна страница «Деревенского дневника» никогда не напомнит и не может напомнить писания тех кондовых сочинителей, которые, изъясняясь на этаким «самовитом» языке, обильно уснащенном и диалектизмами, и всякого рода просторечными неправильностями «под народный говор», до того уже пристрастились к подобному стилю, напоминающему стиль ропетовской архитектуры, что даже и в газетных статьях, написанных от собственного лица, шеголяют им без тени смущения. Стремление подделаться под «народ-батушку», соединенное еще по большей части с этакой песенно-сказовой интонацией, выдает их с головой: читатель отлично и давно знает, что эта безвкусица свидетельствует не просто о творческом бессилии, но, как правило, имеет место именно там, где всем этим елеем замазываются, укрываются действительные заботы и тревоги народа, его действительная жизнь.

Не буду приводить примеров, чтобы не выслушивать лишний раз обычную в таких случаях присказку: вот-де критик сталкивает лбами писателей разных художественных индивидуальностей. Замечу только, что художественной индивидуальности Е. Дороша и претит как раз подобная «народность» — он враг ее, и враг смертельный. А потому хотя он с искренним удовольствием и бережно заносит в свой дневник слова и выражения, в которых свежо и неожиданно проступает образная стихия народного словотворчества, однако же чужд соблазна насыщать ими даже речь своих героев, не говоря уж о своем собственном. Язык его крепок, добротен, образен, но это правильная, подлинно литературная русская речь.

В этом, как и во всем остальном, проявляется коренная его гражданская и художественная позиция. Слушая однажды, как беседуют друг его, старый архитектор Сергей Сергеевич и Наталья Кузьминична, Е. Дорош замечает: «Потому-то он, должно быть, так естественен и прост с нашей Натальей Кузьминичной, что не ставит себя по отношению к ней ни жрецом, знающим от нее скрытое, ни бардом, призванным ее воспевать».

Вот он и сам такой же — не жрец и не бард, а русский писатель, видящий в искус-

стве «не таинство и не забаву, а нечто стоящее же нужное людям, как хлеб...».

Что же касается сочинителей, которые именно и мнят себя жрецами или бардами, то лучше всего отношение к ним Е. Дороша выражает то место из «Деревенского дневника» («Райгород в феврале»), где он рассказывает об одной из вечерних бесед в доме у своих друзей — Николая Семеновича Зябликова, старого агронома, преподавателя местного сельскохозяйственного техникума, и его жены, Татьяны Алексеевны, учительницы ботаники. В этом доме, где словно оживают традиции старой русской демократической интеллигенции, где превыше всех поэтов ставят Некрасова, где любовь к передвижникам так же естественна, как любовь к отцу и матери, а про картины французских импрессионистов сдержанно говорят: «Красиво», — в этом доме Е. Дорош бывает часто и любит там бывать, любит эти вечерние беседы за чашкой чая, эти оживленные споры и откровенные разговоры обо всем на свете — о луговых травах и об искусстве, о проблемах экономики и старинных приметах, о новых книгах и древних летописях.

Вот и теперь, как обычно, проводит он вечер в кругу своих друзей вместе с Сергеем Сергеевичем, архитектором. Разговор на этот раз идет о литературе. «И тут я вспоминаю, — пишет Е. Дорош, — как перед отъездом из Москвы, листая «Литературные и житейские воспоминания» Тургенева, я обратил внимание на то место из его воспоминаний о Белинском, где он цитирует свою лекцию о Пушкине.

Я нахожу нужный мне том и предлагаю моим друзьям послушать. «...Явилась целая фаланга людей, — рассказывает Тургенев, — ...на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене... Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать ложно величавой школой, продолжалось недолго... Оно продолжалось недолго — но что было шума и грома! Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно признавали себя за гениев. Со всем тем что-то не истинное, что-то мертвенное чувствовалось в ней даже в минуты

ее кажущегося торжества — и ни одного живого, самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, дошедшей до самохвальства, посвященные возвышению России — во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, — а час падения приближался...»

Здесь мы все принимаемся рассуждать о том, что в истории нашей культуры можно различить как бы два течения. Одно из них могучее, определившее всю нашу сущность, в котором национальное соединяется со всем лучшим, что есть у других народов, и которое по справедливости следует назвать пушкинским. А другое — ограниченное, чуждающееся всего иноязычного, чуждое самому духу народа, однако же со времен адмирала Шишкова, автора «Рассуждения о старом и новом слоге русского языка», выдающее себя за единственно народное. Течение это, хотя и были у него свои пииты, ни в поэзии, ни в живописи или на театре не оставило по себе сколько-нибудь заметной памяти...

Николай Семенович говорит, что спесь на Руси всегда высмеивали...

Сергей Сергеевич, молчавший до сего времени, заявляет, что Тургенев, разумеется, европеец. Но и Герцен, говорит он, и Ленин тоже ведь были европейцами, если только считать, что понятие это включает в себя просвещенность, широту взглядов, свободолюбие, любовь до сердечной боли к своему народу и уважительный интерес к другим народам, готовность учиться у них...

2. ЧТО СКАЖЕТ КОЛХОЗНИК?

Нужно ли говорить, что, занося в свой «Дневник» «увиденное и услышанное», Е. Дорош видит и слышит немало такого, что вызывает у него и горечь и гнев? С некоторыми «злыми мыслями» автора мы уже познакомились — справедливость их очевидна. Да и что удивительного? Годы, в которые писался «Дневник», были для нашей деревни нелегкими, и естественно, что писатель, страстно мечтающий со олимпийской

ми о том, как «наилучшим образом устроить жизнь», особенно зорек и внимателен ко всему, что этому противостоит.

Особенно содержании наблюдений и выводов Е. Дороша, связанных с изучением причин неблагополучия в сельском хозяйстве, писалось уже немало¹. Говорилось и о том, что Е. Дорош идет здесь, в общем, в русле тех же проблем, что и другие наши очеркисты пятидесятых—шестидесятых годов. И это, конечно, так.

Однако важно отметить, что то своеобразие взгляда, которое отличает Е. Дороша, и здесь проявилось со всей определенностью. Его критические наблюдения и выводы в сравнении с показаниями многих других наших очеркистов имеют все же некое иное, я бы сказал даже — качественно иное, своеобразное звучание. Перед нами, как говорится, то же, да не то.

Вспомним, как Ленин говорил о Толстом, что критика его не нова, что он не сказал ничего такого, что не было бы высказано задолго до него теми, кто стоял на стороне трудящихся классов, но что она отличается такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении дойти «до корня», какой не знает критика тех же порядков у иных писателей демократического лагеря и какая именно потому и свойственна Толстому, что он с огромной непосредственностью выражает точку зрения крестьянина и переносит его психологию, его настроение в свою критику.

Что-то похожее приходит на ум — разумеется, применительно к существенно иной исторической ситуации и существенно иному масштабу творчества, — когда думаешь и о «Деревенском дневнике» Е. Дороша. Умение посмотреть вокруг себя глазами крестьянина — причем глазами именно современного, советского крестьянина, имеющего за плечами опыт нескольких десятилетий новых общественных отношений, крестьянина, в психологии и мировоззрении которого от былой патриархальной наивности и слепоты не осталось и следа сколько-нибудь существенного, — умение посмотреть на жизнь такими вот глазами сообщает очеркам Е. Дороша действительно некое особое качество. Он яснее и отчетливее видит, острее чувствует многое из того, что у других на-

ших очеркистов проступает зачастую не столь обнаженно.

Покажу это на одной только проблеме, правда столь значительной, что не случайно она долгое время была едва ли не в центре внимания наших деревенских очеркистов. Речь идет о явлении, за которым, с легкой руки Валентина Овечкина, прочно закрепилось меткое название «борзовщины» — по имени Виктора Семеновича Борзова (фамилия-то какая!), ретивого службиста, озабоченного только сводкой, великого мастера накачки и разноса, зажимщика и карьериста, который держал в страхе божьем весь «вверенный» ему район и с которым мы впервые познакомились еще в 1952 году, когда были напечатаны «Районные будни» В. Овечкина. Пристальное изучение «борзовщины», стремление понять ее истоки, показать весь тот вред, который наносит она колхозам, породили не одну гневную страницу в очерках и того же В. Овечкина, и В. Тендрякова, и М. Жестева, и С. Залыгина, и многих других наших «деревенщиков».

Что же отличает среди них Е. Дороша?

Да, фактическое содержание критики «борзовщины» в «Деревенском дневнике» не ново: «борзовщина» выступает на страницах «Деревенского дневника» в тех же самых своих проявлениях, что и у других наших писателей.

Вот, скажем, Николай Леонидович Ликин, председатель колхоза, один из героев «Дневника», рассказывает о том, «как весной торопили его с севом, как он, не зная еще здешних полей, начал сеять, а земля в том поле была сырая, вязкая, потом наступила жара, земля как бы окаменела, да так, что ростки не могли пробиться наружу и весь посев погиб».

В другом случае иных два председателя решаются сажать картофель не квадратно-гнездовым способом, как им приказано, а под плуг, что по здешним землям и при отсутствии нужного количества удобрений гораздо выгоднее, — и, разумеется, получают за это основательную головомойку вплоть до «протаскивания» по областному радио за «косность и отсталость». (Е. Дорош резонно замечает в этой связи по адресу руководящих головотяпов: «Квадраты нужны или картошка?»)

В третьем случае местный агроном, знающий и дельный человек, выступает со статьей, в которой ратует за посевы куку-

¹ См., например, недавнюю статью Ю. Буртина «Целеустремленность правды» («Вопросы литературы», № 2. 1965).

рузы вместе с викой, горохом или овсом, что опять-таки по местным условиям имеет свой резон, и на него обрушиваются с обвинениями чуть ли не политического толка.

В четвертом, рассказав о том, как понуждали Ивана Федосеевича скосить почти спелую рожь на силос и как Иван Федосеевич ответил на это председателю обкомовской комиссии, Е. Дорош замечает: «Конечно, Иван Федосеевич прав. Но почему же обком вынес такое решение?»

Государство теперь не заготовляет в здешних местах зерно, и вот руководители нашей области... решили, должно быть, что не нужен им стал хлеб, если они за него не отвечают, лучше уж скосить его зеленым и козырнуть количеством заготовленного силоса.

И еще одно соображение приходит в голову.

Месяца через два у нас тут отмечают некую дату и к этому юбилею, конечно, готовят сейчас цифры — и по силосу и по молоку, — ради чего и однолетний луг стравят коровам»...

Рассказывает Е. Дорош и о широко распространенном в те годы институте так называемых «уполномоченных», при котором получается как бы естественным и нормальным, что колхозников учат «крестьянскому делу заведующий сберкассой, аптекарь или весьма юный, хотя и начитавшийся брошюрой инструктор»; рассказывает и о тех совещаниях в райкоме, где «главенствует... над всем так называемая накачка, ради которой и затеваются совещания»; рассказывает и о других совещаниях — вроде того, что созвал однажды райгородский райком по вопросу об искусственном осеменении. «Признаться, — замечает Е. Дорош по поводу этой повестки дня, только что сообщенной ему секретарем райкома, — меня оторопь берет. Куда же это годится, чтобы в самую страду, да еще в такое сухое лето, собирать среди дня всех председателей колхозов с заведующими фермами и секретарями партийных организаций и обсуждать с ними такую далекую все же от очередных забот проблему!»...

Словом, те же все, знакомые черты. Но увиденны они именно глазами Ивана Федосеевича, Николая Леонидовича, Соньки из Ужбола, Натальи Кузьминичны — глазами тех, на ком и отзывается прежде всего любое коленце «борзовщины» и от чьего имени и выступает Е. Дорош в своем «Дневнике».

Потому-то и суд его над «борзовщиной» — суд особый. У него не встретишь, может быть, столь развернутых, публицистически заостренных и разящих обвинений по ее адресу, как у В. Овечкина или В. Тендрякова. Он выражает свое отношение к ней, не тратя много слов, — одной-двумя фразами, да и то больше тоном, чем словами. Но зато в словах и тоне этом та глухая, но жгучая неприязнь земледельца ко всему, что отворачивает его от земли, понуждает к надругательству над ней и не дает ему делать, как должно, свое крестьянское дело, то брезгливое удивление трудящегося человека перед лицом человеческой опустошенности, готовой ретиво исполнять самое бессмысленное и вредное указание, — тот гнев, и боль, и презрение, что разят сильнее, чем любые самые красноречивые и грозные речи.

И это, кстати сказать, очень характерно для самого стиля «Деревенского дневника». Вообще говоря, Е. Дорош — совсем не «громовержец», он человек спокойный, сдержанный, даже мягкий, склонный к раздумью, к неторопливому и обстоятельному описанию увиденного, к серьезному, всестороннему, не крикливому обсуждению занимающих его вопросов. И общая интонация его «Деревенского дневника» такая же — спокойная, негромкая, как любят у нас говорить — «раздумчивая».

Но тем более показательно, что всякий раз, как речь заходит о самом существовании дела, всякий раз, когда перед ним то, что вызывает «злые мысли», тон его меняется настолько, что даже сама сдержанность выражения превращается в нечто противоположное и лишь увеличивает силу «выплеска» той внутренней страсти, того накала чувств, что клокочут в его сердце. В самом деле, какая формула обвинения приговора крепче, чем этот трезвый, резонный вопрос — «квадраты нужны или картошка»? Что сильнее бьет наотмашь, чем искренняя эта оторопь, это простодушное изумление — «куда же это годится, чтобы в самую страду, да еще в такое сухое лето...»?

И это не оттенки. Передавая нам строим этих чувств, характером этих интонаций эмоциональное отношение людей труда к какому-нибудь Борзову, который «командирует» над ними, погоняет и «накачивает» их, жмет из них лишь сводку и план да к тому же издевается еще над их крестьян-

яным опытом и совестью, Е. Дорош передает нам нечто гораздо более значимое и содержательное, чем сами по себе эти чувства. Разве в характере эмоциональных отношений не обнажается порой с особенной как раз наглядностью и незамутненностью и характер отношений хозяйственных? Перед нами, таким образом, психологический факт, имеющий непосредственное касательство именно к самому познанию жизни, помогающий нам яснее понять существо и природу конфликта, изображенного почти всеми нашими деревенскими очеркистами — и не только очеркистами.

Покажу это на некоторых конкретных примерах.

Изучая психологию «борзовщины», пытаясь понять ее истоки, почву, на которой она произрастает, и В. Овечкин, и В. Тендряков, и другие близкие им авторы, писавшие о деревне, пришли к общему и единодушному выводу: «борзовщина» возникает в такой ситуации, когда руководят не теми, перед кем отчитываются. В «Тугом узле» В. Тендрякова, например, эта мысль именно так почти и выражена. Саша Комелев, один из героев повести, с недоумением спрашивает у своего старшего друга, председателя колхоза Игната Гмызина, почему же это бывшего их секретаря райкома Павла Мансурова, преступные авантюры которого были разоблачены на недавней партконференции, не только не наказали как следует, но даже направили на учебу в высшую партийную школу. Ведь сам же первый секретарь обкома Курганов, недоумевает Саша, был на партконференции и поддержал коммунистов района, даже и свою вину, что проглядел Мансурова, признал. Зачем же он открывает ему дорогу к еще более высокому постам, где тот напакостит еще больше? «Не враг же людям Курганов?»

«Нет, людям не враг, а себе тем более... — отвечает Гмызин. — Перед нами, чье мнение не указ, он мог расписаться в своей вине, а перед теми, кто сидит выше, это сделать боязно... Равнодушие к людям, Сашка, большей частью идет от страха за себя...»

Отлично понимает это и Е. Дорош: в «Деревенском дневнике» мы встречаем ту же мысль неоднократно — и в еще более, пожалуй, резком и прямом выражении, чем у В. Тендрякова. Вспоминая, например, о секретаре райкома Василии Васильевиче

Пирогове, о том, каким пагубным оказалось для ужбольского колхоза проведенное под его нажимом переизбрание председателя, Е. Дорош замечает: «Я не обольщаюсь. Я хорошо понимаю, что Василий Васильевич, занимающий теперь руководящую должность в области, и в мыслях не считает себя виноватым за положение дел в Ужболе. Да если бы и считал, никогда не признался бы в этом, разве только начальство напомнит».

И еще — в связи с теми же все «мероприятиями» Василия Васильевича: «...Никогда, думается мне, не посещает его беспокойство относительно того, что крестьянин, как предостерегал Ленин, возьмет и скажет: «...Если ты хозяйничать не умеешь, то поди вон».

Словом, отсутствие настоящей ответственности перед «руководимыми», перед крестьянином прежде всего, как сказал бы Е. Дорош, — вот почва, которая делает возможным все то безнаказное, губительное, преступно вредное «хозяйствование» на земле всякого рода службистов, озобоченных лишь тем, чтобы любой ценой отличиться. Да и как же иначе? Когда мнение тех, кого ты заставляешь своими руками сеять в грязь для того только, чтобы никто «наверху» не упрекнул тебя в бездеятельности, не определяет твоей судьбы; когда, напротив, твоя судьба определяется как раз каким-нибудь Борзовым, сидящим над тобой, и в полном соответствии с твоей у него репутацией, — что же удивляться, что не только и сам ты превращаешься в борзовца, но и вокруг себя насаждаешь таких же, как и ты?

Конечно, никакой «фатальности» здесь нет. Каковы бы ни были обстоятельства, многое, очень многое зависит и от самого человека, от его убеждений и принципов. Это Е. Дорош отлично понимает, как понимают и другие наши очеркисты, например В. Овечкин, создавший образы Мартынова и Долгушина. И недаром такое заметное место в «Деревенском дневнике» занимает фигура предшественника Василия Васильевича — бывшего секретаря райкома Алексея Петровича. Алексей Петрович — это совсем не Василий Васильевич. Какое бы дело, пишет Е. Дорош, ни предпринимал секретарь — «дела все были, правда, на взгляд не броские, какие и бывают у обыкновеннейшего партийного работника в рядовом сельском районе, — никогда не выходило так»

чтобы он примеривал это дело на себе, как новое платье: хорош ли он в нем?

Отчасти поэтому, отчасти же из врожденной хозяйственности простого человека не затевал он в районе разорительных для колхозов предприятий, чего, к сожалению, не скажешь о сменившем его Василии Васильевиче».

Словом, Е. Дорош, посвятивший Алексею Петровичу немало страниц «Деревенского дневника», всегда пишет о нем с неизменным уважением, хорошо понимая, как важно было для колхозов района руководство именно такого вот умного и опытного, всегда помнящего об интересах колхозника и старающегося всеми доступными ему средствами помочь колхознику секретаря.

Но вот Алексея Петровича взяли в обком, и на его месте оказался Василий Васильевич. Откуда он взялся и как оградить от его «предприятий» колхозы, если уж у него, в отличие от Алексея Петровича, не хватает нужных убеждений, принципиальности, да и просто даже личной совести?

Корни всякого рода бюрократизма, администрирования, карьеризма, преступной бесхозяйственности и т. п.—в отходе от ленинских принципов социалистической демократии— вот истина, азбучная истина марксизма, которая и подтверждена была, естественно, всем ходом наблюдений наших очеркистов за «борзовщиной», за ее повадками и разрушительной ее деятельностью. Ответственность перед народом, неукоснительное и полное осуществление принципов выборности, подотчетности «низам» — важнейшее, решающее значение всего этого не случайно подчеркивал постоянно Ленин, ибо только при такой постановке дела, отвечающей самому существу социализма, и может быть создана действительно надежная и прочная гарантия против всяких борзовых, мансуровых или пироговых. Если бы Василий Васильевич знал, и твердо знал, что завтра же колхозники, которых он заставлял сеять в грязь, скажут ему: «Поди вон» — и ему действительно придется пойти вон,— надо думать, ему и в голову бы не пришло своими руками столь верным способом рыть себе яму.

Ну, а раз в данном случае этого нет, надо ли удивляться его непробиваемости? И вот Е. Дорошу, который слушает, как рассуждает Василий Васильевич о необходимости «замены» Ивана Федосеевича (устарел-де Иван, тянет колхоз назад), остается только

заметить с горечью и гневом: «Я думаю о том, с каким безмятежным спокойствием сидящий передо мной человек берется решать судьбы людей — речь не о председателях, но о тех тысячах мужчин, женщин, детей, благополучие которых зависит от того, плох или хорош председатель...»

По должности своей он толкует на собраниях о восстановлении ленинских норм, но едва ли помнит, хотя и «проходил» Ленина в институте, как он мне однажды сказал, ленинские слова о необходимости доказать, что коммунисты в момент тяжелого положения разоренного, обнищавшего, мучительно голодающего мелкого крестьянина ему сейчас помогают на деле,— вот это самое «мучительно» звучит так, что чувствуешь муки, испытанные тем, кто произнес это слово. Применительно к сегодняшнему дню это означает, что секретарь райкома не может не болеть душой и за Соньку из Ужбола, и за уехавшего оттуда Виктора...

Однако и об этом я не говорю Василию Васильевичу.

Пожалуй, он поднял бы меня на смех...

Такова реальная почва взаимоотношений Василия Васильевича и, скажем, Соньки из Ужбола или Ивана Федосеевича. Да и может ли она быть иной там, где, как говорит Е. Дорош в другом месте, крестьянин в колхозе не хозяин, а работник? После мартовского Пленума ЦК КПСС 1965 года никому уже, кажется, не придет в голову отрицать экономическую первооснову процессов, протекающих в нашей деревне.

Вспомним, как приходит однажды Иван Федосеевич мрачный и злой к автору «Дневника» (действие происходит в 1959 году) и, не поздоровавшись, говорит, что разругался с начальством. «Он объясняет, что ему планируют девятьсот тонн молока, ничего не оставляя для нужд хозяйства, для продажи горторгу, тогда как Чернову, у которого земли чуть ли не втрое больше,— восемьсот. Опять, говорит он, стригут... И на кой черт он тогда коров покупал.

Был бы у него совхоз, рассуждает он, пожалуйста, все забирайте. У совхоза и капиталовложения, и фонд заработной платы. А ему откуда взять денег, чтобы платить людям, развивать хозяйство? Ведь он только тем и жив, что часть оставшейся после поставок продукции продает горторгу или тресту ресторанов, то есть тому же государству, но по розничной цене минус десять процентов торговой скидки.

И пока заготовительные цены не повышены, чем больше он сдаст молока, тем разорительнее это для колхоза»...

Так что ж, трудно ли из всего этого сделать вывод, что, видимо, характер взаимоотношений между Иваном Федосеевичем и Василием Васильевичем и отражает ситуацию, при которой мнение Ивана Федосеевича или Соньки для Василия Васильевича «не указ», и он только и делает что «стрижет» Ивана Федосеевича, выжимая из него «план»? Тут ведь не скажешь по поговорке: милые бранятся — только тешатся. Тут дело не шуточное, серьезное, тут речь идет не о столкновении «хорошего с лучшим», а о самой жизни на земле, о самых основах существования земледельца, советского крестьянина, колхозника.

Именно об этом и говорит Ефим Дорош своим «Деревенским дневником» — то, что как бы только подразумевается в наблюдениях других наших очеркистов, выявлено здесь с очевидной наглядностью реальной картины — в том самом «тоне», который отличает высказывания Е. Дороша о «борзовщине» и по которому мы всякий раз можем с полной определенностью судить о характере непосредственного эмоционального отношения современного крестьянина к какому-нибудь толкачу и погоняле, не желающему и не имеющему надобности знать, что думает колхозник и чего он хочет. О чем же еще если не о природе их взаимоотношений в производственном процессе и свидетельствует этот накал чувства, эта горечь, и гнев, и «злые мысли»? Разве колхозник не понимает — может не понимать, что именно за его счет, на его спине и строит такой вот «слуга народа» свою карьеру, то есть, говоря иначе, свое благополучие? Разве может он считать его другом и разве они друзья?

Да, Е. Дорош творит над «борзовщиной» действительно беспощадный, подлинно народный суд, и встает она со страниц его «Дневника» поистине без всяких покровов, бессильная укрыться даже под более или менее приличными псевдонимами, во всей откровенной своей неприглядности.

Вот она — ученая комиссия, приехавшая на ужбольские поля определять, можно ли использовать озерный ил, сапропель, в качестве удобрения, хотя местные крестьяне испокон веков вносят ил под овощи и хотя и дела-то всего, из-за которого приехала специальная министерская комиссия, — ре-

шить, стоит ли дать району тридцать метров (!) резиновых труб для землесоса, что уже два года стоит на озере и добывает сапропель. Но «высокоученая комиссия», коль скоро ее послали, должна себя «оправдать». И вот она «ездит из колхоза в колхоз, ходит по полям, знакомится зачем-то со всем хозяйством, изучает годовые отчеты, отрывает людей от дела...».

Хотите знать, что об этой ученой комиссии думают? Извольте:

«Мы отправились в поле, где, завладев колхозной агрономшей, крепенькой, деловитой девушкой, бродили, спотыкаясь на высоких каблуках, две из наших ученых дам... В руках у дам пучки колосьев, и похожи эти дамы на экскурсантов. Да и во всей комиссии есть что-то городское или дачное, я бы сказал — умильно-сюсюкающее, далекое от сегодняшних забот колхоза. Стыдно за них перед здешним председателем и его агрономшей, жалко времени, которое они отнимают у этих очень занятых людей»...

«Чужедворки» — еще определеннее выразится Е. Дорош в другом месте.

А вот председатель райгородского райисполкома Фетисов — ему, видите ли, не нравится, что ужбольский колхоз торгует на рынке молоком, выручая «трешки» и «пятерки»; он требует, чтобы Николай Леонидович все молоко продавал государству, хотя план государственных закупок молока колхозом честно выполнен, а государство платит за литр на восемьдесят копеек меньше рыночной цены, и колхозу, конечно, это невыгодно. Фетисову позарез нужно козырнуть перевыполнением плана, и вот он уже готов назвать торговлю молоком на рынке даже и «занятием антигосударственным».

Что ж, посмотрим, не прояснится ли благородное лицо уважаемого гражданина Фетисова, если назвать его так, как он того заслуживает по справедливости и как и называет его Е. Дорош, когда говорит, что «трешки и пятерки, над которыми, как барин, посмеялся председатель Райгородского райисполкома, это те наличные деньги, какие очень нужны колхозу, особенно сейчас, когда еще ничего не поспело и продукции на продажу, кроме молока, почти никакой нет»...

И когда тот же Фетисов, встретив автора как-то в другой раз, торопливо, не успев поздороваться, сообщает ему, что-де «у Ивана Федосеевича с сеноуборкой плохо» и вот «надо домой заскочить, переку-

силье — и сразу в колхоз!» — Е. Дорош до- бавляет к уже припечатанному «барин» и еще одно достаточно выразительное опре- деление. «Я представил себе... — пишет Е. Дорош, — Ивана Федосеевича, опытней- шего хозяина, комсомольца первых лет ре- волюции и члена партии с середины два- дцатых годов, — представил себе крестьян- скую его иронию, начитанность талантливо- го самоучки и подумал, каким словом, какой цитатой из Щедрина или Демьяна Бедного встретит он этого бодрого воро- бышка, приехавшего, как принято говорить, «организовать народ и добиться перело- ма».

Или, может быть, бодрый воробышек из райисполкомовского кресла в силу малой своей значительности не дает еще достаточ- ного представления о всей мере серьезности, с которой судит земледелец о возможно- стях «борзовщины»?

Ну что ж, можно вспомнить тогда и о том, как на одном из областных партийных активов Иван Федосеевич, поднявшись на трибуну, заявил, что геология, к примеру, «знает периоды четвертичный, третичный, а сельское хозяйство у нас в области — элек- трический, кроликовый, веточный, теп- личный, потому что один секретарь видел спасение от всех бед в сплошной электри- фикации колхозов, другой — в кроликах, третий — в веточном корме, нынешний же — в строительстве теплиц... Так вот, — закон- чил Иван Федосеевич, — чем обо всем та- ком из года в год шуметь... надо обратить сугубое внимание на то, что хозяйство у нас ведется вопреки природным и экономи- ческим законам.

Едва Иван Федосеевич кончил, как слово взял секретарь обкома. Он сказал, что то- варищ тут говорил с чужого голоса, заслу- шавшись Би-Би-Си.

Иван Федосеевич, поднявшись с места, по- шел из зала прочь...

3. «ВСЕ ЭТО СОЗДАЛ НАРОД»...

Природные и экономические законы...

В этом тоже весь Дорош. Мысль о том, что суть дела именно в объективно-эконо- мической стороне колхозного производства, что без изменения этой основы нельзя «наи- лучшим образом устроить жизнь», проходит красной нитью по всему «Деревенскому дневнику». Мы только что видели это на

примере отношений между Василием Ва- сильевичем и Иваном Федосеевичем: для Е. Дороша не составляет секрета, что в основании здесь лежит именно реальное экономическое взаимоотношение, и поэтому он и не питает иллюзий на тот счет, что положение можно выправить лишь улучше- нием стиля руководства.

По этой же причине Е. Дорош свободен и от другой, тоже довольно распростра- ненной среди пишущих о деревне иллю- зии — веры в то, что подъем сельского хо- зяйства зависит лишь от усилий хороших председателей колхозов, что главные на- дежды следует возлагать именно на них. Автор «Деревенского дневника» впло- не отдаст себе отчет в том, что в существ- вующей, реальной ситуации от председа- теля действительно зависит многое, почти все: и то, сумеет ли колхоз быстро и вы- годно построить телятник, купить нужный дизель, достать необходимые материалы, выручить нужные деньги, и то, насколько огражден он будет от разорительных рас- поряжений всяческих фетисовых и жугиных, противодействовать которым способна од- на только стойкость, неуступчивость и, е- сли хотите, изворотливость председателя, его готовность идти на разносы, нагоняи, вы- говоры и тому подобную «сладкую жизнь» ради интересов колхоза. Пример Ивана Фе- досеевича всегда у автора перед глазами, и недаром он замечает о нем, что Иван Фе- досеевич «вот уже более четверти века удачливо руководит самым богатым здеш- ним колхозом и почти всегда виноват перед начальством, потому что все делает по-сво- ему».

Более того, Е. Дорош даже не склонен слишком уж сурово осуждать тех предсе- дателей, которым заслуги кружат несколь- ко голову, и они начинают считать себя незаменимыми. Он готов признать, что это, конечно, не такое уж отрадное явление. Но что, с другой стороны, поделаешь, если дельный, опытный председатель — это дей- ствительно почти все для колхоза, если он действительно главный защитник интересов колхоза в ежедневной текучке его сложных взаимоотношений с различными инстанция- ми и организациями, главная пробивная си- ла колхоза, обеспечивающая его снабже- ние дефицитными материалами, машинами, средствами? Тут всегда есть возможность даже и для скромного, нечестолюбивого человека постепенно возгордиться, зарвать-

ся, усвоить командный тон, замашки этакого колхозного самодержца, и недаром даже честнейший и скромнейший Иван Федосеевич застывает в некотором изумлении, когда ужбольская колхозница в ответ на какое-то его замечание, не понравившееся ей, рассерженно говорит, что, мол, такого, как ты, мы бы давно с председателямй прогнали. Любогостицкие колхозники, не без иронии по адресу своего друга замечает Е. Дорош, не посмели бы так разговаривать со своим могущественным председателем.

Словом, таково реальное положение дел, и если колхозники дорожат своим председателем, готовы многое ему простить, удивляться этому не приходится, а винить их за это — вот-де культ вокруг своего председателя создаете, держитесь за него как за сокровище — тем более. Что ж, действительно сокровище, и Е. Дорош не для красного словца замечает по адресу секретаря райкома, мечтающего забрать от ужбольцев Николая Леонидовича, а от любогостинцев — Ивана Федосеевича, что речь ведь идет не о председателях, а о тех тысячах мужчин, женщин, детей, благополучие которых зависит от того, хорош или плох председатель...

Однако если реальное положение дел свидетельствует о столь исключительном значении фигуры председателя колхоза, это означает только, что положение это никак нельзя признать нормальным. Е. Дорош опять-таки сумел понять это раньше многих, и весь «Деревенский дневник», с первых же, в сущности, своих страниц, как раз и показывает, почему оно ненормально и что нужно сделать для того, чтобы оно стало нормальным.

Вот цепь наблюдений и раздумий писателя, взятых по преимуществу из первой части «Деревенского дневника» (1954—1955) и достаточно характерных в этом отношении.

Рассказывая о той самой комиссии, что бродит по полям ужбольского колхоза, чтобы определить, годен ли сапропель как удобрение, Е. Дорош заключает этот эпизод следующим рассуждением:

«Покамест комиссия бродит по полям, я думаю об одной, бросающейся в глаза особенности здешнего колхоза. Все приусадебные участки здесь сплошь засажены луком,— ни дерева, ни кустика, ничего, что хоть сколько-нибудь напоминало бы «усадь-

бу». Да это и не усадьбы, так как многие участки находятся в поле. Это — товарные, промышленные плантации. Пожалуй, если соединить их вместе, то общая площадь окажется больше, нежели площадь, занятая луком в колхозе. А урожайность и подавно больше, потому что на усадьбах агротехника лука выше: его и поливают, и пропалывают в срок, и удобряют лучше; хотя лето нынче засушливое, лук на усадьбах зеленый, чистый. А в колхозе лук беднее, перо уже начало желтеть, да и зарос он изрядно сорняками.

Выходит, не усадьбы при колхозе, а колхоз при этих усадьбах, поскольку они дают больше продукции. Меж тем колхоз этот — не из последних. Председатель колхоза — агроном. Трудоспособных здесь больше, чем где-либо, со всеми работами справляются в срок, урожайность хотя и низкая, но удовлетворительная, не катастрофическая. И строительством занимаются, и с государством расплачиваются. Колхоз даже числится миллионером.

А мне как-то не по себе стало, когда я увидел эти усадьбы-плантации и эти плохо обработанные, засоренные колхозные поля.

Если разделить усольский миллион на гектары колхозной земли да сравнить с доходом, который дают усадьбы, то выйдет, что плохо хозяйствует здешний председатель»...

Словом, Е. Дорош в отличие от многих писателей тех лет (да и не только тех лет) не испытывает презрения к «усадебникам», не гневается на них. Он отлично понимает, что «усадебный» промысел — вовсе не вина, а скорее беда их. Какая же вина, если та же Наталья Кузьминична, добрая его приятельница, хотя и зарабатывает, как он говорит, «хлеб свой» в колхозе, но «еще в большей степени обеспечивает ее всем необходимым приусадебный участок»? А знакомая девушка-агроном из дальнего колхоза, когда автор спрашивает ее, чем живут у них люди, прямо отвечает: усадьбой. «У усадьбы больше, — рассказывает она, — по пятьдесят соток... Сейчас пересматриваются размеры усадеб, не по уставу они, так хозяйка (у которой квартирует девушка. — И. В.) говорит, если отрежут — все разбегутся».

Поэтому-то Е. Дороша совсем и не удивляет, почему Николай Леонидович, когда колхозницы ему сказали, что уж не вини-де

нас, Никслай Леонидович, работать эту неделю не будем, вишня созрела, надо продавать, иначе пропадет,— почему Никола́й Леонидович Ликин, председатель ужбольского колхоза, только насупился, но промолчал. «Он ведь не может гарантировать им, что на трудодни они получат столько же денег, сколько за «товар» с усадьбы. Колхозу трудно пока что конкурировать с усадьбой, с ее высокой агротехникой, с ее отличными урожаями»...

Между тем вид этих отлично обработанных усадеб наводит Е. Дороша на неотвязные, беспокойные мысли. Вот ведь, рассуждает он, очевидно же, что даже маленький участок земли способен при должном уходе прокормить колхозника. Да и не только колхозника, и не только прокормить. Вот, скажем, улица Августа Бебеля в Райгороде — «дома здесь почти все словно вчера срублены, иные обшиты тесом и покрашены, другие лишь проолифены, крыши железные, заборы крепкие. Стоит только взглянуть на обширные усадьбы позади каждого дома, на сады, на лодки, лежащие вверх дном в каждом дворе, чтобы понять, откуда достаток.

Бедный Август Бебель!»...

А разве не понятно, почему так растет Райгород? Причина та же — участок земли, который получает «деревенский житель... переехавший сюда». «Получив землю, а заодно и ссуду на постройку дома, которую, к слову сказать, он получить не смог бы, остываясь колхозником», он «принимается хозяйствовать на своих «сотках» со всей страстью и умением здешнего приозерного огородника, истари привыкшего мерить пашню лаптем». А некоторые, получив землю, и вообще устраиваются так, чтобы нигде не работать,— как тот, например, молодой парень, только что вернувшийся из армии и решивший не работать, пока не обстроится, что живет рядом с хозяевами автора. «И не нужны мне,— замечает Е. Дорош,— никакие статистические данные о сельском хозяйстве нашего района, я и так знаю, что дела у нас обстоят плохо, коль скоро небольшой участок земли в городе может стать основой благополучия здорового малого, пусть на время, однако бросившего из-за него работу».

Та же картина и в колхозе. Так почему же, спрашивает автор, колхозная работа, «грубо говоря, не кормит, и все свободное

от нее время каждый колхозник в Ужболе отдаст обработке усадьбы, уходу за короной, поездкам с товаром в город,— тут не то что учиться, ребенку нос некогда утереть!»... Разве невозможное это дело, чтобы и на колхозных полях было так же, как на приусадебных участках? Е. Дорош не случайно цитирует слова академика Д. Н. Прянишникова о том, что «нам теперь предстоит обратить внимание на тот климатический район и на те почвы, на которых Западная Европа исключительно построила свое интенсивное хозяйство, а именно: на нечернозем, не знающий засухи и способный при удобрении давать устойчивые урожаи датского типа, т. е. 30 ц. зерна с гектара (200 пудов с десятины)».

Да и только ли зерна? «Мы принялись вспоминать весь длинный перечень пряных растений, кои возделывались здесь прежде: базилик, эстрагон, майоран, пиллон, чабер, калуфер, Melissa, ружа...

Горько, и стыдно, и злость разбирает чугунная»...

И — как естественный, закономерный итог нерадостных этих наблюдений, а вместе с тем и ответ на них — вывод: «Все сводится к тому, чтобы разумно организовать сельское хозяйство, и тогда производитель общественного продукта, как любит называть колхозника мой друг Иван Федосеевич, получая за свой труд по справедливости, не станет связывать свое благополучие с несколькими грядками».

«Со здешними мастерами земли, людьми предприимчивыми, оборотистыми, можно многое сделать, если только их материально заинтересовать»...

Как видим, постановка вопроса настолько определенная, что яснее, как говорится, и не скажешь. Другие наши очеркисты тоже всегда отдавали себе отчет в том, что, не заинтересовав материально колхозника, положение выправить невозможно. Однако Е. Дорош с самого начала понимает и другое. Как мы только что убедились, он не питает иллюзий насчет всемогущества председателей (вспомним Николая Леонидовича, который не может, при всем своем желании и умении, гарантировать колхозникам такой же доход, как с приусадебного участка, или Ивана Федосеевича, размышляющего о том, откуда взять ему денег, чтобы платить людям). Председатель не бог, и если, как выражается Иван Федосеевич, из «оставшейся после поставок государству ча-

сти продукции» хороший трудодень не выкроишь, то будь он хоть семи пядей во лбу, а все равно кардинально изменить положение не может. Потому-то Е. Дорош и видит здесь прежде всего объективно-экономическую проблему: он говорит о необходимости «разумной организации сельского хозяйства» — такой организации, которая именно и гарантировала бы оплату труда колхозника «по справедливости».

Приведенные размышления автора «Деревенского дневника» не менее примечательны и в том отношении, что ясно показывают, откуда идет у него эта трезвость выводов, эта реалистичность его «экономического мышления».

Мы видели, что исходным основанием для его выводов служат не какие-либо абстрактно-теоретические рассуждения и «прикидки», а совершенно реальная, практическая ситуация: очевидное, бросающееся в глаза различие между приусадебным участком колхозника или горожанина и колхозным полем. Е. Дорош не гнушается, как некоторые, заглянуть на личный огород крестьянина и отнестись с полной серьезностью к тому, что он там видит. Он привык считаться с реальными фактами, и вот это-то умение видеть их, исходить из них прежде всего и ставит его рассуждения и выводы на практическую, реальную почву, обеспечивает им достоверность и надежность.

Поэтому для него нет, например, никакого вопроса в том, чем определяется «мера справедливости», согласно которой колхозник должен получать за свой труд, и какая, следовательно, нужна «разумная организация», чтобы обеспечить возникновение материальной заинтересованности, соответствующей этой «мере справедливости». Проблема, в решении которой многие другие авторы шли зачастую чисто умозрительным путем, неизвестно почему предполагая, что при таком-то, скажем, отчислении от урожая в фонд раздачи по трудодням у колхозника непременно появится нужная заинтересованность, разрешается Е. Дорошем опять-таки на основе той реальной ситуации, которую он наблюдает.

Разве действительно не указывает характер этой ситуации на то, каковы здесь настоящие, реальные точки отсчета? Разве хозяева луковых «плантаций», например, доходность которых куда выше, чем доходность колхозных полей, будут заботиться о коллективном хозяйстве так же, как забо-

тятся они о своих огородах, если колхозный их доход не превысит существенно дохода с участка?

Е. Дорош не может не понимать, что исходное «мерило», сообразно которому колхозник судит о выгодности своей работы на колхозном поле, именно здесь. Да и где же ему быть еще? Здесь, на участке, расчет у колхозника крепкий, надежный, здесь все зависит от него самого, здесь он действительно может «планировать», измерить результаты своего труда, сосчитать, что останется у него за вычетом соответствующей суммы налога. Поэтому-то, вообще говоря, для определения «уровня» той материальной заинтересованности, при которой крестьянин действительно горячо и с охотой возьмется за работу в колхозе и перестанет «вникать» в личное хозяйство, наиболее показательным будет, если мы представим себе уровень дохода с такого индивидуального хозяйства, которое не стеснено сколько-нибудь существенными ограничениями и позволяет использовать действительно все максимально доступные личному труду возможности хозяйствования на земле.

Конечно, это не тот путь развития сельского хозяйства, который нужен, плодотворен и по-настоящему перспективен. Не об этом и речь. Артельное, кооперативное хозяйство на земле неизмеримо выгоднее и перспективнее — это давно уже доказано не только теоретически, но и подтверждено опытом, практикой.

Но в том-то и дело, что именно практика, опыт имеют здесь решающее значение для крестьянина. Не случайно Ленин так настойчиво подчеркивал в свое время, что «переход к коллективному земледелию пролетарская государственная власть должна осуществлять лишь с громадной осторожностью и постепенностью, силой примера, без всякого насилия над средним крестьянством»¹. «...Крестьяне, — говорил он, — люди слишком практичные... чтобы пойти на какие-либо серьезные изменения только на основании советов и указаний книжки»², — «лишь силой примера будут выясняться им преимущества машинного социалистического земледелия»³, «практически, на опыте, близком для крестьян»⁴.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 134

² Там же, т. 30, стр. 174.

³ Там же, т. 25, стр. 259.

⁴ Там же, т. 30, стр. 174.

Вот почему всякий раз, когда встает задача переключить внимание и интерес крестьянина с личного участка на колхозное поле, важно помнить, что у каждого земледельца, отлично знающего возможности земли и свои собственные возможности и силы, всегда есть трезвое и достаточно точное представление о том, какого рода доход можно получить, прилагая свой личный труд в полном, доступном его силам объеме и нестесненно реализовывая результаты этого труда. И, следовательно, настоящая, полноценная заинтересованность земледельца в общественном труде может начаться лишь с того момента, когда он скажет себе: э, нет, этого я не смог бы получить, даже если б имел столько угодий, сколько в состоянии использовать своими собственными силами.

Именно об этом и свидетельствуют наблюдения Е. Дороша за «конкуренцией» колхоза с усадьбами.

И второй момент, не менее важный. Присматриваясь к условиям хозяйствования на личном участке, Е. Дорош не может не видеть, что они выдвигают и еще одно необходимое требование к искомой «разумной организации сельского хозяйства».

Действительно, ведь что определяет экономическое положение колхозника на приусадебном участке?

То, что здесь все зависит от его собственной инициативы, его умения, способностей, труда. То, что он сам решает, как ему использовать землю и как распорядиться результатами своего труда. Иначе говоря, то, что он выступает здесь как полновластный хозяин — не только в отношении организации своего «индивидуального производства», но, за вычетом налога, и в отношении произведенной продукции.

А в колхозе?

«Иван Федосеевич...—рассказывает Е. Дорош,—предлагает ехать в Скнятиново, к младшей его дочери Флоре, начальнику тамошнего производственного участка. Кстати сказать, я никак не могу привыкнуть к этому нововведению, учрежденному Кириллом Федоровичем Черновым, председателем колхоза «Россия», и Василием Васильевичем, тогдашним секретарем Райгородского райкома. Самое слово «начальник», сдается мне, неуместно в колхозе, где хотя бы по идее, если и не всегда в действительности, каждый из членов — равноправный хозяин»...

Не всегда в действительности... Люда, метастный агроном, жалуется автору, что колхозники опять без соломы остались — сожгли в поле, так как не успели убрать. А между тем, замечает она, если бы заранее договориться с колхозниками, то не пришлось бы жечь, успели бы вывезти с поля — солома колхознику нужна, и если бы он знал, что и ему что-то достанется, он всю бы ее вывез, и в результате и у колхоза была бы подстилка, и у колхозника. Так «надо же наконец,— заключает Е. Дорош,— задуматься над тем, почему этот колхоз предпочитает сжечь солому, но только не отдать ее колхознику. И картошку повсюду оставляют в поле, и траву не выкашивают; если же колхозник возьмет себе, то он — вор. Хозяин ли он в своем колхозе, как это бы должно быть по смыслу самих слов — «коллективное хозяйство?»»

Вопрос, конечно, риторический, но Люда все-таки не считает себя вправе промолчать. «А насчет того, хозяин или работник,— говорит Люда,— то у них в колхозе — работник».

Так что же удивляться, что и работает крестьянин в колхозе совсем иначе, чем на приусадебном участке? Разве допустил бы он, будь он хозяином, такой «позор и безобразие, когда под снег уходит не только трава в лесу, но и картошка в поле, и хлеб, да еще в такое лето, когда один ленивый не уберет?»..

Следовательно, одной материальной заинтересованности, даже высокой, еще мало. Нужно еще, чтобы это была материальная заинтересованность подлинного хозяина. Колхозник, говорит Е. Дорош, должен, конечно, знать, что здесь, в колхозе, а не на усадьбе он заработает себе на жизнь. «Но чтобы столько зарабатывать, он должен быть хозяином» — полновластным коллективным хозяином всего общественного добра, потому что только тогда, когда материальная заинтересованность его в труде на колхозных полях станет заинтересованностью хозяина, раскроется действительный простор для творческой инициативы масс и колхозное производство начнет развиваться согласно своей собственной природе, на своей собственной основе. Иначе говоря, для Е. Дороша очевидно, что лишь преобразованием экономической основы отношений колхозов с государством в направлении равного, взаимовыгодного торгового обмена, при котором только и обретает реаль-

ный экономический смысл понятие «колхоз — хозяин», может быть достигнута искомая «разумная организация сельского хозяйства».

Таковы позиции Е. Дороша. Нельзя, конечно, сказать, что выводы его оригинальны — те же положения характерны и для многих других наших очеркистов. Но, во-первых, это и хорошо, что он не «оригинален», потому что это лишний раз доказывает правильность его логики. А во-вторых, нигде все-таки, пожалуй, эти положения не раскрыты с такой убеждающей конкретностью и полнотой, как в «Деревенском дневнике», не говоря уже о том, что Е. Дорош высказал их много раньше других.

И здесь снова мы не можем не отметить, что все это прямо связано все с той же коренной особенностью взгляда на вещи, которая отличает Е. Дороша и о которой идет у нас речь в этой статье. Ведь почему так важно для Е. Дороша посмотреть на положение дел не только из окна райкомовского кабинета, но и со двора колхозника? Почему с таким вниманием он наблюдает за крестьянином на его личном участке?

Не потому, разумеется, что он питает какое-то пристрастие к индивидуальному хозяйствованию. Для него важно другое. «От какого-то агронома-чиновника, — замечает он однажды, — я слышал о мужицкой костности, о том, что крестьяне здешние не применяют новейших достижений науки, потому, мол, так плохи урожан во многих колхозах района. Какой это бред собачий! Достаточно посмотреть на усадьбы, чтобы убедиться в обратном. И какая же это костность, если еще двадцать лет назад в Ужбале почти не было вишневых садов — на усадьбах росла конопля, — но как только люди прослышали, что от «вишенья» можно получить большой доход, так сразу же перепахали конопляники и посадили вишневые деревья, хотя надо было два-три года ожидать урожая».

И еще — в связи с огородами на усадьбах: здесь «угадывается древняя, очень древняя культура здешнего овощеводства, с его выработанными в течение столетий приемами. Все это создал народ, создал в результате опыта, наблюдений, без помощи со стороны, и не где-нибудь в щедрых солнцем местах, не на тучных землях, а здесь, где и солнца не так много бывает, где земля большей частью заболоченная. Да и почвы здешние, я

имею в виду старопахотные земли, созданы народом. И эта созданная народом земля, эти созданные им культуры овощей, эти выработанные многими поколениями агротехнические приемы, — все это в сущности поэма о русском земледелии и о русском земледельце... Он вовсе не был косным человеком, здешний крестьянин, не держался за привычное, не боялся нового, трудного, связанного с риском. Очень скоро понял свою выгоду, он перестал сеять здесь рожь, занимая драгоценную землю исключительно овощами. Стоило ему узнать, что спросом пользуется какая-нибудь новая культура, и он сейчас же принимался сеять ее, — так, вслед за луком появились в здешних местах цикорий, горошек, мята, тмин... Как же после всего этого смотреть на «некоторых здешних руковолящих товарищей, отвечающих за положение дел в сельском хозяйстве», которые «представляют себе крестьянина как бы трудновоспитуемым ребенком или же ленивым простачком, учат его, учат зачастую известным ему с детства истинам и настолько уверены в этом своем праве и в своем превосходстве над ним, что не испытывают естественной в таких обстоятельствах неловкости?»

Нет, не косные люди здешние земледельцы! Е. Дорош вправе сказать — и именно это он и хочет сказать: это «превосходные, потомственные мастера земли, и великий это грех, что таких мастеров отвратили от производства общественного продукта»...

Уважение к народному опыту, глубокая вера в народ, в его творческие силы, пристальное и бережное внимание к каждой крупине этого опыта — вот что движет Е. Дорошем, заставляет его видеть факты, мимо которых иные проходят с осторожной поспешностью, не зная, как к ним отнестись. Там, где для другого нечто туманное и проблематичное, он видит реальные, невыдуманные, не умозрительно представляемые доказательства творческих способностей народа, — доказательства, по которым и можно как раз вполне реалистически судить о том, какой эффект получится, если дать этим способностям развернуться на общественном поле.

Подлинный, глубокий демократизм Е. Дороша, демократизм самого склада его мышления, самого способа смотреть на вещи — вот что, следовательно, раскрывается перед нами в этих наблюдениях и сопоставлениях автора «Деревенского дневника». И раскры-

вается с наибольшей, может быть, как раз полнотой, потому что здесь перед нами, во-первых, не просто уже сочувствие к колхознику, не просто способность понять его положение, принять к сердцу его заботы и тревоги, но и настоящее, единственно ценное практическое умение видеть в народе главную опору, главную творческую силу общества.

А во-вторых, нельзя не признать, что наблюдения и сопоставления эти с особенной отчетливостью раскрывают перед нами и подлинно народный взгляд на характер и природу реального положения дел, в котором мы застаем ужбольского или усольского земледельца. Разве действительно в такой ситуации, когда творческая инициатива ужбольского или усольского земледельца проявляет себя по преимуществу на жалком клочке приусадебного участка, а не на всем просторе земли, вокруг него лежащей и зывающей к его умению, — разве в ситуации этой не обнаруживается перед нами со всей очевидностью несовместимость хозяйственных условий, вынуждающих его к этому, с его интересами, с интересами народа, населяющего эти земли? Разве не заставляет нас тем самым Е. Дорош с особой отчетливостью осознать всю серьезность, всю поистине всенародную важность проблем, перед которыми стоит наше сельское хозяйство, наша деревня?

Так еще и еще раз мы убеждаемся, в каком закономерном, неразделимом единстве находятся все главные достоинства «Деревенского дневника». Недаром говорят, что народность и реализм смыкаются. Именно потому, что Е. Дорош народен, наблюдения и выводы его и отличаются таким глубоким реализмом, такой бескомпромиссностью трезвой правды. И наоборот — именно умение видеть жизнь в ее реальности позволяет ему с такой последовательностью и полнотой выразить народную точку зрения и с такой страстной убежденностью утверждать, что главное — инициатива и творческая заинтересованность самих крестьян, самого народа.

Вот откуда и постоянный его интерес к истории — тема, постоянно звучащая в «Деревенском дневнике». Сегодняшний день потому и неотделим для него от опыта дня вчерашнего, и уважение к традициям, к культуре, выработанной народом за многие века его исторического развития, потому и

составляет в его глазах непреходящее условие плодотворного решения любых, самых «современных» задач, что главное в этом опыте и в этих традициях — утверждение творческой силы народа, требование свободного, подлинного, богатого и всестороннего их развертывания.

А разве тот всегдашний душевный интерес к людям, к их судьбам, характерам, то истинное, высокое уважение к человеку, к его индивидуальности, которое определяет отношения автора «Деревенского дневника» и с Соней из Ужбола, и с Натальей Кузьминичной, и с Иваном Федосеевичем, можно как-то отделить от общих мировоззренческих позиций Е. Дороша?

Гуманизм и народность тоже смыкаются: подлинная народность всегда гуманистична и подлинный гуманизм народен. Вот почему «Деревенский дневник», рассказывающий нам о судьбах русского земледелия, о чисто практических, хозяйственных как будто бы вещах, есть вместе с тем, в самой своей сути, книга о современном человеке, о его нравственном мире, о его духовных проблемах, — книга, утверждающая гуманизм отношения к миру и непримиримая ко всему, что враждебно подлинно свободному и всестороннему развертыванию сил и способностей каждого человека в отдельности и всего народа в целом.

Таковы основные проблемы и идеи «Деревенского дневника». Разумеется, многое, очень многое из богатейшего содержания этой книги осталось здесь незатронутым — обо всем не расскажешь с должной мерой обстоятельности, да я и не ставил перед собой такой цели. Читатель, обратившийся к «Деревенскому дневнику», найдет там и прекрасные зарисовки нравов, бытовых подробностей жизни, и интереснейшие материалы по истории этого древнего русского края, почувствует прелесть излюбленных автором мягких пастельных красок, которыми рисует он природу этих мест, городские пейзажи, а порой и жанровые сцены, узнает немало занимательного в старой русской архитектуре, познакомится со многими и многими не упомянутыми в этой статье людьми, жителями Райгорода и его окрестностей. Все это, сознавая, что тем самым обедняется содержание книги, мне пришлось опустить в интересах более или менее обстоятельного освещения того круга проблем «Деревенского дневника», который в данном случае меня интересовал.

Более того, даже и в отношении этого круга проблем — с точки зрения всей полноты их объективного содержания — не все, разумеется, получило равномерное освещение. Однако и в этом есть, думается, определенный резон, потому что есть резон в том, что и сам Е. Дорош, за которым я в данном случае последовал, не ко всем сторонам дела одинаково внимателен. Я говорил, например, уже, что Е. Дорош, умеющий посмотреть вокруг себя глазами современного крестьянина, отнюдь не растворяется в этом взгляде и умеет видеть разные стороны той проблемы, которую называют проблемой народа. Однако он не сосредоточивает внимания на каких-либо иных моментах, кроме тех, которые нашли отражение в этой статье и которые действительно занимают Е. Дороша в первую очередь и главным образом. Последовав здесь за автором, я последовал за ним не потому, что эти, другие, моменты несущественны, — «Деревенский дневник» показывает, что и сам автор так не думает. Просто дело в том, что существует определенная очередность постановки вопросов, зависящая от хода развития самой жизни. И то, что Е. Дорош обращает внимание именно на те стороны жизни народа, которым посвящен его «Деревенский дневник», глубоко оправданно, соответствует характеру и потребностям нашего сегодняшнего дня. Разве действительно постановление мартовского Пленума ЦК КПСС 1965 года «О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР», обратившее сугубое внимание как раз на экономическую сторону дела, не подтверждает со всей очевидностью, насколько важны и существенны наблюдения и Е. Дороша, и других наших очеркистов, писавших о деревне? И разве «Деревенский дневник», как и книги других очеркистов, не помогает нам отчетливее увидеть объем и характер тех объективных исторических задач, которые стоят перед нашей деревней, перед всем народом, понять серьезность

усилий, которые необходимы для их разрешения?

Злободневная значимость поставленных в «Деревенском дневнике» проблем настолько очевидна, что книга эта поистине не может не быть настольной книгой каждого, кто безразличен к заботам и тревогам сегодняшнего дня нашей страны.

Но дело, конечно, отнюдь не только в этих проблемах самих по себе — и тем более не только в их практически-хозяйственной актуальности. Можно с уверенностью сказать, что «Деревенский дневник» займет в истории русской очерковой литературы место рядом с лучшими образцами этого жанра и будет жить живой жизнью даже и тогда, когда сегодняшняя злободневная острота практически-хозяйственных проблем, в нем поставленных, отойдет в прошлое. Потому что «Деревенский дневник» — не собрание выкладок и публицистических текстов, а живая, полнокровная картина жизни, несущая нам живой, реальный, доподлинный образ времени. «Преходящие» проблемы подняты здесь на высоту того непреходящего интереса, который возникает всегда, когда художник рассказывает о заботах, которыми действительно живут люди его времени; когда взволнованность художника этими заботами входит в нас действительно как живое, непосредственное человеческое переживание, и становится нашим собственным переживанием, и превращается в наше собственное волнение, и мы вбираем именно то, что и может быть передано только силой художественного слова; когда произведение искренне, когда оно не лжет, не лукавит, не играет с нами в игрушки, — когда оно истинно.

Именно такие вот, как «Деревенский дневник», книги и останутся навсегда подлинным свидетельством о нашем времени, именно они будут для людей будущих поколений тем главным источником, по которому они смогут представить нас, сегодняшних людей, такими, как мы есть.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ю. Айхенвальд. Стихи Михаила Светлова последних лет.— **А. Турков.** Драма Тыну Приллуча.— **А. Берзер.** Когда черное — бело.— **Б. Яранцев.** На царской каторге.— **Н. Баранова, В. Баранов.** Писатель и живопись.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Калачников. Живее всех живых.— **Л. Клецний.** От отсталости к прогрессу.— **А. Губер.** Репортаж с переднего края.— **С. Езерский.** Важные вопросы педагогики.

Литература и искусство

СТИХИ МИХАИЛА СВЕТЛОВА ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Михаил Светлов. Охотничий домик. Книга новых стихов. «Советский писатель». М. 1964. 104 стр.

«Охотничий домик» — так назвал покойный Михаил Аркадьевич Светлов свою новую книгу стихов. Не хочется говорить «последнюю книгу». Заметки об «Охотничьем домике» не должны отдавать торжественным холодком мемориальной доски: в книге — время, «в книге — люди, в книге вечно — я и вы».

В новом сборнике напечатаны стихи последних лет. Там есть лишь одно стихотворение двадцатых годов. «Я — как биография страны», — говорит в нем поэт. Тогда Михаил Светлов был молод, и биография страны была короткой. С тех пор прошли десятилетия, и такие стихи Светлова, как «Гренада» или «Песня о Каховке», словно красная нить связали несколько поколений. Эти стихи стали больше, чем литературой: они сделались фактом биографии многих тысяч людей, быть может, и не любивших прежде поэзии, а если и воевавших, то совсем необязательно под Каховкой.

«Старость — роскошь, а не отрепье, старость — юность усталых людей», — говорит поэт в стихотворении, открывающем сборник. И он не постарел. Он просто прожил

большую жизнь. И Михаил Светлов, автор «Гренады», все так же мечтает, чтобы «поэзия, как выстрел, гремела, била точно в цель!». Поэт никогда не расстанется с молодежью, потому что везде ищет «путешествующих постоянно человека или звезду».

Но «Охотничий домик» — это книга, новая не только по названию. «Вращается весь мир вокруг человека, — ужель один недвижим будет он?» — сказал когда-то Пушкин.

Время шло. Уходили друзья. «Друг погиб под Выборгом, а в друзьях нет выбора...» И вот —

Ходят грустной парюю
Комсомольцы старые,
Как горел их жадный взгляд
Ровно сорок лет назад!

А земля березовая,
А земля сосновая,
А земля вишневая,
А земля рябиновая,
А земля цветет!..

Строки о цветущей земле завершают стихотворение «Грустная песенка». А заолго

до этого в стихотворении «Песня», тоже грустно, поэт писал о юноше, погибшем еще в гражданскую войну, и стихотворение кончалось так: «Девушки ночами пишут письма, почталыоны ходят по земле». Казалось бы, алогизм: девушке от этого не легче, а убитому все равно. Но дело не в логике, дело в ощущении непрекращающейся жизни, где смерть — всего лишь выпадение: то, что человек видел, слышал, то, в чем он жил,— это ведь и есть он сам. «Предметы неодушевленные я так люблю одушевлять!» — пишет Светлов в «Здравнице». То, что человек понял и одушевил, продолжится без него.

Как прожил ты? Что сотворил? Не
помнишь?
 И все же ты не даром прожил век —
 Твои стихи, тебя зовет на помощь
 Тебя похоронивший человек...

Жизнь, в которой ты останешься,— это и есть бессмертие.

В «Охотничьем домике» много стихов о старости. Но лейтмотив и этих стихов, и всего сборника — необычайно острое ощущение бессмертной молодости всего окружающего. Последняя тень ночи, «как школьница, бежит через луга», лучи несутся «ватагою оранжевых ребят», «девчоночковой светлой» стоит береза, желанья мелькают, «словно рубашонки ребят озорных», — все эти образы не случайны. Ощущение бережливой нежности ко всему начинающему жить, ко всему юному — ведущая нота сборника. Это чувство и есть «утверждающее начало, отрицающее финал». Отрицающее не умозрительно, не декларативно, а самой сутью поэтического ощущения вечной молодости и непрерывности жизни. И вот даже смерть «не страшную, простую, застенчивую девчонкой придет».

Неудовлетворенность «спокойным» миром, вечная жажда бури и борьбы — характерная черта романтического мироощущения. Романтика боя — вот пафос ранних стихов Светлова, стихов о том, как «девятая рота стучала, стучала, стучала в ворота», о том, как «пылала Полтава, как трясся Джанкой, как Саратов крестился последним крестом».

И сейчас романтика Светлова осталась боевой. Но иным стало время. Теперь — «какое чувство сделать генералом?». «Такое, что заботится о малом, такое, что истрати-

ло все средства, конфетами одаривая детство...»

Однако первое же стихотворение сборника (по нему названа вся книга) — «Охотничий домик». А охотники, как известно, жестокий народ по самому роду своих охотничьих занятий. Тут-то читателя и подстерегает неожиданность: поэт, поселившийся в охотничьем домике, странный охотник: он не выходит бить зверя, а приглашает лесных жителей к себе. Понятие охоты пересмыслено: охотнику нужны гости, а не пленные, нужна не чужая смерть, а чужая жизнь. Ее он зовет к себе в гости, себе в помощники:

Сколько прожил я, жизнь сосчитает.
 И какая мне помощь нужна?
 Может, бабочки мне не хватает,
 Может, мне не хватает слона?

Хозяин охотничьего домика предлагает гостям все, чем располагает сам — доброту. Доброту земли, людей, солнца. Но для того, чтобы разглядеть ее в мире и собрать, надо быть по-охотничьи зорким. Да и не так это просто — создать во всех концах земли светлый, гармоничный мир, это не проще, чем созвать интернационал добрых людей, о котором мечтал один из героев Бабеля.

Название и главный образ стихотворения чуть ироничны. Иронию автор адресует себе самому: мечта о таком домике — не шаг ли это назад, от науки к утопии? Но ирония тоже не пустяк. Великий романтик Гейне это отлично понимал. Усмешка над собой невесома, но часто именно она способна уравновесить грусть, груз пережитого. И чем улыбка мягче, добрей, тем равновесие устойчивей.

Мягкий, улыбчивый взгляд поэта из окон своего охотничьего домика — вовсе не созерцательное добродушие старика. Это скорее взгляд умудренной опытом юности, юности, умеющей беречь и ценить красоту мирного мира, красоту всего нежного и живого в нем. И простые, вроде бы непритязательные строки о том, что все равно будет на земле расти трава, а над землей светить солнце, выражают главное чувство поэта, простую истину: жизнь не нуждается в наших обоснованиях, скорее наши обоснования нуждаются в жизненности. И нас, людей, всегда выручит то, что жизнь была, есть и будет длиться. Это так же бесспорно, как утверждение, что человек рожден для счастья, как птица для полета.

Но как быть с безногим мальчиком, которому хочется играть в футбол? Как утешить плачущую девочку, которой не легче оттого, что ее слезы — как радужный летний дождик, а в мире были пролиты моря темных, кровавых слез? «Жизнь не река, она — противоречье...» И поэт не упрощает своего мира. Он работает. Он пытается сделать его гармоничнее. Всех мальчишек на нашем дворе не сделаешь «капитанами дальнего плавания», но можно попробовать сделать их «хоть какими-нибудь капитанами»!

Мудрый взгляд на мир всегда немного грустен: смешно два столетия спустя после вольтеровского «Кандида» подражать восторженному Панглосу. Но добрая, любовная, пусть немного грустная улыбка придает устойчивую человеку, переделывающему мир.

В «Охотничьем домике» много стихов о поэте и поэзии. «Маленькой зарей» при «огромных вспышках» называет Светлов свою жизнь, жизнь поэта. И это не от самоуничиженья: маленькая заря — вовсе не так мало. Живой огонек спички во всяком случае нужнее надутых риторикой слов о поэтическом огне. В стихотворении «Моя

поэзия» Светлов мечтает своим последним стихом как «последней спичкой зажечь высокие костры». А через три года вновь возвращается к этому образу: «Я желаю и присно и ныне быть родителем огоньков». Конечно, быть спичкой, от которой «на коротком привале» прикуривает солдат, — это не так уж много. Но много ли есть на свете большего?

Поэзия должна быть нужна людям, как нужны простые вещи: свет, воздух, хлеб. Светлов сам прямо пишет о себе, что «накормил земным овсом небесного Пегаса». И все же его Пегас остался сказочным крылатым конем. Для самого Светлова поэзия — волшебство, чудо: «несуществующее трогать я всех товарищей зову».

Новые стихи Михаила Светлова — этап большого пути, этап, к сожалению, ставший итогом. Но путь был большим, это был путь целого поколения, сохранившего «пошедшее великолепье наших радостей, наших идей».

«Считай своим другом меня!» — этой строчкой кончается последнее стихотворение поэта. У Михаила Светлова было и будет много друзей.

Ю. АЙХЕНВАЛЬД.



ДРАМА ТЫНУ ПРИЛЛУПА

Эдуард Вильде. В суровый край. Молочник из Мяэюлы. Романы. Перевод с эстонского. «Художественная литература». М. 1965. 352 стр.

Книга Эдуарда Вильде с определенной точки зрения вышла не совсем вовремя: подоспела она к столетней годовщине со дня рождения эстонского классика, исполнившейся в марте, она фигурировала бы на выставочных стендах, упоминалась бы в речах и выступлениях и, возможно, вызвала бы на свет немало рецензий.

Но юбилей отшумел, смолкли патетические речи, разошлись и разъехались гости.

Будь Вильде жив, он, наверное, уже сидел бы за письменным столом в своем окрашенном в зеленый цвет кабинете и работал, испытывая даже облегчение от того, что на нем не парадный костюм, а рабочая блуза и что он опять остался с глазу на глаз с читателем.

Я подумал об этом, глядя на книжку, куда вошли два романа Вильде: открывающий пору его творческой зрелости «В су-

ровый край» (1896) и, может быть, лучший из романов писателя «Молочник из Мяэюлы» (1916). Подумал о том, что ее скромное обличье и ее «опозданье» выглядят как-то знаменательно: она не торопилась на юбилей, чтобы важно занять свое место «в президиуме», она просто шла «на работу» — к читателю, на полки библиотек.

Написанный почти полвека назад и вроде бы повествующий о далеких от нас событиях, роман о молочнике из Мяэюлы, однако, подает свой голос в наших сегодняшних толках и спорах, трогает одних и заставляет задуматься других.

После серии романов о крестьянских волнениях середины прошлого века, начатой его «Войной в Махтра», обращение писателя к драме, разыгравшейся в семье бедняка Тыну Приллупа, может показаться отступлением, «сужением реализма»: вместо широкой панорамы народной жизни —

история о том, как крестьянин уступил барину жену ради выгодной аренды.

Даже автор послесловия к рецензируемой книге Нинголь Андресен, хотя и называет «Молочника из Мяэюкюля» «вершиной творчества» писателя, видит в нем, по всему судя, лишь «сатирическое обличение стяжательской морали», где Вильде «перемежает сатирические картины юмористическими описаниями и сценами».

Автор послесловия вскользь упоминает о «трагическом исходе» истории Тыну Приллупа, между тем как она вся полна трагизма и написана с великой болью за этого человека. Таков действительный пафос романа, и он питает собою, определяет всю тональность повествования, всю систему его художественных средств.

В романе «В суровый край» бедняк Яан Ваппер еще в молодости не выдержал плача голодных братьев и сестер, пошел на преступление и был за это сослан в суровый край. С точки зрения ревнителя местных нравов учителя Тоотса, он должен был терпеть и терпеть. В награду он, быть может, стал бы таким, как Тыну Приллуп.

Тыну Приллуп настрадался за жизнь от бедности, не так давно схоронил первую жену, которая тоже «вечно... бывало, суетится, снует, как челнок, а следов ее работы и не видно».

Тыну Приллупа сбивает «с пути истинного», выражаясь слогом господина Тоотса, не преступная среда воров и конокрадов, а «высококонравственный» помещик, который тщательно выискивает в библии оправдание своему любострастию.

И хотя первая реакция Тыну на предложение помещика уступить свою жену насмешливо-отрицательная, оно, это предложение, поднимает в душе бедняка и вечно глешую надежду «выбиться в люди», и мстительную мечту о том, как перед ним будут унижаться те, кто вчера не замечал его: «Словно какое-то злое насекомое, слетев с языка барина, забралось в ухо, оттуда заползло в сердце и там то издыхает, то снова оживает... И каждый раз, оживая, становится все назойливее...» То из уст бедняка рвется «чистый и освежающий, как родниковая вода», смех над барской затеей, то он тайком от жены навядывается к молочнику Яану, который покамест по-прежнему пользуется правом продавать молоко помещичьих коров — пра-

вом, обещанным барином Приллупу, если тот окажется покладистым.

Тыну Приллуп похож на затравленного зверя. Тени сосен, возле которых он иногда отдыхает, тянутся теперь к нему «точно три руки с жадно растопыренными пальцами». Вспышки гнева на «непослушную» и «непонятливую» жену, которая «не ценит» барского расположения, сменяются у Тыну страхом, что барин в случае непослушания выгонит его даже с нынешнего жалкого участка. И случайно столкнувшись с барином, он «резко останавливается, точно напоровшись на медведя у берлоги».

Эдуард Вильде велет рассказ с мнимым бесстрастием, но часто в подобных деталях сквозит его истинное отношение к происходящему в душе Тыну, к тому, как его герой уламывает жену стать любовницей барина.

Когда он описывает, что в свете угасавшего дня «лицо у Тыну стало синее, как у человека, умершего от удушья», что «очертания его тела все больше расплывались в душном, быстро густеющем сумраке», читателя охватывает ощущение гибельности всего, что совершается в сознании героя.

Наконец брезгливая жалость к перепуганному мужу и всевозможные соблазны пересиливают сопротивление молодой женщины. Но Тыну Приллуп лишь ненадолго испытал чувство упоения своим «возвышением» («Если бы даже сам Тыну не признавал, каким он стал значительным лицом, он мог бы это прочесть в глазах окружающих»).

Ревность и угрызения совести точат теперь его душу так, как прежде точили сомнения, страх, алчность. Когда Кремер, заметив его угнетенное настроение, пристал к нему с расспросами, с бюргерской дотошностью доказывая, что следка соблюдается им точно, Тыну кратко и тяжело роняет: «Свиньей я был... Большой свиньей». Запутавшись в своих торговых делах, пристрастившись к водке, не в силах решительно порвать свой договор с барином, он замерзает однажды пьяный по дороге домой.

И уже длинная вереница претендентов на «выгодную должность» тянется к его молодой вдове, и каждый охотно соглашается на те же условия, из-за которых вчера заглазно поносил Тыну...

Так мучительно трепещет перед нами в этой книге, словно слабый огонек под вет-

ром, человеческая душа, то чадя, то взмывающая в трогательном, самоотверженном порыве. Эту историю иной писатель мог бы рассказать с прокурорскими по отношению к герою интонациями, с брезгливой миной «высоко нравственного» ханжи.

Вильде поведал ее как человек, для которого в жизни народа нет ничего низкого, запретного, стыдного, для которого отчаянная борьба восставших крестьян и «личная» драма «молочника из Мязюкюль» не отделены друг от друга, не разнесены пе-

дантически по градам различной важности, а, каждая по-своему, ведут нас к познанию действительности и созревших в ней перемен и взрывов.

В романе «Война в Махтра» описан хлеб, к которому, по словам героев, было «опасно подносить огонь»: в нем «так много мякины, что он может загореться, словно торф».

Горючие слезы, которые кипят в груди Тыну Приллупа, сродни этому хлебу.

А. ТУРКОВ.



КОГДА ЧЕРНОЕ — БЕЛО

Владимир Чивилихин. Елки-моталки. Повесть. «Молодая гвардия», № 1, 1965.

Повесть «Елки-моталки» Владимира Чивилихина начинается с протокола судебного заседания — кого-то судят, кого-то допрашивают. Кого? зачем? почему? что случилось? — пока еще ничего неизвестно. Протокол этот обрывается в самом неожиданном месте, и начинается собственно повествование. Начинается оно тоже как будто с середины — сложно и непонятно: кто-то летит над пожаром, ныряя в пустоту, кто-то прыгает с парашютом в бескрайнюю топь болота, невдалеке от черного пожара, — то ли война идет, то ли тайга горит...

Потом главак кончается, и снова вступает в действие судебный протокол. Забегая вперед, можно сказать, что так построена вся повесть, каждая ее глава начинается с допроса свидетелей — то одного, то другого, то третьего. Набранный курсивом этот допрос служит не то своеобразным зачином, не то развернутым эпиграфом к каждой главе повести. А в главах этих между тем и намека нет ни на суд, ни на следствие, в них, наоборот, речь идет о подвигах, самоотверженности и отваге.

Как связаны между собой эти две части повествования — об этом можно догадаться позже. А пока ясно только то, что В. Чивилихин стремится к сложной, ультрамодной форме, делает это очень старательно, с большой затратой сил и энергии, разрывая ткань произведения судебно-детективным обрамлением. Таково первое ощущение от этой повести.

Второе ощущение совершенно неожиданно и прямо противоположно первому. Вчи-

таемся повнимательней: вот герой повести «бережно снял ноги с кровати и сел. Лохматый и лобастый, он будто поширел в плечах, когда поднялся, покрепчал с виду... Посетители переглядывались: в порядке, значит, наш старшой — шевелиться. И не ослаб, видать, ни капельки, все такой же сбитый, как свитух березовый».

Приметы «земляного», «нутряного» языка, давно знакомой, прочно устоявшейся его стилизации отчетливо видны в произведении — в том, как мать «заплакала неслышно, подбирая слезы узластыми руками», а у героя «сердце тяжело ворохнулось, будто кровь загустела вдруг», и он «зыркнул вверх», а другой герой «крепко тер лицо ладонями, и щетина под ними будто бы скрипела».

Не стоит умножать эти примеры (хотя это легко сделать), потому что, взятые из текста и поставленные рядом, они, может быть, придают большую «густоту» языку писателя, чем это есть на самом деле. Важно другое: то, что в целостности своей повесть «Елки-моталки» представляется каким-то еще небывалым в нашей литературе образцом кондового модернизма. О перспективах этой манеры письма можно было бы, вероятно, поспорить, но делать это все же не хочется, так как это увело бы в сторону от того серьезного, что есть в повести.

А то, что рассказано в повести, действительно очень серьезно. Если вернуться к ее содержанию и, преодолев затрудненность и нарочитость формы, выстроить мысленно в два ряда обрывки судебного протокола и повествовательные главы, то мы обнару-

жим, что речь в них идет об одном и том же человеке — о Родионе Гуляеве. Только в одном ряду он — подсудимый, а в другом — герой. Для того чтобы соединить вместе, в одном лице два этих в общем-то далеких друг от друга понятия, нам предстоит выяснить, что же за человек Родион Гуляев и какое преступление он совершил.

Родион Гуляев — главный герой повести «Елки-моталки» — бригадир пожарников-десантников, которых сбрасывают с самолета в тайгу для тушения лесных пожаров. В. Чивилихин, видимо, хорошо знает, как работают люди этой редкой профессии. Во всяком случае его описания полетов над тайгой, его картины пожаров и борьбы с пожарами написаны с несомненной достоверностью.

В повести перечисляются причины пожаров. Первый раз не очень внятно:

«— От чего загорелось? — спросил Родион.

— Кто его знает! Шатались тут какие-то с бороденками — не то руду искали, не то карту снимали. Больше никого не было...»

Яснее об этом говорит на допросе свидетелей начальник летного отряда пожарников Гуцких.

«Следователь: — Что они, нарочно поджигают, что ли?

— Бывает. К геологам, таксаторам, топографам нанимаются ведь много всякого добра — калымщики, алиментщики. Помому, недобитые гады бродят еще по тайге с экспедициями; может, власовцы закоренелые есть или какая-нибудь новая сволочь появилась, из сектантов».

Картина странная, мрачная и зловещая... И на ее фоне исползински вырастают фигуры Родиона Гуляева и его товарищей. Они не просто пожарники. Они — пожарники с особым смыслом и значением. Родион — «начальник огня и дыма», он жить не может без своей «огневой работы». Когда «он бежал по полосе», озаряемый красным огнем, то «тень его на стене живого леса множилась, образуя огромных призрачных богатырей...». Вот «десантники топчут лаву сапогами, не дают ей растекаться по тайге, и это сияющее бесшумное озеро освещает их, будто живые скульптуры».

Тщательно, замедленно фиксирует автор каждое движение Родиона Гуляева, каждый действительно мастерский взмах топора, каждый шаг по таежным тропинкам, то, как он ест, как спит, как выглядит со спи-

ны, в профиль, вблизи и издали. Главы повести — как ступеньки пьедестала.

Здесь мне хочется на секунду остановиться, прервать это восхождение героя. Потому что, признаюсь, я пишу об этом с бесконечно странным чувством разъединенности, разобщенности с автором. Дело в том, что очень трудно забыть при этом о том, что Родиона Гуляева судят за то, что он убил человека. Повесть и написана для того, чтобы доказать, что этот находящийся под судом и следствием человек и есть положительный молодой герой современности.

А теперь продолжим разговор об образе Родиона Гуляева с тем только, чтобы читатель, так же как и я, уже не забывал об этом обстоятельстве (если можно убийство человека назвать «обстоятельством» — тот, кто прочитает повесть, увидит, что можно).

Итак, В. Чивилихин не устает любоваться силой Родиона Гуляева — и чисто физической его силой (когда он «переминался в телефонной будке, и вся она ходила и скрипела...»), и мастерством и сноровкой в любом ремесле — будь то тушение пожара или наладка топора. Страницы, на которых Родион мастерит себе топор, были бы совсем хороши, если бы не было в них некоторого многозначительного смакования.

«Ты что, сроду топора в руках не держал? — восклицает Бирюзов, тоже пожарник. — А как же ты жил?»

Про Бирюзова его начальник сказал: «Старший из него получится. Только б грамотешки еще ему да выдержки побольше».

Из этих двух цитат, поставленных рядом, со всей наглядностью видно, как буднична и маломощна бедная «грамотешка» рядом с эпическим взмахом топора. Конечно, сам по себе этот взмах может вызвать восторг и восхищение, но хотелось бы при этом, чтобы, условно говоря, и перо было приравнено к топору.

Богатырская сила Родиона Гуляева хорошо чувствуется и в его отношениях с другими людьми. Лучше всего это видно в одной из начальных глав повести, когда Родион узнает, что мирная жизнь пожарников нарушена присланными сюда из Москвы тунейдцами. Вот первая встреча с ними. Тунейдцы, или чужаки, как обычно называет их автор, развалились на траве, а летнаб Гуцких в это время знакомил их с правилами противопожарного дела. Один из

них — Евксентьевский, — не вставая, хотел задать вопрос, его попросили встать, а он отказался. Тогда «Родион схватил его за шиворот и за штаны, легко, как котенка, поднял в воздух, и Евксентьевский беспомощно и смешно затренихался...

Их окружили. Родион, заглядывая поочередно каждому в лицо, проговорил с нажимом на каждое слово:

— Вы, паразиты, перед Платонычем ползать должны!

Чужаки загалдели...»

Не будем останавливаться на поведении «чужака» в этом эпизоде, на мере его преступления и наказания. Важнее другое: монументальная, вызывающая восхищение автора убежденность Родиона Гуляева в том, что перед одними людьми (допустим, даже очень хорошими) должны ползать другие люди (допустим, даже очень плохие). Вот уж низкое, «пресмыкающееся» слово...

Правда, в отношении «чужаков» автор вообще не скупится на слова: они и «сволочи», и «чужое дерьмо», и «прилипчивые люди», «захребетники», а Евксентьевский — «дармоед московский», «московский чужеспинник», «ботало», «хмырь», «шкодник», «подонок», «зараза», «пиявка», «зануда», «стервó», «свинячий кусок» и т. д. и т. д. Некоторые из этих определений повторяются десятки раз. Степень ненависти здесь огромная, автор, безусловно, сумел ее передать.

Но вот не ненависть даже, а совсем другое. В отряде в отсутствие Родиона один «чужак» попытался отравиться. Сначала Родион узнает об этом от Гуцких.

«— Консервой?» — спрашивает он.

«— Да нет. Сам.

— Как сам?

— Да так.

— Тыфу! — сплюнул Родион...»

Такова первая реакция героя. Дальше об этом же рассказывает Бирюзов. «Какой-то чокнутый один попался, не от мира всего... День проработал ничего. Только все о чем-то думает про себя, ни с кем не говорит... Пролежал этот филон до ночи в холодке... До утра огонь обшибали, нанюхались, приползли еле живые, а он лежит без памяти и слюни зеленые распустил. Хватились, оказываются, он аптечку съел! Мази от ожогов, ихтиолку, все таблетки съевал — и антибиотики и от простуды. Йод выпил. А мы на ногах не стоим. Что

делать? Посоветовались с Копытиным, перекинули его через коня да в деревню — молоком отпаивать. Вот какая паскуда попалась...»

И после этого сразу же идет абзац: «Родион оглядывал стан. Умеет жить Бирюзов». И все. Что за человек этот «чокнутый» «паскуда» — ни характера у него, ни биографии, даже имени нет. Может быть, он мучился угрызениями совести, а может быть, страдал от чужой ошибки, может быть, умирал от любви, а может быть, тосковал о матери?

Будем справедливы: писатель сумел хорошо выразить то, что хотел — меру презрения и высокомерия. Герои будто носком сапога отшвырнули от себя чужую и чуждую им беду.

Вместе с тем как бережно и умиленно относится Родион Гуляев «ко всякой ползучей и легучей твари»: «мурашат» (муравьев) он велит вытащить из пожара, воробьям наливает воду на подоконник, а когда зяблик поет — оторваться не может. Вот только соловья недолюбливает: «Раззвонили — соловей, соловей, а что соловей? Поет всего два месяца в году, да и то с перерывами». (Много было у соловья всевозможных эпитетов и определений в устной и письменной литературе — вплоть до Соловья-разбойника, вот только соловья-тунеядца, кажется, никогда не было.)

С особенной нежностью Родион говорит о сидящей на яйцах глухарке, которую он обнаружил в лесу во время пожара. Увидев ее, он замер в восхищении, и был так прекрасен в этот момент, что влюбленная в него Пина не могла оторвать от него глаз. Как видим, писатель всячески стремится подчеркнуть нежную душу Родиона Гуляева.

Поэтому вполне понятно, что нежная душа Родиона и не могла выдержать, когда он увидел, как Евксентьевский разорил гнездо глухарки и съел яйца. Родион бросился к нему и убил его. Дело в том, что у находящихся в лесу пожарников кончилась еда, все переносили это мужественно, кроме Евксентьевского. И вот в лесу Родион увидел «его мерзейшую рожу, увидел губы в густой крови. Гадливо кривятся, и яичные скорлупы на них. Что?! Губы в какой-то порченой крови и скорлупа белеет... Неужто такая подлая подлость бывает?! Елки-молгалки, с зародышками! Не думая, зачем он это, Родион прыгнул к Евксентьевскому и зажмурился...»

Родион не помнит, что было после этого прыжка, на него нашло какое-то затмение, и он очнулся, когда Евксентьевский покатился мертвый и его «голова застучала по камням».

Что и говорить, поступок Евксентьевского неприятен, даже отвратителен, но расправа...

Этой сценой заканчивается повесть. Но она ничего не меняет в образе Родиона Гуляева и в отношении к нему автора и героев. Как говорят пожарники, «слово Родиона тут высший закон»: если он прикажет в огонь прыгнуть, то все, как один, прыгнут, потому что это — за Гуляевым, а влюбленной в Родиона Пине «хотелось тихо поплакать от счастья, оттого, что она с этими людьми», у которых «совсем особое отношение ко всему на свете».

Только вступительные части судебного протокола напоминают о том, что совершено убийство, вся же повесть в целом — это гимн Родиону Гуляеву.

Но и суд тоже переходит в гимн. Сам следователь растерян, он не знал, «что такие люди бывают», он не в силах вынести приговор, а свидетели один за другим поведают о необыкновенных чертах Родиона Гуляева, они не считают, что было преступление, ибо «Гуляев — настоящий парень» и для него «закон — это еще не все», для него нужен новый закон, потому что он такой человек, «какими людьми мы держимся».

Сам Родион Гуляев не знал, что на последних страницах он убьет Евксентьевского, это произошло случайно, мимоходом. Но все дело в том, что автор знал об этом с первой же страницы повести и написал ее, чтобы доказать, что такие люди, как Родион Гуляев, имеют право убивать таких людей, как Евксентьевский. Он все время полемически утверждает его право, его силу, его исключительность.

А жалкий этот «чужак» Евксентьевский так завален ругательствами, что сквозь них проступает не человек даже, а какая-то вихляющая схема или «вошь на гребешке», как говорит один из героев, — а что же еще делать с вошью?.. Но если принять даже, что Евксентьевский в той мере отвратителен, в какой это хотел, но не сумел показать автор, то что же тогда?

Если раньше при чтении повести хотелось возражать, спорить, возмущаться, то теперь, когда круг ее завершен и определен

до конца, все слова и доводы блекнут, тускнеют, кажутся наивным чудачеством.

Может быть, все же надо начать доказывать, пользуясь шутливо-грустными словами Новеллы Матвеевой, что «черное — черное» и что «белое — белое»?

Может быть, надо вспомнить муки Родиона Раскольников, терзания его автора — вот и имена героев совпадают, и старуха процентщица ничуть не прекраснее «московского дармоеда»?

Может быть, надо призвать на помощь гуманизм русской литературы, писать о совести, нравственных критериях искусства, законах и нормах нашего общества?

Нет, все это невозможно, кощунственно соединять, сопоставлять, даже называть рядом с повестью «Елки-моталки».

А. БЕРЗЕР.

Р. С. Пока эта рецензия набиралась в типографии, уже вышел в свет двухмиллионным тиражом номер «Роман-газеты», в котором напечатаны две повести В. Чивилихина, в том числе «Елки-моталки». На это указала «Литературная газета» в редакционном примечании. А этому предшествовали следующие обстоятельства. В газете сначала появилась рецензия Глеба Горышина «Защита с пристрастием?». Рецензия Г. Горышина — вполне естественная, нормальная реакция на образ Родиона Гуляева: неужели таким может быть образ положительного героя? — с немалой растерянностью спрашивал ее автор. Некоторое время спустя газета напечатала другую рецензию на повесть «Елки-моталки», ее написал Валерий Дементьев, называлась она «Обвинение с пристрастием», и в ней доказывалось, что положительный герой должен быть именно таким.

Вот после этого в газете и появилось примечание, в котором сообщалось о выходе «Роман-газеты» и о том, что в этом издании «в споре о герое повести принял своеобразное участие и сам автор».

Действительно своеобразное... Теперь, в новом варианте, Родион Гуляев не убивает Евксентьевского, тот сам падает с обрыва и разбивается. И получилось так, что писатель, оставив в основном повесть без изменения, как бы выдернул главный кирпич, на котором она держалась. И все здание зашаталось. Зачем же теперь суд? По-

чему Родиона называют преступником и выясняют обстоятельства преступления? Все содержание произведения как бы повисает в воздухе. «Оспорив» конец, писатель не успел «оспорить» других мест и всей повести в целом. Он забыл даже вычеркнуть такую многозначительную, обращенную к Родиону фразу: «Гляди, а то невзначай забудешь про свою силу». И создается впечатление, как будто на суде, где так важно говорить правду, одну только правду, сам автор дает ложные показания.

Выпуская в свет разные варианты — один вслед другому, — автор как бы погружает читателя в свою творческую лабораторию.

★

НА ЦАРСКОЙ КАТОРГЕ

П. Ф. Якубович. В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. «Художественная литература». М.—Л. 1964, т. I, 420 стр.; т. II, 416 стр.

Более ста лет тому — в конце 1862 года — вышла книга, заставившая читателя о многом задуматься. Написал книгу Достоевский, называлась она «Записки из мертвого дома».

Впервые на Руси в полный голос заявлено было о мире отверженных. И невольно задумывался читатель: так ли уж отличались порядки «мертвого дома» от тех, что бытовали в окружавшем его мире? И еще сильнее билась в мозгу мысль о том, что сидели в остроге люди, большей частью по законам человеческого невинные: взбунтовавшиеся крепостные, послушники-солдаты. Сразу после реформы, в 1862 году, трагедия этих отверженных ощущалась еще резче, острее.

Упоминание о книге Достоевского не случайно: два тома П. Якубовича, появившиеся в 1896—1898 годах, воспринимались как продолжение той книги, как ответ на вопрос: что же изменилось в «мире отверженных»? Каково стало к концу века взаимоотношение двух миров, разделенных железной решеткой?

Говорить о судьбах народников и народолюбцев, замученных царской охранкой, Якубович не мог. Ему позволено было лишь рассказать о жизни на каторге «не политических», а настоящих преступников. Трагизма невинности здесь не было.

Автор попал не в рядовую тюрьму, а в особую: созданную и хранимую бравым капитаном Лучезаровым «образцовую Ше-

Не рано ли? Впрочем, судя по предисловию Н. Грибачева к повестям В. Чивилихина, совсем не рано. Там сказано, что «...живописная пластичность художественной ткани в произведениях Владимира Чивилихина общепризнанна и в дополнительных подтверждениях уже не нуждается». А повесть «Елки-моталки», «с одной стороны, захватывает увлекательностью приключенческого романа, а с другой, будучи реалистической в самом подлинном смысле, обладает достоинствами героической поэмы, увенчанной сильной и чистой любовью».

Можно ли что-нибудь добавить к этому?

А. Б.

лайскую каторгу», где образцовым было все — от внешнего порядка до продуманной системы издевательств.

По примеру Достоевского, Якубович писал художественное произведение, но всем ходом повествования и даже заглавием стремился придать ему видимость сугубой документальности. Это стремление определило и самый строй повествования — внешнюю бессюжетность, неторопливость, скрупулезную достоверность деталей.

Казалось бы, за сорок лет со времен Достоевского и «русское законодательство и русский суд, так же как и самая жизнь и нравы, сделали огромные шаги вперед по пути гуманизма и справедливости». Эти строки с удовольствием пропускает цензура. Но вот как объяснить, почему все больше и больше «заселяется» образцовая Шейлайская каторга? И отчего таким зверством отличаются обитатели ее, зверством, какого и вообразить не может нормальный человеческий разум? Может быть, прав Ломброзо и его последователи, говорившие о врожденной преступности?

Нет и нет! Мало того. «Когда я писал эту книгу, — говорит Якубович, — заветным желанием моим было все время, чтобы этот правдивый рассказ о жизни отверженных был понят как голос их адвоката и друга».

Документальный характер изложения позволял легко перемежать новеллы-портреты описанием общего хода жизни каторги, обстоятельно говорить о разных люд-

ских судьбах, о том, что приводило людей в Шелай. В пореформенное время, при новых юридических и экономических «поворотках», крестьяне нередко ставились в такие условия, при которых должны были или по-крепостному клонить голову, или отстаивать свои права.

Мы встречаемся и с теми, кто вел борьбу с пореформенным обществом, его законами и с неизбежностью подталкивался этим обществом к преступлению. Таков, например, каторжный староста Юхорев, всем видом своим призванный подтвердить «ломброзианские выводы». Но Якубович заставляет вспомнить, с чего начались злоключения этого «олицетворителя» «врожденной преступности»: он «первоначально был сослан в Сибирь по приговору общества, своих же односельчан («порядочных скотов») за то, что защищал от них интересы деревенской бедноты».

И очень часто подбирает Якубович такие «ключики» к тайнам «врожденной преступности»: людей, подобных Юхореву, немало. Не однажды приходится ужасаться натуралистическим подробностям убийств, грабежей, насилий, а рассказывают о них герои книги с гордостью и удалством, под восхищенное одобрение слушателей. Звери!

Но вот те же самые люди спускаются в шахту пробивать шпур для закладки патронов. «Все лицо и фигура Семенова мгновенно преобразились... он... казался прямо каким-то мифическим титаном, явившимся из неведомого мира... Он поднимал и опускал полумудовую балду, казалось, играючи, без заметного напряжения, и каждое движение выходило от этого красивым, почти грациозным. А между тем от этих красивых ударов вся гора тряслась под нашими ногами... «Я ударил раза четыре; но удары мои были так младенчески слабы и неуклюжи, что я сам устыдился своей попытки и, слыша общий смех, бросил балду на землю... За мною стал бить Ногайцев. Я ожидал чего-нибудь до крайности неуклюжего и смешного от этой неповоротливой медвежьей фигуры, но, к удивлению своему, и им также принужден был залюбоваться. В работе его также выделялась могучая стихийная сила, чуялся тоже богатырь сказочных времен...»

Звери? А может, те самые богатыри, олицетворение дремлющей силы народа, наследники Разина и Пугачева? Не таким ли

«спящим богатырем» вставал крестьянин в представлении народников?

Но Якубович был уже деятелем молодой «Народной воли», а не бакунистом начала семидесятых годов, слепо верившим в скорую крестьянскую революцию с установлением на Руси спасительной федерации общин. Между арестом Якубовича и той далекой порой легли и провал «хождения» в народ, и деятельность «Земли и воли», и народное безмолвие после убийства первого марта, и разгром «Народной воли».

Не удивительно поэтому, что вслед за сценой в шахте автор рассказывает о судьбе «богатыря сказочных времен» Ногайцева. На каторгу он попал после пьяной драки, когда случайно, не рассчитав силу, снес обидчику полчерепа. «В глазах у меня красный туман пошел... Кровь, значит, ударила. Теперь, думаю, все равно погибать!» И, чтоб не осталось свидетелей, убил «богатырь» и двух женщин — родственниц обидчика.

Другой «богатырь», Семенов, отрицатель и ненавистник существующих порядков и традиций, выработал себе такую философию: «Наплюй на закон, на веру, на мнение общества, режь, грабь и живи во всю». Приводя эти слова, Якубович поясняет: «Таков был девиз этого Стеньки Разина наших времен».

Слова о Стеньке — это решительный, хоть и запоздалый, ответ Бакунину, считавшему разбойника основным деятелем революции на Руси.

Нет, не разбойник и не слепой богатырь из деревни становились ведущими деятелями истории. Сила спящего богатыря в условиях «идиотизма деревенской жизни» лишь увеличивала число обитателей Шелая. Народник Якубович не видел класса — гегемона будущей революции, но он ясно и честно показывал, что в деревне в пореформенные времена при расслоении крестьянства осознанному протесту взяться было попросту неоткуда.

«Радикальные» читатели упрекали автора: почему он не вел на каторге пропаганду «в народе»? Упреки звучали убедительно, если, конечно, абстрагироваться от реальности. Но, один из ведущих народо-вольцев, Якубович хорошо знал историю народничества, знал он и о провале пропагандистов в памятном 1874 году. Якубович зреее, чем его критики, осмысливал истинное положение дел: народ не видел своих

настоящих друзей, не понимал их, относился к ним с недоверием, а порой и с ненавистью.

Якубович понял то, что в наше время стало аксиомой — неграмотный стоит вне политики. Революционер-народник начинает делать единственно возможное на каторге — обучать людей грамоте. Автор лучше, чем его оппоненты, решал одну из конкретных задач революции — сделать народ грамотным.

Прямое отношение к спору «радикальных читателей» с Якубовичем имеет весьма важный разговор в камере о возмездии за «выпитую» у народа кровь. Никаких других средств, кроме как «перебить всех», «а после грабеж бы по всей Расее учредить!», никто из каторжных, даже самых умных и дельных, предложить не мог. «Напрасно развивал я собственные взгляды на прогресс, говорил о силе и власти просвещения, о бесполезности и вреде кровавых расправ; напрасно указывал на существование образованных людей, выходящих из среды тех же «железных носов» (дворян. — Б. Я.) и, однако, готовых пожертвовать для блага народа и своим личным счастьем, и свободой, и даже жизнью... Слова мои были, очевидно, гласом вопиющего. Смысл всякой иной борьбы с тяжестью и злом современной жизни, борьбы иными средствами, кроме пролития рек крови, всеобщего пожара и разрушения, был совершенно непонятен и чужд этим сердцам, покрытым темной чешуей озлобления, невежества и испорченности. Невеселые думы овладевали мной после каждого из таких разговоров; жутко и страшно становилось за будущее родины...»

Как видим, уже в самом тексте содержался ответ на вопрос: что в тех условиях возможно было делать революционеру? Но не надо удивляться также и тому, что «дита природы» Никифор Буреңков свою радость приобщения к грамоте выражает довольно несжиданно для автора: «Ты выучи меня и рихметике также... Счет мне знать хочется... Я там у них писарем буду — вот окручу-то всех!»

Чем ближе показывает автор своих товарищей, тем ошутимее — прямо на глазах — разбиваются народнические постулаты об общине, о новых Разиных и Пугачевых и т. д.

Зато совершенно неожиданно для автора, да и для читателя в «Записках» Яку-

бовича открывались те стороны народной жизни, о которых известно было очень мало. Стороны, не связанные с общиной или бунтом, но дававшие широкое поле для наблюдений и выводов.

Автор и его новые друзья — ссыльные революционеры Штейнгарт и Баширов — даже на дне моря народного смогли разглядеть богатства души, которым суждено было погибнуть в тех условиях; с какой радостью каторжники тянулись к нравственному идеалу!

Вот, например, Штейнгарт предлагает запретить в камере площадную ругань. И что же? Совершенно неожиданно предложение принимается с восторгом. Или, например, повальное увлечение писательством. «Как только берут они перо в руки, — свидетельствует автор, — так сейчас становятся большей частью замечательно правдивыми и откровенными...»

Якубович неожиданно сталкивается с очень своеобразным нравственно-эстетическим началом, таившимся в душах «отверженных». В одной из лучших глав «Великие поэты перед судом каторги» Якубович рассказывает не только о душевной невоспитанности и развращенности каторжан, но и о той здоровой нравственной основе, которая была заложена почти в каждом из них. Восхищаясь «молодцами-разбойниками» (только с этой стороны и воспринимались Дубровский, Пугачев, «Братья-разбойники»), ловкачом Чичиковым и могучим Отелло, эти же самые люди могли искренно жалеть Дездемону, ненавидеть «Ягу», без конца слушать историю лермонтовского Демона и хохотать над «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Здесь, пожалуй, нагляднее всего удалось Якубовичу показать противоречия духовного мира каторги — каким мог бы стать человек, какие душевные богатства в нем погребены и каков он сейчас.

Но ведь тюрьма и каторга призваны были перевоспитывать. Сам Якубович сначала свято верил в это. Однако «отверженные» смотрели на дело иначе — «тюрьма, вестимо, уж до добра не доведет; тюрьма святого — и того с пути праведного совет». Иллюзии автора рассеялись быстро, и слова эти, сказанные в одной из первых «каторжных» глав, представляют собой ключ к осмыслению каторги Якубовичем.

Неторопливо, соблюдая видимость фотографической точности, разворачивает Яку-

бович картины каторжного бытия, порядки «лучезаровского царства» — молитвы на морозе, которые были «скорее богохулением, нежели благочестивым делом», поощрение шпионства и доносов. плети и розги, издевательство надзирателей. И все это освящено «особыми правилами» «образцовой» Шелайской каторги, изобретенными бравым капиганом Лучезаровым. Образ «поэта каторжного режима», который на краю земли самоотверженно воссоздает образец для тюрем Руси великой, — одна из главных удач Якубовича. Во главу «перевоспитания» поставлена у Лучезарова «дисциплина ума и сердца», благодаря которой арестант должен превратиться в «образцового» арестанта: «современные тюремные деятели признают только одно средство — страх, и я вполне с ними согласен». Лучезаров дифференцирует этот страх, отыскивает для каждого заключенного именно то наказание, которое более всего бьет данного человека. Потому-то редко прибегает он к розгам в обращении с уголовниками: «Для таких артистов, как вы, они ничем». Лучезаров ищет и как истинный «поэт каторги» умеет найти для избития самые «чувствительные места». И, конечно же, этот начальник считает себя либералом: «Такой мягкий по натуре начальник, как я, обязательно должен иметь палача-исполнителя!»

Стоит ли удивляться после этого, что и новичок, и опытный профессионал только укрепляются здесь в своем моральном праве на преступление.

Закончена «каторжная Одиссея». Написано и послесловие, в котором Якубович защитил друзей-«отверженных» от нападок «справа», «слева» и просто со стороны.

Казалось бы, принимая эстафету от Достоевского, он рассказывал только о «мертвом доме», постаревшем на сорок лет, об изменениях и усовершенствованиях, которые принесло в эти места быстротекущее время. Но книга выполнила задачи гораздо большие. «Записки» Якубовича — это не только картина каторги, но и предьявленный в художественной форме обвинительный акт против внутренней политики русского самодержавия.

В свое время книга Якубовича стала одним из значительных явлений русской литературной жизни. Сегодня, не утратив своей художественной ценности, она приобретает и дополнительное значение — широкой исторической картины эпохи контрреформ, когда главный Лучезаров — Александр III — все государство свое стремился сделать огромнейшей «образцовой тюрьмой».

Б. ЯРАНЦЕВ.



ПИСАТЕЛЬ И ЖИВОПИСЬ

Горький и художники. Воспоминания. Переписка. Статьи. «Искусство». М. 1964. 384 стр.

Известно, что М. Горький очень любил и ценил произведения изобразительного искусства, изделия народных мастеров. Он был страстным коллекционером. Его собрание произведений декоративно-прикладного искусства разных стран и народов восхищало специалистов.

«Я редко знала людей, которым бы изобразительное искусство доставляло такое наслаждение, как Алексею Максимовичу, — вспоминает художница В. Ходасевич. — Обладая удивительной памятью, он помнил не только поразившие его произведения искусства, но и в каком городе или музее Европы или Америки он их видел, и умел удивительно верно описать виденное и подметить тончайшие детали». Делясь с друзьями воспоминаниями пережитого, М. Горький мог сво-

бодно упомянуть испанских художников Англаду и Зулоагу, или сербского скульптора Местровича, или Иеронима Босха, метко назвав его «полным собранием кошмаров», или заговорить о фресках Микеланджело в Сикстинской капелле, упомянув, что предпочитает им фрески Синьорелли.

Но, будучи прекрасно знаком с шедеврами мировой живописи, М. Горький с поистине завидной даже для профессионалов заинтересованностью следил за первыми шагами молодых, начинающих художников. Находясь на далеком Капри, он был осведомлен, например, о том, что в Томске состоялась выставка работ местных художников. И вот из Италии летит письмо к одному из знакомых: «...Хотите сделать мне

великое удовольствие? Нет ли иллюстрированного каталога или снимков с картин; если есть — пошлите мне!»

Обо всем этом и о многом другом рассказывает книга «Горький и художники», выпущенная издательством «Искусство».

Литература о Горьком, как мы знаем, очень обширна. Поэтому естественно волнение, охватывающее каждого специалиста, да и просто любителя искусства, когда он после всего того, что уже напечатано о писателе, берет в руки книгу, где постоянно мелькают сноски: «Публикуется впервые», «Архив Горького» и т. д. Из двадцати шести воспоминаний художников лишь мемуары М. Нестерова, П. Корина и И. Бродского знакомы широкому читателю по известному сборнику «М. Горький в воспоминаниях современников». Некоторые из воспоминаний, вошедших в книгу, были опубликованы давно, в редких теперь изданиях, большая же часть мемуарных очерков увидела свет в нашей стране впервые (свыше десяти из них — Н. Бенуа, В. Ходасевич, Д. Бурлюка и других — написаны специально для настоящего сборника, другие заимствованы из фондов Архива Горького или личных архивов, воспоминания Б. Григорьева взяты из его дневника, напечатанного в 1931 году в Нью-Йорке).

Воспоминания очевидцев свидетельствуют, что благодаря огромному интересу к живописи уже в каприйский период у Горького выработалось вполне профессиональное понимание ее «языка», все более углублявшееся впоследствии. «Он прекрасно понимал живопись, давал высокую профессиональную оценку работам, и как раз не «козырным», а тем, где была искорка таланта, видя ее в незначительном на первый взгляд этюде», — вспоминает И. Лейзеров. Не случайно в своих письмах Горькому художники часто делились с ним сокровенными мыслями, писали о таких оттенках творчества, о которых обычно говорят лишь с ближайшими соратниками по цеху. При этом Горький сочетал высокий профессионализм понимания изобразительного искусства с той живой непосредственностью восприятия, которая порою притупляется у специалиста.

Возникновению такого глубокого понимания живописи способствовали дружественные отношения Горького с выдающимися художниками. И. Репин и В. Серов, М. Нестеров и Б. Кустодиев, В. Васнецов и

С. Коненков, И. Бродский и П. Корин — с многими из них М. Горького связывала продолжительная дружба.

В личных связях М. Горького с художниками есть и вторая сторона, тоже чрезвычайно важная. Огромна та роль, которую сыграл сам он в творческом развитии многих тогда еще не очень известных живописцев, составляющих ныне гордость советского искусства. В 1931 году на чердак одного из арбатских домов, где помещалась мастерская братьев Коринных, с трудом, преодолевая одышку — пятый этаж! — поднялся М. Горький. «Отлично! Вы большой художник!» — сказал он Павлу Корину, осмотрев полотна. А затем добавил: «Послушайте, вам надо поехать в Италию, посмотреть великих мастеров». И это не было просто ни к чему не обязывающее платоническое пожелание. Через полтора месяца братья Корины ехали с писателем за границу.

Перед нами всего лишь один пример того, как М. Горький помогал художникам. А разве мало говорит признание Кукрыниксов: «Алексей Максимович Горький сыграл огромную роль в нашей художнической судьбе. Не встретиться мы с ним — наш путь оказался бы иным». Чего стоит хотя бы такой факт. Во время беседы с Кукрыниксами писатель поинтересовался, имеют ли они необходимые книги, и кое-что обещал прислать. Это горьковское «кое-что» пришлось перевозить на извозчике в несколько рейсов! Здесь были история мировой карикатуры, история карикатуры английской, история карикатуры французской, монография о Домье, комплекты «Симплиссимуса» с года основания по 1931-й — словом, целая библиотека редких книг.

К огромному числу уже известных фактов, характеризующих роль М. Горького в творческом развитии советских писателей, теперь добавляются собранные воедино свидетельства его неосценимой роли в формировании мастеров изобразительного искусства. Составитель сборника и автор вступительной статьи И. А. Бродский пишет, что опубликованные материалы призваны «характеризовать в первую очередь дружеские связи писателя с художниками, их личные контакты». Думается, такое предварение справедливо в отношении мемуаров. Что же касается статей, то мы вправе ждать от них большего. В литературоведении, например, статьи о том, где и когда

встретились два больших писателя и кто при этом присутствовал, стали давно пройденным этапом. Маяковский говорил: «Я — поэт. Этим и интересен». И когда заходит речь даже о «личных контактах», то в первую очередь следует исходить из того, что это контакты художников.

К сожалению, в статьях сборника простая констатация фактов явно преобладает над аналитическими размышлениями. Авторам статей о взаимоотношениях М. Горького с В. Серовым, Б. Кустодиевым, финскими художниками, о встречах с художниками на Капри следовало бы, пожалуй, в большей степени увязывать отдельные факты с общими вопросами горьковской эстетики, с движением замыслов писателя, с эволюцией его взглядов на искусство и т. д. Конечно, это куда как осложнило бы задачу, но зато увеличило бы значение статей. Иной раз уже простое сопоставление творческих симпатий Горького к отдельным художникам позволяет судить не только о субъективных свойствах его вкуса, но и о каких-то закономерных особенностях его эстетических взглядов.

Как известно, с И. Репиным писателя связывала многолетняя дружба. И. Репин работал над портретами М. Горького, М. Ф. Андреевой. И все же ближе была писателю манера гениального репинского ученика В. Серова. Конечно, очень значительную роль в их сближении сыграло большое влияние на художника революционных событий, тех событий, активнейшим участником которых в 1905 году был М. Горький. После трагедии 9 января В. Серов демонстративно вышел из Академии художеств, президентом которой был великий князь Владимир. Так же он убеждал поступить и И. Репина в письме к нему, но тот ответил отказом, и В. Серов почти прекратил общение с ним. Принимал В. Серов участие и в выпуске левых сатирических журналов, выполнив для них несколько убийственно метких по политической направленности и замечательных по экспрессивности и лаконизму карикатур. Эти сведения приводятся в статье Г. Арбузовз «Горький и Серов».

Однако можно ли, при всей огромной важности высказанных соображений, лишь фактами социологического свойства объяснить такой, например, отзыв: «Пишет меня Серов — вот приятный и крупный Человек! Куда до него Репину!»? М. Горький был

не только революционер, но и художник, и следовало бы задуматься также и над эстетическими причинами этого сопоставления. Между тем такой аспект в статье совсем отсутствует.

На путях дальнейшего научного изучения горьковской эстетики исследователей поджидает немало трудностей. Вззрения Горького на искусство во многом сложнее, богаче, интереснее, а в чем-то и противоречивей, чем это часто выглядит в наших трудах. К примеру, не так-то просто объяснить, почему М. Горький в двадцатые годы лучшим своим портретом называл портрет работы Бориса Григорьева, жившего в Америке своеобразного мастера, стремившегося к «сгущению» образа и вводимого для этого элемент условности, живописца, не отличавшегося слишком оптимистическим взглядом на историю (достаточно вспомнить нашумевший альбом его «Рассея», изд. С. Ефрон, Берлин; изд. Мюллер и Ко, Потсдам, 1922). Пора уже перестать обходить подобные «неожиданные» моменты, настало время научно анализировать их.

М. Горький не только внимательно всматривался в готовые полотна как результат художнического труда. Многие вспоминают, что он очень любил наблюдать сам процесс рождения картины, с большим интересом знакомился с техникой работы. Со временем М. Горький все больше укрепляется в мысли о глубоком внутреннем родстве литературы и изобразительного искусства, родстве, вероятно, более близком, чем между какими-либо двумя другими видами искусства. Он считал, что хорошее знание живописи и тем более хотя бы скромное владение кистью окажет неоценимую помощь писателю. «Между прочим, жалко, что я рисовать не умею! Кабы я знал перспективу, мне бы описывать пейзажи или интерьеры куда легче было», — признавался он.

Подобные мысли глубоко закономерны для горьковской концепции писательского мастерства. Начиная с десятых годов, а особенно в двадцатые годы он настойчиво подчеркивает, что главная задача писателя-реалиста — и з о б р а ж а т ь ж и з н ь п л а с т и ч е с к и, живописать словом, максимально приближая словесный образ к изобразительному (не только живописному, но даже скульптурному). В его письмах молодым мы находим постоянные призывы не рассказывать, не описывать, а «лепить» об-

раз словами, чтобы он ощущался «как бы в трех измерениях». Непревзойденным мастером такого способа письма в его глазах был Лев Толстой: «Когда его читаешь, то получается — я не преувеличиваю, говорю о личном впечатлении — получается ощущение как бы физического бытия его героев, до такой степени ловко у него выточен образ; он как будто стоит перед вами, вот так и хочется пальцем тронуть».

«Пластичность» в горьковском понимании не имеет ничего общего с бескрылым фотографизмом, против которого он выступал неизменно. Так, с глубоким сожалением говорил он в одной из бесед в 1929 году, что в советской живописи того времени еще «чрезмерно много фотографизма». Считаю принцип «пластичности» в литературе весьма ценным заветом великих реалистов XIX века, широко используя его в собственном творчестве, М. Горький был далек от навязывания этого способа письма каждому автору независимо от его творческой индивидуальности. Не случайно призывы изображать жизнь пластически особенно часто звучат в суждениях М. Горького двадцатых годов, когда стилевые искания прозаиков были особенно интенсивны и когда изучение предшествовавшего опыта имело наибольшую актуальность.

Будучи сам новатором в искусстве, М. Горький благосклонно относился к поискам молодежи новых путей и средств художественного выражения. Правда, он был решительно против шарлатанства, всякого рода кривляний в живописи, как вспоминает Н. Бенуа, но зато все, что принадлежало к области серьезных исканий, глубоко его интересовало.

Раздел «Переписка» занимает в сборнике большое место. И раздел этот обещал быть интересным, поскольку значительная часть «Переписки» дана с ссылками на архивы. Действительно, впервые здесь напечатан, например, ряд писем Б. Григорьева. Но наибольшего внимания заслуживают, разумеется, письма самого Горького. Так, интересно

письмо и отрывки из четырех других писем Горького к В. Ходасевич, письмо В. Фалилееву.

Но оказывается, это совсем не значит, что материалы публикуются здесь впервые. В обширной переписке М. Горького с И. Бродским одиннадцать писем М. Горького даны с ссылкой на Архив, но большинство из них уже давно опубликовано, и не где-нибудь, а в известном тридцатитомнике.

Вообще при публикации всей переписки в сборнике применены какие-то странные принципы. Ссылка на Архив Горького лишь в некоторых случаях сопровождается добавлением «Публикуется впервые». А как же следует относиться к тем архивным материалам, где такой приписки нет? Или они так же «новы», как и письма И. Бродскому? Но не следовало ли в таком случае, в соответствии с общепринятыми нормами издательского дела, просто обозначить, где документ был опубликован впервые?

Возникает вопрос и по поводу того, чем руководствовались составители в отборе горьковских писем для сборника. Ведь наряду с корреспонденциями, адресованными художникам, мы встречаем здесь и письма А. Чехову, В. Короленко, И. Груздеву и другим. Почему же тогда «не повезло» не менее содержательным высказываниям о художниках, скульпторах, обращенным к другим корреспондентам (например, очень подробным и весьма своеобразным соображениям о Микеланджело, Рафаэле, Боттичелли, Филиппо Липпи в письмах К. Пятницкому в ноябре—декабре 1907 года)?

Книга «Горький и художники» очень интересна по своему материалу. Ее появление напоминает о том, сколько еще предстоит сделать в решении проблемы творческого взаимодействия искусств, начиная с подбора и трактовки документов, и кончая решением общих вопросов эстетики и художественной практики.

**Н. БАРАНОВА,
В. БАРАНОВ.**

Уфа.

Политика и наука

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

Та ким бы л Ленин. Воспоминания современников. Политиздат. М. 1965. 607 стр.

«Познать В. И. Ленина для нас означает познать самих себя,— писал М. С. Ольминский.— В этом — законное оправдание нашего интереса к его личности. Чем больше мы сделаем для ее изучения, тем больше двинем вперед знание истории нашей партии и понимание источника наших успехов и неудач, правильных шагов и ошибок».

Это слова из книги «Та ким бы л Ленин». Уже сами имена ее авторов внушают глубокое уважение. Среди них: Надежда Константиновна Крупская, Глеб Максимилианович Кржижановский, Михаил Степанович Ольминский, Анатолий Васильевич Луначарский, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, Николай Ильич Подвойский, Розалия Самойловна Землячка, Пантелеймон Николаевич Лепешинский и многие другие ветераны ленинской гвардии. Никто не знал В. И. Ленина лучше, чем эти люди, которые вместе с ним прошли трудный и славный революционный путь, близко видели удивительную по вдохновенности, напряженности и результатам деятельность вождя трудящихся.

Книга обогащает наши представления о многообразной и кипучей деятельности В. И. Ленина — создателя Коммунистической партии и Советского государства. Но какой бы исторический период, какую бы сторону деятельности Ленина ни освещали авторы воспоминаний, все они с любовью воссоздают не только портрет гениального мыслителя, пламенного революционера, неутомимого труженика, но вместе с тем и обаятельный облик простого, жизнерадостного, скромного человека.

Новая книга о Ленине вызывает особый интерес и потому, что большинство приведенных в ней воспоминаний печатается по первым публикациям, многие из которых были сделаны в двадцатых—тридцатых годах, вскоре после кончины Владимира Ильича, и сравнительно мало известны широкому читателю.

Ветераны партии на жизненных фактах показывают непреклонную веру В. И. Ленина в народ, его преданность идеалам коммунизма, любовь к людям труда и ненависть к эксплуататорам, его жизнелюбие, душевную чистоту, необыкновенную скромность и

нетребовательность к собственным удобствам, вечное горение, неистощимую энергию и работоспособность («Стремительный и подвижной, как ртуть»,— говорит о нем Г. М. Кржижановский).

И через все воспоминания красной нитью проходит черта, которая во многом раскрывает источник мудрости Владимира Ильича: это его постоянное стремление учиться у жизни, глубоко вникать в думы, настроения и чаяния народных масс. В. И. Ленин не упускал случая побеседовать с рабочими, крестьянами, солдатами, деятелями науки и культуры. И люди тянулись к нему, чтобы поделиться своими думами, планами, сомнениями, получить разумный совет и новый заряд бодрости.

Авторы книги как бы вводят читателя в лабораторию ленинской мысли. Н. И. Подвойский вспоминает, например, о том, как Владимир Ильич в апреле 1917 года, возвращаясь из Финляндии в Петроград, беседовал с солдатами.

«Надо было слышать, — рассказывал потом Владимир Ильич, — с какой убежденностью они говорили о необходимости немедленного окончания войны, скорейшего отобрания земли у помещиков».

Ленин очень тонко подмечал все оттенки и нюансы в настроении своих собеседников. Так, его внимание привлекли слова одного из солдат, который сказал: «Штык в землю — вот как окончится война!» И тут же добавил: «Но мы не выпустим винтовок из рук, пока не получим землю». В то же время Ленину было известно, что многие солдаты еще плохо понимали смысл происходящих событий, не знали, как поступать в столь сложной обстановке. Именно поэтому Владимир Ильич требовал, чтобы к солдатам были брошены сотни, тысячи агитаторов, умеющих разъяснять только три слова: мир, земля и рабочий контроль над фабриками и заводами.

И так было всегда. Став главой Советского правительства, В. И. Ленин много и охотно беседовал с рабочими и крестьянами, принимал массу делегаций, любил читать письма простых людей. «Ведь это же подлинные человеческие документы! Ведь этого я не

услышу ни в одном докладе!» — говорил Владимир Ильич, читая письма. Он хотел проникнуть в мысли сибирского хлебороба и петроградского металлиста, московской ткачихи и солдата-фронтовика... Ленин словно прикладывал ухо к сердцам миллионов. «Для него,— пишет В. А. Карпинский,— знать мнение, настроение рабочего и крестьянина было не менее важно, чем знать мнение членов ЦК партии и Совета Народных Комиссаров».

Работавшая в секретариате Совнаркома С. Б. Бричкина пишет, что Владимир Ильич не просто слушал людей, а впитывал в себя каждое слово собеседника. По нескольким словам он ясно представлял себе настроение рабочего, крестьянина, сразу нащупывал основное звено и тотчас намечал план действий.

«Он не меня, конечно, слушал, как персона необыкновенную,— вспоминал крестьянский ходок из Сибири Осип Иванович Чернов,— а через меня он слушал все крестьянство, и через меня он учел всю сложность обстановки на низах».

Знание жизни, дел и настроений масс придавало Ленину твердую уверенность в победе, которая в свою очередь порождала оптимизм и ту неиссякаемую жизнерадостность, о которой упоминают все, кто пишет о его жизни. В какой бы тяжелой и тревожной обстановке ни оказывался Владимир Ильич, его никогда не покидала твердая уверенность в неодолимой силе народных масс, в победе революции, в торжестве коммунизма. Отсюда выдержка, спокойствие, улыбка, искренний ленинский смех, который давал его соратникам хорошую зарядку бодрости в борьбе с трудностями.

...Апрель 1917 года. Ленин на трибуне совещания социал-демократических депутатов Советов, на котором были преимущественно меньшевики и эсеры. Он клеймит оппортунистическую социал-демократию, называя ее «смердящим трупом». Зал неистовствует. Социал-предатели выкрикивают угрозы, стучат ногами. Большевики же восторженно приветствуют своего вождя. «На этом совещании,— вспоминал Н. И. Подвойский,— не было ни одного человека, кроме самого Владимира Ильича, который сохранял бы выдержку, хладнокровие и спокойствие».

— Революция в нашей стране должна привести к Республике Советов! — убежденно бросает он в бушующий зал.

И вот социалистическая революция совершилась. В ночь с седьмого на восьмое ноября Ленин почти не спал. Он писал проект Декрета о земле. А рано утром, вспоминает В. Д. Бонч-Бруевич, когда Владимира Ильича еще никто не ждал, он показался из комнаты бодрый, радостный, шутливый.

— С первым днем социалистической революции! — поздравил он всех, и на его лице не было заметно никакой усталости.

Власть в руках пролетариата! Сколько сложнейших вопросов возникло перед партией и правительством, сколько опасностей грозило молодому Советскому государству! У иных голова кружилась от грандиозности перспектив и многочисленных трудностей строительства нового общества. В этой обстановке «Владимир Ильич чувствует себя, словно рыба в воде: веселый, не покладая рук работающий...» — писал А. В. Луначарский. Таким оптимизмом мог обладать только человек, который всеми своими мыслями, всем существом был органически связан с рабочим классом, в мощь и силу которого он верил безгранично.

Эту замечательную черту — умение работать как-то приподнято, празднично и заражать своей бодростью окружающих — отмечают все, кто знал Ленина. По известному свойству мысли сравнивать, сопоставлять как-то невольно проводишь параллель с иными холодными, чопорными работниками, которые вечно хмуры, угрюмы, словно сердятся на весь род человеческий. А ведь мог же Владимир Ильич, несмотря на неимоверную нагрузку и озабоченность, с улыбкой, с иронией говорить о самых серьезных вещах. «Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами», — писал он в записке в Политбюро, скрывая под шуткой свою озабоченность государственными делами.

Было бы, однако, неверно представлять себе Ленина таким добряком, с легкой шуткой относящимся ко всему. Он был непримирим к врагам трудящихся, резок с теми, кто плохо выполнял свой долг перед партией и социалистическим государством. «Сердился Ленин, особенно в Совнаркоме, чрезвычайно редко,— пишет А. В. Луначарский.— Но сердился крепко. Выражений он при этом не выбирал. С его уст слетали всякие слова, вроде: «Советские сановники, у которых ум за разум зашел». «ротозейство», «головотяпство»...

Владимир Ильич органически не терпел расхлябанности, чванства, пустых обещаний, необдуманных решений и прожектерства.

Ленину и его соратникам всегда приходилось спешить: время было бурным, как стремительный поток. Но и в этих условиях Владимир Ильич предостерегал от скоропелых выводов. Говоря, например, о необходимости коренных преобразований в области народного просвещения, он предупреждал, что с реформами нужно быть очень осторожным, дело крайне сложное.

В октябре 1922 года, узнав, что Пленум ЦК (на котором ему, по болезни, не довелось присутствовать) принял необоснованное постановление по вопросу о внешней торговле, В. И. Ленин в письме секретарю ЦК Сталину выразил свое отрицательное отношение к этому решению, заметив, что надо вопрос изучить, взвесив за и против с документами и цифрами, что торопиться вредно. А затем, в связи с вторичной постановкой этого вопроса, Владимир Ильич вместе с группой товарищей проделал огромную подготовительную работу, изучил массу различных материалов, чтобы обосновать свою точку зрения.

Указания В. И. Ленина относительно стиля работы весьма злободневны и в наши дни, когда партия совершенствует методы руководства всеми отраслями и участками коммунистического строительства, изживая субъективизм и парадную шумиху.

Многие строки воспоминаний посвящены отношению Ленина к молодежи. Владимир Ильич безгранично верил в счастливое коммунистическое будущее нашей страны, всего мира. Отсюда его огромная любовь к моло-

дежи, отеческая забота о ней. Думая о воспитании советских юношей и девушек, он не мог не видеть опасности чуждого, буржуазного влияния на них. В беседе с Кларой Цеткин Владимир Ильич говорил: «Будущее нашей молодежи меня глубоко волнует. Она — часть революции. И если вредные явления буржуазного общества начинают распространяться и на мир революции, как широко разветвляющиеся корни некоторых сорных растений, то лучше выступить против этого заблаговременно».

Вместе с тем Владимир Ильич решительно протестовал против всякого противопоставления молодежи старшему поколению, против тех, кто был заражен «идиотской, филистерской, обломовской боязнью молодежи». Он всегда по-товарищески относился к юношеству, не допускал ни наставнического тона, ни высокомерия.

Подлинно отеческим, товарищеским напутствием молодежи в коммунистическое будущее звучит знаменитая речь В. И. Ленина на III съезде комсомола, впечатлениям о которой посвящены публикуемые в сборнике воспоминания поэта Александра Жарова.

Идейное, нравственное влияние Ленина, его стиля работы, его душевной чистоты испытывают на себе сотни миллионов людей в СССР и во всех странах мира. Читатели с огромнейшим интересом встречают каждую книгу о Ленине, надеясь найти в ней какие-то новые подробности о жизни Владимира Ильича, малоизвестные штрихи его характера. Книга «Таким был Ленин» оправдывает их ожидания.

А. КАЛАЧНИКОВ.

★

ОТ ОТСТАЛОСТИ К ПРОГРЕССУ

Ш. Ш. Абдуллаев. От неравенства — к расцвету (Борьба Коммунистической партии за ликвидацию фактического неравенства народов Узбекистана). Государственное издательство Узбекской ССР. Ташкент. 1964. 333 стр.

А. Канапин. Культурное строительство в Казахстане. Издательство «Казахстан». Алма-Ата. 1964. 367 стр.

Исполнившееся в прошлом году сорокалетие союзных республик и коммунистических партий Советского Востока ученые этих республик отметили выпуском ряда значительных работ. Среди них такие обобщающие труды, как «Очерки истории Коммунистической партии Узбекистана»,

«Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана», «Вопросы истории Компартии Казахстана», книга Б. Овезова «По ленинскому пути. Сорокалетие Туркменской ССР и Коммунистической партии Туркменистана» и другие.

В их числе следует назвать и книги

Ш. Абдуллаева и А. Канапина, которые как бы дополняют друг друга. Первая показывает весь процесс преодоления фактического неравенства, вторая анализирует результаты этого процесса в одной сфере — культурном развитии общества.

Монографию Ш. Абдуллаева открывает глава, посвященная теории перехода отсталых народов от докапиталистических отношений к социализму. Современная К. Марксу и Ф. Энгельсу действительность давала мало материала для вывода о некапиталистическом развитии. Однако основоположники марксизма подчеркивали, что такое развитие возможно, но при одном условии — сочетании крестьянской революции на Востоке с пролетарской революцией на Западе. В новых исторических условиях В. И. Ленин сделал вывод о том, что приближающаяся социалистическая революция в Европе облегчит афро-азиатским народам скачок от докапиталистических отношений к социализму.

Буржуазия провозглашает равенство людей и наций как правовой принцип. Но в условиях капитализма он остается нереализованным. Социализм же переносит центр тяжести на фактическое осуществление равенства и братства народов.

Автор обстоятельно освещает политические, экономические и культурные преобразования в Узбекистане. Избегая опасной в таких случаях описательности, исследователь анализирует специфику восстановительного периода в Советской Средней Азии, подчеркивая такие особенности, как чрезвычайная экономическая отсталость, затянувшаяся вооруженная борьба против басмачества и другие.

В книге раскрывается великая жизненная сила интернациональной взаимопомощи народов, единства коммунистов десятков наций, населяющих Советский Восток. Важную роль в выковывании этого интернационализма сыграли работавшие в Туркестане посланцы партии М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, Я. Э. Рудзутак и другие.

Три главные задачи лежат в основе ленинского плана построения социализма: индустриализация, кооперирование сельского хозяйства, культурная революция. В соответствии с этим монография дает картину упорной работы советской власти по возрождению Узбекистана.

Автор поставил перед собой совершенно определенную и весьма благодарную зада-

чу — показать, что ликвидация фактического неравенства народов Узбекистана — это и есть ленинская теория некапиталистического развития в действии. Если коротко суммировать значение работы, то можно сказать, что она — еще одно убедительное подтверждение известного положения Программы КПСС о том, что «социализм — это путь народов к свободе и счастью. Он обеспечивает быстрый подъем экономики и культуры. Не за века, а при жизни одного поколения он превращает отсталую страну в индустриальную».

Работа Ш. Абдуллаева, отличающаяся обстоятельным анализом сложных явлений, не свободна от некоторых неточностей, не вполне верных оценок. Требуется уточнения, например, частный в данном случае вопрос о дискуссии, посвященной применению нэпа в Туркестане.

Не вполне учитывает автор опыт мирового революционного процесса современности, когда утверждает, что первым условием перехода отсталых стран к социализму является «установление трудящимися массами под руководством марксистско-ленинской партии диктатуры пролетариата...». Этот тезис, правильный для первой (1917—1939) и второй (1939—1955) фаз мировой социалистической революции, на нынешней, третьей фазе этой революции требует своего теоретического развития, обогащения. И эту работу марксистская мысль проделала.

Резкое ослабление возможностей и престижа капитализма в национальных и в интернациональном масштабах; огромный рост воздействия системы социализма на весь мир; могучее влияние теории научного социализма на революционных демократов Азии и Африки — все это создало совершенно новую ситуацию в мире. Одна из ее черт — возрастание возможности вступления на социалистический путь народов, ведомых не только коммунистами, но и партиями, стоящими на платформе революционно-демократической.

Книга А. Канапина едва ли не первая монография, посвященная культурной жизни Советского Казахстана. Сами названия ее глав: «Народное образование и наука», «Литература и искусство», «Кинематография и кинофикация», «Массовая культурно-просветительная работа», «Печать, радио и телевидение» — свидетельствуют о том, что перед нами своеобразный справоч-

ник культурной жизни крупнейшей по территории республики Советского Востока.

В основе исследования — два главных тезиса: положение К. Маркса о том, что «способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще», и решение поставленной В. И. Лениным задачи превратить культуру в достояние всех трудящихся.

Чтобы всесторонне показать духовную жизнь Казахстана нынешних дней, надо критически осмыслить болезненные явления дня вчерашнего. С горечью пишет автор о том периоде, когда «широко практиковалось шельмование и приклеивание различных ярлыков деятелям науки и техники, литературы и искусства и следовавшие затем репрессии. Сталину ничего не стоило одних обвинить в шовинизме, других в национализме, третьих в космополитизме и т. д.». Это, замечает А. Канапин, тормозило развитие советской культуры, но не остановило, не могло остановить ее движения вперед. В книге показано, какое благотворное воздействие на духовную жизнь народа оказали решения XX и XXII съездов партии, Программа КПСС.

Казахстан — одна из наиболее многонациональных республик нашего Союза. Здесь живут представители ста национальностей и народностей. Каждая обладает своей культурой, языком, традициями, обычаями... Где же, как не здесь, возникать чудесному сплаву единой культуры коммунизма! И этот сплав создается год за годом, десятилетие за десятилетием.

Большие успехи, достигнутые республиками Советского Востока, называют чудом. А. Канапин иллюстрирует это чудо множеством примеров. Вот один из них: перед революцией на территории нынешнего Казахстана было сто тридцать девять библиотек, а сейчас — более одиннадцати тысяч. Их фонд огромен: почти шесть книг приходится на каждого жителя республики, считая и тех, кто еще не учится. Это больше, чем в США, Англии, Канаде и Японии.

Что сделать, чтобы полнее удовлетворить бурно растущие духовные запросы населения? Ведь централизованные ассигнования, к сожалению, не поспевают за ростом культурных потребностей. И выход был найден. По инициативе трудящихся Тарановского (Кустанайская область) и Курдайского

(Джамбульская область) районов в республике развернулось строительство культурно-бытовых учреждений на селе. Оно идет силами и средствами местных учреждений при деятельном участии населения. И вот результат: большинство колхозов и совхозов Казахстана ныне имеет свои клубы, библиотеки и другие культурные учреждения. В результате поисков форм регулярного культурного обслуживания отдаленных населенных пунктов и животноводов, занятых на отгонных пастбищах, возник автоклуб — новый тип культурно-просветительного учреждения, получили «прописку» передвижные народные университеты, передвижные кафедры культуры.

Весьма полезная книга А. Канапина намного бы выиграла, если бы не была похожа местами на отчет Множество цифр, названий произведений литературы, драматургии, изобразительного искусства, кинофильмов способно утомить даже самого терпеливого читателя.

Вряд ли можно согласиться с мнением А. Канапина о том, что теперь (то есть в середине шестидесятых годов) «начинают складываться общие черты единой интернациональной культуры» (стр. 33). Этот процесс начался после Октября, значительно ускорился с середины тридцатых годов, после победы социализма. Специфика же современного этапа в том, что, как подчеркивает Программа КПСС, «усиливается идейное единство наций и народностей, сближение их культур», что «культурная сокровищница каждой нации все больше обогащается творениями, приобретающими интернациональный характер».

Автор, к сожалению, не уделил должного внимания такой крайне важной и пока мало разработанной проблеме, как развитие национальных культур в двуязычной форме. Между тем для переходного к коммунизму периода, для создания интернациональной культуры грядущего коммунистического общества это имеет существенное значение. Например, творчество казахских литераторов, пишущих и на русском языке, дает материал для интересного обобщения.

Опыт Советского Востока стал предметом изучения освободившихся от колониализма народов. «Сорок лет назад там, — говорит о Казахстане видный деятель Республики Мали Мадейра Кейта, — существовали условия, во многом схожие с нынеш-

ним положением в ряде стран Африки... Тот факт, что Советской власти удалось превратить Казахстан в столь развитую и процветающую республику, вселяет в нас уверенность, что и наши надежды осуществятся».

Таково мнение сотен и тысяч гостей из десятков стран Азии и Африки. Это пугает врагов социализма. Они пытаются отрицать возможность некапиталистического пути развития. Так, государственный секретарь США Д. Раск в одном из своих выступлений утверждал, что «мнение о коммунизме как о коротком пути к будущему для развивающихся стран разбито вдребезги опытом».

Позволительно спросить: если этот опыт

«разбит вдребезги», то почему же Советский Казахстан в 1961 и 1962 годах посетили представители тридцати семи стран, а в одном лишь 1964-м — более сорока? Почему число государств, поддерживающих связи с Узбекским обществом дружбы и культурных связей с зарубежными странами, достигло восьмидесяти семи? Причем пятьдесят четыре из них — афро-азиатские? Не свидетельствует ли это о том, что «разбиты вдребезги» надежды тех, кто стремится опорочить опыт СССР, опыт Советского Востока.

Величайшие преимущества некапиталистического пути развития неоспоримы.

Л. КЛЕЦКИЙ,
кандидат исторических наук.

★

РЕПОРТАЖ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

Уилфред Бэрчетт. Война в джунглях Южного Вьетнама. Репортаж.
«Прогресс». М. 1965. 336 стр.

Есть темы, которые волнуют сегодня всех людей, где бы они ни находились, каких бы убеждений ни придерживались. Одна из них — Вьетнам, борьба народа этой страны против американской агрессии, за свободу и независимость. Этой теме и посвятил свою новую книгу известный австралийский журналист Уилфред Бэрчетт.

Книга написана в форме репортажа. Это придает ей документальную достоверность. Автор взглянул на события в Южном Вьетнаме глазами не стороннего, пусть даже заинтересованного наблюдателя, а непосредственного участника, точнее — глазами южновьетнамского патриота; бойца Освободительной армии, человека, сражающегося за свободу своей родины.

Именно поэтому книга Бэрчетта так не похожа на репортажи западных корреспондентов из Южного Вьетнама. Даже те немногие из них, кто пытается нарисовать действительную картину, сталкиваются с практически непреодолимой трудностью. Они совсем или почти совсем не знают главное действующее лицо южновьетнамских событий — народ этой страны и его организующую силу — Национальный фронт освобождения. Многие из них ищут причины поражений американцев в сфере чисто военной, лишь в общей форме признавая значение поддержки народом Национального фронта, или, как они выражаются, Вьетконга.

Стоя на таких позициях, невозможно понять происходящего в Южном Вьетнаме. Действительно, с военной точки зрения получается парадокс. Регулярная армия южновьетнамского правительства насчитывает примерно двести пятьдесят тысяч солдат и офицеров. Примерно такова же численность полувоенных формирований. Кроме того, в военных действиях против партизан участвует около ста тысяч американцев, причем количество их с каждым днем возрастает. Даже по американским подсчетам все это в десять раз превышает силы Вьетконга. Еще более ощутим их перевес в вооружении, военной технике и снаряжении. Пентагон направил в Южный Вьетнам лучших своих генералов. Достаточно упомянуть Максвелла Тэйлора, который во время корейской войны командовал 8-й американской армией, а затем был председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.

Почему же при всем при том интервенты терпят поражение за поражением? Бэрчетт дает исчерпывающий ответ на этот вопрос, оперируя конкретными, достоверными примерами и фактами. В этом — главное достоинство его книги.

Большое впечатление производит, например, рассказ о сражении, разыгравшемся в прошлом году в окрестностях Сайгона. Получив исчерпывающие разведывательные

данные о предстоящем наступлении карателей, партизанское командование тщательно подготовилось к бою. Используя для маневра заранее открытые подземные коммуникации, патриоты свели на нет техническое превосходство противника. На решающих участках сражения перевес сил неизменно оказывался на стороне партизан. Регулярные правительственные войска, понеся серьезный урон, отступили.

Полгода прошло с тех пор, как Уилфред Бэрчетт расстался с Чан Динь Минем, Сао Намом и другими своими героями. Это немалый срок, особенно для страны, охваченной военным пожаром. Что же произошло после того, как была написана книга?

Американский посол в Сайгоне генерал Тэйлор рассчитывал вести во Вьетнаме «особую» войну. «Особую» в том смысле, что воевать должны южновьетнамские солдаты, американцам же отводилась роль руководителей. Последние месяцы показали несостоятельность этих «планов». Отставка Тэйлора — наглядное тому свидетельство. Американцы и сами уже убедились, что невозможно выиграть войну руками южновьетнамских солдат. Многие новобранцы — до трети от всего их числа — бегут из регулярной вьетнамской армии. Значительная часть их переходит на сторону партизан. Остальные две трети охотно получают жалование, но воюют без всякого энтузиазма: кому охота подвергать свою жизнь опасности в угоду заокеанским хозяевам.

«Особая» война становится войной американской. На рисовых полях и в джунглях Южного Вьетнама уже немало американских солдат нашли свой бесславный конец. Морские пехотинцы и летчики США кровью расплачиваются за агрессивные устремления своего правительства.

Варварские бомбардировки Северного Вьетнама и контролируемых силами Патет-Лао районов Лаоса, попытки установить морскую блокаду Демократической Республики Вьетнам означают расширение театра военных действий за пределы южновьетнамских границ. Все более реальной становится угроза большой войны. Опасность усугубляется еще тем, что правящие круги США усиленно втягивают в авантюру в Южном Вьетнаме своих союзников и сателлитов — Южную Корею, Филиппины, Таиланд, Тайвань, Новую Зеландию, Австралию, Японию, Малайзию...

Чего же добились американцы в самом

Южном Вьетнаме? Реакционная печать США много пишет об этом. Причем оптимизма у американских обозревателей хватает лишь на общие рассуждения. Переходя же к конкретному анализу положения, они проявляют необычную для них осторожность. Их легко понять. Не успеет высохнуть газетная краска, запечатлевшая их обещания скорой победы, как радио и телеграф приносят сообщения о катастрофе на военно-воздушной базе Бьен-Хоа близ Сайгона или об успешных налетах партизан на тот или иной гарнизон.

Более миллиарда долларов намерено израсходовать правительство США на военные действия в Южном Вьетнаме в 1965 году. Новые тысячи американских солдат, вооруженных самой современной техникой, отправляются в Южный Вьетнам. Они на собственной шкуре почувствуют, что это действительно «особая» война: в ней нет четко выраженной линии фронта и сосредоточенного в определенных пунктах противника, которого можно было бы уничтожить одним ударом. Они поймут (если успеют), что противник повсюду и что имя ему — народ. Народ, который сражается за право на жизнь, за независимость родины, который рано или поздно сметет со своего пути интервентов и их наемников.

Выводы, сделанные Бэрчеттом полгода назад, не только не устарели, но были подтверждены последующими событиями. Мы имеем в виду прежде всего уверенность автора в неминуемом крахе агрессивной политики США в Индокитае, в неизбежной победе патриотического движения.

В последние годы мне довелось несколько раз побывать во Вьетнаме. Я видел решимость народа отстаивать свою свободу. Вспоминаю Куана — двадцатилетнего юношу из глухого горного селения Бан Фу, затерявшегося среди джунглей и зеленых долин Северо-Запада. В свое время, чтобы спасти многочисленную семью от голодной смерти, отец продал его в рабство. Из неволи Куана вызволила революция. Она вернула его в родной дом, сделала его человеком в самом гордом и прекрасном значении этого слова. Судьба Куана — это судьба тысяч его соотечественников, судьба его родины. Для них возврат к старому страшнее смерти. Их не запугаешь ни бомбами, ни напалмом, ни ядовитыми газами. Их решимость, помноженная на мощную поддержку мирового общественного мнения и в первую оче-

редь — советских людей, гарантирует победу правого дела вьетнамского народа.

Именно из таких людей, как Куан, вырастают борцы, которые становятся рядом с героями книги Уилфреда Бэрчетта. Их

много и на севере, и на юге Вьетнама. Они то и есть вьетнамский народ, сражающийся за свою свободу и потому непобедимый.

А. ГУБЕР.



ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

Л. А. Левшин. Педагогика и современность. «Просвещение». М. 1964. 359 стр.

«Крайняя бедность нашей педагогической литературы, сравнительно с практической педагогической деятельностью... не может не броситься в глаза...» Так писал, оценивая состояние современной ему педагогической литературы, К. Д. Ушинский. Было это сто лет назад. Но слова эти можно с полным основанием отнести и к педагогической литературе наших дней. Пожалуй, ее абсолютная бедность, а тем более бедность сравнительно с богатейшей практической педагогической деятельностью прступает еще более очевидно и отчетливо. Трудно назвать хоть одно педагогическое произведение, которое получило бы в последние годы общее признание, было бы популярно в среде учителей и пользовалось бы их любовью. В чем причина такого грустного явления? Над этим стоит задуматься. Но не это является целью настоящей статьи. Ее назначение — рассказать о книге, которая, как нам кажется, оставляет приятное и обнадеживающее впечатление, — о книге Л. А. Левшина «Педагогика и современность».

Посмотрите оглавление, и вы увидите, сколько важных, острых, спорных и волнующих вопросов затрагивает автор: всестороннее развитие личности, связь педагогики с психологией, проблема характера, семья и школа, деятельность и педагогические взгляды замечательного советского педагога П. П. Блонского, творческое изучение наследия А. С. Макаренко, осмысление опыта лицецких учителей.

Возможно, читатель согласится не со всеми выводами автора, не всегда будет удовлетворен полнотой освещения вопроса или проблемы, но и в таком случае книга будет для него полезна, потому что, вызывая на спор, она будит интерес к педагогике, заставляет задуматься над ее проблемами. А искреннее, глубоко заинтересованное отношение автора, сквозящее в каждой строке, несомненно придаст этому

неизбежному спору характер не бесплодной полемики, а серьезного и доброжелательного обсуждения. В этом отношении книга Л. А. Левшина составляет счастливое исключение: она лишена безапелляционности, директивности, императивности, которые почему-то стали типичными чертами современной педагогической литературы. Автор ничего не предписывает: он думает, рассуждает, анализирует, спорит, отстаивает те положения, которые кажутся ему справедливыми.

Из многих вопросов, поднятых в книге, мне хотелось бы остановиться на двух, вызывающих наибольший интерес не только по своему значению, но, может быть, еще и потому, что говорим мы о них редко и мало.

Первый из них — это связь педагогики с психологией. Автор совершенно справедливо отмечает, что, «лишь уверенно опираясь на все отрасли научного знания о человеке, можно сам педагогический поиск сделать точно направленным и плодотворным». Между тем современная педагогика утеряла связь с психологией — наукой, которая должна быть одной из самых верных, надежных и основных опор ее. Человеку, знакомому с педагогической практикой, трудно оспаривать утверждение автора о том, что мы «сплошь да рядом... сталкиваемся с учителями, которые имеют весьма слабую подготовку в психологии как общей, так и детской, и педагогической». Не отсюда ли идет фетишизация индивидуального опыта? Не здесь ли корни эмпиризма, господствующего в практике воспитания? Не потому ли, как пишет автор, многие теоретики педагогики, отделив себя от психологии, от живого ребенка, умозрительно, прямо из целей выводят свои «должно» и «надо», придавая педагогике поистине бюрократический характер.

Психология стучится в двери школы. Она требует себе места не только в стенах педа-

гогических институтов, готовящих учителей, не только в исследованиях теоретиков педагогики, но, самое главное,— в каждодневной практике учителя, который должен быть практическим психологом в самом глубоком и действенном смысле этого слова.

Центральное место в книге занимает глава «Обучение и воспитание — единый процесс». Да и в других главах автор так или иначе затрагивает эту проблему, различные ее аспекты. Нельзя не согласиться с общими посылами автора, с его интересными, свежими и глубокими размышлениями о сущности воспитания, о соотношении знания и поведения. Но именно в этой главе ясно проступает один недостаток, присущий книге,— некоторая ее абстрактность, известная оторванность автора от непосредственной школьной практики. В самом деле, автор справедливо выдвигает тезис: воспитание не может быть только односторонней деятельностью взрослых, дети не только объект воспитания, но и его субъект. Но если это так — а иначе и быть не может! — то требование слить обучение и воспитание в единый процесс нуждается в очень многих уточнениях. И прежде всего следует отметить, что при всей органической связи обучения и воспитания это все-таки процессы во многом различные и несомненно самостоятельные. Именно под флагом требования соединения воспитания и обучения непосредственно воспитание на практике порой рассматривается как производное от обучения, подчиненное обучению, наконец суживается до чего-то чисто служебного, главная задача которого — обслуживание, обеспечение процесса обучения. И такое явление неизбежно, потому что урок, как бы он ни был идейно насыщен, обучение в целом, как бы идеально оно ни было поставлено, не может даже чисто практически обеспечить выполнение всех тех задач, которые стоят перед воспитанием.

К сожалению, такого рода опасность, порожденную механическим слиянием ведения воспитания и обучения, совершенно реальную и ясно чувствуемую, уже сейчас явно проступающую в практической педагогической деятельности школ, автор как будто не замечает. Во всяком случае он даже не предупреждает, как губительно оказывается для воспитания чисто формальное толкование требования о слиянии обучения и воспитания в единый процесс.

Справедливо указывая, что главное в воспитании — это «организовать такую деятельность, в которой переработка усвоенных научных знаний и развитие индивидуального опыта сливались воедино и воплощались в действии, имеющем определенную социальную значимость», автор по существу ведет спор с необозначенным противником, потому что ни разу не обращается к воспитательной практике в школе в том виде, в каком она существует в действительности, и уж тем более не исследует ее. А это очень нужно, просто необходимо, ибо иначе рассуждения автора при всей их правильности лишаются той убедительной и убеждающей силы, без которой они оказываются лишь умозрительными. Нельзя, например, не видеть, а видя, не встревожиться тем, что в последние годы неуклонно сужается почва для ребячьей самостоятельности, для общественной активности учащихся, для их гражданского воспитания. Что вся деятельность, вся внутренняя жизнь школы все больше и больше регулируется, направляется, определяется только взрослыми, превращая детей только в объект воспитания.

С большим интересом читается статья о П. П. Блонском, имя которого в силу многих причин оказалось почти забытым, а педагогические сочинения недоступными для учителя. Краткий очерк дает читателю возможность ощутить, какой это интересный, глубокий и своеобразный педагог и как обогатится наша педагогика с выходом в свет его сочинений. Признаюсь откровенно, что для меня лично, как, вероятно, и для многих учителей, Блонский — это неожиданная находка, радостное открытие. Сколько раз, слушая призывы, читая дежурные воззвания о том, что школа должна готовить ребенка к будущей жизни, я испытывал глухой протест, чувствуя в этих призывах что-то очень утилитарное, черствое. Ведь это требование по существу игнорирует детство, юность как самостоятельные, естественные этапы развития человека, имеющие величайшее значение для всей его будущей жизни, и превращает ребенка, подростка, юношу лишь в недоразвитого взрослого. И вот я читаю у П. П. Блонского: «...Задача воспитания и школы вовсе не в том состоит, чтобы готовить ребенка к будущей жизни... Задача воспитания — давать ребенку то, что нужно ему сейчас, а не через 10 лет... Но мы до сих

пор глухи к потребностям ребенка и нечеловечны. До сих пор школа — фабрика будущих людей, а не организация нормальной жизни ребенка в настоящем».

Мы часто говорим, спорим, мечтаем о школе будущего. Трудно сейчас представить ее себе. Но одно несомненно. Это будет школа, в которой все подчинено заботе о естественном развитии человека, согласовано с природой самого ребенка, закономерностями его психического развития. Коммунистическое воспитание — что же это такое, если не именно естественное воспитание!

Наша современная педагогическая литература бедна. Тем более дорого, что книга Л. А. Левшина обладает достоинством, характеризующим подлинно педагогическую литературу: она вызывает у читателя интерес к педагогической теории, а вместе с этим и стремление осмыслить свою одиочную педагогическую практику, свой

каждодневный практический труд. В этой связи неизбежно встает вопрос о жанре этой книги: можно ли назвать ее оригинальным научным исследованием? Вряд ли. Для этого книге не хватает самостоятельности выводов, которые приходят лишь в результате глубокой исследовательской и экспериментальной работы. Но автор и не стремился к этому. И мы не в обиде на него за то, что он ограничил себя публицистикой. В конце концов этот жанр в педагогической литературе всегда был и будет не только естественным, но и необходимым. Публицистичность, то есть страстная, убежденная пропаганда передовых идей, сопутствует всей книге Левшина и составляет ее особую привлекательность для читателя, уставшего читать то косноязычное переливание из пустого в порожнее, что порой выдается за педагогическую литературу.

С. ЕЗЕРСКИЙ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

КВАМЕ НКРУМА. Африка должна объединиться. Перевод с английского. «Прогресс». М. 1964. 311 стр.

Кваме Нкрума широко известен в нашей стране как один из самых выдающихся политических деятелей Африки, последовательный борец за мир, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Мы знаем его также как автора книг, переведенных на русский язык, «Автобиография» и «Я говорю о свободе».

Книга «Африка должна объединиться» посвящена исключительно актуальной для Африки проблеме объединения стран Черного континента в борьбе против колониализма. Тема единства Африки красной нитью проходит через все устные и печатные выступления президента. «Да здравствует единство Африки!» — закончил он свою речь на Конференции борцов за свободу Африки в Аккре в 1962 году. В единении всех стран новой Африки автор видит залог ее подлинного политического и экономического освобождения.

Книга охватывает многие важные проблемы становления независимости Республики Ганы и многие проблемы африканского континента в целом. «..Поскольку независимость и развитие Ганы,— пишет автор,— всегда представлялись мне только частью освобождения и реконструкции всей Африки и поскольку эта идея стала руководящим принципом внешней политики моего правительства, то я считал, что наша конституция должна ясно провозгласить, что Гана готова поступиться своим индивидуальным суверенитетом в пользу общего суверенитета Африки, если это когда-нибудь понадобится».

Если сила империалистов в разобщенности народов Африки, то сила этих народов в общей политике и единых действиях во имя прогресса и развития — таков вывод автора книги.

В. Молчанов.

★

СОФИЯ ЧЕРНЯК. Луч во тьме. Перевод с украинского. Политиздат. М. 1965. 160 стр.

В этой книге киевская журналистка София Черняк рассказывает о подпольной организации, созданной в годы оккупации в столице Украины. «Смерть немецким оккупантам!» — так называлась эта организация

В ней объединились представители различных слоев населения: рабочие, колхозники, интеллигенция, военнослужащие, молодые и старые люди, беспартийные и коммунисты. Она была по своему составу интернациональной: в ее рядах боролись украинцы, русские, поляки, словаки, ей помогали немцы-антифашисты.

В неимоверно тяжелых условиях подпольщики создали в Киеве типографию и выпускали листовки, устраивали диверсии, освобождали военнопленных и обреченных на казнь, собирали оружие и переправляли его в партизанские отряды. Трогательно звучит рассказ о том, как в день Октябрьского праздника подпольщики порадовали маленьких киевлян подарками из продуктов, отобранных у оккупантов.

Ядро организации составили коммунисты. Незримый для врага фронт они держали тринадцатью подпольными группами в Киеве, Нежине, Крутах, проникали в Чернигов, Винницу, на Житомирщину.

Издательская аннотация сообщает, что книга создана «на основе архивных документов и личных встреч с участниками героической борьбы». И это сказалось на серьезности и основательности повествования.

Наиболее выукло выступает в книге фигура руководителя подпольной организации Григория Кочубея, убедительно вырисовываются характер и деятельность подпольщиков Володи Ананьева, Михаила Демьяненко, Бориса Загорного, Лиды Малышевой, доктора Помаза, Тамары Струц, Кирилла Ткачева, Валентина Черепанова, Николая Шешени. К сожалению, этого нельзя сказать о некоторых других участниках подполья, образы которых только намечены в книге.

В. Лапий.

Киев.

★

Ю. В. БОРИСОВ. Советско-французские отношения (1924—1945 гг.). Издательство «Международные отношения». М. 1964. 551 стр.

Дипломатические и торговые отношения Франции и Советского Союза в период с 1924 по 1945 год, историю которых исследует в своей монографии Ю. В. Борисов, — убедительный пример мирного сосуществования стран с различным социально-экономическим строем.

В отличие от предшествовавших работ на эту тему, в которых рассматривался сравнительно небольшой период, исследование Ю. В. Борисова более фундаментально по широте охватываемых событий. Автор использовал труды советских и зарубежных историков, мемуары и дневники государственных, политических и военных деятелей Франции, Германии, Англии, новые архивные документы...

Правящие круги Франции не сразу встали на путь мирного сосуществования с Советским Союзом. Несмотря на то, что интервенция и экономическая блокада советского государства потерпели крах, только 28 октября 1924 года правительство Франции решило признать Советский Союз и установить с нами нормальные дипломатические отношения. Автор подробно останавливается на борьбе советской дипломатии за всестороннее сотрудничество между СССР и Францией, за создание системы европейской коллективной безопасности и за предотвращение второй мировой войны. Он напоминает, что Франция, единственная из капиталистических стран, дважды — и в 1935 и 1944 годах — подписала с Советским Союзом договоры о взаимопомощи. В то же время он подвергает резкой критике внешнюю политику правящих кругов Франции, которые зачастую не считались с национальными интересами страны. В конечном счете это привело Францию к капитуляции перед гитлеровской Германией в июне 1940 года.

Автор подчеркивает, что решающую роль во франко-советском сближении на всем протяжении рассматриваемого периода сыграла борьба народных масс Франции, руководимых Французской коммунистической партией, за дружбу и сотрудничество с Советским Союзом.

То обстоятельство, что в настоящее время правительство Франции и в некоторых важных вопросах международной политики, и в вопросах о взаимоотношении Франции и СССР поддерживает точку зрения Советского правительства, усиливает наш интерес к истории советско-французских отношений, и книга Ю. Борисова дает немало фактов для их осмысления.

В. Неганов.

★

Ф. ШОПЕН. Письма. Издательство «Музыка». М. 1964. 711 стр.

Популярность гениального художника, его справедливая и завидная судьба таят в себе вместе с тем опасность профанации. Существует «большой» Шопен — собрат Гейне и Шумана, Бальзака и Листа. Но существует и Шопен салонов, Шопен заурядной пианистической эстрады — мило кокетливый, изящно грустный. Прикоснуться к «большому» Шопену — дело не столь доступное, как помечтать «под музыку» популярного вальса № 7 Пробыться сквозь рутину музыкальной обывательщины к истинному Шопену, к его человеческому масштабу, к его высшей соразмерности ума и души

помогают нам прежде всего великие артисты-интерпретаторы — такие, как Нейгауз и Софроницкий, Артур Рубинштейн и Рихтер. К этой же цели, хотя и иным путем, ведет изучение шопеновского эпистолярного наследия.

Первое русское издание писем Шопена вышло в 1929 году и давно стало библиографической редкостью. Новое значительно превосходит его и по количеству документов, и по текстологической культуре. Оно является самым полным из всех когда-либо издававшихся собраний писем Шопена (составитель и комментатор Г. С. Кухаревский, редакторы А. А. Соловцов и Т. И. Соколова). В книгу входят также многочисленные письма, адресованные Шопену, а также письма и документы третьих лиц, где речь идет о Шопене (в том числе Эльснера, Мицкевича, Жорж Санд, Делакруа, Мендельсона, Шумана, Берлиоза, Листа, Гейне, родных и друзей композитора). Составитель опирался на фундаментальное польское издание «Переписка Фридриха Шопена», подготовленное Б. Э. Сыдовым (Варшава, 1955), дополнив его новыми документами, в том числе найденными в хранилищах СССР.

Покинув Варшаву, молодой Шопен писал из Вены своему другу (декабрь 1830 года): «Я проклиная час своего отъезда... Все эти обеды, вечера, концерты, танцы, которыми я сыт по горло, надоели мне: так мне тут тоскливо, глухо, мрачно... в гостинных притворяюсь спокойным, а вернувшись домой, бушую на фортепиано». Осенью следующего года, узнав о подавлении войсками фельдмаршала Паскевича варшавского восстания, Шопен записывает в своем штутгартском дневнике: «Отец в отчаянии, не знает, что делать, и некому поддержать мать. — А я здесь ничем не могу помочь, а я здесь с пустыми руками, только стенаю, изливаю боль на фортепиано, отчаиваюсь — и что же дальше? — Боже, боже, да разверзнется земля, сделай так, чтобы она поглотила людей этого века».

В этих строках — начало трагедии, которая пройдет через всю жизнь Шопена с момента его отъезда из родной Варшавы, — трагедии подавленной, скованной Польши.

Летопись шопеновских документов рисует теснейшее переплетение гражданского с личным. Трагическим для композитора был и разрыв его с Жорж Санд (он писал, оставшись один, что «смертельно ранен своей привязанностью»). Трагическим было и неотвратимое в те времена физическое угасание Шопена; один из лейтмотивов писем: «кашляю», «задыхаюсь», «совсем нет сил» (композитор скончался в возрасте тридцати девяти лет от туберкулеза легких). Трагедией было и одиночество художника среди многолюдства и пустословия великосветских салонов.

Но в живом Шопене, каким его рисуют письма, нет ничего от трагической растерзанности или гордой замкнутости некоторых романтиков — «сыновей века». Он прост, общителен, естествен, склонен к юмору,

порою и к язвительному сарказму, напоминающему Гейне. Поистине удивительно в нем соединение живейшей впечатлительности и чувства меры, дисциплины ума и вкуса. Отсюда чрезвычайная сдержанность в высказываниях о личном, душевном, в частности о внутренних стимулах творчества.

Редкая психологическая проницательность Шопена проявляется во многих его беглых литературных портретах, в том числе и в характеристике Жорж Санд. Понимая ее духовную величину и талант, Шопен вместе с тем с беспощадной трезвостью анализирует путаницу ее поступков, суждений и необузданных страстей. И все же, сколь ни убедительны эти анализы, составитель и комментатор книги не должен был бы, как мне кажется, следовать сомнительному примеру некоторых биографов композитора и полностью, безоговорочно принимать «сторону Шопена» (тенденциозное освещение семейного конфликта Шопена и Жорж Санд заметно и в подборе, и в истолковании документов). В этих и подобных случаях менее всего уместна дилемма «прав — виноват». Важнее всего понять логику характеров, драму столкновения «разных правд». Тем более что оба действующих лица этой драмы — люди с богатой и сложной индивидуальностью.

Без преувеличения можно сказать, что рецензируемая книга — самая увлекательная и поучительная из всех существующих на русском языке биографических книг о Шопене. К ней потянутся читатели очень многие и очень разные, но, увы, многие не дотянутся до нее. Книга выпущена ничтожно малым тиражом — три тысячи экземпляров. На прилавке ее почти никто не видел. Перед нами еще один загадочный в своей бессмысленности случай из практики тиражирования. Когда же наконец эта злосчастная практика попадет в руки людей сведущих и заинтересованных?

Д. Житомирский.

★

М. БЕЛЕНЬКИЙ. Спиноза. «Молодая гвардия». М. 1964. 237 стр.

«...Никаких компромиссов с церковью, с богословами! Борьба, непримиримая борьба света против мрака, науки против религии, философии против теологии!» — писал Спиноза.

Бenedикт Спиноза занимает видное место в истории философии. Опираясь на произведения и письма Спинозы, М. Беленький разоблачает фальсификацию его взглядов некоторыми реакционными философами и теологами, утверждавшими, что философия Спинозы якобы носит идеалистический характер и подтверждает существование бога.

Особенный интерес представляет всестороннее освещение в книге духовного облика Спинозы. В ней показано, что Спиноза был смелым, стойким борцом за истину, последовательным в своих взглядах мыслителем, принципиальным и беспощадным в борьбе против невежества, реакции теологов и философов-идеалистов.

Автор подчеркивает благородство Спинозы, который был чрезвычайно скромным, пренебрегал материальными благами, которые ему сулили власть и имущие за измену своим убеждениям. Чтобы сохранить свою независимость, Спиноза отказался от предлагавшейся ему университетской кафедры и предпочел зарабатывать на жизнь шлифованьем стекол, лишь бы иметь возможность развивать свои идеи без всяких компромиссов.

Книга написана хорошим языком и доступна не подготовленному в философском отношении читателю. В то же время ее научный уровень высок. Кто по этой книге впервые знакомится со Спинозой, бесспорно заинтересуется им и его философией. Думается в связи с этим, что автору следовало бы подробнее рассказать о предшественнике Спинозы — Уриэле Акоста.

Проф. Я. Харлапский.

★

ДРАМАТУРГИЯ «ЗНАНИЯ». Сборник пьес (Библиотека драматурга). «Искусство». М. 1964. 574 стр.

Эта книга знакомит читателей с творчеством целой группы драматургов, активно сотрудничавших в годы первой русской революции под руководством Горького в издательстве «Знание», — С. Найденова, Е. Чирикова, С. Юшкевича, Л. Андреева и других представителей «младшего поколения» критических реалистов.

Мы привыкли говорить: «театр Толстого», «театр Чехова», «театр Горького». Об этих драматургах написано множество книг и статей. Но в конце прошлого века и в начале нынешнего существовала еще и примечательная драматургия критического реализма, не такая великая, но очень значительная, сыгравшая в свое время большую роль в развитии принципов реалистического художественного творчества.

Однако за редкими исключениями с этими пьесами можно было познакомиться лишь по старым изданиям, ставшим уже библиографической редкостью. Достаточно сказать, что последние издания «Саввы» Л. Андреева и «Тернового куста» Д. Айзмана датировались соответственно 1919 и 1920 годами, а пьесы Е. Чирикова и С. Юшкевича в советское время не издавались вообще.

Составитель рецензируемого сборника В. Чуваков отобрал для публикации безусловно лучшее из драматургического наследия «знаньевцев». Созданные в начале девятисотых годов «Дети Ванюшина» С. Найденова, «Деревенская драма» Н. Гарина-Михайловского, «Иван Мироныч» Е. Чирикова интересны тем, что в них показан непримиримый разлад в самых различных общественных слоях, будь то купечество, чиновничество или крестьянство. А написанные в годы первой русской революции пьесы Л. Андреева «Савва», С. Юш-

кевича «Король», Д. Айзмана «Терновый куст», Е. Чирикова «Мужики» явились прямыми откликами на революционные события.

На наш взгляд, в сборник следовало бы включить и другие, незаслуженно забытые пьесы С. Найденова. Известно, что небольшой драматический этюд Найденова «Номер тринадцатый» получил высокую оценку Горького, рекомендовавшего эту пьесу к постановке в нижегородском Народном доме; Чехов восторгался пьесой Найденова «Богатый человек» и признавал, по свидетельству Бунина, что Найденов — «прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри»; а драма Найденова «Авдотьяна жизнь», сыгранная в конце 1904 года на сцене петербургского театра В. Ф. Комиссаржевской с самой Верой Федоровной в главной роли, стала одним из выдающихся событий в предреволюционной эпохе.

Во вступительной статье (автор А. Дымшиц) делается попытка раскрыть самостоятельную творческую индивидуальность каждого автора. Менее точно определены в ней общие идейно-творческие принципы, характерные для драматургии «Знания» как для историко-литературного явления своей эпохи.

В комментариях (автор В. Чуваков) широко используются материалы, найденные в архивах или на страницах дореволюционных газет и журналов, освещаются творческие замыслы драматургов, сценическая жизнь пьес, отзывы рецензентов. Несомненно, эти уникальные материалы представляют большой научный интерес для литературоведов и историков русского театра начала XX века.

Б. Бугров.

★

СКАЗКИ С ХИТРИНКОЙ. Сказки народов СССР пересказала для детей Н. Алембекова. «Детская литература». М. 1964. 112 стр.

Сказки эти и вправду «с хитринкой»: не раз они заставят малыша задуматься, не раз, прочитав иную из них, он широко откроет глаза: «Почему?» — и получит в ответ взрослое: «А ты подумай!»

В маленьком сборнике собраны сказки народов СССР: русские, украинские, грузинские, армянские, литовские, казахские, азербайджанские, еврейские, татарские, таджикские... Много в книжке того доброго и умного лукавства, которым безгранично богат автор сказок — народ. Много тут того мудрого, что гонко и ненавязчиво западет в детскую душу, чтобы через годы прорасти в ней доброй верой в себя и свое дело, в друзей, в свою Родину. А эта вера навсегда исключит в душе человека само понятие бога и какое бы то ни было доверие к его служителям.

С этой книжки легко можно начинать атеистическое воспитание малыша. Автор пересказа постарался подобрать поболь-

ше таких сказок, где действуют умные и находчивые люди, умеющие не только вывести на чистую воду попа или муллу, но и найти выход из самого трудного положения, в которое так часто попадает герой народной сказки. Эти веселые и храбрые герои легко обходятся без помощи священника и даже самого бога.

Хочется сказать и об иллюстрациях. Художник С. Забалуев сумел выбрать для иллюстрации не только самые интересные моменты сказок, но и точно передать специфику национального колорита сказки. А задача эта нелегкая — каждый рисунок в книжке передает нам сценку из быта совершенно различных народов!

И очень обидно, что доброе слово об этих иллюстрациях уже никогда не дойдет до безвремененно скончавшегося художника.

Л. Бершадская.

★

МИХАЙЛО ЛАЛИЧ. Свадьба. Перевод с сербохорватского. «Художественная литература». М. 1964. 318 стр.

В современной югославской литературе имя Михайла Лалича стоит в одном ряду с именами таких крупных писателей, как Иво Андрич, Мирослав Крлежа, Бранко Чопич и другие. Во всех произведениях М. Лалича — а им написано пять романов и несколько сборников рассказов — воссоздается атмосфера борьбы народа против иноземных захватчиков и их приспешников — четников.

Роман «Свадьба» занимает особое место в творчестве писателя. И не только потому, что это первый его роман, но и потому, что это один из самых гуманных и оптимистических романов в югославской литературе.

Изображая тяжелый для черногорских партизан период, когда после первых успехов в 1941 году восстание потерпело временное поражение, Лалич почти все свое внимание обращает на мужество и выносливость людей, продолжающих бороться. В центре романа — коммунист Тадия Чемеркич. Брошенный четниками в тюрьму, он восклицает: «Я еще не сдался, хотя и попал сюда... Железо, оковы, решетки — все это сделано человеческими руками и руками может быть разрушено».

В «Свадьбе», как и в других романах М. Лалича, проявилось незаурядное мастерство писателя. Оно сказывается и в красочном языке, и в превосходных описаниях природы, и в разнообразии характеров, в психологически точной передаче смены настроений, чувств.

Герои М. Лалича — сложные характеры. Вот унтер-офицер жандарм Анчич. Он ненавидит партизан, а втайне восторгается ими. Но еще больше он ненавидит свою профессию. Как-то в пылу презрения к четникам и их офицерам он плохо завязывает руки пленников — не с целью помочь партизанам, а для того, чтобы напакостить своим колле-

гам. Его уличают в этом, бросают в тюрьму, где находятся и партизаны, и приговаривают к расстрелу. Перед лицом смерти он наконец освобождается от противоречий своего «я» и громко зовет к герою романа партизану Чемеркичу: «Держись как победает тебе, пусть и в смерти завидуют тебе эти трусы, а я уже давно завидую тебе!»

Правда, мужество и вера в народ побеждают. И в этом сила романа М. Лалича, лауреата многих крупных литературных премий в Югославии, в том числе премии великого черногорского поэта Петра Негоша.

Переводчица Т. Вирта проделала большую работу, в результате которой советский читатель смог познакомиться с одним из самых выдающихся произведений современной югославской литературы.

В. Штулифкер.

★

Н. Ф. ЖИРОВ. Атлантида. Основные проблемы атлантологии. «Мысль». М. 1964. 431 стр.

Более двух тысяч лет назад известный древнегреческий философ Платон поведал миру о существовании легендарной Атлантиды. По Платону, двенадцать тысяч лет назад на месте нынешнего Атлантического океана, где-то за Гибралтарским проливом, находился огромный остров. Природа щедро наделила его разнообразными богатствами. Остров был населен многочисленным и могущественным народом (атлантами), который достиг высокого уровня развития. Атланты воздвигли большие города с чудесными постройками. Но однажды Атлантида вместе со всеми своими жителями в течение одного дня и одной ночи исчезла в пучинах океана.

Легенда об Атлантиде со времени Платона привлекает внимание многих людей. Фантастичность и трагизм сказания о легендарной земле сделали ее предметом многочисленных исследований и научных споров. Одни специалисты отрицали факт существования Атлантиды, отбрасывали саму эту проблему, считая ее не заслуживающей внимания. Другие, наоборот, приводили многочисленные доказательства реальности удивительной земли, видели в ней решение вековой загадки, раскрывающей многие страницы ранней истории и культуры человечества. По проблеме Атлантиды написаны тысячи книг и статей. Однако по мере накопления дополнительных научных данных появляются все новые и новые работы по атлантологии.

В рассматриваемой книге автор с современных позиций тщательно анализирует предание Платона об Атлантиде и затем, основываясь на новейших данных ряда наук (геологии, океанологии и других), на результатах последних исследований Мирового океана, в частности дна Атлантического океана, делает убедительную попытку доказать реальность существования в далеком

прошлом материка к западу от Европы и Африки.

Н. Ф. Жиров высказывает свои соображения о возможности обнаружения легендарного континента. Что же касается причин его гибели, то автор не видит ничего невероятного в этом, потому что такая катастрофа могла быть результатом естественного тектонического процесса, протекавшего в своеобразных условиях.

В труде Н. Ф. Жирова не все одинаково по глубине научной обоснованности. Есть в нем и спорные положения, просто догадки и научные гипотезы. Однако в целом книга интересна. Она написана не только просто, но и увлекательно.

С. Дмитриев.

★

Н. Б. БАЙКОВА. Роль Средней Азии в русско-индийских торговых связях (первая половина XVI — вторая половина XVIII в.). Издательство «Наука» Узбекской ССР. Ташкент. 1964. 192 стр.

Возникновение и развитие русско-индийских торговых связей — одна из примечательных страниц в истории мировой торговли и культуры. Этой теме посвящено немало исследований. Но обычно в литературе роль Средней Азии в русско-индийских отношениях показывается только с XVII века. А Н. Б. Байкова привлекает материалы начиная с XVI века. Это вызвало много трудностей главным образом источниковедческого порядка. До нашего времени дошли индийские торговые книги, часть которых написана такой торговой тайнописью, что ее не могут расшифровать даже в Индии. И все же в ряде случаев автору удалось преодолеть многие трудности. Н. Б. Байкова доказывает, что не поиски путей в Индию способствовали развитию русско-среднеазиатских взаимоотношений, а, напротив, развитие русско-среднеазиатских отношений способствовало укреплению отношений Русского государства с Индией.

В книге интересно и обстоятельно рассказывается о труднопроходимых торговых путях, посольствах русских царей к Великим Моголам в XVII веке, роли русско-индийской торговли в укреплении связей между Москвой и среднеазиатскими ханствами, о правовом положении индийского и среднеазиатского купечества в России и наконец об основных центрах торговли России с Востоком — Москве, Астрахани, Оренбурге.

Не исключено, что еще в XVI веке в Астрахани прочно обосновалась и вела активную торговлю колония индийского купечества. Эта колония к XVII веку имела собственный торговый флот на Каспийском море, осуществляла кредитные операции во всей Юго-Западной Азии, имела благоустроенные караван-сарай во всех важнейших торговых центрах. Во второй половине XVII века в Москве проживало и торговало более тридцати индийцев.

Думается, что автору следовало бы всесторонне обосновать причины восточной

ориентации русского правительства. Надо бы также показать роль Посольского приказа, и не только в дипломатических отношениях с Востоком, но и в развитии торговли. И наконец третья: широко используя литературу вопроса и правильно в основном ее оценив, автор почему-то не использовал материалов Центрального государственного архива древних актов и архива Оренбургской области. А ведь он мог почерпнуть там много интересного.

Ю. Курсков,
кандидат исторических наук.

Петрозаводск.

★

ЗАХАР ДИЧАРОВ. Человек покоряет реки. «Знание». М. 1964. 48 стр.

Автор этой небольшой книжки обещает рассказать об обуздании рек Советской страны, о роли ученых в развитии нашей гидроэнергетики. Но уже с первых страниц читатель разочаровывается. И чем дальше, тем больше. Случайность и пестрота технических идей и решений, которых касается З. Дичаров, путаная композиция, неглубоко освещенные те моменты, что происходят на главном плацдарме нынешних крупных гидротехнических работ в Сибири, во многом обесценивают брошюру.

З. Дичаров утверждает: «Миллионы гектаров засушливых земель Приднепровья получили воду» (стр. 3). Как известно, широкое орошение приднепровских степей — дело будущего и говорить о миллионах гектаров, уже получивших днепровскую воду, преждевременно. Автор ошибочно уверяет, что днепровский каскад (в брошюре он почему-то назван «днепропетровским») будет производить «почти столько же» электроэнергии, сколько давала вся дореволюционная Россия. В действительности каскад на Днепре будет давать в пять с лишним раз больше, чем электростанции дореволюционной России. З. Дичаров дает также неверные сведения о сроке пуска Каховской ГЭС, о нынешней выработке электроэнергии в Советском Союзе, о времени вступления в строй Мингечаурской гидроэлектростанции и, что особенно странно для автора, взявшегося писать о гидроэнергетике, — путает такие понятия, как киловатт-час (единицу энергии) и киловатт (единицу мощности). На странице 4, например, выработка электричества исчисляется киловаттами, а на странице 43 — киловатт-часами.

Все это дополняется такими стилистическими «красотами», что диву даешься, как они могли проникнуть в печать. Вот образец: «В молчаливой пестроте сложных расчетов, в контурах бетонных громад затанцовалась напряженная борьба не только человека и стихии, но и борьба советской и буржуазной научной мысли» (стр. 6). Или такое: «Пропустили сквозь плотину множество вертикальных трубок... И плотина превратилась в этакую «спящую красавицу». Она насквозь промерзла (?), и вот уже десять лет не может оттаять» (стр. 44). И на-

конец: «Невозможное стало возможным и дало экономию в 250 миллионов рублей» (стр. 12).

Даже комментариям к высказываниям известных ученых З. Дичаров умудряется придать какой-то плоский, чуть ли не пародийный характер. Приведа, например, известные слова Семенова-Тянь-Шаньского о том, что текущая река — это сама жизнь, автор заключает. «Итак, если текущая река — сама жизнь, то редкая страна в мире обладает этой жизнью в таких размерах, как наша» (стр. 3).

«Уж сколько раз твердили миру», что, независимо от их объема, книжки, рассчитанные на массового читателя, должны быть интересны, содержательны, точны, отличаться языком живым и образным. «Новый мир» в прошлом критиковал некоторые недоброкачественные брошюры, изданные «Знанием». Видимо, в издательстве еще не приняты должные меры, способствующие тому, чтобы читатель получал только хорошие книги.

Мих. Цунц.

★

АРТУР КЛАРК. Голос через океан. Со-кращенный перевод с английского. «Связь». М. 1964. 236 стр.

История науки и техники полна удивительных противоречий. Не поразительно ли, например, что проводная телефонная связь, родившаяся в прошлом веке, была установлена между Европой и Америкой лишь в наши дни? В самом деле, уже действовали заводы-автоматы и строились электронно-вычислительные центры, стали привычными телевидение и воздушные пассажирские лайнеры, вырабатывали электроэнергию атомные электростанции и вышли в плавание атомные корабли, радиолокаторы «ощупали» Луну и ракеты разведывали космос, а Европа и Америка все еще не могли говорить друг с другом по обыкновенному, давным-давно вошедшему в обиход телефону.

Казалось бы, чего проще соединить оба материка телефоном — ведь к моменту его изобретения межконтинентальные телеграфные линии пересекли многие моря и океаны, а передача звука по проводам имеет много общего с телеграфом. Однако для осуществления этого проекта потребовались десятилетия титанического труда, упорнейших инженерных поисков и смелых экспериментов.

Столетней истории трансокеанской электрической связи и посвящена книга Артура Кларка. История эта, изобилующая острыми драматическими событиями, взлетами человеческого гения и горькими неудачами энтузиастов, блестящими открытиями и роковыми ошибками, не раз привлекала внимание писателей. Вспомним хотя бы Стефана Цвейга, посвятившего один из своих рассказов в «Звездных часах человечества» Сайрису Филду — «отцу» межконтиненталь-

ного телеграфа. Но Артур Кларк впервые развернул эту историю так подробно, полно и цельно.

«Голос через океан» — заманчивое путешествие по странам и эпохам. Читатель знакомится с выдающимися учеными и инженерами, шаг за шагом открывающими возможность общения людей независимо от разделяющих их водных пространств. Видит, как зарождались и воплощались в жизнь замечательные изобретения и грандиозные проекты. Вместе с автором заглядывает в будущее проводной связи — одного из могущественнейших средств развития современной цивилизации.

Не во всем можно согласиться с Артуром Кларком: некоторые события истории электросвязи освещены им неточно, а отдельные объяснения физических явлений не совсем верны (в этом отношении повествование весьма полезно и удачно дополняют комментарии, примечания, предисловие и послесловие, написанные кандидатом технических наук Д. Шарле). И тем не менее книгу прочитаешь с большим интересом и удовлетворением.

До сих пор мы знали Артура Кларка как писателя-фантаста. Ряд его научно-фантастических произведений был опубликован у нас в сборниках и журналах. Теперь мы познакомились с ним как с замечательным популяризатором науки и техники.

П. Волин.

★

А. А. НАРУСБАЕВ, Г. П. ЛИСОВ. Тайна гибели «Трешера». «Судостроение». Л. 1964. 100 стр.

Десятого апреля 1963 года мир узнал о беспрецедентной в истории подводного флота катастрофе: в Северной Атлантике недалеко от американского побережья на глубине около двух тысяч пятисот метров затонула атомная подводная лодка США «Трешер». Вместе с кораблем в океанских пучинах нашли свою могилу сто двадцать девять человек.

Для расследования причин гибели лодки в США была создана комиссия. Она работала почти два месяца, опросила сто двадцать свидетелей и исписала горы бумаги, но так и не дала вразумительного ответа на вопрос о подлинных причинах трагедии.

Даже беглое ознакомление с материалами, попавшими в открытую печать, позволяет сделать заключение, что эта катастрофа не была лишь результатом слепого случая. Гибель «Трешера» — прямое следствие авантюристической политики американской военщины и ее вдохновителей.

Авторы — советские инженеры-судостроители — на основе глубокого анализа всех доступных материалов рассказывают об обстоятельствах гибели «Трешера» и вскрывают непосредственные и более глубокие причины этой небывалой трагедии. Еще до постановки лодки в ремонт, за гарантийный период эксплуатации, на ней было обнаружено восемьсот семьдесят пять дефек-

тов, из которых сто тридцать имели прямое отношение к жизненно важным системам. Первое после постройки лодки глубоководное испытание пришлось прервать из-за недопустимых деформаций корпуса. Однако бизнесмены в мундирах, охваченные атомной горячкой, сразу же после большого ремонта, в результате которого еще более была уменьшена прочность основного корпуса, спешно отправили лодку на глубоководные испытания. При этом, опять же в результате спешки, «Трешер» был послан в район, где глубины в несколько раз превышают максимально допустимые для этого корабля. Не был готов к столь ответственному погружению и экипаж корабля.

Материалы, приведенные в книге, убедительно показывают, что кораблестроительные фирмы США, стараясь получить максимальные прибыли, не утруждают себя работами о качестве поставляемой американскому флоту техники. В результате — катастрофы на атомных подводных лодках. Командование ВМС США всячески старается скрыть факты аварий на атомных лодках, однако в печать уже просочились сведения о тридцати таких случаях. При этом пять из них, по признанию зарубежной прессы, могли закончиться гибелью кораблей.

Гибель «Трешера» свидетельствует о том, что реальное состояние американского атомного флота далеко не соответствует хвастливым утверждениям военных руководителей США.

Много интересного о причинах гибели «Трешера» и подлинном положении в американском флоте содержится также в недавно вышедшей брошюре Ю. Трушина «Загадка «Трешера».

С. Осокин,
капитан 2-го ранга.

★

МИТЧЕЛ УИЛСОН. Американские ученые и изобретатели. Перевод с английского. «Знание». М. 1964. 151 стр.

Романы американского писателя Митчела Уилсона «Живи среди молний» («Жизнь во мгле»), «Брат мой — враг мой», «Дэви Мэллори», «Встреча на далеком меридиане» давно переведены на русский язык и приобрели популярность у советских читателей. В прошлом физик, один из ассистентов знаменитого ученого Энрико Ферми, Уилсон оставил научную работу и целиком посвятил себя литературному творчеству. Почти во всех его романах главные герои — изобретатели, ученые.

Новая книга Митчела Уилсона представляет собою серию литературных этюдов, посвященных выдающимся американским изобретателям и ученым. Перед нами — пятнадцать портретов. Среди них — Бенджамин Франклин, Роберт Фултон, Сэмюэл Морзе, Александр Белл, Томас Эдисон, Альберт Майкельсон, братья Райт и другие. Литературное мастерство и глубокое зна-

ние истории развития научной и технической мысли позволяют автору выбрать в биографии те главные черты, которые ярко характеризуют описываемого героя и дают верное психологическое объяснение его часто неожиданным и противоречивым поступкам.

Жизнь и творчество выдающихся ученых и изобретателей Америки писатель рисует в неразрывной связи с наукой других стран. Уилсон не забывает подчеркнуть: «Страны Европы, чьим культурным наследием пользуется Америка, дали миру многих великих теоретиков». И все же в отдельных случаях этой исторической объективности в очерках не хватает. Это особенно резко бросается в глаза при описании истории изобретения и совершенствования беспроволочного телеграфа, а также воздухоплавания. Появилась, таким образом, необходимость в отдельных уточнениях, которые мы и находим в примечаниях к тексту.

С. Смуглый.

★

И. М. ЛИНДЕР. Шахматы на Руси.
«Наука». М. 1964. 163 стр.

— Дорогой-то гость да грозен посол.
А сыграем-ка да в шашки-шахматы.
А пошел до князя Владимира,
Садился к столу они дубовому,
Приносили им доску шахматную...

Так рассказывается в былине «Ставр Годинович» о встрече киевского князя Владимира с женой Ставра Годиновича, которая приехала в Киев выручать мужа, выдав себя за чужеземного посла.

До сих пор исследователи не обращали особого внимания на частые упоминания о шахматной игре в былинах. И. Линдер посвятил этому одну из глав своей книги. Оказалось, что во многих былинах рассказывается о том, какое мастерство проявляли народные герои не только на поле брани, но и в сражениях на шахматной доске. В шахматы играли Илья Муромец и Добрыня Никитич, Алеша Попович и Садко...

Былины свидетельствуют о широком распространении шахмат на Руси. И позднее, в Московском государстве, шахматы были одной из самых популярных игр. На это обращали внимание иностранцы. Вот одно любопытное свидетельство. Французская хроника, рассказывавшая о Московском посольстве, прибывшем в Париж в 1685 году, писала: «Эти русские превосходно играют в шахматы; наши лучшие игроки перед ними школьники».

Откуда пришли шахматы на Русь? С Востока или с Запада? До сих пор многие склонялись к тому, что с Запада. И. Линдер, используя новейшие данные археологии, древние акты, убедительно, по нашему мнению, доказывает, что шахматы, родина которых — древний Восток, оттуда и пришли на Русь.

Чтобы доказать это, он составил очень любопытную таблицу шахматной терминологии, в которой сравниваются названия шахматных фигур в русском, ряде восточных и западных языков, приводит карту предполагаемого пути распространения шахмат из Средней Азии и Ирака в VIII—X веках, дает подробное описание шахматных фигур, найденных при раскопках в различных местах нашей страны.

Об этих находках надо сказать особо. За последние годы археологи, производя раскопки в местах, где когда-то стояли древнерусские города и поселения, обнаружили множество шахматных фигур, изготовленных в XI—XV столетиях. Они не только свидетельствуют о широком распространении шахмат, но и дают представление о художественном мастерстве народных умельцев. Здесь и миниатюрная ладья из камня с четырьмя гребцами, и причудливые пешки, изображающие воинов княжеских дружин, и искусно вырезанные из кости слоны.

Книга «Шахматы на Руси» представляет несомненный интерес для историков, археологов, фольклористов, лингвистов. Ну, и, конечно, для любителей этой древней и мудрой игры.

В. Ростовский.



ПОПРАВКА

В шестой книге «Нового мира» в воспоминаниях И. М. Майского на странице 168 семнадцатую строку текста следует читать: «...е первые полгода после нападения Германии».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗАТ

- В. И. Ленин.** О коллективности руководства. Сборник. 240 стр. Цена 42 к.
- Л. И. Брежнев.** Великая победа советского народа. Доклад на торжественном собрании в Кремлевском Дворце съездов, посвященном 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 8 мая 1965 года. 48 стр. Цена 5 к.
- Е. Варга.** Очерки по проблемам политэкономии капитализма. 384 стр. Цена 1 р. 20 к.
- Г. Горбунов.** Дмитрий Фурманов. 160 стр. Цена 21 к.
- Л. Королев.** Один из «Партии расстрелянных». Габриель Пери. 104 стр. Цена 11 к.
- Д. Мельников, Л. Черная.** Двудликий адмирал (Главарь фашистской разведки Канарис и его хозяева). 128 стр. Цена 14 к.
- П. Овсянин.** Конец режима Муссолини. 96 стр. Цена 11 к.
- М. Скрыпкин.** Воспоминания об Ильиче. 1917—1918. 72 стр. Цена 9 к.
- Е. Смирницкий.** Подумайте, подсчитайте (Пособие для практических занятий в экономических кружках). 176 стр. Цена 18 к.
- Б. Столповский.** Привидения на вилле «Гольбек». 64 стр. Цена 6 к.
- О. Феофанов.** Шпионаж ради бизнеса. 96 стр. Цена 9 к.

«МЫСЛЬ»

- Г. Андреева.** Современная буржуазная эмпирическая социология. 303 стр. Цена 1 р. 6 к.
- В. Байкова, А. Дучал, А. Земцов.** Свободное время и всестороннее развитие личности. 271 стр. Цена 78 к.
- Д. Богорад.** Конструктивная география района. 407 стр. Цена 1 р. 48 к.
- Буржуазная политическая экономия о проблемах современного капитализма.** 431 стр. Цена 1 р. 47 к.
- Б. Гржимен.** Они принадлежат всем (Борьба за животный мир Африки). Перевод с немецкого. 120 стр. Цена 54 к.
- А. Горфункель.** Джордано Бруно. 206 стр. Цена 26 к.
- И. Гусельников.** Спасенный рудник. 191 стр. Цена 30 к.
- С. Каратов.** Каменный исполин. 124 стр. Цена 19 к.
- И. Киселев, М. Мошенский.** Буржуазные теории труда на службе монополий. 141 стр. Цена 55 к.
- М. Коптев.** Положение рабочего класса в капиталистических странах. 80 стр. Цена 9 к.
- В. Лендзел.** Современное христианство и коммунизм. 88 стр. Цена 20 к.
- Ленинская система партийно-государственного контроля и его роль в строительстве социализма 1917—1932 г.** 205 стр. Цена 74 к.
- Б. Мантейфель.** Живое серебро. 231 стр. Цена 36 к.
- С. Меньшиков.** Миллионеры и менеджеры. Современная структура финансовой олигархии США. 455 стр. Цена 1 р. 55 к.
- Очерки по историографии советского общества.** 599 стр. Цена 2 р.

- Л. Плешанов.** Вокруг света с «Зарей». 232 стр. Цена 63 к.
- В. Тугаринов.** Личность и общество. 191 стр. Цена 49 к.
- В. Флинт, Ю. Чугунов, В. Смирин.** Млекопитающие СССР. 437 стр. Цена 1 р. 65 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- С. Брант.** Корабль дураков. Избранные сатиры. Перевод с немецкого. 280 стр. Цена 1 р.
- Н. Готорн.** Новеллы. Перевод с английского. 495 стр. Цена 86 к.
- В. Диев.** Трилогия Н. Погодина о Ленине. 151 стр. Цена 18 к.
- Живой Ленин.** Воспоминания писателей о В. И. Ленине. 351 стр. Цена 64 к.
- В. Инбер.** Собрание сочинений в четырех томах. Том первый. 576 стр. Цена 95 к.
- В. Петров.** Мальчик с пальчик. В пути. Погожей осенью. Поэмы. Перевод с болгарского. 112 стр. Цена 25 к.
- З. Плавский.** Николас Гильен. Критико-биографический очерк. 152 стр. Цена 22 к.
- А. Прокофьев.** Собрание сочинений в четырех томах. Том первый. 500 стр. Цена 75 к.
- Л. Рейснер.** Избранное. 576 стр. Цена 1 р. 15 к.
- И. Соколов-Микитов.** Собрание сочинений в четырех томах. Том первый. 576 стр. Цена 80 к.
- Р. Эйдеман.** Степной ветер. Перевод с латышского. 271 стр. Цена 34 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- А. Амстердам.** Всеволод Рождественский. Путь поэта. 156 стр. Цена 42 к.
- Н. Бурова.** Семиречь. Стихи. 144 стр. Цена 14 к.
- К. Ваншенкин.** Повороты света. Лирика. 136 стр. Цена 18 к.
- Н. Гей, В. Пискунов.** Мир, человек, искусство. 296 стр. Цена 71 к.
- И. Гордон.** Вначале их было двое... Повести и рассказы. Перевод с еврейского. 436 стр. Цена 81 к.
- В. Емельянов.** У степного моря. Повести. 172 стр. Цена 21 к.
- Б. Иванов.** Дверь остается открытой. Повесть и рассказы. 172 стр. Цена 23 к.
- П. Катенин.** Избранные произведения. 742 стр. Цена 1 р. 27 к.
- Г. Кривда.** Не чужая мать. Повесть. Перевод с украинского. 184 стр. Цена 24 к.
- П. Куусберг.** Происшествие с Андресом Лапетеусом. Роман. Перевод с эстонского. 244 стр. Цена 52 к.
- В. Липатов.** Черный Яр. Чужой. Повести. 396 стр. Цена 68 к.
- В. Миняйло.** Перо жар-птицы. Повести. Рассказы. Перевод с украинского. 304 стр. Цена 55 к.
- А. Новиков.** Впереди идущие. Роман. 568 стр. Цена 1 р. 6 к.
- С. Олендер.** Черноморская песня. Стихи. 104 стр. Цена 16 к.
- А. Сизоненко.** Корабелы. Роман. Перевод с украинского. 352 стр. Цена 68 к.
- Б. Соловьев.** Поэт и его полвиг. Творческий путь Александра Блока. 696 стр. Цена 1 р. 97 к.

З. Телесин. Ближе к сердцу. Стихи и баллады. Перевод с еврейского. 152 стр. Цена 22 к.

В. Тушнова. Сто часов счастья. Новые стихи. 156 стр. Цена 16 к.

Р. Файнберг. Юрн Герман. Критико-биографический очерк. 264 стр. Цена 55 к.

А. Чичерин. Идеи и стиль. О природе поэтического слова. 300 стр. Цена 75 к.

Н. Эснович. Лебяжий рукав. Стихи и поэма. 128 стр. Цена 16 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Бахревский. Хранительница меридиана. Сборник. 224 стр. Цена 47 к.

М. Борисова. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

В. Вологдин. Формула. Стихи. 80 стр. Цена 12 к.

А. Грачев. Первая просека. Роман. 573 стр. Цена 1 р.

В. Губарев. Монтигомо — Ястребиный коток. Повести. 285 стр. Цена 61 к.

А. Жигулин. Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.

С. Ивченко. Загадки цинхоны. Рассказы о деревьях. 208 стр. Цена 48 к.

В. Карпенко. Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.

Б. Лукьянов. Мы верим, друзья, караваны ракет... Записки корреспондента ТАСС. 272 стр. Цена 61 к.

Марш ударных бригад. Сборник документов. 480 стр. Цена 71 к.

Д. Морозов. Бой без выстрелов. Повесть. 112 стр. Цена 12 к.

Ф. Полканов. Рабочая гипотеза. Роман. 272 стр. Цена 55 к.

С. Токарев. Мой трудный май. Повесть. 143 стр. Цена 16 к.

Фантастика. Сборник 1965. Вып. I. 287 стр. Цена 63 к.

Р. Эзера. Их было три. Роман. Перевод с латышского. 430 стр. Цена 78 к.

«НАУКА»

Австро-Венгрия и славяно-германские отношения. Сборник статей и материалов. 283 стр. Цена 1 р 30 к.

И. Амусин. Находки у Мертвого моря. 103 стр. Цена 30 к.

Археология и естественные науки. 346 стр. Цена 2 р. 60 к.

Г. Арш, И. Сенкевич, Н. Смирнова. Краткая история Албании. 263 стр. Цена 1 р. 4 к.

Е. Бабский, В. Парин. Физиология, медицина и технический прогресс. 139 стр. Цена 52 к.

Ю. Бегунов. Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». 231 стр. Цена 87 к.

Будапешт. Вена. Прага. 4 апреля 1945 г. 13 апреля 1945 г. 9 мая 1945 г. Историко-мемориальный труд. 383 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Вдовин. Очерки истории и этнографии чукчей. 403 стр. Цена 1 р. 82 к.

В. Гаджиев. Роль России в истории Дагестана. 391 стр. Цена 1 р. 70 к.

Движущие силы внешней политики США. 527 стр. Цена 1 р. 90 к.

Избранные произведения венгерских мыслителей. Конец XVIII — середина XIX в. 312 стр. Цена 1 р. 38 к.

Исторические связи народов СССР и Румынии в XV — начале XVIII в. Документы и материалы. В 3-х томах. Т. I. 1408—1632. 363 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Карманов. Почвы предгорий Северо-Западного Алтая и их использование в сельском хозяйстве. 158 стр. Цена 69 к.

С. Кляцкин. На защите Октября. Организация регулярной армии и милиционное строительство в Советской республике. 1917—1920. 475 стр. Цена 1 р. 92 к.

Г. Кочин. Сельское хозяйство на Руси в период образования Русского централизованного государства. Конец XIII — начало XVI в. 462 стр. Цена 2 р. 20 к.

А. Люблинская. Французский абсолютизм в первой трети XVIII века. 361 стр. Цена 1 р. 65 к.

А. Леонтьев. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности. 245 стр. Цена 82 к.

Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века. 311 стр. Цена 1 р. 56 к.

Независимые страны Африки. Экономические и социальные проблемы. 315 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Перцов. Маяковский. Жизнь и творчество в последние годы. 1925—1930. 419 стр. Цена 1 р. 20 к.

Путешествия и географические открытия в XV—XIX вв. Сборник статей. 160 стр. Цена 1 р. 4 к.

Развитие лексики современного русского языка. Сборник статей. 135 стр. Цена 50 к.

М. Сабинина. Симфонизм Шостаковича. Путь к зрелости. 175 стр. Цена 98 к.

А. Тарасова. Из творческой лаборатории М. Горького. 159 стр. Цена 34 к.

И. Тертерян. Бразильский роман XX века. 230 стр. Цена 68 к.

Эпические песни ненцев. 784 стр. Цена 2 р. 60 к.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (ОРДЖОНИКИДЗЕ)

С. Марзотий. Вдова пасечника Тате. Рассказы. Перевод с осетинского. 179 стр. Цена 15 к.

Е. Уруймагова. Седьмой сын. Рассказы, очерки, статьи. 230 стр. Цена 30 к.

К. Цурбаева. Об осетинских героических песнях. 199 стр. Цена 48 к.

«БЕЛАРУСЬ» (МИНСК)

А. Зарицкий. Вересковый мед. Рассказы. 327 стр. Цена 36 к.

И. Науменко. Сосна при дороге. Роман. Перевод с белорусского. 360 стр. Цена 74 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 27/V 1965 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/VII 1965 г.
A 03854. Формат бумаги 70 × 108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.) Зак. 1282. Тираж 126 100.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636